

Вадим Кожевников

2

КВадим
Кожевников

Собрание сочинений

К.Вадим Кожевников

Собрание
сочинений
в девяти
томах



Москва
«Художественная
литература»
1986

КВадим ОЖЕВНИКОВ

Собрание
сочинений
Том
второй

Рассказы

1943—1968



Москва
«Художественная
литература»
1986

P2
K58

Оформление художника
Ю. Б о я р с к о г о

К $\frac{4702010209-016}{028(01)-86}$ подписное

© Оформление. Издательство «Художественная литература», 1986 г.

Р ассказы

КАЗАКИ

— Мне коня не надо. Я за твою рану сердцем болею. Может, пуля какая-нибудь заразная была.

Хоменко, словно не слыша Гуляева, продолжал чистить Гречика скребницей, которую он держал в левой руке, правая рука, перебинтованная, висела на перевязи в проволочной шине.

— В госпитале какаву дают. А коня я твоего не испорчу. Вернешься — по всем статьям обратно сдам.

Хоменко обернулся к Гуляеву бледным, обескровленным лицом, покрытым мелкими капельками пота, пошевелил губами, но, ничего не ответив, дернул коня за повод и увел за собой.

— Вот, — сказал сокрушенно Гуляев казакам, наблюдавшим эту сцену, — какая железина! До последнего вздоха за своего Гречика держаться будет, а ты тут хоть плачь.

— Непреклонный!

— Рука заживет, а коня сколько лет растить надо!

— Танк подшибут, пересел на другой — и порядок. А тут конь.

— По мирному времени и то подходящего сыскать трудно.

— Конь не машина, испортят — не починишь.

Поняв, что бойцы одобряют поведение Хоменко, Гуляев тяжело вздохнул и сказал:

— Конник без коня — полчеловека.

Казаки помолчали. Гуляев поднял лежавшее на земле седло, положил его себе на голову и понес, звеня стремянами.

Очень горестен вид казака, несущего пустое седло. Бойцы, идущие ему навстречу, уступали дорогу, а порав-

нявшись, опускали глаза. Спрашивать в таких случаях конника не о чем — осиротел казак. И вот как это произошло.

Несколько дней подряд на нашем участке фронта почти непрерывно шел тяжелый теплый дождь. Лесные дороги размыло. Деревянные настилы всплыли, как бесконечные плоты. Кисло пахнущая грязь, в которой настилы плавали, начала гнить, грязь бродила и пучилась. А деревья, напитанные водой, стали совсем черными.

Немецкие части бежали из города Н. к другому городу Н. по единственному большаку. Перерезать эту дорогу наши механизированные части не успевали из-за распутицы. Но там, где не могли пройти могущественные машины, пройдет осторожной и тщательной поступью конь — казачий конь.

Энская кавалерийская часть получила приказ резать коммуникации отступающему врагу, чтобы задержать его. Летом 1943 года у нашего командования появились особые заботы: собирать фашистов в большие кучи, чтобы по большой куче приходился полновесный удар, и чтобы пожестче он был, неотвратимее.

Где рысцой, а где шагом, впритирку между тесными стволами деревьев, прошли казаки лесную чащу и выскочили на спину противнику.

Казачье воинское усердие и их стремительная хватка в бою с врагом хорошо известны. Ежедневно, читая в штабе оперсводку, мы с восхищением склонялись над картой и живым движением красной стрелки отмечали все новые десятки населенных пунктов, освобожденных от врага этим кавалерийским рейдом.

Конногвардейцы Андрей Гуляев и Яков Хоменко действовали в составе конной группы под командованием младшего лейтенанта Щукина Захара Андреевича.

Кони у обоих казаков были складные, с хорошим экстерьером, храп с горбиной, поступь стыдливая, как у девушки, — иноходцы, это же понять надо.

Когда в обороне стояли, у каждого коня своя щель была — на случай бомбежки. Щетки, гребень, скребница — конский туалет — всегда в ходу. Блестели кони, как новенькие, и походили друг на друга, словно близнецы. И разве можно отказаться идти в паре с другим конем, таким похожим, — это же очень красиво, когда кони одинаковые! А где люди вместе, там и дружба. Хоменко и Гуляев дружили между собой.

Хоменко относился к своему коню строго и всегда

шел на нем не так, как конь хотел, а как ему, хозяину, нужно.

Гуляев доверялся коню и повод держал свободно, между двух пальцев, как мундштук папиросы, и любил такую рысь, чтобы в ушах свистало.

Хоменко родился и вырос на хуторе Сладком, в Сальских степях. Солидный, всегда в одинаковом настроении, он умел и другим внушать спокойствие, даже в такую минуту, когда спокойным оставаться трудно.

Гуляев — уроженец города Микоян-Шахара. Человек очень впечатлительный, он легко поддавался чрезмерному восторгу, но так же легко впадал в задумчивую грусть. Во время конной атаки он всегда мчался впереди, крутя клинок так, что казалось — у него над головой висит металлический сверкающий шар. Во время же пешей атаки он все время нервничал и оглядывался назад, в ту сторону, где оставил коня у коновода. Он опасался, как бы фашисты не перенесли огонь в глубину и не повредили там иноходца.

Боевал Гуляев с азартом, Хоменко — с угрюмым упорством и после боя был молчалив; у него был свой жестокий счет с врагом.

Командир кавалерийской части получил по радио приказ — выделить группу конников, послать их ночью на линию железной дороги, чтобы они в определенное время обозначили ракетами линию полотна. Наши бомбардировщики должны были покидать туда бомбы.

Гуляев и Хоменко вызвались на это дело. До рассвета они посылали в гудящее самолетами небо ракеты, а наши летчики бросали в ответ на землю бомбы, такие сильные, что рельсы скручивались от них, как синие змеи.

С рассветом Гуляев и Хоменко по лесной тропинке отправились к себе в расположение, очень довольные собой. И вот на лесной заболоченной дороге, протянутой рядом с тропой, они увидели два немецких серых танка Т-4.

Передний танк, застряв в выбоине, буксовал. Он бешено крутил обе гусеницы, выбрасывая позади себя два фонтана грязи, и от этого походил на землечерпалку. Второй танк, холодный, видимо поврежденный, был привязан цепью к первому.

Фашисты стояли возле головного танка и, взявшись руками за большое, тяжелое бревно, крича что-то, старались сунуть бревно под гусеницы.

Гуляев, у которого при виде врагов закружилась голова, еще не прикинув, что к чему, дал шпоры коню и, вращая

над головой клинком, выскочил на дорогу и стал рубить. Когда ему попался солдат в каске, он успел перевернуть в руке клинок и уже обушком стукнул врага по голове — иначе клинок больше никуда бы не годился.

Хоменко, который при всех случаях оставался спокойным, положил автомат на сук дерева и бил из него тщательно и на выбор, боясь только, как бы не задеть Гуляева, крутившегося на своем коне в самой гуще фашистов.

И вот в свалке убили коня у Гуляева, а он сам, лежа на земле, опираясь на локоть левой руки, отмахивался от врагов клинком.

Но фашисты, решив, очевидно, что казаков много, а их мало, добивать Гуляева не стали, а бросились к танкам и, забравшись внутрь, захлопнули крышки люков.

Гуляев успел доползти до канавы, прежде чем гитлеровцы завертели башню, открыв круговой огонь из пулеметов.

Казаки залегли у толстых стволов деревьев и стали сторожить танки. Ведь пока головной танк, как свинья, зарылся в грязи, ему с места не тронуться, а чтобы он тронулся, нужно бревно к гусеницам привязать, и уж только тогда, подтянув под себя бревно, упираясь в него, танк сможет выбраться на прочное место. Но чтобы подтянуть это бревно, фашистам нужно выбраться наружу, а тут их казаки стерегут.

Казаки были упорные, фашисты тоже. Через ровные интервалы головной танк включал оба мотора и начинал снова работать, как землечерпалка, выбрасывая позади себя грязь. Рано или поздно, а решили фашисты докопаться до твердого грунта и вылезти.

Иногда они предпринимали вылазки, и тогда происходил огневой поединок, во время которого и перебило руку у Хоменко.

Впрочем, каждый раз казакам удавалось загнать их обратно в танк. Но вся беда была в том, что к вечеру дождь прекратился, а сильный ветер дул в лесную дорогу, словно в трубу, и сушил ее.

Понимая это, Хоменко сказал Гуляеву, что он очень опасается, как бы танки не ушли от них. И он предложил Гуляеву сесть на коня и скакать до части за помощью.

Но Гуляев отказался, предложив, чтобы Хоменко ехал сам.

Хоменко заявил, что он не может бросить товарища.

— Тогда чего же делать?

Хоменко подумал и сказал:

— Давай пошлем моего коня.

И вот что сделал Хоменко. Вылил из фляжки воду, положил туда донесение с описанием всех обстоятельств и повесил фляжку на шею коня, вроде ботала. Потом он стал стегать коня, но конь не уходил. Он снова и снова стегал его, пока конь не обиделся и не ушел. Но минут десять спустя конь опять вернулся и опять Хоменко бил его. Тогда конь, низко опустив голову, ушел и больше не возвращался.

На рассвете фашисты вылезли из танка, им удалось нырнуть под его брюхо и засесть там с ручным пулеметом, прикрываясь огнем; два фашиста выбрались к канаве и стали оттуда бить по лесу, где прятались казаки. А патронов у казаков оставалось считанное количество. В последний момент, когда казакам приходилось совсем худо, из лесу выехала пароконная упряжка с противотанковым орудием и конный отряд с младшим лейтенантом Щукиным.

Казаки только два раза успели выстрелить из орудия, как гитлеровцы стали уже просить прощения.

Возвращались обратно казаки с трофеями: впереди ехал немецкий танк и волок на буксире другой, поврежденный. Головным танком управлял немец — механик-водитель, а рядом с ним сидел младший лейтенант Щукин.

Остальные фашисты разместились снаружи, на броне, и вместе с ними сидел Гуляев, которому больше не на чем было ехать.

...Командир части вручал отличившимся в этих боях награды. И когда подошел к Гуляеву с орденом Отечественной войны второй степени в руках и увидел лицо казака, командир удивленно спросил:

— У вас что, товарищ Гуляев, зубы болят?

— Нет, — сказал Гуляев, — коня жаль.

Вечером казаки пели песни.

А Гуляев бродил один, и было ему очень тоскливо, и жить на свете ему было больше неинтересно.

Увидев Хоменко, он хотел пройти мимо него, но Хоменко подошел к нему сам и сказал:

— Я тебе, Яков, коня оставляю. Но ты смотри!

Гуляев начал так причитать, так благодарить, что Хоменко рассердился и, рассердившись, сказал:

— Мне такого коня не надо, который хозяина бросает, я другого, получше, сыщу.

Но то, что сказал Хоменко, было неправдой.

Он любил коня, и конь верно любил его, потому что это был умный и преданный конь, и если бы Гречик не был умным и преданным, разве бы он сделал то, что он сделал!

Но, видно, на войне в дружбе у людей рождается что-то такое возвышенное, что словами объяснить сразу трудно.

И вот отдал Хоменко своего любимого коня Гуляеву, отдал, зная, что душой он сильнее своего друга и сумеет перенести горе, не теряя себя, а вот Гуляев не сумеет. Уж очень круто бросает его от непоправимой печали к крайностям восторга.

1943

ДЕСАНТ

Лейтенант Петрищев прибыл ночью к полковнику в штаб энского соединения из немецкого тыла. Пять дней тому назад он был заброшен в тыл в составе десантной группы, и сейчас весь вид Петрищева говорил о пережитом.

Лицо и шея лейтенанта сильно поцарапаны, в ушах запеклась кровь, ватник опален, на коленях и на локтях темные влажные пятна. Но вместе с тем в позе его, в блеске глаз, в подчеркнута лаконичных ответах чувствуется гордость человека, только что побывавшего в самом некле.

Петрищеву лет двадцать с небольшим, полковнику — за сорок.

— Используя карманную артиллерию, мы продолжали теснить противника в его собственных траншеях, — деклавывал лейтенант. — Группа Федоренко нанесла огневой удар. Противник, покинув траншеи, стал отступать. Прижатый к собственному минному полю, он решил окапываться и обороняться любой ценой, но сопротивление было нами сломлено. Остатки, обратившись в паническое бегство, подорвались на минном поле. Затем...

— Это вы после, — перебил полковник. — Скажите, могу я после того шума, который вы там подняли, танки пускать или не могу?

— Бой за переправу продолжается, — уклончиво сказал Петрищев, — и если родина нам прикажет...

— Вы родину не тревожьте. — Полковник встал, прошелся по блиндажу, поправил фитиль в лампе, спросил: — Через два часа можете обратно отправиться?

— Могу.

— Так вот, я вам даю саперный взвод. Будете действовать в его составе.

И, кажется, ничего обидного в словах полковника не было, но Петрищев покраснел и колеблющимся голосом спросил:

— Где действовать, товарищ гвардии полковник?

— Там,— понятно? Свою переправу будем строить и дорогу,— сердито сказал полковник и стал царапать лезвием безопасной бритвы по карте, стирая стрелы, нанесенные красным карандашом.

Мужественная профессия советских парашютистов-десантников — подвиг. Битвы с численно превосходящим врагом здесь не исключение, а правило. Воля человека достигает тут своего высшего накала.

Что же касается саперов-дорожников, то они в большинстве народ пожилой, степенный, отцы семейств. Понятно, с каким чувством Петрищев отправлялся в саперный взвод, чтобы принять над ним команду.

До вылета оставалось минут двадцать. Пустое поле аэродрома курилось поземкой. Небо было тусклым. Кусок луны то появлялся из-за облаков, то исчезал. Где-то на краю опушки грохотали разогреваемые моторы самолетов.

Петрищев обходил выстроившийся саперный взвод и проверял на людях парашюты.

— Валенки должны туго на ногах сидеть, а то в воздухе свалятся. У кого слабо, намотайте лишние подвертки. А котелок зачем? Он вам мешать будет.

— Так ведь невесть куда попадем, как же без котелка?

— Оставьте котелок.

Боец смущенно улыбается. Петрищев испытывает глухое раздражение. Он знал восторженное, благоговейное и высокое волнение, которое всегда сопровождало его перед операцией,— а тут вопросы о котелках, о пилах!

Лейтенант обращается в последний раз с вопросом: есть ли среди бойцов люди, которые передумали и хотят остаться?

Ему отвечают разногласно:

— Сдюжим, товарищ гвардии лейтенант. Конечно, оно жутко. Но ничего, как-нибудь. Главное, чтобы инструмент не затерялся, лучше бы на руки раздать.

Лейтенант машет рукой и приказывает готовиться к посадке. На линейку выкатываются большие самолеты, выкрашенные по-зимнему.

Лейтенант кричит:

— Осторожней! Не цепляйтесь парашютами, беды наделаете! За что руками хватаетесь? Ведь специальные уступы есть.

Бойцы сидят на корточках. Несколько человек дремлют. Другие озабоченно ощупывают на себе лямки парашютов, роются зачем-то в карманах. Лейтенант подходит.

— Ну, как самочувствие?

Боец вскакивает и ударяется головой.

— Сидите, — кричит ему лейтенант, — сидите!

Но вот команда: «К люкам!» Врывается холодный ветер. Бойцы вытирают рукавами вдруг вспотевшие лбы. Прыгают. На мгновение запоминаются лица — растерянные, а иногда почему-то виновато улыбающиеся. Некоторые, прежде чем прыгнуть, подсакивают на площадке, а потом, словно бодая воздух, валятся вниз. Другие просто шагают, третьи валятся боком, а есть такие — обернувшись лицом к лейтенанту, подмигнув по-озорному, соскакивают спиной.

Последним прыгнул лейтенант. Сверху он наблюдает падение бойцов. Опускаются кучно. Грузовые парашюты уже приближаются к земле.

Потом лейтенант стоит посреди поляны, к нему идут бойцы. Говорят шепотом, смеются во все горло:

— Панченко висит на дереве.

— Сидоренко порвал парашют и боится доложить об этом.

Лейтенант отправил автоматчиков в разведку, потом пошел сам расставить боевое охранение, секреты. Саперы разбирают инструмент и идут в лес, где они должны проложить дорогу к реке и соорудить переправу, так как лед еще тонкий и не выдержит тяжести танков.

Уже совсем рассвело, когда лейтенант вернулся к санерам. Переправа проложена. Она похожа на огромный плот. Но лес возле переправы стоял по-прежнему густой, сомкнутый. Дороги не было.

Лейтенант вызвал командира взвода, старшего сержанта Ключникова.

— Где дорога? — спросил лейтенант шепотом.

Ключников тихо и с достоинством сказал:

— Может, мы и затянули маленько, товарищ гвардии лейтенант, но дорога готова вполне.

— Где? — спросил лейтенант.

— Мы деревья спилили и на распорки поставили, — объяснил Ключников. — Если бы мы просеку голой оставили, то фашист, который тут шатался на «костыле», сверху бы ее подметил и по радио сообщил куда следует, а этого нам не нужно. Танки выйдут согласно сигналу, и к условленному времени мы деревья свалим...

Лейтенант отправился в лес с Ключниковым. Огромные деревья, спиленные и подпертые жердями, стояли длинной аллеей вдоль просеки на своем зыбком основании. Стопудо-

вые стволы, готовые каждое мгновение рухнуть, вызывали щемящее чувство у человека, стоящего у их подножия.

— Так как же вы так смогли?

— Народ очень разгорячился...

Потом в шалашах сидели саперы и говорили о своем ночном рейде. Говорили с добродушием и неторопливой веселостью пожилых людей, очень уважающих друг друга.

— Отпишу домой,— говорил кто-то густым баском: — значит, так и так, как комсомол, с парашютом прыгал.

Другой голос, дребезжащий, теноровый, вторил:

— А я в себя воздуху побольше вдохнул, чтобы полегче быть. Кому охота ноги ломать!

В одиннадцать сорок на востоке из-за леса поднялись тонкие красные нити ракет. Саперы начали валить деревья. Деревья падали разом. И прямая просека легла стрелой к переправе. Спустя полчаса горячие танки промчались по ней и исчезли в белой снежной пыли по ту сторону реки.

Старший сержант Нестор Иванович Ключников, когда прошли танки, отправился вдоль просеки. Он останавливался возле настилов и тщательно оглядывал каждое бревно, что-то записывая на бумаге. Потом он выстроил взвод, сделал строгое замечание тем бойцам, у которых бревна в настиле расшатались под тяжестью танков. Лейтенант и автоматчики складывали парашюты. Саперы, наблюдая за их ловкой работой, не переставали восхищаться.

К вечеру по просеке пошла уже наша пехота, а за ней потянулись и обозы.

ЛЮБИМЫЙ ТОВАРИЩ

— Вы извините, товарищ, это место занято.— Невидимый в темноте человек зашуршал соломой, тихо добавил: — Это нашего политрука место.

Я хотел уйти, но мне сказали:

— Оставайтесь. Куда же в дождь? Мы подвинемся.

Гроза шумела голосом переднего края, и, когда редко и методично стучало оружие, казалось, что это тоже звуки грозы. Вода тяжело шлепалась на землю и билась о плащ-палатку, повешенную над входом в блиндаж.

— Вы не спите, товарищ?

— Нет,— сказал я.

— День у меня сегодня особенный,— сказал невидимый человек.— Партбилет выдали, а его нет.

— Кого нет? — спросил я устало.

— Политрука нет.— Человек приподнялся, опираясь на локоть, и громко сказал: — Есть такие люди, которые тебя на всю жизнь согревают. Так это он.

— Хороший человек, что ли?

— Что значит — хороший! — обиделся мой собеседник.— Хороших людей много. А он такой, что одним словом не скажешь.

Помолчав, невидимый мой знакомый снова заговорил:

— Я, как в первый бой, помню, пошел, стеснялся. Чудилось — все пули прямо в меня летят. Норовил в землю, как червяк, вползти, чтобы ничего не видеть. Вдруг слышу, кто-то смеется. Смотрю — политрук. Снимает с себя каску, протягивает: «Если вы, товарищ боец, такой осторожный, носите сразу две: одну на голове, а другой следующее место прикройте. А то вы его очень уж выставили». Посмотрел я на политрука... ну и тоже засмеялся. Забыл про страх. Но все-таки на всякий случай ближе к политруку всегда был, когда в атаку ходили. Может, вам, товарищ, плащ-палатку под голову положить? А то неудобно.

— Нет,— сказал я,— мне удобно.

— Однажды так получилось,— продолжал человек.— Хотел я фашиста штыком пригвоздить. Здоровенный очень попался. Перехватил он винтовку руками и тянет ее к себе, а я к себе. Чувствую — пересилит. А у меня рука еще ранена. И так тоскливо стало, глаза уж закрывал. Вдруг выстрел у самого уха. Политрук с наганом стоит, гитлеровец на земле лежит, руки раскинув. Политрук кричит мне: «Нужно в таких случаях ногой в живот бить, а не в тянульки играть! Растерялись, товарищ? Эх, вы!..» И пошел политрук, прихрамывая, вперед, а я виновато за ним.

Человек замолчал, прислушиваясь к грозе, потом негромко сказал:

— Дождь на меня тоску наводит. Вот, случилось, загрустил я. От жены писем долго не было. Ну, мысли всякие... Говорю ребятам со зла: «Будь ты хоть герой, хоть кто, а им все равно, лишь бы потеплее да поласковее». Услышал эти мои слова политрук, расстроился, аж губы у него затряслись. Долго он меня перед теми бойцами срамил. А через две недели получаю я от своей письмо. Извиняется, что долго не писала: на курсах была. А в конце письма приписка: просила передать привет моему другу, который в своем письме к ней упрекал ее за то, что она мне не писала. И назвала она фамилию политрука. Вот такая история.

Человек замолчал, помигал в темноте, затягиваясь папироской, потом задумчиво произнес:

— Ранили политрука. Нет его. В санбате лежит. А нам всем кажется, что он с нами.

Дождь перестал шуметь. Тянуло холодом, сладко пахнущей сыростью свежих листьев. Человек поправил солому на нарах и сказал грустно:

— Ну, вы спите, товарищ.

...Когда я проснулся, в блиндаже уже никого не было. На нарах, где было место политрука, у изголовья стоял чемодан, на нем аккуратно свернутая шинель и стопка книжек.

Это место занято.

И понял я, что я тоже никогда не забуду этого человека, хотя никогда не видел его и, может быть, никогда не увижу

РАССКАЗ О ЛЮБВИ

На войне много тяжелого и страшного. Но светлое и радостное чувство любви живо вечно. И когда люди отдают свою жизнь за высокое и чистое, хотелось бы, чтобы и любовь здесь у нас, на фронте, лишенная украшений мирной жизни, была такой же высокой и чистой.

Леля (так звали ее все) — полная блондинка с мягким и добрым лицом — не имела в характере ни одной черты, которая могла бы свидетельствовать о волевых качествах ее натуры. Она смеялась, когда было смешно, сердилась и краснела, когда говорили скабрёзности, плакала втихомолку, когда у ее раненого подымалась температура, и целовалась, прощаясь с выздоравливающими.

Но ни один из раненых — а раненые очень наблюдательны — не мог бы сказать, что у Лели с кем-нибудь из персонала госпиталя были близкие отношения.

И когда однажды Леля громко сказала молодому врачу: «Слушайте, зачем вы мне дарите одеколон, ведь я же не бреюсь!» — даже тяжелораненые усмехнулись, радуясь, что Леля и этого молодого, здорового, красивого парня поставила на место.

Тут уж ничего не поделаешь. Когда много мужчин и среди них одна женщина, мужчины любят эту женщину бескорыстно и чисто, пока она сама остается такой.

...Лейтенанта Ваню Ломджария привезли ночью. До рассвета вынимал хирург из его обескровленного тела куски раздробленного металла. Через неделю операцию повторили и вынули еще несколько осколков.

Ни до операции, ни во время нее, ни после Ломджария не проронил ни стона, не выговорил ни слова.

«Или контуженный, или по-русски говорить не умеет», — решила Леля. И, с обычным рвением ухаживая за тяжелораненым, она вслух произносила ласковые слова, которые никогда бы не решилась сказать никому другому.

Ломджария лежал неподвижно, крепко стиснув синие

губы, и только глаза его, большие, темные, горящие, говорили о переживаемой боли.

Но стоило Леле погладить его худую руку, снова начать говорить нежные слова, все, какие она знала, как в глазах Ломджария пропадал желтый, дикий огонь боли, и они озарялись другим — глубоким, влажным, почти здоровым блеском.

Три недели пролежал Ломджария в госпитале, и Леля привыкла разговаривать с молчаливым раненым доверчивым, ласковым шепотом, как еще девочкой разговаривала со своей куклой.

Когда врач объявил, что выздоровевший лейтенант Ломджария просит с ним проститься, Леля спокойно вышла на улицу.

Конечно, она не узнала в этом стройном военном своего раненого. Беспомощные, как дети, раненые, выздоровев, сразу становились взрослыми.

Леля подошла к Ломджария и протянула ему руку. Он взял ее руку в свою и, горячо и жадно сжимая, вдруг страстно проговорил:

— Леля, я люблю вас...

Леля растерялась, покраснела и глупо — так думала она потом, вспоминая свое смятение, — спросила:

— Разве вы говорите по-русски?

— Леля, — сказал нетерпеливо лейтенант, — я не могу больше задерживать машину. Вы слышите, я люблю вас.

— Ну что же, — сердито сказала тогда Леля, — я к вам тоже неплохо отношусь, но это никакого отношения не имеет к тому, о чем вы думаете.

Шофер нетерпеливо нажимал сигнал. Ломджария оглянулся на машину и, потянув Лелину руку к себе, сказал упрямо:

— Я люблю вас, слышите вы?

Резко повернувшись, он побежал к машине. Когда машина тронулась и он стал махать рукой, Леля не ответила. Она была возмущена.

Леля быстро забыла Ломджария, и по-прежнему ее доброе, мягкое лицо улыбалось всем раненым, и всем раненым нравилась эта простая, кроткая, такая заботливая девушка, и она любила их всех, пока они были больны.

Прошло три месяца. Леля, приняв дежурство, обходила палату. Вдруг она почувствовала, что кто-то смотрит на нее. Обернувшись, она увидела на койке № 4 нового раненого с толсто забинтованной головой, и она сразу узнала эти темные горящие глаза.

И опять Ломджария все время молчал, и Леля снова говорила шепотом те нежные, ласковые слова, какие, она знала, умаляют боль и придают силу ослабевшим людям.

Ломджария, стиснув обескровленные губы, слушал эти слова, и по его лицу нельзя было понять, слышит он их или нет.

И вдруг он неожиданно сказал:

— Леля...

Леля уронила термометр и покраснела.

— Леля,— продолжал Ломджария,— мне стыдно, что я сказал вам тогда эти слова. Я не имел права их произносить.

А Леля раскаивалась, что так неловко разбила хороший термометр, и, сердясь на свое необычное волнение, растерянно сказала:

— Ну и хватит...

Ломджария откинулся на подушку и ничего не ответил.

Несколько дней Леля старалась не задерживаться у койки Ломджария и обращалась с ним вежливо и сдержанно.

Но однажды, поправляя у него на голове повязку, она сказала со странной нежностью:

— Вот видите, сколько мне забот с вами. Воюете, видно, неосторожно?

Лейтенант холодно спросил ее:

— Так вам хотелось бы, чтоб я дрался лениво, как корова?

— Нет,— сказала Леля задумчиво и невольно положив свою руку на руку Ломджария.— Деритесь, пожалуйста, так, как вы дрались до сих пор, но, может быть, хоть чуточку осторожнее.— И смутилась.

А Ломджария, гневно блестя глазами, сказал:

— Ну, как драться, вы меня не учите, гражданочка. Я сам знаю, как мне надо драться.

Потом лейтенант выздоровел. Он вежливо простился с Лелей и не произнес ни одного из тех волнующих и страстных слов, которые он говорил ей тогда, вначале, и Леля вернулась в палату подавленной и огорченной.

Вечером у Лели были заплаканные глаза.

И раненые — ведь раненые очень наблюдательны — поняли, что Леля любит лейтенанта Ломджария, и не так, как она любит их всех, а иначе. И все они сочувствовали Леле и радовались, что на свете существует такая большая, чистая любовь, о которой нельзя разговаривать.

ССОРА

Деревья были белыми: они обросли инеем. Воздух был стеклянно чист: его высушила стужа.

Снег рассыпался, как песок, и мороз, подобно кислоте, разъедал под одеждой кожу.

Часть совершила обходный стосемидесятикилометровый марш. Через шесть часов, в сумерки, предстояло вступить в бой. Командир приказал бойцам спать, хотя в небе еще только загоралось холодное солнце.

И случилось так, что три бойца, три товарища, поссорились. Была ли виной тому усталость от непомерно тягостного перехода в буран по пересеченной местности, или тревожная раздраженность, вызванная вторыми сутками без сна, или то, что они озябли до костей, но только три товарища, три бойца поссорились из-за пустяка.

Теперь они не глядели друг другу в глаза, угрюмо готовясь к ночлегу. Оскорбленные и подавленные злыми, обидными словами, они не смогли все-таки расстаться друг с другом даже на эту ночь. Спать одному нельзя, а отщепенца все равно никто не приютил бы, потому что не в обычае фронтовиков поощрять ссоры.

Юносов молча выкопал в снегу глубокую яму. Гарбуз молча устелил дно ее еловыми ветвями. Поповкин молча прикрыл ветви плащ-палаткой, и, когда двое улеглись, он закрыл их шинелями, сверху положил еще одну плащ-палатку, закидал ее снегом, потом, приподняв, полез внутрь и, прижавшись к Юносову, задышал ему в курчавый затылок.

Скоро под настилом стало тепло, но эта теплота не растопила обиды в сердцах трех бывших товарищей, и они лежали, прижавшись друг к другу, оскорбленные и подавленные.

Лежали — и не могли уснуть.

Пришел серый вечер, и снег был серым, как пепел, и потерянная луна катилась в серых облаках.

Цепи бойцов бесшумно ползли по снегу. Ползли, прорывая себе путь в снегу плечом, головой. Движения их были сходны с движениями пловцов. Лощина, которую они должны были пересечь, походила на озеро, а сугробы, наметенные ветром, были волнами его.

Скоро на флангах сухо и четко застучали пулеметы, с визгом стали рваться мины, и в воздухе после их разрывов носилась копоть, черная, как вороний пух.

И снова три бойца, три бывших товарища, очутились рядом. Они не могли расстаться. Никто не позволил бы им этого, потому что они давно уже сработались в бою.

Поповкин — снайпер, Юносов и Гарбуз — лучшие гранатометчики. Действовали они всегда так: Гарбуз и Юносов ползли впереди, Поповкин сзади. Он должен был охранять их от вражеских пулеметчиков и стрелков своим точным огнем. Этот способ бойцы называли «вилкой». В основе этой вилки находились твердые руки Поповкина и его пронзительно точный глаз.

И сейчас они ползли по снежному полю к вражескому дзоту, чтобы, блокировав его, разрушить систему немецкого огня.

Поповкин, умяв снег, опираясь на локти, вел огневой поединок с дзотом. Но пули его отрывали только щепки от сруба, и вражеский пулемет все продолжал стучать по тем двум, которые ползли впереди. В смятении Поповкин начал частить, и выстрелы его от этого стали еще менее точными. Забыв в нетерпеливой злобе об осторожности, Поповкин выполз на бугор и стал целиться. Но пуля вражеского стрелка хлестнула его по спине, вспоров полушубок. По спине потекла теплая кровь.

Гарбуз и Юносов, прижатые к земле низкими очередями пулеметного огня, лежали неподвижно, ожидая, когда сбитый Поповкиным вражеский пулемет смолкнет. Но пулемет все стучал и стучал. И тогда Гарбуз, ничего не сказав Юносову, отполз в сторону и, приладившись, начал бить по амбразуре из своего автомата. Гарбуз не был первоклассным стрелком, и из его огневого состязания ничего не вышло, только осколками мины разбило автомат у него в руках.

Юносов бросился к Гарбузу, но Гарбуз вдруг поднялся и побежал во весь рост к дзоту, далеко отбросив назад руку с зажатой в ней гранатой.

Юносов опустил на колено и стал стрелять по амбразуре, откуда беспрерывно стучал пулемет. Раздался глухой

взрыв, за ним второй. Пригнувшись, Юносов побежал к дзоту, заряжая на бегу гранату.

И когда Поповкин подполз к дзоту, он увидел сидящего на перевернутой немецкой каске Гарбуза, перевязывающего окровавленную руку бинтом. А возле него стоял Юносов и сердито говорил:

— Еще мало досталось. Нашли время ругаться! Кому от этого хорошо? Им хорошо! — И Юносов кивнул головой на мертвого фашиста, лежащего ничком у входа в дзот.

Поповкин подошел к бойцам. Рассеченная спина болела, и он, согбенный, как старик, виновато улыбнулся и хотел рассказать все, чтобы объяснить, попросить прощения, но Гарбуз поднял глаза и сказал тихо:

— Я, Степа, перед тобой извиниться могу, конечно, но думаю, что теперь все понятно. — И протянул Юносову руку, чтобы тот завязал ему концы бинта вокруг кисти.

ЖИВАЯ И МЕРТВАЯ ВОДА

Эта степь — вытянутая, плоская, чуть покрытая вялым тающим снегом — на огромном пространстве своем несет следы тяжкого танкового сражения. Чтобы постигнуть масштабы его, нужно исколесить сотни километров шоссейных, грунтовых и проселочных дорог.

От самого Киева и до переднего края торчат из земли остовы немецких машин. Тысячи тонн металла! И каждая машина выглядит как изваяние, выражающее то отчаяние поражения, то позор бегства, то агонию смерти.

Видения битвы сопровождают нас. Деревня Медведыха. Скопище немецких транспортеров, похожих на гробы на колесах. «Тигры» с гусиными вывихнутыми шеями своих длинноствольных орудий. Раскрашенные в лягушечий цвет «пантеры»... Они были застигнуты здесь врасплох, на исходном положении, внезапно прорвавшимися нашими танками, окружены и расстреляны. А вот эти немецкие машины, очевидно, метались и, пробуя удрать, увязли в трясине ручья. В люке одного танка торчит палка с белой тряпичей — мольба о пощаде...

А дальше — снова степь и снова разбитые немецкие танки...

Уже смеркалось, когда мы подъехали к деревянному фургону — совсем такому, какие бывают у трактористов или комбайнеров во время посевной или уборочной. Только фургон этот стоял в балке, и основанием ему служила полутонна машина.

Внезапно вывернувшийся из темноты человек в промасленной стеганке негромко доложил, что отделение РВБ под командой сержанта Глухова выполняет боевое задание.

Степь была тиха и недвижима. Только в том направлении, где возвышался какой-то курган, со стороны противника то гасли, то вспыхивали пулеметные очереди.

— Почему они бьют по кургану?

— Какой же это курган? Это наш танк,— обидчиво заметил Глухов,— мы его в брезент закутали, потому он такой странный. А под брезентом ребята мои сидят и ремонтируют при нормальном электрическом освещении.

Мы вошли в фургон и вдруг очутились в тесной слесарной мастерской.

Глухов предложил нам раздеться, поставил на железную печку чайник.

Расставляя кружки, Глухов не спеша рассказывал:

— Наше дело какое: танки вперед, мы — за ними. Танкисты дразнят, что мы живую и мертвую воду за собой возим. Это вовсе не обидно, а правильно... Утром немец повредил танк «Минин». Пробовали его из оврага тракторами вытащить,— не удалось: немец это место пристрелял и не позволял подойти тракторам. Подошли мы, видим — мотор поврежден и застряла машина в грунте по самое брюхо. Сколотили мы сани, положили новый мотор и поволокли к танку. Если двух коней запрячь — и они бы вспотели. Мы вшестером тащили, но дух захватывало... Запустили мотор, а гусеницы только землю скребут, и все дальше танк в грунт уходит.

Решил я передохнуть и перекур для мыслей сделать. Вижу, лежит тут же, в балке, немецкий колесный транспортер; подошел я и говорю ребятам: снимай колеса. Сняли колеса, а на них стальные кольца надеты. Взяли мы эти кольца и надели на гребни гусениц, и получилось, словно на танк серьги надели. Продернули в кольцо бревно. Запустили мотор, танк и выскочил из ямы.

Вчера нас немецкие автоматчики в танке окружили — еле инструмент успели унести. Такая неприятность! Лежим мы в степи, и так грустно на душе: сколько труда зря пропало! А немцы по нас огонь ведут, деваться некуда. Вдруг вижу: совсем недалеко немецкая «пантера» с разорванным орудием. Подползли мы к ней, залезли внутрь. Хотели только передохнуть от обстрела, а как оглянулись — видим, наладить машину можно. Принялись за дело. Часа через три сел я к рычагам управления, дал газ — все в порядке.

Поехали на своем ходу к танку. Которых фашистов не удалось гусеницами придавить — перестреляли. Работу, конечно, закончили в срок.

Вдруг послышалось глухое ворчание танка.

Глухов вскочил и весело крикнул:

— Работает!

Скоро мы различили в гуле немецких пушек громко

звонящий голос танкового орудия. А немного погода в дверь фургона кто-то постучал. Глухов погасил свет и сказал:

— Войдите.

— Товарищ сержант,— доложил чей-то радостный голос,— «тридцатьчетверка» номер триста пятнадцать прошла испытание на «отлично». Разрешите машину сдать экипажу?

— Хорошо, выполняйте,— сказал Глухов и зажег свет.

— Это ефрейтор Аникапов,— представил он,— бывший шофер. Из немецкого тыла недавно привел наш подбитый разведывательный танк. Шесть дней ремонтировал. Ночью работал, а днем в скирде прятался. Отличный ремонтник!..

Утром мы проснулись от шума голосов, раздававшихся снаружи. Я вышел из фургона.

Танкист в сдвинутом на затылок шлеме, заискивающе улыбаясь, просил Глухова:

— Может, парочку клапанных пружин успеете дотемна переменить? Мне к ночи на исходное идти, может, успеете?

— На перемену клапанной пружины у меня положено вместо восьми часов двадцать минут сроку,— гордо сказал Глухов,— нечего тебе тут стоять и производство мое демаскировать.

Обрадованный танкист, чуть не в пояс кланяясь, стал жать руку Глухова.

Увидев меня, Глухов поздоровался и осведомился, как спалось, потом сдержанно заметил:

— А мы за ночь уже четвертую машину обслужили. Клиенты только очень горячие...

Простившись, я снова тронулся в путь.

И опять эта бескрайняя степь, черные мерцающие лужи, уцелевшие ветряки, украинские хаты с мягкими соломенными крышами и ржавые глыбы торчащих из земли немецких танков.

Я знал всю тягость танкового побоища, происходившего здесь. Но теперь перестал удивляться, почему на нашем пути так мало встречалось подбитых советских машин. Зеленые фургоны, идущие следом за атакующими волнами наших машин, на линии огня возвращают машинам жизнь.

МОСКВИЧКА

В избе жарко. А у горячо натопленной печи сидят две девушки-санитарки в полушубках.

— Вы что, девчата, простуженные?

— Нет.

— Так что же вы, как старухи, в шубах у печки гретесь?

— Сегодня раненых много, кровь давали, теперь зябнем.

— Идите отдыхайте.

— Нельзя. Мы капитана ждем. У нас с Ниной одна группа, мы с ней решили сложиться — дать ему еще немножку крови.

Лица у обеих девушек усталые, глаза впали, но выражение этих глаз радостное и одухотворенное.

...Нет более жестокого побоища, чем траншейный бой. В узких канавах люди дерутся врукопашную — лопатами, ножами, отомкнутыми штыками. Голыми руками душат врага. Кругом рвутся гранаты. Здесь мы опять встречаем девушку с хорошими глазами, с зеленой сумкой через плечо. Она говорит ровным голосом, ее движения медленны и осторожны. Бинтуя, санитарка успокаивает раненого, и лицо у нее такое спокойное, словно здесь, на поле боя, есть только два человека — она и раненый.

Потом девушка тащит раненого. Фашистский снайпер охотится за нею. Отдыхая, она ложится на землю так, чтобы загородить бойца, — как раз с той стороны, откуда ведет огонь снайпер.

Разорвалась мина. Санитарка вскрикнула и зарылась лицом в снег. Раненый спрашивает:

— Испугалась?

— Да, — говорит она, смущенно улыбаясь, — очень.

Потом девушка снова ползет и тащит раненого, а из пробитой ее ноги течет кровь, — она не хотела, чтобы боец узнал о ее ранении.

Часто бывало так: незнакомый военный подходил к Нине Ходоровской, обнимал ее, целовал и произносил какие-то путанные слова благодарности.

Конечно, она не могла запомнить всех, кого спасла от смерти, но ее, Нину Ходоровскую, эти люди запоминали на всю жизнь.

Нина была серьезная и умная девушка. Здесь, на фронте, изучала английский язык, много читала, потому что хотела быть образованным человеком. И когда полюбила, это чувство было огромным, но суровым и строгим. Она пошла работать в разведку, где служил любимый ею человек.

Отряд, находясь в разведке, делал проход в проводочных заграждениях. Боец наткнулся на мину — произошел взрыв. Враги открыли пулеметный огонь. Нина, приподнявшись, делала перевязку бойцу, которому осколком мины раздробило ногу. Ей кричали:

— Ложись!

Но она не легла, потому что раненый истекал кровью, а лежа неудобно затягивать жгут. Немецкая пуля пробила ей грудь. Умирая, она еще пыталась докончить перевязку.

А накануне Нина говорила товарищам, как отпразднует день своего рождения:

— Наварю киселя целую кастрюлю, соберемся все вместе и будем наслаждаться.

Нину Ходоровскую похоронили возле деревни Кинтово.

И вот сейчас передо мной лежит ее ученический портфель, маленький, с испорченным замочком, в нем письма, дневники, записи.

До войны в Москве было свыше полумиллиона школьников.

Мы говорили о них — дети. Мы думали, что зрелость этого поколения, мужественный характер его проявятся позже, с годами, и представляли их ближайшее будущее в стенах вузов, техникумов, в просторных цехах новых заводов. Мы знали, что юношеские мечты, самые чистые и светлые, совпали для них с содержанием и направлением жизни страны, гражданами которой они являются. Но мы еще не знали меры твердости их духа в борьбе за осуществление высшей справедливости на земле.

С горестным благоговением мы читаем строки из дневника Нины Ходоровской, написанные 30 июня 1941 года:

«У нас война с Германией. Трудно... Каждый день сотни убитых. Взяты Вильно, Ковно, Гродно, Белосток, Брест.

Не знаю, что делать. Хотела идти в РОКК. Отговаривают. Мама не хочет. Боюсь, что не выйдет. Но я очень хочу. Хочется помочь. Но где эта помощь нужна от меня и где я действительно смогу помочь — не знаю. Хочу, хочу очень. На совести какой-то камень. Мне грустно и плохо. Боюсь, что все это так и останется у меня словами. Я — ничтожный человек и никуда не гожусь».

Это пишет девочка-подросток. Единственная дочь профессора Ходоровского. Ее считали поэтессой, литератором, прочили блестящее будущее. Разве уж этого одного было недостаточно, чтобы привести к ребяческому эгоизму?

Советское социалистическое государство, его интересы — превыше всего для современного молодого человека, это его личная жизнь, его совесть. Именно потому с таким презрением говорит о себе Ходоровская, когда, колеблясь, еще не находит сил принять активное участие в борьбе за независимость своей родины. И когда чувство осознанного долга побеждает, она обретает непреклонную душевную силу и стойкость, которые многим на фронте казались необычайными.

Вот одно из писем Ходоровской, адресованных школьному товарищу, от 15 февраля 1943 года:

«Сегодня, по сообщениям «В последний час», взяты Ростов и Ворошиловград.

Как это хорошо и вместе с тем как обидно, что мы должны сидеть здесь, в болотах, на месте и ничего не делать... Но мама говорит, что если она будет знать, что я подвергаюсь большой опасности, это будет для нее такой мукой... Но меня не удержало бы все это. Пусть это эгоизм или еще что-либо, но это так. Никогда я не смогу жить спокойно, долго на одном месте, никуда не стремясь. Мне не кажется это плохим качеством. Во всяком случае, это так, и иной быть я не могу и даже не хочу.

Честное слово, если бы сейчас меня вызвали к командире и сказали, что мое желание наконец исполнится, то я не остановилась бы ни перед чем: бросила бы все вещи, ушла бы в какую угодно вьюгу, даже раздетая. Я не испугалась бы ни смерти, ни ранения, ни уродства».

Ходоровская уже два года на фронте. Суровая жизнь. Трудная жизнь. Казалось бы, давно могло погаснуть пламя восторженной, несколько романтической самоотверженности, с каким девушка-подросток ехала на войну.

Ведь она по роду своей профессии каждый день переживала то, что не дано пережить иной раз даже самым храбрым воинам, — Нина принимала страдания и муки раненых. Это, пожалуй, самое жестокое, самое непереносимое. Почему же с такой удивительной силой и вдохновенной устремленностью звучат ее слова и почему с таким упорством она ищет новых испытаний?..

«Я теперь коммунистка, — пишет Ходоровская в письме к школьной подруге, — я член Всесоюзной Коммунистической партии (большевиков). Ты знаешь, что это значит. В моем сознании это такое большое, что я просто не знаю, как может быть следующий день для меня таким же обычным, как вчера. И я хочу, чтобы ко мне пришел такой день, чтобы я со всей верой, со всей силой и гордостью могла сделать такое, что было бы достойно того имени, какое мы носим».

Вот откуда неиссякаемый огонь в сердце Ходоровской. Там, где труднее всего, наши советские люди находят источник для своей духовной стойкости.

Последнее письмо, которое я держал в руках, не лежало в бумагах Ходоровской. Его написала Маша Павлова ее матери.

«Дорогая Ниночкина мама!

Вы только не волнуйтесь, не расстраивайтесь, а возьмите себя прямо в руки и ведите себя, как мать героини.

Сегодня мы навсегда простились с вашей дочерью.

Я представляю ее, когда она возвращалась с боевой задачи со счастливой улыбкой на лице. Да и как не быть счастливой, — она ведь действовала всегда честно, как полагает советской девушке...»

Нины Ходоровской больше нет. Но приезжайте в ту часть, где она служила, и вы очень часто услышите ее имя. Врач санбата, давая указание, как нужно ухаживать за тяжелораненым, в заключение говорил:

— Все-таки лучше всего это умела делать Ходоровская. Она как-то делала такие перевязки, почти не вызывая боли. Она точно сама умела испытывать боль, которую переносят ее раненые, и поэтому руки ее приобретали ту чудесную чувствительность, какую необходимо иметь медику.

А недавно один боец упрекнул санинструктора, который вынес раненого, не захватив его оружия:

— Ходоровская за все думала, а ты — как узкий специалист.

И хотя боец этот никогда не видел Ходоровской, он помянул ее имя, потому что слышал от других, что во время траншейного боя, унося раненых в прикрытие, Ходоровская всегда захватывала и их оружие.

Когда говорят о бессмертии, часто представляют себе памятники, изваянные из камня или отлитые из бронзы. Но существует иная память об умерших — живое ощущение деяний ушедшего человека. Вот такое чистое и высокое ощущение и живет в сердцах всех, кто знал Нину или слышал о ней, такой хорошей и ясной девушке нашей страны.

1944

ТРУЖЕНИКИ ВОЙНЫ

Танковый бой может длиться час, а иногда и несколько суток, превращаясь в сражение, сходное с эскадренными сражениями морских кораблей.

Подбитый танк не топчет, не разваливается, как корабль, погружаясь на дно. Неподвижный танк с жестоким усердием добивают артиллерийским огнем.

Экипажи советских танков не покидают подбитых машин, они продолжают вести бой до последнего снаряда и, если заклинена башня, разворачивая машину, наводят орудия всем корпусом танка.

В дыму сражения за нашими танкистами следят внимательные глаза. И если машина повреждена, на помощь ей высылаются спасательные команды — эвакуотряды.

Работа эвакуаторов сопряжена с титаническим трудом и доблестной отвагой.

Сотни машин, спасенные эвакуаторами, выведенные ими из-под огня, восстановленные ремонтниками, снова идут в бой.

Танк лейтенанта Саламатина ворвался в деревню первым. Выбив лобовой броней бревна в стене сарая, танк вел огонь по немецким самоходным орудиям до тех пор, пока сарай не загорелся. Обсыпанный горящими обломками танк бросился на самоходные орудия, которые отступали уже вдоль шоссе.

Но Саламатин погорячился. Мост через черную, узкую, заболоченную реку оказался ненадежным, он рухнул. Танк провалился, встав на дыбы. Сняв пулемет, танкисты окопались возле машины, защищая ее.

Пришла и прошла почь. Двое из экипажа были убиты, Саламатин ранен.

На рассвете к танкистам приползли бойцы эвакуотряда сержанта Егора Костюшко. Они осмотрели машину и стали рыть землю. Они копались под танком до тех пор, пока не

срыли бугор, о который опиралась его передняя часть. Танк принял горизонтальное положение. Танкисты влезли в танк и стали бить из орудий шрапнелью.

Но танк погружался в трясину, и скоро орудие его, прижатое к земле, вынуждено было смолкнуть.

Танкисты снова легли в окопы и защищались из автоматов.

Костюшко со своими шестью бойцами метрах в ста от танка рыл посреди деревни простой деревенский колодец: бревна разбитой хаты рубили для сруба этого колодца.

Смертельный бой танкистов разительно не соответствовал мирному труду бойцов Костюшко.

Но вот солдаты Костюшко приволокли к колодцу телеграфный столб, распилили его надвое, обвязали тросом, опустили в колодец, забросали землей. Свободный конец троса пропустили сквозь гроздь блоков, привязали к кормовым крюкам танка, а потом к круто загнутым стальным крюкам трактора ЧТЗ.

Фашисты переправили на левый берег орудие, чтобы добить танк, но отвесные берега реки мешали им действовать прямой наводкой: снаряды рвались, ударяясь о землю, брызгая осколками. Танк звенел от этих осколков.

Костюшко сел на трактор и дал газ. Стальная сеть троса поднялась над землей и басово запела от напряжения. Когда осколки задевали тросы, они пели голосом гигантской арфы.

С бревнами наперевес бойцы Костюшко толпились у танка. Танк дрогнул, вминая бревна, и пополз; траки рвали бревна в щепу. Бойцы отбегали в сторону, спасаясь от гудящих в воздухе щепок, разящих с такой силой, словно это были осколки снарядов.

Танк вытащили на берег, и почти тотчас грозной глыбой он ринулся на немецкую пушку и разбил ее. Танк ушел на запад.

Бойцы Костюшко свернули трос в бухту, уложили его на трактор, сложили туда же весь свой шанцевый инструмент и такелажные снасти, потом собрали щепу и стали готовить не то обед, не то завтрак, не то ужин, не то все вместе, потому что за двое суток своего нечеловечески тяжелого труда они не успели съесть даже куска хлеба.

Во время ужина Костюшко сказал:

— Настроение у меня сейчас такое, хоть на мандолине

сыграть. Словно я лично из реки за волосы невесту спас или какую-нибудь красивую барышню.

— Хороша барышня, — сказал Евтухов, — она сейчас ворогам кости ломает.

— А вот к такому тяжелому, как у нас, занятию фашист не способен, — сказал Гарбуз, бывший новороссийский грузчик, — кишка у него слабая на такое занятие. На прошлой неделе мы ихний «тигр» вытягивали. Фашисты там и настил сделали, и тросы тоже путали, а вытянуть не могли. Потоптали землю, бросили вещь и ушли. А мы его за сутки — как из пивной бутылки пробку.

Холодной ночью, когда дул протяжный, неиссякаемый ветер, я встретился снова с бригадой Костюшко на берегу другой реки. И вот что увидел я.

Гарбуз стоял, мокрый, в нижнем белье, у самой воды и нетерпеливо ждал, пока Костюшко выдаст ему положенное. Выпив, крикнув, понюхав палец, Гарбуз поднял с земли шанцевую лопатку с короткой ручкой и пошел в воду, раздвигая руками разбитый плавающий лед. Потом он нырнул, и долго голова его не показывалась на поверхности.

Костюшко, глядя на дымящуюся воду, сердито объяснил:

— Часа четыре ковыряемся, а все никак лобовую откопать не можем. Уткнулся с размаху в берег, как бугай, и засадил крюки.

И он крикнул показавшемуся из воды Гарбузу:

— Ступай грейся. Мой черед. — И стал аккуратно раздеваться на берегу.

Шел снег. Земля под ногами, замешенная снегом, чавкала. Я продрог и пошел к стоящему в отдалении трактору, чтобы погреться у радиатора.

Мокрый воздух вздрагивал от гула артиллерийской стрельбы. Оранжевые отблески на мгновение красили лед и черную полынью. Потом снова мрак и шорох снега.

Подошел Гарбуз, чуть хмельной, веселый, и громко сказал мне:

— А три дня тому назад мы у них «пантеру» украли. Вот смеху было! Разведчик приходит и говорит: «В балочке немецкая «пантера» стоит, ихний механик с ней». Привязал я к ноге трос и пополз. Грязюка страшная. Ползу, как уж, на себя удивляюсь. Мне, извините, сорок пять лет, детей четверо, а тут такие жмурки, носом землю рою... Приполз к немецкому танку. Фашисты прилично в стороне

чего-то делают, ключами стучат, по-своему ругаются. Начал я вязать трос на крючья, осторожно, конечно, чтоб не звякнуло. Завязал, как положено. В пальцах у меня кое-какая сила есть. Захочу с другим сердечно поздороваться, так он больше никогда руки не подаст. На всю жизнь запомнит. Запрягли мы два трактора. Дали газ. Но тут что случилось, страшно сказать. Фашисты нам такие факелы от фугасок подсветили — деваться некуда. Из пушек бьют, из минометов бьют, — понятно, обиделись: такую ценную вещь из-под носа увели! Одного тракториста свалили, другого испортили. Осколком трос перебило. Пропала наша затея. Столько горючего зря сожгли! Пополз я обрыв искать. Нашел. И только стал вязать красивым бантом, навалились на меня в темноте два фрукта. Одного я, как все равно в футбол, ногой в живот, а с другим схлестнулись, словно в цирке. Но не пришлось мне его живым взять. Завязал трос, как мог, крикнул: «Давай!» А ноги не держат. Забрался на «пантеру», лег на нее и все дух переводил, — все-таки возраст, и кровь сильно из головы текла. Так мы «пантеру» и увели. А почти исправная машина.

— Гарбуз, — раздался с реки голос Костюшко, — давай трос!

Гарбуз, подхватив с земли тяжелый конец витого стального каната, побежал к реке.

В середине дня четыре трактора, запряженные цугом, вытащили затонувший танк из реки.

Путешествуя по фронтовым дорогам, я увидел однажды широкую борозду глубоко вспаханной земли. Борозда эта проходила через линию фронта, сужаясь где-то далеко на западе.

Я спросил моего спутника, что это за борозда.

— Танк, наверное, подбитый тащили эвакуаторы, — объяснил он равнодушно. — Тяжелый труд. Но сколько машин они этим трудом спасают — танкистов спросите, они скажут.

И перед моими глазами встали картины этого труда. Часто в поврежденную машину одновременно вцеплялись немецкие и наши, русские тракторы, — обе стороны пытались утянуть подбитую машину к себе. Возле туго натянутых тросов бились врукопашную, чтобы не дать перерубить их. И побеждала та сторона, на чьей было больше упорства и мастерства. А разве наш народ не прославил себя ныне своим упорством и мастерством тружеников несравненных?

Я часто видел на фронте эти борозды, идущие по целине через десятки мостов, бревенчатых настилов, видел сотни кубометров вынутой земли, по которой эвакуационные отряды солдат-тружеников танковых частей с неслыханным терпением волокли тяжкие, неподвижные машины.

И мне хочется сказать всем, кто делал эти танки, что труд их здесь, на фронте, продолжался с великой, умноженной доблестью, неся врагу смерть, а нашему народу славу.

1944

МАТЬ

В небе, высоком и чистом, сияло сильное, горячее солнце. Курчавые виноградники застыли по склонам гор золотой лавой.

Тысячи людей стояли в тот день по обе стороны дороги. На лицах напряженное ожидание, глаза устремлены туда, где дорога, сужаясь, исчезает в коричневом камне гор.

Шоссе напоминает сухое русло канала. И лица словно истомлены жаждой. Никто не спускает глаз с шоссе. Так ожидают труженики земли: вот-вот хлынет прозрачный поток могучей реки, которому годами непомерного труда, горя, страдания люди пробивали новый путь сквозь камень гор. Этот поток оживит их землю, принесет счастье.

И был этот поток из железа и стали.

Растирая серый камень дороги, шли танки, орудия, в цельнометаллических грузовиках сидела пехота. В туче поднятой пыли двигалась Советская Армия. Так густа была эта туча, что танки и бесчисленные машины шли с зажженными фарами. И когда они въезжали в города, на улицах и в домах днем зажигались огни.

Жители бросались к машинам, взволнованные и потрясенные, обнимали воинов, дарили им цветы.

И таким же гремящим, словно пробившим горы потоком приблизились колонны к голубому шоссе, ведущему к главному городу, жители которого вышли на дорогу с рассвета. Люди кидались навстречу, бросали цветы, бежали за этим потоком, как бегут люди вслед за водой, спасшей их землю от смерти.

У входа в город стояла триумфальная арка, увитая гирляндами. На вершине ее пламенели красные цветы. Они

сплетались в надпись: «Добре дошли, наши освободители!» Весь город и даже разрушенные, похожие на рассыпавшиеся скалы дома его были украшены флагами и цветами.

Когда в улицы вошли советские войска, на шоссе, уже опустевшее, донесся из города крик счастья. В это время по шоссе шли две женщины, поддерживая друг друга, прижимаясь друг к другу. Они плакали от счастья, как умеют плакать только женщины. Одна из них совсем старая, седая, вся в черном. Другая моложе, но в темных ее волосах тоже яркая седая прядь, словно шрам страдания и боли. Обе они, обессиленные радостью, не поспевали за ликующим народом, бежавшим вслед за колоннами войск, отстали и остались на шоссе вдвоем.

И они медленно шли к городу, певшему от счастья. На пустынной, накаленной солнцем земле эти две одинокие женщины казались матерями всего болгарского народа.

Старуха была Стефа Христова. Ее муж и старший сын во время партизанского налета на фашистскую комендатуру были схвачены врагами. Палачи отрубили голову сыну. Обезглавленное тело привязали к коню. Старика отца живым прикрутили к седлу другого коня. Голову сына повесили на грудь отца.

Так их возили по горным селениям жандармы и наконец привезли в родную деревню.

Стефа Христова вышла на притихшую площадь, где глашатай, стуча в барабан, каркающим голосом повторял текст приговора.

Торжественная, прямая, с сухим лицом, она прошла сквозь толпу, и когда взглянула жандарму в глаза, он невольно дал ей дорогу, отступив перед ее взглядом.

Стефа подошла к мужу и, медленно наклонившись, бережно поцеловала багровую, отекающую, со вспухшими венами руку. Потом вся вытянулась и прижалась губами к мертвой качающейся голове сына.

Когда старика Христова сняли с седла и подвели к дереву, чтобы вешать, раздалось пение партизанского гимна. Оно было сильным и громким. Но кто пел, жандармы не могли узнать: пели все, пела вся толпа, сомкнув губы.

Спустя три месяца после казни посадили в тюрьму младшего, пятнадцатилетнего сына Христовой, Петка.

Стефу привели в тюрьму и заставили смотреть, как пытаются сына. И Стефа, стоя возле окровавленного, содрога-

ющего от боли, обнаженного сына, шептала ему слова, которые говорила, когда он болел совсем маленьким, те слова, которые говорят все матери страдающим детям, но не каждая мать способна повторить сыну, умирающему в руках палачей.

И когда Соня Драгойчева — это она шла сейчас по шоссе с Христовой к кричащему от счастья городу — спросила ее, сохранил ли Петко тайну о месте явки, Стефа сказала:

— Мой сын умер.

И слово «сын», произнесенное Стефой Христовой, прозвучало с такой же торжествующей силой, как звучал сейчас голос города.

И Соня Драгойчева обняла Стефу и назвала ее своей матерью.

Молодой учительницей, еще стеснявшейся школьников, Соня Драгойчева начала свою жизнь революционерки.

Во время переворота Цанкова она уже находилась в штабе рабочей партии, готовившей народ к вооруженной борьбе против фашистской партии.

Шестнадцатого апреля 1925 года начались массовые аресты. Соня Драгойчева — в пловдивской тюрьме. Она беременна. Но палачи подвергают ее пыткам. Сорвав с нее одежду, ее обливают бензином и поджигают. Когда, мечущаяся, горящая, она упала на каменный пол камеры, огонь погасили, накрыв ее мокрыми овчинами. Ее вновь пытали. Три товарища, трое сильных мужчин, не выдержали таких страданий: они выбросились из окна тюрьмы на скалы. Соня боролась за жизнь, ее жизнь принадлежала уже не ей одной.

Соню Драгойчеву приговорили к смерти.

Она жила в тюрьме под пытками, жила только для того, чтобы дать жизнь другому и потом умереть. Но народ помнил Соню, вел борьбу за ее жизнь, и правительство было вынуждено заменить смертную казнь пожизненным заключением.

Когда родился сын, Соня назвала его Чавдар. Пока ребенок питался молоком матери, он был здоров, потом стал чахнуть и медленно умирать. Соня просила спасти ребенка, но сын был приговорен вместе с матерью. Тюремное начальство отказалось спасти жизнь Чавдара.

Народ спас жизнь Чавдару: массовые демонстрации протеста прошли по всей Болгарии. Чавдару было три года. Товарищи отправили мальчика в Советский Союз.

Свыше десяти лет сидела Соня Драгойчева в тюрьме. Холодные камни тюремной камеры дни и ночи высасывали живое тепло ее тела, кровь из надорванных легких заливала горло, она задыхалась. Но мысль о сыне, живущем в необыкновенной стране, грела ее коченеющее сердце. Вытирая текущие по подбородку струйки крови, она заставляла себя встать с койки и начинала ходить по камере и дышать, глотать воздух, пить его, чтобы жить.

Не только на родине Сони Драгойчевой, но и в других странах развернулось большое движение за амнистию. Устрашенное правительство вынуждено было выпустить из тюрьмы среди других революционеров и Соню Драгойчеву.

Выйдя из тюрьмы, она снова стала призывать болгарский народ на борьбу с фашистами.

В 1941 году, когда гитлеровцы пришли в Болгарию, Соня во время массовой облавы была арестована и заключена в концлагерь.

Товарищи помогли ей бежать. В подполье она стала секретарем Национального комитета Отечественного фронта.

Бесстрашная, она ходила из деревни в деревню, из города в город, организуя явки, устанавливая связь между партизанскими центрами. Она пробиралась в глухие дебри гор, к партизанским отрядам.

Она была беспощадна к тем, кто оказывался слаб духом, и ликовала, когда имя человека отмечалось подвигом.

Молодые бойцы партизанских отрядов называли ее матерью. И слово «Мать» стало именем Сони, данным ей народом. Даже старик Христов почтительно называл ее Матерью, благоговая перед мужеством ее, перед неиссякаемой силой духа и веры.

Стефа Христова, болгарская крестьянка, высохшая от жестокого труда, поверила в дело Драгойчевой так, как только мать может верить матери, и она послала сыновей своих на смерть во имя того, чтобы вечное материнское счастье торжествовало на ее земле.

И сейчас, когда они обе, седые и в черном, шли по пустышной дороге, обессиленные счастьем, им казалось, что там, куда они идут, они встретят детей своих и дети обнимут их, прижмут к себе и скажут это слово, самое высокое слово на земле — «мама».

И когда они шли, поддерживая друг друга, прижимаясь друг к другу, мчавшаяся по шоссе автомашина остано-

лась, и, высунувшись из нее, молодой боец крикнул им веселым голосом:

— Мамаши! Если вы в город — садитесь.

Женщины остановились, поглядели друг другу в глаза и, не сказав ни слова, подошли к машине.

Так, молчаливые и торжествующие, доехали они до города, где были радость и музыка, цветы и знамена, где люди в военной форме Советской Армии обращаются к пожилым женщинам со словом, которое входит в сердце и не хочет уходить оттуда, как сладкая боль, как радость, как счастье.

1944

ПРОСТАЯ ИСТОРИЯ

До войны Мария Ивановна Снегова была дамской портнихой. Она хорошо зарабатывала, каждое лето ездила в Крым. С заказчицами Мария Ивановна разговаривала властно. Если она заявляла: «Этот фасон или цвет вам не к лицу», — никакие силы не могли заставить ее принять работу.

В своем деле она у женщин считалась профессором.

Но когда сын ее Алеша уехал на фронт, Мария Ивановна пошла на завод, где раньше работал Алеша, и поступила туда штамповщицей. Муж Марии Ивановны погиб еще в гражданскую войну под станцией Касторной.

Нелегко пятидесятилетней женщине сразу переделать всю свою жизнь.

Мария Ивановна сильно похудела: глаза впали, руки стали темные, в ссадинах. Она уже не походила на ту породную даму, какой ее знали раньше.

Постоянная мысль о том, что Алешу могут убить, мучила ее. Алеша часто снился ей мертвым.

Нескольких работников постигло тяжелое горе. Все женщины помогали им жить, преодолевать это горе.

И столько ума, нежности, воли, проникновенной любви и самоотверженности было в этом постоянном внимании к чужому горю, что тревога, теснившая сердце Марии Ивановны, начала ослабевать. Нельзя, видя человеческую боль, не проникнуться мужеством тех, кто с такой твердостью ее переносит.

Мария Ивановна не очень-то уважала прежде своих заказчиц, частенько пустых, мелочных, эгоистичных, некрасиво скрывавших от мужей, как дорого они платят за каждое новое платье. Но здесь она увидела то, чего не видела в них раньше, — святую женскую преданность своим любимым и силу, которую они черпали в мыслях о тех, кто на войне.

Перебирая в памяти свою прошедшую жизнь, Мария Ивановна вспоминала, сколько времени суетно, зря было истрачено на собственное благополучие, и ни на что больше. Даже заветную мечту покойного мужа она скрыла от сына. Как мужу хотелось, чтоб Алеша поступил в военное училище! А она думала только о том, как бы сберечь сына.

Не только внешность изменилась у Марии Ивановны, но и характер. Когда ее просили отработать за кого-нибудь вторую смену, она соглашалась и думала: если ее Алешеньке будет там трудно, то ему не откажутся помочь. По глубокому убеждению, появившемуся теперь у Марии Ивановны, все хорошее, как и все плохое, передается от человека к человеку, и рано или поздно то, что делает она для других, коснется ее сына.

С Ниной Кузьмичевой Мария Ивановна познакомилась в военкомате. У окна кассы, где выдают деньги по аттестатам, Мария Ивановна услышала, как молодая женщина, стоявшая впереди, назвала номер полевой почты — такой же, как у ее сына.

Невольно Марию Ивановну потянуло к этой женщине, странно неряшливо одетой, с нелюдимым взглядом, который так портил красивое, еще совсем юное лицо.

Но Кузьмичева вовсе не обрадовалась, узнав, что сын Снеговой служит вместе с ее мужем. Она певнятно пробормотала, что писем от мужа давно не получает, и хотела уйти.

Мария Ивановна не обратила внимания на нерасположение Кузьмичевой и пошла проводить ее.

Идя рядом с упорно молчавшей женщиной, Мария Ивановна испытывала неловкость, но вместе с тем ей было очень приятно думать, что ее сын и муж Кузьмичевой находятся вместе, и она прониклась к ней теплым чувством.

Падал снег с дождем, дул порывистый ветер, и возникало такое ощущение, словно кто-то беспрерывно встряхивает перед лицом мокрое, усыпанное снегом одеяло.

Мария Ивановна прежде носила хорошую беличью шубку, но теперь ходила в драповом пальто. Оно было не теплее армейской шинели. Мария Ивановна хотела чувствовать погоду так же, как сын там, на фронте.

Сегодня она зябла на ветру, лицо у нее сморщилось и посинело.

Кузьмичева остановилась возле своего дома. Мария Ивановна продолжала рассказывать о том, как трудно в такую погоду на фронте — костров разводить нельзя:

костры демаскируют. Кузьмичева была вынуждена пригласить ее к себе, иначе им пришлось бы еще долго стоять на улице.

Войдя в квартиру, Кузьмичева искала спички, бродила, спотыкаясь в темноте, роняя на пол какие-то вещи, и, когда она наконец зажгла лампу, Мария Ивановна увидела грязную комнату, кастрюльку, стоящую на стуле, высохшую картофельную кожуру на столе, трюмо, почему-то перевернутое стеклом к стене.

Не раздеваясь, Кузьмичева начала растапливать печь. Словно для того, чтобы объяснить неженскую запущенность, она сказала:

— Ухожу чуть свет, возвращаюсь вечером. Да и ни к чему красоту разводить: все равно одна.

Мария Ивановна, забыв, что она тут только гостя, взволновалась и принялась отчитывать Кузьмичеву. Но та слушала ее безучастно и с таким выражением равнодушия, что Мария Ивановна скоро замолчала и, видя, что хозяйка тяготится ее присутствием, посидев для приличия еще несколько минут, ушла. Простились они очень холодно.

Прошла неделя, а Мария Ивановна все вспоминала о новой знакомой. И не потому, что Кузьмичева ей понравилась, — она ей совсем не понравилась, — просто Мария Ивановна не могла оставаться равнодушной к человеку, который имеет хоть косвенное отношение к ее сыну.

Выбрав время, она снова пошла к Кузьмичевой. Той дома не оказалось. Мария Ивановна решила подождать. В коридоре было очень холодно, на дровах, сложенных в поленницу, не таял снег, Мария Ивановна сильно замерзла. Она уже хотела уходить, но вышла соседка Кузьмичевой и пригласила ее в свою комнату. И, как это часто бывает, когда две женщины разговаривают о третьей, соседка рассказала все, что знала о Кузьмичевой.

Муж Кузьмичевой работал механиком в силовом цехе. Он учился в вечернем институте, организованном при заводе, и должен был скоро стать инженером.

Он, по-видимому, принадлежал к людям гордым, самолюбивым и волевым.

Нина — она проще и моложе. И любила его она так, как любит женщина, когда хочет отречься от себя, хочет чувствовать, как чувствует он, думать, как думает он. В этом и сила любви женщины, и ее слабость. Муж частенько подшучивал над Ниной, над ее бесхарактерностью. И это понятно: ведь очень часто мужчина видит в женщине, беззаветно, всем существом отдавшей ему, не удивитель-

ную духовную силу, а только признак женской слабости, которая постоянно нуждается в покровительстве и защите.

Когда муж ушел на фронт, Нина поступила на курсы медсестер. Она мечтала попасть в ту часть, где служил ее муж. Она чувствовала себя счастливой, потому что получала от мужа хорошие, радостные письма. И когда он посоветовал ей закутывать ноги старыми газетами, а уж потом надевать ботики, она послушно выполняла его совет, хотя погода была вовсе не холодная.

Незадолго до окончания курсов Нина решила отпраздновать день своего рождения и пригласила на вечеринку лейтенанта интендантской службы Зухарева, который служил с ее мужем в одной части и приехал в город в командировку. Позвала она и капитана Капустина, с которым познакомилась при не совсем обычных обстоятельствах.

Вместе с подругами Нина ходила на донорский пункт. И, как все девушки, к ампулам со своей кровью Нина привязывала нежные записочки, адресованные раненому, которому будет влита кровь. Кровь Нины спасла жизнь капитану Капустину.

Выздоровев, Капустин отправился к Кузьмичевой, чтобы поблагодарить ее, а так как эта встреча совпала с днем рождения, Нина пригласила капитана к себе в гости.

Капитан явился с огромным букетом цветов.

Вечеринка прошла очень весело. Радостная оттого, что близок день окончания курсов и скоро она сюрпризом явится к мужу, Нина веселилась до упаду.

Капустин, с благоговением относившийся к своей спасительнице, весь вечер не спускал с нее восхищенного взгляда и даже под конец прочитал сочиненные им в госпитале и посвященные ей стихи.

Только один человек не разделял общего веселья — лейтенант Зухарев. И чем сильнее веселилась Нина, тем более мрачнел он. А через две недели пришло от мужа письмо, и адресовано оно было не Нине, а ее подруге. Кузьмичев просил передать жене, что деньги по аттестату она будет получать, пока он жив или пока не кончится война, но он прекращает переписку — ни читать ее писем, ни отвечать на них он не будет.

В отчаянии, не закончив курсов, Нина поехала на фронт разыскивать мужа. Пропуска у нее не было. Проблуждав в прифронтовой зоне более месяца, она вернулась обратно, опустошенная, убитая горем. Ко всему этому присоединилось чувство жгучего стыда, — ей казалось, что все ее презирают за то, что муж-фронтовик ее бросил.

Она поступила на швейную фабрику, находящуюся на другом конце города, где ее никто не знал. Сразу пропали ее жизнерадостность и общительность. Она стала хмурой и нелюдимой.

Когда пришла Мария Ивановна, Кузьмичева приняла ее неприязненно. Она даже не предложила ей сесть. Но Мария Ивановна сделала вид, что не заметила этого.

Пренебрегая невниманием Нины, Мария Ивановна часто приходила к ней, а изредка даже заманивала ее к себе. Они почти подружились. Но Мария Ивановна была вынуждена дать Нине слово не писать сыну о том, что знает ее. В свою очередь Мария Ивановна заставила Кузьмичеву снова поступить на курсы медсестер, и они решили — Нина обязательно поедет в воинскую часть, где служит ее муж. Только она совсем не будет обращать на него внимания и даже станет здороваться с ним, как с чужим.

Однажды, когда Мария Ивановна уходила с работы, ей сказали, что в проходной ее ждет какой-то военный.

Мария Ивановна подошла, запыхавшись, к незнакомому майору, и сердце ее сразу упало. Она ждала, что скажет ей этот человек с таким угрюмым лицом и невеселыми глазами.

Но майор улыбнулся и сказал:

— Вы, пожалуйста, не волнуйтесь. Ваш сын здоров. Я письмо привез. Он, кстати, просит приютить меня на несколько дней. Мне, видите ли, остановиться здесь негде. Это вас не очень стеснит?

Трудно передать восторг, охвативший Марию Ивановну. На одном примусе она кипятила чай, на другом, занятом у соседей, жарила пирожки из пресного теста с консервированным мясом. Все, что она берегла для встречи сына, она поставила на стол.

Красная, в измятом, наспех надетом новом шелковом платье, Мария Ивановна носилась по комнате и задавала майору столько вопросов, что тот ни на один не успевал ответить толком.

Наконец, когда все было готово, Мария Ивановна уселась за стол и, с трудом переводя дыхание, вся сияющая, протянула свою рюмку к рюмке майора и сказала торжественно:

— Ну, дорогой товарищ майор, уж вы извините, забыла ваше имя-отчество, такое вы мне счастье принесли, что просто голова кругом пошла.

Майор чокнулся, выпил, закусил, потом вытер губы салфеткой, сказал, улыбаясь:

— Зовут меня Андрей Сергеевич. Фамилия Кузьмичев. Мы с вашим сыном...

— Как? — спросила Мария Ивановна, вставая. — Как вы сказали? — И, вдруг побагровев, задыхаясь, она крикнула, показывая на дверь: — Вон! Сейчас же вон, чтоб духу вашего не было! Да как вы смели в чужую квартиру прийти, когда... Вон, сейчас же вон!..

Мария Ивановна догнала Кузьмичева на улице. Он шел, низко склонив голову; белый мягкий снег ложился на его плечи, шапку.

Потом они оба — Мария Ивановна и майор — долго бродили по затемненным переулкам, и Мария Ивановна говорила ему доходчивые и очень важные слова, какие хранят у себя в сердце пожилые, умные женщины, которые совсем не просто прожили свою жизнь.

И когда они остановились у знакомого дома, майор робко и виновато попросил:

— Мария Ивановна, пойдемте, пожалуйста, вместе. Одному мне как-то трудно очень.

— Не нужно, голубчик, — мягко сказала Мария Ивановна. — Здесь вам помощники только во вред.

Дома Мария Ивановна быстро разделась, легла в постель и, поставив у изголовья лампу, стала читать письмо сына. Но строки расплывались в ее глазах, она прижимала бумагу к губам, гладила ею себя по лицу, вдыхала ее запах, как вдыхала когда-то младенческий запах тела сына. Она плакала, шептала какие-то смешные и путанные слова, и сейчас для нее все отошло куда-то далеко, и Кузьмичевы тоже; только одно, вот это единственное ощущение счастья матери переполняло все ее существо.

КАТЯ ПЕТЛЮК

Все отравлено стужей, и сухой снег — ее яд, и ветер кружит этот белый яд и жжет намертво.

- Катя, закройте люк.
- Мне не холодно.
- Катя, закройте люк.
- У меня нет соли.
- Чего нет?
- Соли нет. Триплекс протереть нечем.
- Товарищ Петлюк!
- Я не могу.
- А я вам приказываю.
- У меня руки отморожены.
- Как же вы танк ведете?
- Не знаю.
- Тогда закройте люк.
- Вслепую машину вести нельзя.
- Остановитесь.

Танк Т-60, негромко лязгая гусеницами, скатился в узкую лошину и стал. Светящаяся очередь из крупнокалиберного пулемета сбила снежную пыль с края откоса, откуда только что съехала машина. Крышка башни поднялась, лейтенант поспешно прыгнул на землю и подошел к открытому люку механика-водителя.

- Вы что, не видели, по нас все время огонь вели?
- Видела.
- Почему не закрывали люк?
- Чтоб видеть и лавировать.
- Накидали бы они вам в форточку.
- Ну, это как сказать.
- Ладно, теперь вот сидите.

Лейтенант пошел в темноту.

Катя вылезла из танка и стала ломать ветви деревьев, чтоб замаскировать ими машину. Ветви ломались легко

и звонко. Но потом она подумала: «Лучше отвести танк под деревья» — и пошла искать место.

Но деревья всюду были маленькие и посажены в линейку. Это был питомник, нечто вроде лесного огорода. Здесь когда-то выращивали деревья для улиц города, который был позади и сейчас гремел от взрывов и горел огнями пожарами.

Катя увидела на опушке «тридцатьчетверку». Танк стоял под деревом, и орудие его было наведено в сторону врагов. Она пошла к танку. Но, странно, она не находила следов гусениц. Неужели танк стоит давно и следы уже успела замести метель? И почему он безо всякой маскировки? И вот еще один дальше, за ним второй, третий.

Нет, ближе подходить не нужно. Все ясно. Танки сколочены из фанеры. Она слышала о таких таиках и знала, зачем их ставят.

Плохое место она выбрала для стоянки. Хотя почему же? Не бомбили же их раньше. Но, может, все-таки лучше увести свою машину подальше? А как же тогда лейтенант? Где он ее будет искать?

Она вернулась в свою машину. Ветер задувал внутрь острый, как размоленное стекло, снег. Она закрыла люк. В танке стало темно, и от этого казалось еще холоднее. Может, зажечь свет? Нет, не надо разряжать аккумулятор. Стартер и так тянет с трудом.

Она откинулась на спинку сиденья. Хорошо бы примус — и греться. Нет, нельзя. А то засмеют за примус. Неужели другие мерзнут меньше или устают меньше? Нет, они просто об этом не говорят. Или стараются не показывать виду. Все дело в этом. И все-таки, когда кто-нибудь едет с ней, он держит себя иначе, чем если бы машину вел мужчина. Ну зачем лейтенанту вылезать из люка и шагать впереди танка, когда они заблудились? Искать дорогу — это обязанность водителя. И потом — почему командир всегда строго подчеркивает, что она подчиненная? С другими механиками ведь он дружит. «Товарищ Петлюк, закрой-те люк». Это даже не команда, а просто смешно звучит. Закрыть люк — это значит снова заблудиться, потом он будет опять идти впереди танка и показывать дорогу. Если его ранят, скажут: виновата она.

Разве командир должен искать дорогу? Нет, не должен. Но все-таки трудно представить себе, чтоб лейтенант согласился сидеть в танке, а она пошла бы искать дорогу. Никто из всей бригады не позволил бы себе так сделать.

Какие они все хорошие!

Когда жили в землянках, насквозь промерзших, они отгородили ее койку плащ-палаткой, но было очень холодно, и она стала накрываться этой плащ-палаткой. Когда нужно, она говорила: «Закройте глаза», и все закрывали глаза. И как скоро все привыкли к ней! Вот Мельников сказал как-то:

— Петлюк, пошли в деревню, там, говорят, девчата интересные.— И тут же рассердился на себя и назвал ее недоразумением.

А она вовсе не недоразумение. Только ей труднее всех. У каждого из них есть приятель, друг. Только у нее никого нет. Она не может ничего сказать одному, чтобы этого не слышали все другие. Она должна быть или одна, или со всеми. И когда к ней кто-нибудь относился со всей искренней добротой и заботливостью, просто по-человечески свойственной ему, она пугалась этого, как зла, и грубо отталкивала. Потом ей было очень тяжело, но еще тяжелее могло быть, если б она хоть раз поступила иначе.

...Она перестала думать и прислушалась.

В небе возник бормочущий, задыхающийся звук. Он становился все громче и громче. Но не приближался по горизонтали, а, казалось, спускался, словно на ниточке, откуда-то сверху, гудя, как гигантский волчок.

Падающая бомба визжит, как страдающее животное. Разрыв — мгновение, когда ты, настигнутый страшным толчком, словно уходишь из самого себя и потом медленно возвращаешься, замирая от сознания, что тело твоё стало другим и, может быть, уже никуда не годится. Можно быть очень храбрым человеком, но никогда не привыкнуть к этому и с каждым разом переживать все заново. Но это ощущение имеет начало и конец. Однако сейчас тянущемуся вою бомбы, казалось, не было ни начала, ни конца.

Сначала Катя сидела, сжав голову ладонями. Потом вдруг вцепилась в ручки люка и стала открывать его. Она понимала, что делает то, чего делать нельзя. Она понимала: нельзя открывать люк, потому что броня предохраняет ее от мелких осколков и тяжелых ударов каменно смерзшейся земли. Но она не могла сидеть и ждать, когда все вокруг сомкнется, и ее сдавит в исковерканных листах стали, и она будет умирать в удушающей тесноте. Чтоб отделаться от ожидания этого удушья, она стала открывать люк, стремясь видеть хотя бы снег, хотя бы кусты и пространство.

Она толкнула ногой педаль стартера вперед, дала газ и, когда мотор заработал, прислушалась к его спокойному живому голосу и обрела силы. Она изо всех сил нажимала

ладонью на рычаг сигнала. И клекочущий голос танка вызывающе пел навстречу падающей бомбе.

Потом все кончилось, и самолеты ушли. Она почувствовала себя безмерно уставшей и вдруг счастливой.

А лейтенанта все не было. Если б он пришел сейчас, она сказала бы ему все. Нет, не все. Просто она объяснила бы ему, что обрадовалась, потому что очень замерзла. Нет, зачем врать? Лучше сказать, как трусила и как нажимала сигнал, чтобы не трусить.

И поймет ли он, что она ждала его на этом месте, хотя знала — здесь выставлены макеты танков для приманки немецких самолетов и гитлеровцы должны были бомбить это место, а она все-таки ждала, потому что не хотела, чтоб он, усталый, ходил по полю и искал ее танк?

А если он не скоро придет? И самолеты прилетят снова... Может, все-таки лучше отвести машину? Нет, лучше ждать. Пускай налетают. Пускай он увидит, в какой обстановке она его ждала.

Но как холодно! Если б хоть чуточку согреться. Нужно не думать, что холодно: нужно думать о чем-нибудь теплом.

И она стала думать о доме, о родных своих.

Железнодорожная насыпь, солнце, желтый теплый песок. Отец идет и постукивает по рельсам молотком на длинной деревянной ручке. Отец работает обходчиком пути на станции Слободка, Кадомского района, Одесской области. Дед тоже обходчик соседнего участка. Каждое утро они встречаются на 261-м километре. Закуривают. Дед начинает хвастать. Отец молчит, улыбается, слушает. Потом дед говорит Кате:

— Ну, многоуважатый, значит, летать хочешь?

— Да, летать, — говорит Катя.

— А на паровозе ездить больше гордость не позволяет?

— Ничего, пускай летает, — говорит отец.

— А я не возражаю! — сердится дед. — Пускай, она девка легкая.

Вот Одесса, горячая, вся в солнце. На одной окраине города метеостанция, где Катя работает, на другой — аэроклуб, где она учится. Она ездит в аэроклуб на трамвае. Люся Песис — ее подруга. Люся говорит с гордостью:

— Я как Сара Бернар: некрасивая, но зато с богатым внутренним содержанием.

Катя не знает, кто такая Сара Бернар, и она просит Люсю составить ей список книг, которые она прочла бы — и стала культурной.

После выпускных экзаменов Катя пошла в Управление гражданского воздушного флота наниматься на работу. Надела туфли на самых высоких каблуках, какие были у Люси, не для красоты, а для того, чтобы казаться выше. Начальник отдела кадров сказал с сожалением:

— Нет, не могу, пассажиры будут бояться. Уж очень у вас фигура не авторитетная.

Рост у Кати — 151 сантиметр, каблуки в семь сантиметров не помогли. Катя заплакала. Начальник отдела кадров вышел, потом явился с бумажным стаканчиком в руках.

— Ешьте, — сказал он сердито, — а то растает.

Катя съела мороженое, потом назвала начальника отдела кадров бессердечным формалистом и ушла. И поступила на завод «Октябрьская революция». На заводе она организовала кружок парашютистов, совершила десять прыжков. Она окончила кружок РОКК, посещала кружки ПВО, ПВХО и драматический. Люся сказала ей:

— Катя, ты размениваешься. Если хочешь стать настоящей актрисой, для этого пужно отдать все.

— Я очень боюсь, — сказала Катя.

— Чего ты боишься?

— Войны боюсь, — сказала Катя. — Будет война, а я без подходящей профессии...

Война пришла внезапно. Кате всюду говорили:

— Пока вы не нужны, идите домой.

Немцы уже бомбили город. Катя устроилась на склад укладчицей парашютов.

Балта. Вражеские самолеты разбили и подожгли эшелоны с ранеными. Катя вместе с Натой Чернышевой вытаскивала раненых из-под огня, из-под обломков. И оттого, что она сама была вся обожжена, она чувствовала себя уверенной, когда пришла в военкомат.

— Видите ли, — сказал ей командир распределительной роты, — воевать вы, конечно, сможете. Но ведь у меня народ все какой! Шоферня с гражданки, невоспитанный народ, грубый.

— Я ездила помощником кочегара, — заявила Катя, — и имею звание пилота.

— Милая, — сказал ей командир искренне, — вам же будет трудно.

И было действительно очень трудно. Даже труднее, чем сейчас.

...Но как холодно! Долго его еще ждать? Просто невозможно так ждать.

Стужа проникала сквозь стальную броню легко, как вода сквозь войлок, и танк оброс внутри инеем, мохнатым и колючим. В танке было холоднее, чем снаружи, на ледяном ветру. Можно было думать, что это свойство стали — впитывать в себя стужу и смертельно излучать ее. Все тело болело, и казалось: еще немного — и она умрет от этой боли. И когда хотела подняться, ноги были уже чужие. Она испугалась этого и стала руками вытаскивать сначала одну ногу, потом другую. Наклоняясь, она ударилась лбом о рычаг и, когда дотронулась рукой и увидела кровь, удивилась, как это на таком холоде может еще идти кровь, потому что лицо было давно как деревянное. Она сосредоточивала всю себя на каждом движении, которое предстояло проделать. Сначала она думала про левую руку, и левая рука медленно вытягивалась вперед. Потом правая рука. Грудью и животом она легла на нижний край люка, и, приподнявшись на локтях, стала подтягиваться на них, и наконец вывалилась на снег. Теперь нужно было встать на ноги. Сначала она села на корточки, хватаясь руками за броню, потом, полулежа на ней, выпрямилась. Так простояла она несколько минут, опираясь по очереди то на левую, то на правую ногу. Теперь оторваться от танка — сделать первые шаги. Ступни кололо иголками, и они казались твердыми и какими-то круглыми. Раскачиваясь, балансируя руками, она шла по снегу и походила на человека, который первый раз надел коньки и остался на льду без всякой помощи.

Лейтенант появился откуда-то из темноты внезапно.

— Поехали, — сказал он и направился к машине с таким видом, словно отлучался на минуту.

Теперь он не говорил «Закройте люк», хотя огненные очереди с прежней яростью вылетали из леса. Он торопил:

— Нажмите, Катя, нажимите!

Танк подбрасывало на неровностях почвы. Ветер бил в люк с бешенством, с каким вырывается вода из монитора. Но боль от мертвящей, неподвижной стужи исчезла. Ощущение усилий могучего мотора — всех двигающихся, крутящихся частей его, — словно превращения собственной энергии, ощущение, такое знакомое каждому водителю, заполняло сейчас все ее существо. И она наслаждалась этим ощущением, чувствовала себя сейчас такой же всемогущей, как ее машина. Та зябнувшая, тоскующая и жалкая девчонка, какой она была несколько минут назад, казалась бесконечно чужой ей, и она хотела сейчас одного — чтоб движение это не прекращалось, а все росло и росло.

Командный пункт перебазировался. Штабной броневик с заиндеветшей антенной стоял в воронке, оставшейся после авиабомбы. Водитель броневика Кузовкин спросил Катю:

— Ну что, сильно соскучилась обо мне?

— Ужасно,— сказала Катя,— просто жить без тебя не могу.

Катя подошла к костру и, сняв варежки, протянула к огню руки. На костре стояло ведро с маслом. Оглядываясь через плечо, Катя спросила Кузовкина:

— Это ты для меня масло греешь?

— Ну да, как же!

— Васечка, докажи, что любишь.

Катя взялась за ручку ведра, с мольбой глядя на Кузовкина. Кузовкин бросился к ведру. Катя угрожающе произнесла:

— Вот только попробуй, я так завизжу...— и пошла к танку.

Вылив масло, возвращая пустое ведро Кузовкину, она сказала:

— Спасибо, Васечка. Теперь еще полбаночки антифриза, и все в порядке.

— Ну уж, знаешь! — тараща глаза, сказал Кузовкин. Подошел лейтенант и приказал:

— Товарищ Петлюк, езжайте на заправку, потом отдыхайте. Я поеду на броневике.

— Машина уже заправлена,— доложила Катя.

Лейтенант поколебался:

— Ну что ж, тогда поехали.

Катя ногами вперед влезла в люк и, не спуская взгляда с расстроенного Кузовкина, стоящего с пустым ведром, показала ему язык.

Лейтенант спросил,— голос его, искаженный в переговорном устройстве, звучал надтреснуто и глухо:

— Хороший парень Кузовкин?

— Да,— сказала Катя.

— Это он отдал вам свою заправку? Хороший мужик,— повторил лейтенант.

Катя ничего не ответила. Ей стало обидно и снова холодно. Неужели он только и может сказать, что Кузовкин хороший, а о ней ничего — после четырнадцати часов работы на холоде, под огнем? Неужели он не понимает, что она выпросила заправку для того только, чтобы быть с ним, что у нее обморожено лицо, руки? И она спросила:

— Вам не холодно, товарищ лейтенант?

— Нет. А вам?

— Я очень замерзла, — сказала Катя громко и вызывающе.

Лейтенант ничего не ответил. Внезапно танк сильно тряхнуло. Снаряд разорвался метрах в двадцати с левого борта. Катя резко развернула танк влево. Второй снаряд стукнул как раз в том направлении, где они находились несколько мгновений тому назад.

— Молодец, — сказал лейтенант.

«Знаю», — подумала Катя и ехидно спросила:

— Как себя чувствуете, товарищ лейтенант?

— Давайте, давайте.

Танковое сражение развернулось по обеим сторонам дороги. Оно длилось уже несколько часов. Машины сближались медленно, прячась, маневрируя, используя каждую складку земли. Можно было видеть, как, открыв беглый огонь, танк, буквально как пехотинец, делал перебежки от одного до другого рубежа. Можно было видеть, как наш танк, выбрав себе вражеский танк, вступал с ним в единоборство или как группа танков, сговорившись, вдруг на бешеной скорости отсекала две-три вражеские машины и потом, зажав в клещи, расстреливала их.

По всей огромной площади боя была наша и вражеская артиллерия. Вставали из земли черные столбы с огненными подножьями разрывов. С неба свешивались нестерпимо белые осветительные ракеты. Но над всем этим властвовало монотонное и могущественное гудение, словно в степи работала гигантская, еще не виданная машина. Это гудели моторы танков и моторы самолетов, сопровождавших танки.

Только здесь, на поле боя, стало понятно, что связанная Т-60 совсем крохотная машина и ее могут легко, как черепашку, раздавить огромные тяжелые боевые танки. Но «шестидесятка» бойко маневрировала среди разрывов, подкатывала к командирским машинам, правда каждый раз становясь под защиту их брони, передавала приказы, брала приказы. Несколько рейсов она проделала к подбитому КВ, доставляя ему снаряды, захватила с «тридцатьчетверки» раненого стрелка-радиста, на обратном пути отвезла ремонтников к подбитому КВ. А когда одна наша машина загорелась, «шестидесятка» стала впереди горящего танка и открыла такой отчаянный огонь из своей пушки, что враги вынуждены были перебросить сюда сразу две свои машины на помощь автоматчикам.

Немецкие «пантеры», освещаемые горячей машиной, внезапно выскочили из темноты и, понав под перекрестный

огонь наших орудий, тоже загорелись. «Шестидесятка» долго крутилась между железными кострами рвущихся машин, преследуя разбегающиеся экипажи немецких танков.

Думала ли Катя в эти мгновения о гитлеровцах? Нет, не думала. Получив приказ, она останавливала машину и всем своим существом старалась определить, не поднялась ли носовая часть танка на валике или, наоборот, не завалилась ли. Она стремилась всем сердцем, всеми силами ума облегчить работу командира по наводке орудия. В момент выстрела она начинала плавно включать сцепление, одновременно прибавляя газ, чтобы не рвать танк резко с места, чтобы командир не потерял цели. Однажды, когда цель была потеряна, Катя выскочила из танка и, став во весь рост, вытянутой рукой показала направление цели.

Она была вся охвачена каким-то удивительно возвышенным чувством и казалась самой себе смелой, простой, хорошей. Ей казалось также, что и лейтенант думает о ней сейчас именно так, и за это она готова была делать все, что угодно.

Внезапно громко и странно звякнула крышка башенного люка. Катя окликнула:

— Товарищ лейтенант! Товарищ лейтенант!

Никто не ответил. Она остановила танк, проползла в башенный отсек. Нога лейтенанта свешивалась как-то странно, не упираясь в педаль спуска орудия. Она потянула лейтенанта за ногу, и он застонал. Она помогла лейтенанту слезть вниз, — голова его была в крови от пули, ударившей рикошетом от крышки люка. Катя бинтовала ему голову, и, когда повязка закрывала глаза, лейтенант сердито говорил:

— Осторожнее! Что я, вслепую огонь вести буду?

Потом он снова забрался на сиденье и поставил ногу на педаль спуска. Катя сказала:

— Закройте крышку люка.

Лейтенант промолчал.

— Вам, может быть, жарко? — спросила Катя.

— Ладно, не сердитесь, — сказал лейтенант.

Они выехали на восточную окраину города и остановились. Кто-то постучал по броне и сказал вежливо:

— Товарищи танкисты, подсобите, пожалуйста. Фашист в трансформаторной будке засел, шрапнелью бьет, нет никакой возможности.

Катя вышла из танка.

— Где будка?

Боец в маскировочном халате, огромный, похожий на белого медведя, показал рукой и попросил:

— Может, подвезете? Я бы их гранатой.

— Гранаты у нас у самих есть,— сказала Катя.

Боец, наклоняясь к ней большим, скуластым измученным лицом, вдруг сказал испуганно:

— Господи, да, никак, барышня! — И поспешно добавил: — Ничего, я пешком дойду.

— Садитесь,— приказала Катя.

— Да не нужно,— сказал боец.

— Садитесь,— повторила Катя.

Боец, устраиваясь на броне танка, попросил:

— Вы не обижайтесь, товарищ командир. Испугался: гляжу — волосы.

— Держитесь, а то сдует! — крикнула Катя и закрыла люк.

«Шестидесятка» зашла в тыл окопавшейся возле трансформаторной будки группе вражеских автоматчиков, но фашисты успели повернуть орудие и встретили танк огнем. От бортового попадания «шестидесятку» развернуло почти на 160 градусов. После удара машина несколько мгновений оставалась неподвижной, потом снова пошла, но не вперед, а назад. Можно было подумать, что командир отказался, трусил. Но тут же машина опять повернула на боевой курс. Значит, механик-водитель, оглушенный, наверное, вначале потерял направление. Танк мчался к вражеским окопам...

...Катя сидела, скорчившись от боли в ноге. Боль становилась все сильнее, и она испытывала тошноту и не хотела открывать люк. Больше всего ей хотелось, чтобы ее сейчас никто не видел и чтобы она никого не видела. Но в люк стучали громко, настойчиво. Она разозлилась и открыла люк.

— Спасибо, товарищ механик.

— Сами-то как, ничего?

— Товарищ механик, коньячку, вот с фрица снял.

— Они же барышня,— вмешался в разговор еще один боец.

— Ну так что ж, коньячок и в госпитале дают.

— Как лейтенант?.. — спросила Катя.

В санбате ей сделали перевязку, но остаться она не захотела. Зашла в палатку, где лежал лейтенант. Она наклонилась над ним. Глаза лейтенанта были широко откры-

ты. Он пошевелил губами и с какой-то удивительной нежностью сказал:

— Зоенька!

— Это я, Катя,— шепотом сказала она и еще ниже наклонилась над ним.

— Зоенька! — повторил лейтенант. — Больно очень, Зоенька.

Тяжело хромая, Катя вышла. Танк стоял грязный, в масле, с длинными запекшимися бороздами от попаданий на броне, с пробойной, из которой торчали тряпки, засунутые туда Катей, чтобы не дуло. Очень измученным и уставшим выглядел танк. Катя с трудом забралась в машину.

В расположении полка было тихо. Люди отдыхали после боя. Катя вылезла из машины, сняла с соседнего танка лопату — своя лопата была разбита — и стала рыть землю. Земля была словно каменная, и она думала, что и за двое суток ей не удастся выкопать укрытие для машины, но она продолжала копать.

Подошел Глаголев.

— Ты чего тут скребешься, Петлюк?..

— Уйди,— сквозь стиснутые зубы сказала Катя.

— Ну вот,— звонко сказал Глаголев,— я для нее нишу выкопал, а она — «уйди» вместо «здравствуйте», — и взял из ее рук лопату.

Катя вынула из пробойны тряпку и начала протирать броню, забрызганную маслом, но тряпку у нее отнял Зотов.

— Пари проспорил,— сказал он с удовольствием,— обязан теперь для всех.

— Отдай,— сказала Катя.

— Не могу, честь дороже.

Катя вынула ключи и стала снимать разбитую крышку картера.

— Извиняюсь,— сказал Гущин,— но по этому агрегату я бог и допустить никого не могу.

— Да вы что, сговорились? — с отчаянием спросила Катя.

— Сговорились,— ответил Глаголев.

У Кати сильно запершило в горле, и она сипло сказала:

— А я вовсе не нуждаюсь.

— Ладно, ладно, иди спать,— сказал Глаголев.

Катя вошла в хату. Пол хаты был устлан соломой. Катя легла и накрылась полушубком, и сейчас же все ее существо стало наполняться гудящей, качающейся тошнотой. Но кто-то толкал ее и будил.

— Не надо,— жалобно попросила Катя и, думая, что заняла чужое место, придвинулась к стене.

— Ну, тогда положи, проснется — съест.

Потом она почувствовала, как ее накрывают полущубками, пахнущими, как и ее собственный, бензином, маслом, и кто-то тревожно шепчет:

— Вы, ребята, легче, а то она задохнется.

И еще кто-то сказал:

— Поди там... Чего он газует, скажи — Катя спит.

Что испытывала, засыпая, Катя, какие ей снились сны — не знаю. Только вот что. Кто был на фронте, тот поймет, что нет ничего торжественнее, чище и огромнее вот такой товарищеской любви. И никогда произнесенное вслух слово «люблю» не будет озарено такой правдой, силой и красотой необыкновенной, как у нас на фронте.

НА БЕРЕГУ ЧЕРНОГО МОРЯ

На каменном спуске севастопольского Приморского бульвара, у самого зеленого моря, опустив в воду босые натруженные, уставшие ноги, сидел запыленный боец. На разостланной шинели его — автомат, пустые расстрелянные диски. Трудно сказать, сколько лет этому солдату: брови его седые от пыли, лицо в сухих морщинах.

Небо над городом еще черно от пераставшей тучи дыма — дыхания недавней битвы. У причалов пристаней полузатопленные, пробитые снарядами суда, на которых враг искал спасения в море. Возле причалов лежат трупы гитлеровцев, головы их в воде, и кажется, что они обезглавлены самой черноморской волной.

Но солдат не смотрит на изрешеченные посудины, не смотрит на вражеские трупы, — взор его устремлен в море, словно что-то необыкновенное видит он в его глубине.

— Отдыхаете?

Боец повернулся и тихо сказал:

— Вот, знаете, о чем я сейчас думаю... Пришел я сейчас к самому краешку нашей земли. А позади меня — огромное пространство, и все это пространство я со своей ротой с боями прошел. И были у нас такие крайности в боях, я так полагал, что выше сделанного человеческим силам совершить больше невозможно. То, как Сталинград отбили, навсегда меркой солдатского духа будет. На всю историю измерение. Я человек спокойный, воевал вдумчиво и с оглядкой, а вот на заводе тракторном здание вроде конторы было, так мы в нем с немцами дрались без календаря — то мы на верхнем этаже сутки, то они. Когда у меня автомат повредили, я куском доски бился, а когда на меня один фашист лег, я вцепился зубами в руку, которой он пистолет держал. Прикололи фашиста ребята, а я не могу зубы разжать, судорога меня всего свела.

Когда бои смолкли и наступила в городе тишина, вышли мы на вольный воздух, взглянули на разбитые камни горо-

да и вот вдруг эту тишину почувствовали. Только тогда дошло, что мы пережили, что сделали, против какой страшной силы выстояли. От тишины это до нас дошло.

Вот и сейчас от этой тишины я словно заново бой переживаю сегодняшний. Я вас, верно, разговором задерживаю, а рассказать хочется... Закурите трофейную. Хотя табак у них дрянь, копоть во рту одна... Так, если время вам позволяет, я еще доложу. Пришли мы к Сивашу. Это такое море, гнилое и ядовитое. Его вода словно кислотой обувь ест. Очень скверная, извините за грубое слово, вода. Не стынет она, как прочие воды, не мерзнет зимой, все без льда, — ну, яд, словом, и мороз не берет ее. По этой проклятой воде мы вброд под огнем шли в атаку. Тело болело в холоде, ну, хуже, чем от ранения, а шли под огнем, и кто раненый был — тоже шел; знал — упадет, добьет вода, — и только на берегу позволял себе упасть или помереть.

Столкнули мы фашистов с небольшого кусочка земли, и прозвали ее все «Малой землей». А земля эта была неприятная, сырая, даже холод ее не брал, вроде как больная земля, ее соль разъедала, потому она такая. Ну, бомбил он нас, навывлет всю эту Малую землю простреливал. Страдали мы без воды очень. Гнилой-то ее много было, а вот глоток простой и сладкой — ну прямо дороже последней закрутки считался.

Соберемся в траншее на ротное партийное собрание — парторг вопрос: как, мол, настроение? Некоторые даже обижались: какое такое может быть настроение, когда мы и на Волге сражались! Я вам правду скажу, мы все очень гордые считаемся. Так и на Малой земле мы все гордились и очень высоко свою марку ставили.

А когда мы с Малой земли по приказу командования на Крым ринулись, тут чего было — трудно описать. Какой-нибудь специальный человек — он бы выразил, а я не могу всего доложить. Одним словом, действовали с душой. А на душе одно было — изничтожить гадов, которые в Крыму, как гадюки под камнем, засели. Били в Джанкое, в Симферополе, в Бахчисарае и в прочих населенных пунктах. Но сберегли гады себе последнюю точку — вот этот город, где каждый камень совестливый боец целовать готов, потому здесь каждый камень знаменитый.

Мы с ходу позиции заняли у подножия гор. Неловкая позиция. Гитлеровцы на горах, горы эти пушками утыканы, камень весь изрыт, доты, дзоты, траншеи. Доты бетонные. Дзоты под навесными скалами. Траншеи в полный

рост. Нам все это командир роты доложил, старший лейтенант Самошин, может, встречали,— три ордена. Спокойный человек, бесстрашный. Заявил он нам так: «Вот глядите, товарищи бойцы, на то, что нам предстоит сделать. Горы эти, конечно, неприступные. А самая главная из них — Сапун-гора, и взять ее — значит войти в Севастополь».

Мы, конечно, всякое видали, но после Сиваша гордости у нас еще прибавилось. А тут, у гор, мы без задора глядели на крутые скалы и знали, что пройти по ним живому все равно что сквозь чугунную струю, когда ее из летки выпускают. Знали, что восемь месяцев высоты эти держали наши люди дорогие, герои наши бессмертные. Ведь враг каждую щель, которую они нарыли, использовал да два года еще строил, население наше сгонял и оставшуюся артиллерию на эти горы со всего Крыма натащил. И опять же, ведь это горы! А мы все в степи дрались, на гладком пространстве. Скребло это все, честно скажу.

А надо командиру ответить. Встал Баранов. Есть такой у нас, очень аккуратный пулеметчик. Когда он тебя огнем прикрывает, идешь в атаку с полным спокойствием, словно отец за спиной стоит. Такое чувствовали все, когда Баранов у пулемета работал.

Выступил этот самый Баранов и сказал: «Я так думаю, товарищи. Те люди наши, которые до последней возможности своих сил Севастополь защищали, в мысли своей самой последней держали, что придут сюда несколько погоды снова советские люди — и такие придут, которые все могут. Они такую мысль держали, потому что свой народ знали, потому что сами они были такими. Кто чего соображает — я за всех не знаю. Вот гляжу всем в глаза, и вы мне все в глаза глядите, я сейчас клятву скажу перед теми, которых сейчас нет».

Тут все вскочили и начали говорить без записи. Просто как-то от сердца получилось. И сказали мы: «Клянемся!» Я подробностей всех слов не помню. Знаете, такой момент был, сказал бы командир: «Вперед!» — пошли бы, куда хочешь пошли.

...И боец этот, сидевший у берега моря, зачерпнул горстью воду, солено-горькую воду, отпил ее, не заметив, что она горько-соленая, помолчал, затягиваясь папиросой так, что огонь ее полз, шипя, словно по бикфордову шнуру, и потом вдруг окрепшим голосом продолжал:

— Назначили штурм. Вышли мы на исходные. Рань такая, туман, утро тихое. Солнце чуть еще где-то теплится,

тишина, дышать бы только и дышать. Ждем сигнала. Кто автомат трогает, гранаты заряжает. Лица у всех такие, ну, одним словом, понимаете: не всем солнце-то сегодня в полном свете увидеть, а жить-то сейчас, понимаете, как хочется. Сейчас особенно охота жить, когда мы столько земли своей прошли, и чует ведь праздник наш человек, чует всем сердцем: он ведь скоро придет, окончательный праздник... А впереди Сапун-гора, и льдинка в сердце входит. Льдинка эта всегда перед атакой в сердце входит и дыхание теснит. И глядим мы в небо, где так хорошо, и вроде оно садом пахнет. Такая привычка у каждого — на небушко взглянуть, словно сладкой воды отпить, когда все в груди стесняет перед атакой.

И тут, понимаете, вдруг словно оно загудело, все небо: сначала так, исподволь, а потом все гуще, словно туча какая-то каменная по нему катилась. Сидим мы в окопах, знаете, такие удивленные, и потом увидели, что это в небе так гудело. Я всякое видел, я в Сталинграде под немецкими самолетами, лицом в землю уткнувшись, по десять часов лежал. Я знаю, что такое самолеты. Но, поймите, товарищ, это же наши самолеты шли, и столько, сколько я их никогда не видел. Вот как с того времени встала черная туча дыма над немецкими укреплениями, так она еще, видите, до сего часа висит и все не расходится. Это не бомбежка была, это что-то такое невообразимое! А самолеты все идут и идут, конвейером идут. А мы глядим, как на горе камень переворачивается, трескается, раскалывается в пыль, и давно эта самая льдинка холодная под сердцем растаяла, горит сердце, и нет больше терпения ждать.

Командир говорит: «Спокойнее, ребята. Придет время — пойдете», — и на часы, которые у него на руке, смотрит.

А тут какие такие могут быть часы, когда вся душа горит! Сигнал был, но мы его не слышали, мы его почуяли, душой поняли и поднялись. Но не одни мы, дорогой товарищ, шли. Впереди нас каток катился, из огня каток. То артиллерия наша его выставила. Бежим, кричим и голоса своего не слышим. Осколки свистят, а мы на них внимания не держим, — это же наш огонь, к нему жмемся, словно он и ранить не имеет права.

Первые траншеи дрались долго. Гранатами мы бились. Пачку проволокой обвяжешь — и в блиндаж. Подносчики нам в мешках гранаты носили. Когда на вторые траншеи пошли, немец весь оставшийся огонь из уцелевших дотов и дзотов на нас бросил. Но мы пушки с собой тянули на

руках в гору. Не знаю, может, четверку коней впрячь — и они бы через минуту из сил выбились, а мы от пушек руки не отрывали, откуда сила бралась! Если бы попросили просто так, для интереса, в другое время хоть метров на пятнадцать по такой крутизне орудие дотащить, — прямо доложу: нет к этому человеческой возможности. А тут ведь подняли до самой высоты, воп они и сейчас стоят там. Из этих пушек мы прямой наводкой чуть не впритык к дзоту били, гасили гнезда. Били, как ломом.

Третья линия у самого гребня высоты была. Нам тогда казалось, что мы бежали к ней тоже полным ходом, но вот теперь, на отдохнувшую голову, скажу: ползли мы, а кто и на четвереньках взбирался, — ведь гора эта тысяча сто метров высоты, и на каждом метре бой. Под конец одурел враг. Дымом все поднято было, и камни, которые наша артиллерия на вершине горы вверх подняла, казалось нам тогда, висели в небе и упасть не могли, их взрывами все время еверх подбрасывало, словно они не камни, а вроде кустов перекасти-поля (видели во время бурана в степи?).

Стали фашисты из окопов выскакивать, из дзотов, из каменных пещер, чтобы бежать. Но мы их достигали. Зубами прямо за камень хватались, на локтях ползли. Как вырвались на вершину Сапун-горы — не помню.

Не знали мы, что такое произошло. Только увидели — внизу лежит небо чистое, а там, впереди, какой-то город красоты необыкновенной и море зеленое. Не подумали мы, что это Севастополь, не решались так сразу подумать. Вот только после того, как флаги увидели на концах горы зубренной, поняли, чего мы достигли. Эти флаги мы заранее на каждую роту подготовили и договорились: кто первый достигнет, тот на вершине горы имеет знаменитое право его поставить. И как увидели мы много флагов на гребне, поняли, что не одни мы, не одна наша рота, а много таких, и что город этот — не просто так показалось — он и есть Севастополь!

И побежали мы к городу.

Ну, там еще бои были. На Английском кладбище сражались. Seriously пришлось. Когда окраины города достигли, тут опять немножко остановились. В домах там гитлеровцы нам стали под ногами путаться, но для нас в домах драться — это же наше старое занятие, сталинградское. Накидали мы, как полагается, гранат фрицам в форточку. Которых в переулках, на улицах достигли. Кто желал сдаться — тех миловали.

И когда потом стало вдруг нечего делать, оглянулись

мы, и как-то всем нам чудно стало. Вроде как это мы и не мы, смотрим и даже радоваться не смеем.

Спрашивают: «Ты жив, Васильчиков?»

Это моя фамилия — Васильчиков, Алексей Леонидович.

«Вроде как да», — отвечаю, а до самого не доходит, что жив.

Стали город смотреть. И все не верится, что это Севастополь. Кто на исторические места пошел, чтобы убедиться, а я вот сюда, к морю, думал к самому краю подойти, чтобы фактически убедиться. Я эту мысль берег, когда еще на исходных стояли, думал — к самому морю подойду и ногами туда стану. Ну вот, ноги помыл и сейчас думаю с вами вслух.

Я, может, сейчас немного не при себе, — после боя все-таки. Говорю вам и знаю, что каждому слову нужно совесть иметь, а я так без разбору и сыплю, хочу сдержаться и не могу. Может, самое главное, что у меня вот тут, в сердце, есть, я вам и не проговорил как следует. Но вы же сами гору видели, как наша сила истолкла ее всю в порошок. Ехали ведь через нее, по белой пыли у вас вижу, что ехали. Так объясните вы мне — может, знаете, — где есть еще такое место, которое вот эти солдаты — они сейчас по улицам ходят, всё на Севастополь удивляются — пройти не смогут!

Я вам и свой и ихний путь объяснил. Есть у меня такая вера, что нет теперь такого места на земле, чтобы мы его насквозь пройти не могли! И решил я сейчас так: как то самое главное, последнее место пройду, сяду на самом последнем краю, все припомню — где прошел, как прошел...

Васильчиков помолчал, снова закурил, поглядел на море, потом вытер полый шинели ноги, обулся, встал, поправил на плече ремень автомата и вдруг застенчиво попросил:

— Только вы про меня чего-нибудь особенного не подумайте. Я даже не в первых рядах шел, только иногда выскакивал. Вы бы других послушали, настоящих ребят, — есть у нас такие, — только разве они будут рассказывать! Это я так вот тут, для разговора, на ветерке посидел, ну вот, значит, и отдохнул. Счастливо оставаться.

Попрощавшись, Васильчиков поднялся по нагретому солнцем камню набережной и скоро скрылся из глаз в гуще идущих по севастопольской улице таких же, как он, опаленных, покрытых пылью бойцов.

МАСТЕРА РАСЧЕТА

Дорогу на Севастополь в грозные дни штурма не нужно было спрашивать. Там, где мы видели в небе темную тучу медленно шевелящегося дыма, там и Севастополь.

От Балаклавы до Северной бухты по дуге, огибающей город, стояли батареи. Каких только орудий здесь не было! В боевых порядках пехоты — скорострельные пушки на легких, почти мотоциклетных колесах; орудия на руках выкатывали вперед и быстро били из них по щелям обнаруженных дзотов или по пулеметным гнездам. Пехотинцы называют эти пушки своим «личным оружием». Конечно, по сравнению с гаубицей или гигантским осадным орудием, в канал которого можно засунуть голову, как в жерло заводской трубы, такие пушки кажутся пистолетами.

Тяжелые осадные орудия увесисто, непоколебимо стояли в капонирах, выдолбленных в камне, и с потрясающей силой бросали снаряды.

Орудия стояли на склонах высот. Немалого труда стоило притащить их туда.

Передвижение происходило ночью.

Утром артиллеристы увидели сказочное зрелище. Вся предгорная долина лежала внизу, необыкновенно яркая, словно картина, сложенная из цветных камней. Впереди виднелись севастопольские высоты. Они были красивые, розовые, в дымке; ветер, текший между ними, пахнул морем. Но бойцы ненавидели этот камень, старый и потрескавшийся, потому что в нем засел враг.

В покатых стенах — бетонированные доты. В выдолбленных пещерах — огневые точки. Траншеи издали похожи на каменные соты. А на обратных скатах высот расположены невидимые нам немецкие дальнобойные орудия.

Накрыть огнем вражеские батареи — эту задачу наши артиллеристы решили с неоценимой помощью бесшумных приборов — специальных артиллерийских приборов, за

всю войну не сделавших ни единого выстрела. О них артиллеристы говорят с величайшим почтением. И прежде чем увидеть грозный труд орудий, поднятых на высоты, мы решили взглянуть на работу их бесшумных механических помощников. Для этого пришлось идти туда, куда стреляют фашисты.

Там и работали ловцы звуков. Первый расчет звукометристов находился в расположении цепей пехоты. В выдолбленном каменном грунте окопа сидели у телефонного аппарата три бойца. В момент выстрела вражеского дальнего орудия по сигналу поста предупреждения включились приборы центральной станции. Звукоулавливатели фиксировали звук, а самозаписывающие приборы отмечали его на рулонах бумаги, разворачивающихся как телеграфная лента. Звук приобретал графическое изображение.

Стреляли не только немецкие, но и наши орудия, и притом гораздо громче, чем неприятельские, расположенные на много километров впереди; вокруг рвались, тоже очень громко, немецкие снаряды и мины. Поле боя — очень шумное место. Все эти звуки записывались на ленте, и выглядела она словно промокательная бумага, долго бывшая в употреблении.

Для того чтобы обнаружить на ленте искомую кривую, существуют особые методы, мастером которых является дешифровальщик. С помощью умных приборов и подвижный интуитивным чутьем, он, как радист в реве эфира, находит свою искомую ниточку в паутине линий. Затем эту кривую промеривают, вносят поправки на ветер, температуру и влажность. Вычислители производят расчет, и тогда невидимое вражеское орудие или батарея получает порцию горячих, всевидящих наших снарядов.

Тут же, на передовых, помещаются расчеты оптической разведки. Работают они только ночью. С помощью стереотруб они по вспышкам огня засекают месторасположение немецких орудий. Следует почти мгновенный математический подсчет по логарифмическим линейкам, и огневики получают данные для стрельбы — строгие и надежные данные, указывающие вражескую позицию с точностью метров. Если звуковые приборы — уши огневиков, то оптические — их глаза.

Известно, что немцы очень любят сниматься. Но едва ли им нравится, когда их фотографируют бойцы фотоподразделений. Их расчеты там, где наши разведчики; дальше идти некуда. Перископический дальноточный аппарат

производит свою плодотворную съемку прямой наводкой вдоль всей оборонительной линии противника.

Снятая пленка проявляется, отпечатывается. Картина ясна. Командир отмечает огневые точки, которые следует подавить в первую очередь.

Самоотверженно работают бойцы-топографы. Мы их встречали в самых неожиданных местах — и на вершинах скал, и в провалах ущелий, и на берегу студеной горных рек. Бойцы этой батареи промеряли землю будущих огневых плацдармов. С помощью особых, расставляемых в строгой последовательности знаков они дают возможность командирам батарей определить свои координаты и направление на огневые точки противника. Во время боя батареи часто меняют свое место. Но как бы ни маневрировали многопушечные наши батареи, всегда известно местонахождение их и расстояние до огневых точек противника.

Мы были у этих нестреляющих артиллеристов, видели нашу отечественную сложнейшую аппаратуру, наблюдали тонкость и точность производимых расчетов. Здесь работают бывшие математики, астрономы, землемеры, счетоводы, конструкторы, коротковолновики, фотографы. Они привыкли к своему сложному, ответственному труду. Мы видели, как на центральной станции чернила на столе выплескивались от толчков близких разрывов, но ни один из склонившихся к узкому столу не прервал математических исчислений. Люди работали так же самоуглубленно, как когда-то в своих кабинетах и лабораториях.

Во время героического форсирования Сиваша расчеты нестреляющих подразделений переправлялись вместе с передовыми штурмовыми отрядами и тащили на себе свою бесценную аппаратуру. Топографические расчеты, работая на Малой земле, в течение двух дней покрыли весь плацдарм сетью знаков опорных артиллерийских пунктов. Когда нужно было промерить расстояние от опорной точки до батареи по простреливаемому из немецких пулеметов участку, промерщики Климов и Балибаев спокойно поползли вперед, разматывая стальную ленту. Когда рядом рвались снаряды, боец оптического расчета гвардии старшина Серцов ложился на перископ, чтобы прикрыть от осколков драгоценный объектив. Землей разрывов засыпало гвардии лейтенанта Пикуса и гвардии старшего сержанта Смоленского, но они успели спрятать в щель свои дальнобойные аппараты, а щель закрыли своими телами.

Успех работы нестреляющих подразделений во многом зависит от связи. Линейные Забазнаев и Куфшерин сутка-

ми не вылезали из ледяной и едкой воды Сиваша. Сутками по Сивашу была немецкая артиллерия, но наши огневики всегда были зрячими, потому что связь действовала безотказно.

Давно уже Перекопский плацдарм стал глухим и мирным тылом, но по перекопским укреплениям еще долго ходили советские офицеры с блокнотами в руках и тщательно сверяли показатели звукометристов. И эти данные совпадали с расположением руин. Такие плоды дала работа фотодешифровальщика — гвардии старшего сержанта Зимина, звукодешифровальщика — гвардии красноармейца Еланского, вычислителя Телешко и звукотехника — гвардии сержанта Егорова.

Да, огневая мощь наших первоклассных орудий оснащена и вот этими совершенными и тончайшими приборами, способными определить то, что недоступно человеческому уху и глазу. Управляют этими приборами люди сильного разума, твердого сердца и виртуозного мастерства.

И когда мы снова поднялись по проломанной в горах дороге на площадку, наши батареи уже действовали, реализую полученные данные. Снаряды летели через скалистые гребни высот туда, к Севастополю. Гвардии капитан Егоров командовал огнем, держа в руке листок бумаги. На листке были записаны координаты вражеских орудий.

И снова над севастопольскими высотами повис черный шевелящийся дым. В выдолбленных в камне норах, где засел враг, тяжело и мерно рвались наши снаряды. И было очень приятно знать, что полет каждого снаряда окрылен разумом строгого, точного и безупречного расчета.

КАВАЛЕР ОРДЕНА СЛАВЫ

Пятнадцать бойцов и офицеров стояли во дворе, выстроившись в одну шеренгу. Начищенные трофейной ваксой сапоги и ботинки ярко блестели. А на лицах застыло такое напряженное и строгое выражение, какое бывает только перед атакой.

Полковник Бобров брал из рук адъютанта белую коробочку, вынимал из нее сияющий орден или медаль и прикреплял на грудь героя.

Что говорил при этом полковник, было плохо слышно. Деревенские ребятишки, собравшиеся возле плетня, как только полковник пожимал награжденному руку, начинали кричать «ура» и хлопать в ладоши.

Двор, где происходило награждение, был завален щебнем, битыми кизячными кирпичами, усыпан стреляными гильзами, а на огороде лежали убитые, еще не убранные после боя вражеские пулеметчики.

Конечно, когда вручают ордена в Кремле, там все гораздо торжественнее. Но, думается, где бы ни получал человек орден, волнение его будет одинаково сильным, а чувство восторга ничуть не меньшим.

Когда полковник подошел со звездой ордена Славы к одному из бойцов, я увидел, как тот побледнел и на шее его вспухли вены. И когда полковник прикрепил к гимнастерке бойца орден, вместо того чтобы отчетливым, бодрым голосом сказать: «Служу Советскому Союзу», солдат этот, низко склонив голову, вдруг резко повернулся, прижал ладони к лицу и побрел в сторону, спотыкаясь, как слепой.

Я слышал, как полковник Бобров делал строжайшее внушение офицерам, входившим в его блиндаж на наблюдательном пункте, только за то, что фуражка была откинута на затылок или звездочка находилась не строго перпен-

дикулярно переносице, хотя для того, чтобы попасть на НП, приходилось ползти метров двести буквально на локтях: мины шлепались здесь так часто, что, когда человек полз, под руками и ногами его звенели камень и осколки, и неизвестно, чего здесь было больше — камней или осколков.

А тут полковник бровью не двинул, глазом не покосил. Взяв у адъютанта очередной орден, он вручил его следующему герою; словно ничего не случилось, сиплым веселым голосом произнес слова поздравления с высокой наградой.

Не только награждаемые, но даже мальчишки, стоявшие у плетня, почувствовали благородство и такт полковника и тоже сделали вид, что ничего не заметили.

Только маленькая встревоженная девочка, догнав спотыкающегося бойца, спросила его испуганно и нежно:

— Дяденька, может, вы испить хотите, так дойдемте до моей хаты.

Торжество кончилось. Я спросил полковника, знает ли он того бойца, который так взволновался при вручении награды. Полковник обиделся и сказал:

— Я всех хороших солдат знаю. Что я — первый год ими команду? Сколько земли вместе прошли.

И, став снисходительнее, он объяснил, оставаясь все-таки сердитым:

— Это солдат высокого класса — мастер-радист.

— Только вот у него сложение слабоватое!

— А зачем ему сложение? Он головой работает! Познакомьтесь, советую.

И вот мы сидим в траншее, накрывшись плащ-палаткой, а сержант, кавалер ордена Славы второй степени Владимир Антонович Логостев при свете электрического фонаря кисточками и тряпочками чистит от набившейся пыли механизмы рации, что стоит на дне траншеи на разостланной шинели.

Логостев — радист. С рацией на плечах и с автоматом в руках он следует всюду за начальником артиллерии — гвардии подполковником Пименовым. Примостившись где-нибудь на гребне высоты или на скате ее, он посылает в эфир приказание батареям, какие отдает подполковник Пименов.

Подполковника Пименова отличает страстное любопытство ко всему тому, что творится в расположении противника. Поэтому он идет туда, куда идти очень опасно, но откуда зато очень хорошо видно.

Правда, Пименова сопровождают также линейные связисты. Но там, где работает Пименов, много огня и осколки слишком часто рубят проводочную связь.

Пименов предпочитает эфир: ведь как по эфиру ни бей, радиоволну не испортишь.

Сидя на наблюдательном пункте, пощелкивая линейкой после каждого залпа вражеских орудий, Пименов отвечает на немецкие снаряды артиллерийским ударом такой точности, что фашисты, ошавев, начинают переносить огонь по всем подозрительным возвышенностям, где, по их мнению, может сидеть этот беспощадный русский корректировщик.

Понятно, что земля вокруг становится дыбом и работать в таких шумных условиях на рации трудно.

Но чудесными качествами одарен Логостев.

Он очень волнуется, а проще говоря — трусит, когда со своей рацией на плечах пробирается вслед за Пименовым на наблюдательный пункт. Но стоит Логостеву открыть рацию, включить электрические батареи и начать настройку, он тотчас обо всем забывает и с самозабвением и упорством, отчеканивая каждый штришок передаваемых приказаний, несмотря на любые помехи, пробирается своим тоненьким радиоголосом сквозь рев и грохот самого могущественного артиллерийского наступления. И в этом его торжество. И поэтому он уже ничего не боится и, становясь одержимым, чувствует себя победителем в эфире.

А ведь помех в его работе очень много. Кроме горячих осколков рвущихся снарядов, враги засоряют эфир работой своих станций. Но и тут виртуозный мастер Логостев точно и спокойно передает цифры команды. И каждая цифра, воспроизведенная на батареях, в прицельных приборах, становится для оккупантов роковой.

Однажды в блиндаже, где Логостев сидел и работал, от взрыва бомбы обвалилась кровля. Логостева завалило землей и бревнами, но рация оказалась неповрежденной. И когда Логостева откопали, он, вместо того чтобы сказать «спасибо», потребовал, чтобы ему не мешали.

Во время одного очень сильного артиллерийского налета противника Логостев добрый час пролежал на земле, прикрывая своим телом рацию, и получил несколько осколочных ранений.

Когда Логостева подняли, перевязали и стали спрашивать, как он себя чувствует, Логостев, озабоченно рассматривая рацию, ответил:

— Все в порядке, даже обшивку не поцарапало. Вот повезло!

Как-то пришлось ему работать в болоте, покрытом желтой, пенистой, прокисшей водой. Чтобы не замочить электробатарей, Логостев сел в эту воду, поставил себе на ноги рацию и так работал всю ночь. И потом он не мог встать — так сильно застыли и онемели ноги.

...И вот мы сидим сейчас с Логостевым под плащ-палаткой и разговариваем.

Логостев рассказывает про себя скупое и неохотно. Приходится выпрашивать у него буквально каждое слово.

— По профессии я, видите ли, экономист. Работал в Наркомпищепроме. Но если правду сказать, так радиолюбительское дело у меня все время поглощало. Отражалось это, конечно, и на работе, и на семье также. У меня была прекрасная комната на улице Горького, но, как троллейбус пошел, начались сильные помехи в приеме. Я поменял эту комнату на комнату в Удельной, под Москвой. Для жены это целая трагедия. Представляете: на работу — на поезде, вставала чуть свет, а ведь она коренная москвичка. Ну и на материальном уровне эта любительская страсть тоже отражалась.

Чудесной схемы коротковолновый передатчик я у одного композитора, тоже любителя, увидел. Чистота работы, ширина диапазона необычайные.

Ну, жена беличью шубку продала. Она, бедняжка, не любила радио. Даже точнее: ненавидела.

По ночам работал. Знаете, с любой точкой связывался. Довольно популярным любителем стал. У меня этими квитанциями со всех географических пунктов все стены заклеены были. А днем — служба.

Когда ребенок у нас родился, решил радио бросить. Но тут во время одного большого перелета я одним из первых сигнал бедствия принял. Побежал тут же ночью на почту, позвонил по телефону, сообщил. Потом телеграмму с благодарностью получил. Показал жене. Она прочла, подумала, потом сказала: «Нет, не нужно продавать аппаратуру, Володя. Работай. Вовка подрастет, я буду работу на дом брать. Все хорошо будет».

На фронте я вначале телефонистом работал. Ну, приходилось по-всякому. И вот ночью часто во время дежурства мысли приходили. О жене думал, о сынишке. Особенно о жене. Сына я мало видел. И думаю: как это я не смог жене моей жизнь украсить за все, что она для меня сделала? Ну,

про шубку, конечно, вспомнил, про комнату. Тяжело было думать и сладко вместе с тем. Ведь есть же удивительные такие, преданные нам женщины. Они как святые становятся, когда здесь, на фронте, о них думаешь. Вот она, супруга моя, если хотите взглянуть.

На фотографии я увидел женщину с большими, немного грустными глазами, гладко причесанную, в скромной кофточке.

— А как вы радистом стали?

— Убили у нас тут одного радиста. Ну, я доложил капитану, он — полковнику. Полковник на мою фигуру посмотрел и скептически отнесся. Ну я ему квитанции показал. Очень спешил, когда на фронт уходил, а все-таки в первую очередь квитанции эти в мешок сунул, а уж потом карточку жены. Смешно это все, как вспомню. Ну, начал работать. И тут, может, и неловко говорить после того, что я вам о своей жене рассказал, но до того я снова увлекся своей работой, что даже письма стал домой редко писать. Снова как одержимый стал. А она тревожилась, в политотдел дивизии телеграфные запросы посылала.

Логостев задумался, замолчал. Но потом вдруг тряхнул головой и сказал вызывающе громко:

— Вы, когда награждали меня, присутствовали? Видели, как я перед полковником, перед бойцами нервы распустил? Так я вам скажу: не орденом я был взволнован. То есть, конечно, орденом, вернее — мыслью одной, связанной с тем, что я орден получил.

Вот скажите: если бы у меня была другая жена, не такая самоотверженная, чуткая, любящая, готовая на все лишения, которым я ее подвергал, — разве я мог бы быть таким специалистом, каким я, вы сами знаете, являюсь? Нет, не мог бы. Увлёкся любительским делом, но ведь потом бы бросил, если б другая была. Был-то, ведь он всегда останется бытом.

В возбуждении он не заметил, как встал и плащ-палатка, прикрывавшая рацию, сползла. Кто-то из темноты закричал:

— У кого там свет, гаши!

Логостев быстро наклонился, погасил фонарик и уже тихим голосом, в котором снова почувствовалась грусть, закончил:

— Если руководиться по-настоящему одними чувствами, так этот орден Славы нужно моей жене послать. Именно она его в первую очередь заслужила...

Где-то далеко слышалось тяжелое гудение танков, идущих на исходные. И почти над нашими головами про-рычали в воздухе штурмовики. Они шли в бой, могущес-твенные, стремительные.

И где-то недалеко от этого поля сражения, верно, сидел сейчас с ящиком, наполненным хрупкими механизмами, такой же радист, как Логостев, и мастерски восвал в эфире, чтобы удар, наносимый с земли и воздуха, пришел в то время, когда враг меньше всего его ждет, и в то место, где он придется намертво.

1944

ВЫСШЕЕ СТРЕЛКОВОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

Всю ночь перед штурмом Сапун-горы над немецкими укреплениями стояли белые колонны прожекторного света. Свирляющий гул наших самолетов не смолкал, а оранжевое пламя, возникавшее в глухом гуле разрывов, напоминало лесной пожар. Содрогание камня доходило сюда, в балку, толчками теплого, пахнущего тротилом воздуха. На фоне звездной ночи Сапун-гора выглядела как гигантская пирамида с усеченной вершиной.

Бойцы штурмовой группы лейтенанта Лаптева слушали последние наставления командира.

Объяснив все трудности предстоящего боя, определив задачу каждому, перечислив приданные средства, Лаптев сказал:

— Кроме всего прочего, нам, по приказу майора, придется товарищ Кондратюк.

Когда Лаптев перечислял число станковых пулеметов, минометов, противотанковых ружей и сообщал, что в боевом порядке будет находиться сорокантимиллиметровое орудие, никто из бойцов не выразил удивления перед таким обилием техники. Но стоило лейтенанту назвать Кондратюка, как все одобрительно зашумели.

Кто такой Кондратюк, я не знал и поэтому на всякий случай решил, что Кондратюк — командир гвардейского миномета, который так любят наши бойцы.

Всю ночь на вершине балки с томящим хрустом рвались немецкие снаряды. Привыкнуть к этому звуку трудно. Я бродил между спящими бойцами и завидовал их простому и такому серьезному мужеству.

Хотелось курить, но спичек не было. Остановившись возле солдата, при свете луны озабоченно перебиравшего ружейные патроны, я попросил огня.

— Что это вы с патронами делаете?

— Сортирую, — сказал боец, и, поднеся кулак с зажатым патроном к своему уху, он потряс им. Отложив патрон

в сторону, объяснил: — Наборная у меня обойма. Два с тяжелой пулей, один бронебойный, один зажигательный, пятый простой.

— А это что, испорченный?

— Есть такое подозрение. — И, протирая тряпочкой отобранные патроны, боец с достоинством заявил: — Боеприпасы у нас — будьте уверены. Но я человек привередливый, чуть вмятинка или пуля слабо сидит, принять не могу...

Я заметил бойцу, что у винтовки его, прислоненной к дереву, открыт затвор.

— Она у меня отдыхает, — сказал боец. — Если все время в напряжении держать, так хоть и стальные части, а все равно свянут. Вот перед боем мы им и даем отдохнуть.

— Ну, а сами почему не отдыхаете?

— Спокойствия нет. Я ведь в штурме по своей специальности первый раз буду. Раньше все из засады бил, с ассистентом.

— С каким ассистентом?

— С учеником. Он наблюдение вел. А я в это время глазами отдыхал. Раньше я один работал, так глаза к концу вахты уставали, хоть и морковку ел. В ней, в морковке, витамин для глаз полезный есть. На себе испытал.

— Вы снайпер?

— Именно. Боец с высшим стрелковым образованием. Другие думают так: прицелился, надавил на спусковой крючок — и готов фашист. Нет, тут культурный подход требуется. Извините, вы на восемьсот метров фашиста снять можете? Науку для этого представляете себе? Так я вам скажу. Первое — сумей определить, что он от тебя на восемьсот метров находится, а не на шестьсот или семьсот пятьдесят. Для этого отточенный глазомер требуется. По углам дальность вычислить — геометрия нужна.

Пуля, когда летит, возвращается слева направо и дает отклонение вправо. На шестьсот метров она на двенадцать сантиметров уклоняется, на восемьсот — уже на двадцать девять. Зная эту цифру, и держи, значит, в соответствии мушку. А если сильный боковой ветер, тут как? Выноси точку прицеливания на две фигуры. Но ведь разные обстоятельства могут быть. И ветер, и фриз бежит — да еще в разные стороны... Тут такое сложение и вычитание — голова вспухнет. А времени тебе отпущено всего три секунды. Профессор и тот вспотеет.

Вы в дивизионной газете про меня читали? Как я со знаменитым немецким снайпером поединок вел? Там все

описано. И как я кровью истекал, и как в туше конской сидел, и как ассистент одновременно со мной по немцу бил, чтоб на себя огонь привлечь. А главное не сказано: почему я фашиста свалил.

А свалил я потому, что культурнее его оказался, в секундной арифметике его превзошел, хоть он в Берлине особую школу кончил с отличием.

На Миусе я в засаде сидел. Через реку за фрицами охотился. И не охота это была, а срам: за три дня ни одного не уложил. Позор! Уж я, знаете, и винтовку заново пристреливал, и моркови по полкилограмма кушал, и к капитану за консультацией обращался. Все напрасно — недолет. Ночью нагишом через реку с веревочкой плавал, чтоб удостовериться в расстоянии. Не помогло. Тогда я снайперу Чекулаеву письмо написал. И что вы думаете — телеграмма: «Через водную преграду нужно брать большой угол возвышения, так как холодный воздух и влажность снижают траекторию».

Вы мою винтовку видели? На прикладе серебряная дощечка. Личный дар оружейников. Глядите, что написано. Только счет сейчас уже не сто восемьдесят, а двести шестьдесят два. Пока переделывать не стану. Кто ее знает, какая она, последняя цифра, будет. А зря металл скоблить нечего...

Когда солнце успело подняться только до половины гор, опоясывающих Севастополь, наши бойцы ворвались в город.

С солдатами из штурмовой группы лейтенанта Лаптева я встретился у Графской пристани.

Бойцы толпились на берегу бухты. Я заметил, как один боец, подойдя к самой воде, вынул из гимнастерки тщательно сложенную бумажку, изорвал ее и бросил в воду.

Поймав мой взгляд, боец тихо сказал:

— Это я посмертную записку уничтожил. Теперь не требуется. А ведь на волоске был. Кондратюку спасибо.

— Гвардейский минометчик всегда прикроет.

— Я Михаилу Петровичу Кондратюку спасибо говорю, снайперу, который нас сопровождал, — поправил меня боец. — Полз я к доту с толком. А впереди меня траншеи с немецкими пулеметчиками. Пригнули головы и ведут огонь. Слепой огонь — мне не препятствие. Вот если кто из них голову вскинет да взглянет, тогда мне, конечно, конец. Ползу и о смерти думаю. И вот приподнялся один, автомат поднял, прямо в глаза взглянул, и вдруг — бац, и сел за мертво. Вот, думаю, счастье мое. Дальше ползу. Еще один

вскочил, но и у него из головы брызнуло. Смекнул, в чем дело, на четвереньки поднялся. Мне бы только тол до амбразуры добросить. А там, понятно, геройскую смерть принять надо: деваться некуда. Напружинился, глотнул воздух, бросил, лег и жду... Разворотило дот, меня камнем обсыпало, ушибло маленько. Но ничего, зато задание выполнил. Встал, огляделся по сторонам. Вокруг меня шесть фрицев накидано, а я живой. И стало мне вполне понятно, как Кондратюк меня своей меткой пулей сберег. Вернулся к ребятам, снова попросил тола. Лейтенант говорит: «Действуй. Мы тебя из ручного пулемета прикрывать будем». — «Не надо, — сказал я, — ручного пулемета. Пусть на меня товарищ Кондратюк внимание обращает. Он застрахует». Так я еще два дзота поломал. Потом Кондратюка другим подрывникам одалживали. Прямо ангел-хранитель, а не человек. Но мы его тоже без присмотра не оставляли. Автоматчик за ним следовал, как за генералом. И пулеметчикам наказ был: в случае чего — прикрыть.

Я вспомнил о своем почном знакомом и, чтобы подтвердить догадку, попросил свести меня с Кондратюком.

— А он на горе остался, — сказал боец, улыбаясь. — Объяснял нам, что в горах воздух особенный, прозрачный. Говорят, когда через ущелье огонь ведешь, обман в расстоянии до точки прицеливания происходит. Он сейчас проверяет, как прицел устанавливал: правильно или нет.

— Вы же сказали, что он фашистов бил без промаха?

— Это он сам знает. Но мнительный, не желает со своим талантом считаться. Ему цифры нужны. Наш товарищ Кондратюк ребят снайперскому делу учит. На все объяснение от него требуется. Вот он для умственного отчета и обследует.

Белый город, сложенный из инкерманского камня, амфитеатром замыкал зеленую сверкающую воду залива.

В ГОРОДЕ, ГДЕ СЧАСТЬЕ И ГОРЕ

Танк проломил каменную стену, вернее — обрушил ее, словно поленницу дров, и, дробя кирпич, вырвался на центральную улицу.

Черный, высекая из мостовой траками синее пламя, танк мчался по улице; когда из ворот дома выскочили два немца и, увидев танк, прижались к забору (бежать обратно было уже поздно), танк сделал еле уловимое отклонение вправо, и на заборе остались только толстые влажные царапины.

Крупнокалиберное зенитное орудие, укрытое за цоколем разбитого памятника, открыло по танку огонь. Тогда танк, тяжелый, как стальная глыба, вдруг проворно шмыгнул за ветхую ограду какого-то дома, промчался по огороду, отбрасывая комья земли, сломал еще какую-то каменную стену и вдруг совсем неожиданно, разбивая края каменных ступеней, выскочил на зенитное орудие, опрокинул его и потом долго крутился на одном месте, пробивая темноту ночи пунктирами трассирующих очередей.

В эту ночь жители города Гродно, спрятавшиеся в подвалах и погребах, слышали топот танка повсюду. И так как этот топот возникал, казалось, почти одновременно на многих улицах, жители решили, что советские войска, чтоб освободить их от немцев, бросили на Гродно целых сто танков. И эту новость с восхищением и радостью они как-то ухитрились передавать друг другу. Всю ночь в городе длился уличный бой. Из каменных зданий с замурованными окнами бойцы выбивали немцев так: сначала на руках выкатывали противотанковую пушку и, стреляя из нее почти впритык к дому, пробивали в стене отверстие. К этим пробоинам подползали другие бойцы и бросали в пробоины тяжелые противотанковые гранаты. Одновременно с задних дворов по водосточным трубам или с крыш соседних домов проникали на чердак осажденного дома наши авто-

матчики. И, как повелось говорить нынче, «занимались окончательной уборкой». В тех случаях, когда осажденные фашисты пытались бежать, откуда-то вдруг выскакивали кавалерийские засады и бесшумно — бесшумно потому, что удар клинка бесшумен по сравнению с очередью из автомата, — разделялись с немцами.

Ночной уличный бой требует от воина неутомимой отваги, хладнокровного коварства, сообразительности и умения действовать в одиночку.

Видно, всего этого хватало у наших солдат, потому что к рассвету город Гродно был очищен от немцев. И когда солнце встало над закопченными стенами старинной гродненской крепости и ярко заблестело в кучах битого стекла, рассыпанного на каменных плитах тротуаров, жители наконец осторожно вышли из своих подвалов и погребов на вольный воздух.

Стояла какая-то удивительно мирная утрепная тишина, и только горький, уже остывающий угар пожарищ напоминал о войне.

Слиянием горя и счастья отмечен каждый освобождаемый нами город.

Счастье — мертвые немцы, живые советские люди, уцелевшие здания, слово «товарищ», красное знамя, бьющееся розовым крылом на вершине башни; счастье — это ощущение того, что отныне никогда больше ожидание смерти, муки и ужас не будут омрачать существования человека.

Горе — это... черная рыхлая земля, на поверхности которой валяются разбитые очки, сломанные вставные челюсти, лохмотья одежды, оторванные пуговицы; на этой земле ничего не растет, она мертвая, потому что в ней не покоятся, а кое-как, вперемишку, лежат тысячи расстрелянных немцами советских людей. Горе — вот эти тлеющие дома и обугливающиеся в них трупы людей, которых немцы не выпускали из подожженных домов.

Но люди все равно вырывались и приползали к нам на батарею, как приполз человек с обожженным лицом и вытекшими глазами. Встав лицом к городу, этот человек попросил командира батареи гвардии капитана Грошего рассказать, что он видит, и, прерывая Грошего, объяснял:

— Вот здесь, по этой излучине, мы рыли траншею, а я как каменщик выкладывал стены дота, но вы не беспокойтесь, если вы даже промажете и попадете рядом, то сами можете понять, какие может строить еврей-каменщик стены для немецкого дота, — они все равно развалятся.

В городе мы видели полуослепших людей, которые

прятались в ими же вырытых подземельях, и только вчера впервые за три года увидели свет дня, свет солнца, — прежде они выползали из своих убежищ лишь ночью, чтоб подышать свежим воздухом.

Когда жители освобожденного Гродно вышли утром на главную улицу, первое, что им бросилось в глаза, — огромный танк, стоящий в проломе стены; на его красной, засыпанной битым кирпичом броне спали танкисты.

Жители столпились вокруг танка, и не сама грозная машина со шрамами попаданий — такая могущественная и грозная даже в своей неподвижности — привлекала их внимание, а вид вот этих молодых ребят, растянувшихся на стальной палубе и блаженно спавших на ней, будто более удобной постели нельзя было и выбрать.

Эти спящие на броне своего танка танкисты многое объясняли каждому человеческому сердцу, стремящемуся понять, какую меру силы нужно иметь, чтоб драться так, как дерется ныне советский воин, какой душой обладать, чтоб и жить и отдыхать только для боя, для счастья победы.

Все это, повторяю, объясняли без слов спящие на броне боевой машины танкисты. Командир экипажа лейтенант Андрей Званцев за эти дни прошел с боями более полутысячи километров по прямой. Чтоб пояснить, как работали люди этого экипажа, скажу одно: самую большую стоянку — четыре с половиной часа — танк имел перед Березиной.

Внутри танка были такие же температура и воздух, какие бывают в паровозной топке после того, как жар забросают мокрым углем.

Обмотав голову мокрыми тряпками, полуголые танкисты вели бой, а когда кто-нибудь, угорев от пороховых газов, терял сознание, его вытаскивали и клали под клиренс отдышаться, но танк продолжал вести бой. Только ожидая заправки или пополнения боеприпасов, танкисты, словно подводники, вылезали на башню.

Сейчас они спали на улице только что взятого города, и на их лицах было выражение счастья, потому что отдых на войне после выигранного боя — самый счастливый отдых. Лишь когда к танку подошла девушка с букетом цветов и положила его возле руки командира экипажа, чистый и свежий запах зелени, видно, разбудил лейтенанта. Он проснулся, сел и недоумевающими глазами уставился на девушку, но, тотчас все сообразив, соскочил на землю и, улыбаясь, спросил, как ее имя. Потом взял ее под руку и стал прохаживаться возле танка; видно, он

говорил при этом что-то забавное, потому что девушка смеялась.

Тожe проснувшиеся члены экипажа смотрели на своего командира, очевидно завидуя его уменью просыпаться первым всегда вовремя. А когда минут через двадцать я вернулся к тому месту, где стоял танк, машины уже не было. Раздавленный кирпич, развалины стены и на поваленном камне только девушка с опущенными руками.

По западному берегу Немана, все дальше на запад, двигалась живая огненная стена боя.

Над гаснущими, догорающими домами опадали облака дыма. По улице тащилась понурая толпа пленных немцев, двое усталых автоматчиков сопровождали их.

Жители при виде немцев стали привычно испуганно пятиться к воротам домов — видеть жалко-согбенного немца, послушно шагающего за колысоиром, они еще не привыкли.

А девушка продолжала сидеть на поваленной стене каменного забора с опущенными руками, и выражение ее лица, весь ее облик были такие печальные и ждущие, словно она сейчас потеряла что-то очень важное и всеми силами души хочет вернуть это «что-то» обратно.

И глаза ее были устремлены на рубчатые оттиски в раздробленном камне, оставленные стальными гусеницами танка.

ДАРЬЯ ГУРКО

В августе 1941 года староста дознался: Дарья Гурко прячет в подполье кабанчика, и приказал сдать его на следующий же день.

Мужа Дарьи фашисты расстреляли сразу, как пришли, за то, что Сергей Осипович зажег под деревянным железно-дорожным мостом воз собственного еще не молоченного хлеба и от этого мост загорелся. Старика отца гитлеровцы застрелили просто так. Остались живыми свекровь-старуха и дочка Ольга трех лет.

Кабанчик был в теле, пуда на четыре. Дарья зарезала кабанчика, но семья маленькая, а кабана нужно было съесть сразу. Дарья пригласила гостей. Гости пришли и стали есть кабана. Потом явился староста. Пришлось и его пригласить к столу. Староста не мог принимать пищу без вина. Дарья отдала свекрови крепдешиновую кофту и послала ее за самогоном. Староста ел, пил и записывал названия песен, которые пели гости. Многие песни стали теперь запрещенными.

На следующий день староста пришел и потребовал кабана. Дарью вместе со свекровью и дочкой отвели в полицию. В полиции Дарью били деревянной лопатой, которой веют хлеб. Потом ее, свекровь и дочку погнали в город Логойск, в гестапо. В гестапо Дарью били резиновыми ремнями. Из Логойска погнали в минскую тюрьму. Свекровь умерла в Логойске. Она не выдержала резиновых ремней. А Дарья все стерпела. Она шла по пыльной дороге, несла на руках дочь и шаталась. На окраине Минска к ней подбежала какая-то женщина, вырвала из рук дочь и крикнула: «Сохраню, не сомневайся!»

У Дарьи вся одежда прилипла к исполосованному ремнями телу, и она думала, что все равно умрет на дороге, и отдала дочь.

В Минске Дарью посадили за ограду из колючей проволоки. Здесь было столько людей, что даже лечь негде. Потом люди начали умирать, и стало свободнее. Ела Дарья

картошку, которую охранники выставляли в деревянном корыте. Опухшие ноги Дарьи болели, стала лопаться кожа на подошвах. Она не могла ходить и подползала к корыту на четвереньках. Осенью тех, кто остался в живых, послали заготавливать торф. Люди были такие слабые, что тонули в ямах, откуда брали торф. На зиму заключенных перегнали в лес — заготавливать дрова. В лесу многие замерзали. Весной Дарью отправили на кожевенный завод. Здесь она в бадьях мыла кишки, которые немцы тоже, как и всё, увозили к себе. На заводе Дарья заболела заражением крови, но ее все-таки заставляли работать. Мастер бил пружиной, которая, растягиваясь при взмахе, доставала человека, если он стоял даже в трех шагах от мастера. Но Дарья не умерла.

Прошло два года. Заключенные работали у немецкого помещика, которому были отданы усадьбы и прилежащие земли. Раньше здесь помещался дом отдыха трудящихся Минска. Днем заключенные работали, ночью их стогнали в концлагерь на песчаном карьере. От усадьбы до карьера четырнадцать километров.

Дарья сплела как-то ивовую корзину. Эту корзину увидела кухарка помещика, немка, и велела Дарье сплести еще такую же корзину, но только побольше. Дарья сплела корзину. Немец-часовой знал о заказе и разрешил Дарье отнести корзину кухарке. Дарья вошла с корзиной в комнату кухарки и увидела, что она спит. Тогда Дарья поставила корзину на пол, а кухарку задушила и убежала.

Сорок человек из концлагеря фашисты расстреляли. Дарью поймали в Минске, где она собирала милостыню, притворяясь глухонемой. Теперь она очень хотела жить, хотя раньше все время хотела повеситься и два раза топилась в торфяной яме, но оба раза ее спасали. В ночь перед приходом Красной Армии в Минск заключенные в районе военного городка разбежались, и фашисты не успели убить их. Вместе со всеми убежала и Дарья Gurko.

В сожженной врагом деревне Михеды, километрах в сорока пяти от Минска, мы встретили Дарью Gurko.

На опаленной земле, у развалин печей, сидели люди. И не было слез у них на глазах. Сосредоточенно и деловито складывали они шалаши из досок, с великим упорством обживали родимую разоренную землю. И в тишине белых сумерек громко и властно звучал женский голос:

— Ребят общим котлом кормить надо. Мы от сухомятки не обезживотим, а детишек в заморе держать никак не позволю. У кого что есть — выкладывай!

Потом тот же голос мы слышали на дороге, где саперы выискивали мины:

— Если вам, ребята, недосуг по хлебам пройтись, так вы укажите, как мины вытаскивать, а я бабам объясню, мы сами справимся, а то фашист хлеба заминировал и нам к ним ходу нет.

Потом мы слышали песню у костра. Ее пел все тот же женский голос. Когда подошли к костру, мы увидели женщину, худую, с темным, глиняного цвета лицом, в заплятанном, изношенном донельзя рубище. Но когда она взглянула на нас, мы увидели ее глаза. И столько в них было необыкновенного, какого-то особенного, сильного внутреннего света — выражения ума, власти и воли к жизни, — что слова любопытства застряли в горле. Но она, словно угадывая, спросила насмешливо:

— Что, товарищи командиры, небось дивитесь? Пришла баба из немецкой тюрьмы, вместо дома уголья, а она песни поет?!

И вдруг лицо Гурко изменилось, еще больше потемнело, и она глухо произнесла:

— Я при гитлеровцах не плакала, не жаловалась. Но что за эти три года было — век помнить буду. Только вы мне объясните: с чего бы лучше сразу начать, чтобы все аккуратно получилось? Я тут сейчас вроде Советской власти. Меня, как самую закаленную, другие семейства над собой поставили. Уборка будет — большая забота. Инвентарю — раз, два: грабли и лопата. Нужно идти в лесу немецкую трофею искать.

— Вы бы сейчас как-нибудь устраивались, ведь нельзя в земляной яме жить.

— Почему нельзя? — удивилась Гурко. — Можно. Вы еще не знаете, как жить можно. Мне главное сейчас вот... это спасибо для вас сделать, которое земля сготовила. На словах-то каждый «привет» и «здрате», а мне руками доказать необходимо. Хоть битая, да не согнутая. Мне охота Советской власти не в прекрасной жизни, а сейчас трудом отплатить. А то, выходит, вы освободили, а мы кто?

— Гордая вы.

— Мне война гордости прибавила. И, может, я сейчас на нищенку похожа, но я не несчастная. Я свою силу теперь сполна знаю: чего могу и чего не могу. Вы того не ведаете, сколько баба от счастья своего сделать сможет. Я теперь в самой силе и знаю, как словом в человеческое сердце попасть и что с ним после этого сделать.

Мы спросили у Гурко, в чем она сейчас нуждается. Она сказала:

— Сейчас в лесу немецких коней раненых нашли. Так я думаю паренька в часть за мазью послать или, может, сами отваром из побегушки выходим.

И только прощаясь с нами, Гурко шепотом попросила:

— Дайте, пожалуйста, мне такую книжку, где бы все описано было, что советские люди за время войны делали, как они такую силу набрали, а то у меня спрашивают, а рассказать не могу, не знаю, и от этого совестно, неловко перед людьми, которые меня так уважают и даже избрали председательницей. Так будьте любезны, если с собой не имеется, пришлите. Может, у нас почта не будет работать, так я в Минск пешком схожу. Книга эта нам больше, чем хлеб, сейчас нужна. Вот как пужна эта книга.

Через полтора месяца снова ночью мне пришлось проезжать по этим же самым местам. Словно белые цветы, висели звезды, воздух крепко пропитался запахом влажной травы, и казалось, что этот запах исходит от прохладного синего неба.

Приближаясь к знакомому непелишу, я вдруг увидел силуэты каких-то построек. Раньше здесь ничего не было.

Вынырнувший из темноты старик сторож с немецким карабином в руках с достоинством объяснил мне, что постройки возведены недавно.

— Кто же плотничал?

— А бабы, — сказал сторож, — из города Ярцево к нам приехали, плотничья бригада. Курсы кончили, теперь ездят, строят. А вот колодец трехсаженный лично Дарья Михайловна в порядок приводила. На веревке спускалась.

— Это кто? Гурко Дарья Михайловна?

— Они самые, — почтительно сказал сторож. — Вы, извиняюсь, кушать не желаете? А то вполне свободно. Зерно теперь не в ступке толчем, Дарья Михайловна мельницу наладила.

— А где она сейчас?

— На большак поехала. Тут из неволи немецкой люди освобожденные домой идут — смоленские, всякие, одним словом, русские люди. Так она их к нам приглашает.

— И остаются?

— Нет. Каждого на свое место тянет. Но заходят — на неделю, на две. И не столько из-за харчей, сколько от нетерпения к земле склониться, потрудиться, приласкать, прибрать ее. Очень восхищенно человек сейчас работает.

Старик закурил, пряча огонек спички в ладони. Потом вдруг оживленно спросил меня:

— А вот знаете, что потом будет? Пойдет Красная Армия после германской земли обратно, ступит снова на свою землю, которую она для нас добывала, — не узнают ее бойцы, удивятся. Потому удивятся, что мы ее приберем к этому дню, как к празднику, и будет она снова живая, пышная. Вот тут нам и скажут бойцы: «Привет!» А мы столы на улицу выставим и полную норму угощения.

Старик замолчал, помедлил, потом тихо пояснил:

— Это Дарья Михайловна такое придумала. — И с волнением в голосе добавил: — Вот ведь как красиво придумала!

ПАРАШЮТИСТ

Колонны наших войск вступили на главную улицу города Бухареста.

Высокие здания модной архитектуры дребезжали зеркальными стеклами, словно шкафы с посудой.

Пестрая толпа жителей, теснясь к стенам домов, жадно разглядывала танки, пушки, металлические грузовики, сидевших в них автоматчиков.

А на мостовой, отделившись от всей толпы, почти вплотную к танкам, стоял человек в черной, донельзя изношенной одежде. Выбритое лицо с запавшими синеватыми щеками выражало такое волнение, что нельзя было не запомнить его. Когда горящие его глаза встретились с моим взглядом, возникло такое ощущение, будто этот человек немой и, борясь, страдая, он пытается произнести какое-то слово.

Из толпы раздавались приветственные крики. Бойцам бросали цветы. Человек стоял и напряженным, ищущим взглядом смотрел в лица наших бойцов и офицеров.

Несколько месяцев тому назад, поврежденный огнем дальнобойных зениток, разбился в этой стране, в горах, американский бомбардировщик «Летающая крепость».

В секунды своего падения экипаж подал радиосигнал бедствия.

В то время советские войска находились еще очень далеко от границ этого государства. Но наше командование снарядило группу хороших, бывалых ребят и отправило их на помощь американскому экипажу.

Самолету немислимо совершить посадку на скалы. Шестеро бойцов выбросились на парашютах. Пятеро приземлились благополучно. Шестой, попав в узкую теснину

ущелья, раскачиваясь, как маятник, на стропях в теплых потоках восходящего солнца, разбился о каменные стены.

Девять дней парашютисты искали американских летчиков. На десятый нашли. Живыми остались только четыре американца, двое из них были тяжело ранены.

Семнадцать суток на самодельных носилках, по тропинкам шириной в ладонь, парашютисты несли раненых летчиков. Когда спустились в лощину, старший включил рацию.

Через два дня советский самолет совершил посадку в условленном месте. В самолет погрузили раненых. К старшему подошел боец и что-то прошептал на ухо. Тогда старший быстро отдал команду, американцев втокнули в кабину и захлопнули дверцу.

Наши парашютисты побежали к дороге, где с двух грузовиков уже соскочили полевые жандармы. Самолету удалось благополучно взлететь.

Лейтенант Михаил Аркисьян был старшим группы парашютистов. В штабе части я прочитал дело лейтенанта Аркисьяна.

Тысяча девятьсот сорок первый год. Ноябрь. Разведкой было установлено, что фашисты, готовясь к массированному налету на Москву, сосредоточили на дальних подступах крупные склады авиационных бомб. Задание — проникнуть в расположение складов и уничтожить их.

Когда наш самолет пересек линию фронта и оказался в условленном месте, Аркисьян бросился к штурвалу бомболюка, раскрутил его и выбросился. Он падал затылком. Купол парашюта напоролся на вершину дерева. Ударившись о ствол так, что лопнула лямка и отлетела далеко в сторону брезентовая сумка с взрывчатым веществом, Аркисьян повредил ногу и потерял сознание. Он висел на стропях до рассвета. Очнувшись, отстегнул лямки, упал на землю и вновь лежал несколько часов без сознания.

С поврежденной ногой, Аркисьян полз двое суток, но не туда, где мог найти приют и помощь.

Бомбовый склад фашисты расположили на территории бывшего пивного завода. Серый дощатый забор окружал завод.

Аркисьян прорыл под забором дыру и пролез в нее. По пожарной лестнице он поднялся на чердак и оттуда

спустился внутрь завода. На стеллажах лежали в несколько рядов тяжелые бомбы.

У Аркисьяна не было взрывчатки. Он ползал в темноте, собирая доски, чтобы поджечь их, и наткнулся на ящик с взрывателями. Он ввернул взрыватель в бомбу, взял кусок железа, чтобы ударить по взрывателю.

Но советский человек, в каком бы состоянии ни находился, видно, не ищет легкой смерти.

Аркисьян отложил кусок железа в сторону, вывернул взрыватель. Действуя доской как рычагом, поставил бомбу на хвост, потом закинул веревку за металлическую ферму, поддерживающую кровлю, подвесил кусок железа строго перпендикулярно головке бомбы. Снова ввернул взрыватель.

Потом Аркисьян принес промасленную бумагу, в которую были завернуты детонаторы. Разрывая ее на продольные куски, сделал нечто вроде серпантинной ленты, конец ее прикрепил к туго натянутой тяжестью железа веревке и зажег.

Когда Аркисьян пересекал поле, стараясь подальше уйти от склада, вражеские часовые с дозорных вышек заметили его и открыли огонь. Но склад авиационных бомб взлетел на воздух вместе с вышками.

Тысяча девятьсот сорок второй год. Девять советских парашютистов совершили ночью нападение на город Жиздра, занятый оккупантами. Перебив в казарме вражеский гарнизон гранатами, парашютисты забрали документы, а из сейфов — около двух миллионов рублей.

На пожарной машине, запряженной четверкой сильных коней, они умчались из города.

Загнав лошадей, с мешками, набитыми деньгами, они ушли в лес.

Попасть в глубокий вражеский тыл для парашютистов не трудно. Самое тяжелое — выйти оттуда.

Месяц шли парашютисты до линии фронта. Голодные, изможденные, проваливаясь в снег, несли тяжелые мешки с деньгами. Бойцы предлагали сжечь деньги, потому что не было больше сил нести эту тяжесть. Но Аркисьян, старший в группе, сказал — нельзя.

Во время стычек с фашистами парашютисты ложились на снег, а в голову клали мешки, защищая себя от пуль.

Они перебрались через линию фронта и сдали деньги.

Тысяча девятьсот сорок третий год. Аркисьян с группой товарищей ликвидирует одного из гитлеровских палачей белорусского народа.

В снег, возле дороги, по которой должен был проехать на охоту немецкий чиновник, с рассветом закопались наши парашютисты. Чтобы не быть обнаруженными собаками, они пропитали свои маскировочные халаты специальным составом.

Несколько троек шумно пронеслось мимо залегших парашютистов. Но Аркисьян запретил открывать огонь. На обратном пути утомленная после охоты и основательно захмелевшая охрана будет менее бдительна. Парашютисты лежали в снегу шестнадцать часов. Двое отморозили себе конечности настолько, что потом пришлось ампутировать. Но никто не покинул своего поста, не сдвинулся с места.

Эти эпизоды не исчерпывают всей боевой деятельности Михаила Аркисьяна. Один только перечень выполненных им заданий занимал шесть страниц убористого текста.

Михаил Аркисьян родился в 1921 году. Армянин. В 1943 году принят в члены ВКП(б).

Прослышав, что Аркисьян погиб, я решил узнать обстоятельства его гибели. Но когда обратился к представителю командования с этим вопросом, полковник сказал:

— Плохо вы знаете моих людей, если так быстро их хороните.

И полковник рассказал мне коротко последующую историю парашютистов и их старшего.

Оставшись одни, парашютисты вели бой с врагами. Аркисьяну и двум бойцам удалось прорваться и уйти в горы. Один боец был убит, а другой, Василенко, тяжело раненный, попал в руки фашистов.

В горах парашютисты встретились с партизанами.

Мысль о попавшем в плен Василенко мучила Аркисьяна. Партизаны установили с помощью населения, что раненый русский находится в концлагере. Из концлагеря заключенных гоняют работать в каменоломни.

У Аркисьяна созрел план.

Ночью он пробрался в каменоломни и зарылся в щебень. С рассветом пришли заключенные. Он смешался с ними и нашел Василенко. Когда начало смеркаться, Аркисьян закопал Василенко в щебень, сам встал в шеренгу и был принят по счету.

Силы людей, физические и моральные, были доведены до предела изнеможения. Многие ждали только смерти.

Аркисьян сумел сплотить этих людей, собрать воедино их волю, воодушевить их верой в освобождение. Он стал готовить восстание заключенных.

Восстание произошло. Оно совпало с днями, когда наши уже приближались к этим местам.

Случилось это так. Дни и ночи мимо лагеря шли отступающие колонны гитлеровцев. В лагерь явился эсэсовский отряд для расстрела заключенных. Но расстреляны были не заключенные, а эсэсовцы.

Когда пришла Красная Армия, Аркисьян был временно оставлен в лагере начальником — охранять пленных фашистов: теперь они заполнили помещения лагеря.

— И сейчас вы можете увидеть его там, — закончил полковник, прижимая к уху телефонную трубку и держа вторую в руке.

...Я приехал в лагерь военнопленных и нашел здесь лейтенанта Аркисьяна.

— Понимаешь, дорогой, мне сейчас некогда, — сказал он мне. — Ты видишь, какой у меня тут зоологический сад.

И только ночью мне удалось поговорить с ним.

— Правильно, это я тогда стоял на улице и смотрел, как входят в город наши советские части, — говорил мне Аркисьян взволнованно. — И понимаешь, очень мне было хорошо и ужасно плохо, что вот стою я, вижу своих и не могу даже сказать «здравствуйте», потому что так я безобразно одет, похож на ворону. Это были мои самые тяжелые переживания в жизни... Нет, подожди, другие, главные переживания будут.

В одном месте меня эсэсовцы собаками травили. Ползу я в лесу, по грязи, деревья такие черные кругом, осина. Дождь идет такой противный. Тошнит меня: живот прострелили. Решил — застрелюсь. Вынул пистолет, зажмурился — и тут, понимаешь, подумал: жена есть, отец есть, мама есть, товарищи хорошие, деревня, где, понимаешь, я жил в Армении, в нашей такой замечательной стране, — и вдруг этого ничего не будет, как будто собственной своей рукой я все это убиваю, а не себя... Решил жить.

И вот, видишь, живу. Отбился.

СТАРШИЙ СЕРЖАНТ

Минувшей ночью здесь спали немецкие офицеры. Внезапным налетом их вышибли. Теперь в блиндаже расположен наблюдательный пункт гвардейской танковой бригады.

Возле блиндажа, на измятом и потертом до блеска жестяном сундучке с инструментом, сидел старший сержант Василий Игнатович Журочкин, уже пожилой человек с тяжелыми и жесткими, патруженными руками.

Пехоту в атаке сопровождают санинструкторы, танкам в атаке сопутствуют иные лекари. Обязанность Журочкина — оказывать на поле боя помощь пострадавшим машинам. Как только с наблюдательного пункта заметят, что наш танк поврежден и экипаж не может самостоятельно устранить повреждение, Журочкин на тапкетке мчится к раненому танку. А если артиллерийский огонь становится очень плотным, Журочкин подползает к танку, толкая жестяной сундучок впереди себя. Вот поэтому-то сундучок Журочкина выглядит местами таким потертым, словно его шлифовали наждаком.

Журочкин находится на фронте семнадцать месяцев. В октябре 1941 года, когда генерал Василий Степанович Попов защищал Тулу, обратив против гудериановских танковых колонн городские зенитки, Журочкин явился со своим жестяным сундучком и сказал кротко:

— Вы тут германские танки калечите, а что их починить можно и заставить фашистов бить — это вам в суматохе невдомек.

Генерал яростно посмотрел на степенного мастера и отрывисто сказал:

— До этих танков у нас пока руки коротки. На той стороне остаются. Придется вам немного подождать, товарищ механик.

— А если я к ним на пузе подъеду? — спросил Журочкин, подумав. — Ведь добро пропадает.

Василий Игнатович Журочкин приспособился к танковой, тогда еще не гвардейской бригаде, прошел с ней немалый путь. Недавно ему дали звание старшего сержанта. Получая погоны, Журочкин сказал:

— Теперь мне бороду сбрить, усы наружу. Дед — бомбардир, прадед — флотский. Родословная на сто лет в учете, как у графа. Мы, туляки, народ гербовый, старинный.

Так застенчиво скрыл мастер свою радость. Простодушие, мягкая, какая-то извечная доброта таилась в каждой складочке улыбающегося лица Журочкина. Тихий свет маленьких голубоватых глаз, воркующий и негромкий голос вызывали представление о человеке беспечном, ласковом и чудаковатом.

Журочкин вел суровый и подвижнический образ жизни. Он оставался ночевать тут же, подле машины, чтоб не тратить времени на хождение в тыл, к землянкам, и уже с первой полосой раннего просвета в небе работал у поврежденной машины.

— Замерз к утру, — объяснял он ремонтникам, — ну и выскочил, чтобы погреться.

Ел он очень мало и всегда не вовремя. Пищу разогревал себе сам. Ходил целый год в одном и том же обмундировании: ватник, летние штаны. Но, несмотря на пятна, покрывавшие его одежду, выглядел опрятным. Так на нем хорошо и удобно все было пригнуко.

С радостной готовностью он помогал в работе другим. В трудные минуты делился последним. Но стоило у него попросить, хотя бы на минутку, что-нибудь из его личного инструмента, как лицо Журочкина становилось твердым, злым, и он всегда резко и непреклонно отказывал.

Во время бомбежек или артиллерийского огня Журочкин вел себя с удивительным хладнокровием и осмотрительностью.

— Я в горячем цехе на прокатке работал. Там зажмурившись не походишь: враз руку или ногу оторвет. А ничего, ходил, щипцами помахивал. Один на двух станах. Как в цирк смотреть приходили. Смертельный помер был.

И тот, кто ближе присматривался к Журочкину, постепенно понимал, что главной чертой в его характере было не простодушие, не чудаковатая наивность, а гордость. Своей гордостью мастера соперничал он с доблестью воинов и втайне самолюбиво соревновал свое умение с умением воинов.

Часто Журочкину приходилось прекращать ремонт и садиться на место убитого механика-водителя, или стрелка-радиста, или командира башни и бросаться в бой или оказывать помощь раненым.

— Текущий ремонт — пустячное дело, — ворковал Журочкин, ловко бинтуя танкиста. — В госпитале все присохнет и заживет, как положено. А вот машину вы мне разложили — прямо совестно. Но ничего, болейте себе спокойно, я ее вызволю.

Ремонтируя поврежденную машину, Журочкин по вечерам ходил в санбат и докладывал раненым членам экипажа о ходе ремонта. И когда ему однажды сказали, что командир танка Т-34 № 893 умер, Журочкин растерянно спросил:

— Как же так? Ведь машина готова. Мы же с ним договорились, он все спрашивал: скоро ли?

На прошлой неделе наши танки вели напряженные бои с танками противника. Только к ночи сражение прекращалось. И тогда возникала другая битва — битва на поле боя, где лежали поврежденные машины. Каждая сторона пыталась утащить тягачами подбитые танки к себе.

И вот по этому ночному полю, разрываемому вспышками гранат, рассекаемому очередями из автоматов, ползал от танка к танку со своим сундучком Василий Игнатович Журочкин. Иногда он стучал ключом по броне танка и сердито требовал:

— А ну развернись маленько. Не видишь, фашист чуть не по пальцам из автомата молотит? А вы, идола, спите!

И танк медленно поворачивался, чтобы прикрыть Журочкина.

В этих боях враги однажды чуть было не уволокли Журочкина вместе с танком к себе.

Василий Игнатович проводил сложную починку тяжело поврежденной машины. Все боеприпасы и гранаты экипаж израсходовал в бою. Фашисты, воспользовавшись этим, зацепили танк тросом и повезли его на свою сторону. Экипаж решил выскочить из люка и защищаться личным оружием. Но Журочкин сказал:

— Пускай волокут. Мне шесть секунд надо. Даже еще лучше: с ходу стартер возьмет сразу.

У самого немецкого расположения танк мощно заревел мотором, ринулся на тягач, отбросил его ударом лобовой брони, на третьей скорости промчался с обрывком троса по немецким траншеям и благополучно прибыл на нашу сторону.

Выбравшись из танка, вытирая руки комочком пакли, Журочкин сердито сказал водителю:

— Ты так всю машину растреплешь. Прешь на третьей скорости, газ рвешь. За такую работу тебя из эмтэс выгонят. Танк только с виду грубый, а на самом деле нежность и вежливость любит не хуже «эмки».

Вот какой это был одержимый своей профессией человек.

Подбитые танки, торопливо зачисленные гитлеровцами в уничтоженные, к утру оживали и снова, яростные и горячие, мчались в бой. И многие из этих танков оживил чудесным и сильным своим мастерством старший сержант Василий Игнатович Журочкин.

Вот он сидит сейчас на своем жестяном сундучке у входа в блиндаж наблюдательного пункта. Мы встретились с ним глазами. Василий Игнатович улыбнулся и сказал:

— Гляжу я на фашистскую работу и усмехаюсь. Из осины накат блиндажа оборудовали. Осина среди деревьев самое худое. В ней только червей и жуков разводить. Разве ею от снарядов прикроешься? В десять накатов наложи — все равно рухлядь.

Я попробовал поддеть мастера:

— Ну что ж, в дереве они плохо разбираются. Это понятно: чужое им все здесь. А в технике?

Василий Игнатович быстро положил свои тяжелые руки на колени, уперся, словно собираясь встать, и, не спуская с моего лица гневного взгляда, глухо сказал:

— На прошлой неделе гитлеровцы в контратаку шестнадцать танков бросили. Пятнадцать мы подбили. Шестнадцатый дров нам наломал. Знаете, что это за машина была? Наша машина. Она им когда-то досталась, вот они ее и пустили. От лобовой брони наши снаряды отскакивали. Беда, насилу убили. У меня до сих пор голова болит, как вспомню. Так скажите вы мне: чей же мастеровой человек выше — наш или ихний? Я смотрел тогда — сердцем помирал от горя, а все же душа-то прыгала. Вот, мол, видите, какой бриллиант вырабатываем, какую броню куем! Таков весь мой сказ, дорогой товарищ неизвестного рода войск.

Журочкин полез в карман и стал дрожащими от обиды пальцами скручивать сигарку.

В 9.30 началось наше наступление. Сначала, приминая землю плоскими, как тяжелые трапы, гусеницами, прошли новые земные броненосцы, ринулись КВ, дальше катились Т-34; эти стальные волны завершали «шестидесятки»,

похожие на торпедные катера, такие же проворные и низкие.

Танковое наступление поддерживала огневым валом артиллерия. Гул разрывов слился с ревом моторов, воздух стал плотным и шатался. Внезапно над самыми вершинами деревьев пронеслась стая штурмовиков, мгновенно исчезнувших, как гремющая тень, — эти уже сделали свое дело.

Вечером я беседовал с командиром экипажа КВ старшим лейтенантом Вихоревым. В сегодняшнем бою он уничтожил пять танков противника. Рассказывая мне подробности боя, Вихорев вынул из кармана зажигалку редкостной и тщательной работы.

— Вот взгляните на эту штуковину. Высшая награда! Выдается Василием Игнатовичем Журочкиным, нашим богом и целителем. Очень интересный человек! — Чиркнув колесиком, Вихорев добавил: — Негасимый огонь, такую не купишь.

Снова побеседовать с Журочкиным мне не удалось. Он выехал на поле боя и осматривал там разбитые немецкие машины, чтобы определить их годность к дальнейшему употреблению. Подбитые фашистские танки были раскинуты на площади в тридцать квадратных километров.

Разве его тут найдешь, да еще ночью?

1944

ВСТРЕЧА

По обочинам шоссе лежали распухшие трупы гитлеровцев, похожие на утопленников.

Шоссе пересекали линии немецких укреплений. И в местах, где траншеи перерезали дорогу, были положены деревянные настилы. Выкорчеванные тяжелыми взрывами железобетонные колпаки дотов, раздробленные бревна накатов блиндажей, холодные глыбы разбитых танков — следы трехдневных боев на этом рубеже. Нежный запах оттепели перемешивался с острой вонью пороховых газов, и вся земля вокруг была покрыта черной и липкой сажой.

Ночью штурмовой отряд под командованием майора Александра Алексеевича Краевича первым прорвался сквозь эти две оборонительные линии вражеских укреплений и овладел трехэтажным дотом, прозванным «железной шапкой». На разбитом колпаке дота Краевич утвердил знамя. Правда, это был всего-навсего развернутый газетный лист с наспех нарисованной на нем звездой, вместо древка надетый на торчащий прут арматурного железа. Но даже если бы это было настоящее знамя из алого шелка, обшитого золотистой бахромой, оно едва ли могло бы больше украсить значение подвига бойцов Краевича.

Шесть дотов и среди них трехэтажную «железную шапку» они взорвали, работая, как забойщики, сражаясь, как умеют сражаться только советские солдаты.

И когда командир дивизии прибыл на поле боя, чтобы вручить награды отличившимся, он вынужден был отметить команду «смирно» и сказал: «Не вставайте, товарищи». Достаточно было взглянуть на лица этих людей, чтобы понять, как безмерно они устали.

Пять часов отдыха и двойная обеденная порция вернули бойцам утраченные силы, и сейчас они шагали по этой грязной дороге, торопясь догнать далеко ушедшие первые эшелоны.

Майор Краевич находился впереди своей колонны, он шел, опираясь на палку: бетонным осколком ему слегка повредило ногу.

Я шагал рядом с Краевичем и задавал ему те обычные вопросы, которые задает почти каждый корреспондент. А Краевич отвечал на них так, как это обычно делают почти все командиры: незыблемым текстом оперативного донесения, которое, кстати, я уже успел прочесть в штабе.

Проезжающие мимо грузовики выбрасывали из-под толстых задних колес фонтаны грязи и воды. Мы вынуждены были каждый раз поворачиваться к ним спиной. Но один водитель, стараясь, чтобы машина не забуксовала в промоине, дал такую скорость, что мы не успели отвернуться. Поток холодной воды хлынул за воротник, ослепил меня, и, когда я вытер шапкой лицо и открыл глаза, взору моему представилось странное зрелище.

Краевич, спотыкаясь, размахивая руками, отчаянно крича во все горло, бежал за грузовиком. Но шофер, видимо, не собирался останавливаться, а, наоборот, прибавлял газу. Краевич на бегу выхватил пистолет и несколько раз выстрелил в воздух. Это подействовало: машина замедлила ход.

Я быстро сообразил — Краевич после нечеловеческого нервного напряжения, в котором он находился в дни боев, выведенный из душевного равновесия такой грязевой ванной, мог довольно грубо обойтись с водителем. Я побежал к машине, чтобы предотвратить крайние поступки майора.

Шофер стоял навтыяжку возле кабины, виноватый и недоумевающий, а Краевич, забравшись в кузов грузовика, пытался обнять и поцеловать девушку в военной форме, растерянно отбивавшуюся от него.

— Товарищ майор, что вы делаете, да я вас вовсе не знаю. Постесняйтесь, пожалуйста, товарищ майор...

А Краевич в каком-то восторге, с маниакальным упорством повторял одни и те же слова:

— Я же лейтенант Краевич. Сестрица! Лейтенант, ну, помните?

— Да, товарищ майор, ну что вы машину задерживаете! Ведь пробка же будет. Не знаю я вас.

— Господи! — молил Краевич. — Бинт вы, помните, с себя сматывали... Лицо мне еще шапкой закрыли. Вам раздеваться для этого пришлось. Ну, что вы в самом деле...

— Товарищ майор. Прямо совестно, что вы тут при людях говорите.

— Ну ладно, хорошо. Плакал я, помните, плакал,— настаивал Краевич.

— Ничего тут особенного нет, что плакали, если у вас тяжелое ранение было... — сочувственно сказала девушка.

— Поймите, что вы мне тогда жизнь спасли,— с отчаянием твердил Краевич. — Ну как вы все это можете забыть?

— Ну хорошо, я скажу — помню. Но что вам от того, если я все-таки не помню? — добродушно говорила девушка.

К остановившейся машине стали подходить шоферы с намерением покричать на виновника создавшейся пробки, но, поняв, что здесь происходит, поддерживали Краевича и настаивали на том, чтобы девушка признала в нем спасенного ею раненого.

Девушка, окончательно растерявшаяся, говорила:

— Когда вы раненые, у вас совсем лица другие и глаза, как у ребятишек, и голос такой, что разве потом узнаешь? Если майор меня признал — пусть скажет мое имя. Что, не помните? То-то,— заметила девушка. — Один мамой называет, другой — Зиной, Олей, Катей или еще как. Как жену или невесту зовут, так и тебя в беспамятстве крестят. Разве мы обижаемся? Зачем же майор на меня обижается, если я его не могу вспомнить? Ведь вот вы совсем, видно, другой теперь. Как же я вспомню, какой вы были? Сколько людей-то прошло...

— Ну хорошо, ладно,— грустно согласился Краевич. — Разрешите тогда хоть пожать вам руку.

— С удовольствием! — ответила девушка.

Церемонно и неловко они пожали друг другу руки. Майор упавшим голосом сделал на прощание все-таки еще одну попытку:

— Ну, а как в снег вы меня зарыли и собой отогревали, когда фашистские автоматчики кругом шарили, помните?

— Их автоматчики имеют такую манеру — добивать наших раненых,— согласилась девушка. — Но теперь это им уже больше не удастся.

— Правильно,— сказал майор,— теперь обстановка другая.

Шофер включил скорость и аккуратно тронул машину с места.

Дорога вновь пришла в движение, и мы снова шагали с Краевичем по мясистой черной грязи и уже не отворачивались от потоков воды, которыми нас окатывали проходящие мимо машины.

ГОРНЫЕ ВЕРШИНЫ

Это были последние месяцы войны.

Я летел в Югославию на транспортном самолете, выдавшем виды. Шелудивый от зимней белой окраски фюзеляж пестрел на местах пробоев металлическими заплатами, а новая правая плоскость свидетельствовала о недавнем тяжелом ранении машины.

На брезентовых ремнях, словно на качелях, сидел у пулемета стрелок, и ноги его, обутые в стоптанные унты, все время качались перед моим лицом.

Я лежал на чехле от мотора, едко пахнущем маслом, и зяб. Ребристая обшивка самолета была влажна, источала холод, стекла заиндевели.

В проходе тесно стояли мятые железные бочки, испачканные глиной.

Командир корабля майор Пантелеев сказал перед вылетом:

— Погода от «мессеров» гарантийная. Видимости — никакой. Если на посадке вмажемся, не обижайтесь. Мое дело предупредить.

Даже во время самых тяжелых сражений фронтовая газета, где я работал, печатала сводки о боевых операциях югославских партизан, и они радовали сердца воинов и внушали надежду, что не так уж далеко то время, когда мы встретимся с югославами как братья. Так кого же из военных корреспондентов могло поколебать это столь малоприятное предупреждение командира корабля?

Я знал, что Пантелеев после третьего ранения недавно вышел из госпиталя, что его не допустили к боевой машине и разрешили летать только на транспортной. Но он был отличным пилотом и, по словам летчиков, чувствовал себя в небе «как бог».

Мы шли на большой высоте, а внизу лежал арктический пейзаж облачности.

Пантелеев вышел из пилотской кабины и спросил:

— Ну, как самочувствие? Уж вы извините, температура как в изотермическом вагоне! — И, оглянувшись на бочки, стоящие в проходе, смущенно заметил: — Конечно, не положено так горючее возить. Но совестно на обратную заправку у них брать. Туговато там с горючим... Так что насчет курева желательно воздерживаться. А то еще рванет, знаете ли...

Протерев ладонью заиндевшее окно, на мгновение прильнув к нему, Пантелеев сообщил:

— Через час двадцать над Югославией будем. Красивая земля. Вроде нашего Кавказа. Правда, о Кавказе я по Лермонтову сужу. Лично побывать не довелось. А вот у югославов задержался. Подшибли. А в горах знаете какая посадка? Двое от экипажа осталось. Я и бортрадист Антон Чумаченко. Красивый парень был. Наши связистки его за это Аполлошей прозвали.

— Он что, погиб? — поинтересовался я.

— Нет, летал и после. Когда в тот раз приземлялись, он до последнего связь с землей держал. Ну и вмазался в панель. Все лицо в котлету.

— А потом что?

— Перевязались, как полагается, и стали ковылять на своих двоих в поисках малонаселенного пункта. Буран. Ни зги не видно. У Антоши бинты от крови горбом вспучило. Боль он испытывал умопомрачительную. Но ничего, держался. У меня, вы видите, плешь на голове. Так это не плешь, а кожу вместе с прической ободрало; тоже, знаете, чувствовалось. Шли всю ночь. Утром буран утих, и смешно получилось. Солнце шпарит, а снег не тает. Упрели мы в своих меховых комбинезонах. Снег сверкает, глядеть нет никакой возможности. Догадался очки подкоптить спичкой, сразу легче стало. К ночи — опять холод. Мы об камни все обмундирование подрали. В каждую прореху стужа лезет. И какое это удовольствие люди в альпинизме находят? Не понимаю. По правде говоря, мы уже не шли, а больше ползли на брюхе со скоростью сто метров в час. Обессилели. Но, сами понимаете, не помирать же, как сироткам, в снегу. Вот и не теряем инициативы, ползем. А всюду всякие пропасти, ущелья, того и гляди, вниз спланируешь. До того из сил выбились, что когда югослав-чабан стал ружьишкой пугать, вместо того чтобы обрадоваться, расплакались. Нервы, значит, так расстроились.

Перетаскал он нас к себе в хижину, обогрел. Чабача Радуде звали. Лет ему за семьдесят, а весь как из железа. Притащит в хижину не полено, а целый дубовый ствол и сует в очаг, чтобы нам теплее было.

Стали заходить в избу и другие пастухи. Рассказывали мы им про все наше. Один из них на товарища Орджоникидзе был похож, так я этим фактом воспользовался и рассказал, как мы в голой степи завод строили. Я на Магнитке землекопом работал. Трудно было тогда с питанием, жильем. Все им объяснил. Народ свой, что ж тут стесняться, если правда. Говорю — нам все не даром доставалось, через большие лишения шли мы к нашим победам. Своими руками все налаживали. Объясняю: вы не глядите, что я офицер и в орденах. Сам из пастухов вышел. А теперь и ваш путь вверх будет.

Познакомили они нас с одной девушкой. Тоже в горах нашли израненную. Ружица. Ну, прямо надо сказать, красавица. Я человек женатый, и то, понимаете, как взглянет, ну, словно золотыми звездами в душу брызнет! Бывают же на свете такие. Но она к нам не очень доверчива была. Чувствую, сомневается, что мы настоящие советские люди.

И вдруг я стал замечать: Чумаченко по ночам бинты стирает, а утром чистенькими обматывается. Но не для медицинских целей, а ради внешнего вида. Он всегда очень много внимания своей внешности уделял. От него и одколоном несло, и височки косые, и сапоги блестят, словно не летчик, а артист из ансамбля песни и пляски. Конечно, наши радистки не зря его Аполлошей прозвали. Но он себя с ними высокомерно держал. Как-то ему в полете одна письмо от себя передала, так он ее после отчитал вроде Онегина.

По-моему, хоть на войне все личное ни к чему, но уважать такие чувства надо. И зачем, спрашивается, он тогда свою внешность так отшлифовывает, когда известно, какое она впечатление на других производит? Не нравилось мне все это.

А поймал я его вот на чем. Заметил, как показывал он свой комсомольский билет Ружице.

«Слушай, Чумаченко, — говорю я ему, — зачем девушку в заблуждение вводишь? Карточку свою на билете показываешь: вот, мол, какая у меня смазливая физиономия. А она у тебя сейчас совсем другая. Разве это дело, так обманывать? Нехорошо!»

Но поздно я ему замечание сделал. Вижу по глазам Ружицы, что дело плохо. Такие они у ней грустные, ну

совсем, знаете, как у той нашей радистки, которой он при всех замечание сделал.

Эх, думаю, неприятность какая. Так нас здесь тепло встретили, а советский летчик девушку в заблуждение ввел. Приказал Чумаченко, как при домашнем аресте, от меня никуда не отлучаться, хотя девушку мне, конечно, и жаль. Но, к моему удивлению, она очень веселая стала. Вот, думаю, какие у нашей молодежи нетвердые принципы. А Чумаченко мой совсем сник, даже бинты перестал стирать. Только одно твердит: стыдно здесь шашлыки есть, когда народ воюет. Требуется, чтобы мы к партизанам ушли.

Как мы ни расспрашивали наших хозяев, где партизаны, они только руками разводят и говорят: отдыхайте, вы еще слабые.

Но заметили мы беспокойство у наших чабанов. В чем дело? Говорят, будто овец на новое пастбище будут перегонять. Ушли чабаны. Прикинули мы с Чумаченко свое положение и пришли к совместному решению — надо идти партизан искать. Некрасиво советским военнослужащим здесь курорт для себя устраивать.

Снарядились и пошли по горным тропам то вверх, то вниз.

Природа — удивительной красоты. Снежные горы словно из стекла, ниже лес хвойный, а еще ниже долины зеленые в синих реках.

Шагаем по тропке. Тишина, прозрачность. Изредка водопад загрохочет, словно поезд, а над ним из водяной пыли — радуга.

Неловко такую красоту наблюдать, когда война кругом людям всю жизнь портит.

Чумаченко шел молча. И хотя лица его под бинтом не было видно, я понимал — сердится на меня. А за что?

Сели на камень отдохнуть, сказал он мне:

«Вы, товарищ майор, напрасно на нас обиделись и зря плохое про меня и Ружицу думали. Она сюда партией была прислана, чтобы о передвижении противника сведения давать. А рация у нее испортилась. Так она, прежде чем попросить ее исправить, мои документы проверила. Уходил же я с ней в горы не гулять, а рацию чинить. Вас просила не беспокоить, да и лишней огласки боялась. Вот и все. Ну, дал ей в том слово, а потому промолчал».

«Ну, говорю, прости меня, товарищ младший лейтенант. Действительно, я не про то думал».

Вскоре мы с Чумаченко на немецкое боевое охранение набрели. Решили сначала, что это группа разведки. Ввязались в бой. И, как в таких случаях бывает, сами знаете, плохо нам пришлось. В последний момент югославские партизаны выручили. Наши же чабаны и были этими партизанами. Они тут в засаде сидели. Испортили мы им операцию своей вылазкой. Тяжелый бой получился. Здесь Чумаченко в живот и ранили.

Доставили его на носилках в долину, в штаб соединения. А там уже наш самолет приземлился.

Перед самой отправкой пришла на аэродром Ружица.

Я говорю ей:

«Вы извините, товарищ младший лейтенант в тяжелом состоянии, нельзя его волновать».

Она просит:

«Я только руку ему хочу пожать. И еще раз поблагодарить».

Отправился я к Чумаченко, спрашиваю:

«Антоша, можешь ты с одной представительницей попрощаться? Настаивает очень».

Но он сразу понял, о ком речь.

«Она?» — спрашивает.

«Она».

Говорю Ружице:

«Идите. Но только себя в руках держите, предупреждаю».

Эх, думаю, и что из этого получится? Ведь невыносимо же смотреть на такое. И обоим мне жалко.

Подошла она к Антоше, остановилась, словно замерла, потом вдруг упала у носилок на колени, схватила голову Антоши и стала целовать его. И молит она: останься. Называет его такими словами нежными, что и не повторить. Мой, говорит, мой.

А время к вылету. Пришлось, значит, обоим в разные стороны...

Вот такая история получилась.

После госпиталя Чумаченко в часть вернулся. Лицо ему хирурги поправили, конечно. Но по сравнению с прежним — никуда. Мы все вида не показывали. Только наши связистки увидят его и бледнеют. Но он на них никакого внимания.

А погиб Чумаченко под самым Белградом. Обстрелял нас «мессер», весь колпак — вдребезги. Антоше зажигательными всю грудь...

— А как Ружица?

— Ружица? Приходила на аэродром, все спрашивала. А мы малодушничали. Говорили, на другом фронте летает. Вот, мол, кончится война, вольным штатским прибудет к тебе. И сегодня она, наверное, на аэродром придет. А что ей скажу? У кого на такую любовь рука подняться может? Про такую стихи пишут...

Самолет стал снижаться. Внизу показалась зали-
тая солнцем земля Югославии в синих реках, дубовых
рощах, а на горных вершинах сверкал снег изумительной
чистоты.

1945

ЭТО СИЛЬНЕЕ ВСЕГО

Я не буду называть подлинного имени этого человека. Но вовсе не потому, что хочу сохранить за собою право на литературный вымысел. Простая и строгая правда чаще доходчивей самой изощренной фантазии. А главная причина — не хочу обмануть доверия человека, случайно раскрывшего свою душу.

Кроме того, я должен предупредить — не все даты точны. Неловко с блокнотом и карандашом в руках слушать исповедь человека, — даже если ты его встретил первый и последний раз в жизни.

И еще: в рассказе нет финала, ибо человек этот с трудной, незавершенной судьбой, и нет нужды завершать ее в угоду жанру.

Прощальный банкет, который решил нам дать корреспондентский корпус, был устроен в ресторане, расположенном на каменной террасе древней белградской крепости. Глубокие земляные рвы, окружающие крепость, были некогда превращены в вольеры для зверей зоологического сада. Но теперь вольеры были пусты, потому что фашисты любят стрелять, а во время оккупации в ресторан могли входить только они.

Удивительный вид открывался отсюда. Здесь место слияния двух рек: Дуная и Савы.

Серебряный тусклый туман, пропитанный лунным светом, создавал впечатление, будто огромная река течет в воздухе.

Мне не хотелось отходить от каменной балюстрады и расставаться с видением светящейся водной равнины. Поэтому, когда он подошел ко мне с бутылкой в руке и с двумя бокалами, зажатыми между пальцами, и, бесцеремонно усаживаясь на балюстраду, предложил выпить, я не очень дружелюбно принял это предложение.

На вид ему можно было дать и сорок и пятьдесят лет. Сухое лицо с острыми чертами, узкие, почти бесцветные губы, холодные светлые глаза и резкий голос мало располагали к себе. На нем была униформа, которую носят все американские корреспонденты, только на погонах и на рукаве почему-то не было отличительных знаков военного корреспондента и на фуражке, которую он небрежно бросил на пол, отсутствовал медный герб.

Поймав мой взгляд, он сказал:

— Если это так необходимо, я могу отрекомендоваться. — Представился и добавил: — Бывший корреспондент... — И, назвав при этом крупнейшее агентство мира, тут же вызываяще сообщил: — Я послал моего шефа к чертям собачьим телеграммой в тысячу слов за его счет. Хотел бы видеть его лицо, когда он читал текст. — Кивнув в сторону грота, где находился бар, он с иронией произнес: — Мои коллеги относятся теперь ко мне, как к чужаку. Они не уважают людей, отказавшихся от своего шефа...

Налив вина, он объявил:

— Я хочу с вами выпить потому, что вы советский журналист и не будете щепетильны к таким мелочам. Да, — сказал он тихо и серьезно. — Родина... Я никогда не думал, что это может быть больше, значительней, сильнее всего того, к чему я стремился всю свою жизнь.

Подняв голову, он быстро спросил:

— Вы женаты?

— Да.

— Сегодня я сообщил своей жене, что она может быть свободной. Тоже телеграммой, только в пятьсот раз короче, чем та, которую я послал шефу. Это не будет преувеличением, если я вам скажу, что боготворил свою жену. Ни одну женщину я не буду любить так, как любил ее.

Поднося бокал к губам, он глухо сказал:

— Я должен был бы сегодня напиться, но я не буду этого делать. Я не люблю этого слова — напиться, но еще больше не люблю того, что означает это слово. Впрочем, если вы согласитесь докончить со мной эту бутылку и если вам не надоело с самого начала, я готов рассказать вам все по порядку. Но не думайте, пожалуйста, что я питаю к вам какое-нибудь особое расположение или то, что вы советский, вызывает у меня к вам восторженные чувства. Впрочем, да, вы те люди, которых хочется разгадать, а вместо этого... Ну, это из области психологии или, вернее, социологии или черт знает чего. Итак, выпьем.

Так вот. Вы думаете, конечно, что я американец? Нет, я хорват, родился в Хорватии. Семи лет я с братом уехал на транспортнике в Америку. Когда мне было одиннадцать, брат погиб. Его убило лопнувшим тросом в порту. До тринадцати лет я мыл машины в гараже. Пятнадцатилетним юношей ушел в море помощником кочегара на старом лайнере. На нем нельзя уходить в море, но мы пошли, потому что деваться нам было некуда. В первом же моем рейсе на лайнере взорвались котлы. Два месяца я провалялся в госпитале. Выйдя из госпиталя, я не мог найти работы. Голодал. Однажды в баре меня угостил виски какой-то человек. Мы разговорились с ним, и я рассказал всю историю с лайнером. А через несколько дней я встретил своих товарищей по плаванию. Они избили меня до полусмерти. Уходя, они забили мне в рот смятую в ком газету и сказали: «Ты должен съесть ее, иначе...»

Только через месяц я узнал, что это была за газета. В ней было напечатано интервью со мной, где я, по словам репортера, заявил, что авария произошла по вине кочегаров. Основываясь на этой заметке, суд отклонил претензии команды к пароходной компании. Я решил найти и убить репортера. Я стал ходить по редакциям и искать его, но не нашел, а через несколько лет я сам стал репортером. Вы, советские люди, не знаете, что такое доллар. И я не буду вам объяснять, что такое доллар. В Америке есть ходячее выражение: этот человек стоит столько-то долларов. В это понятие входит все, кроме моральных и нравственных категорий. Но меня не интересовала карьера проповедника. Я писал о том, о чем можно писать. За что хорошо платили. Я был в Испании и в Советском Союзе. Кажется, ни в Советском Союзе, ни бойцам Интернациональной бригады мои корреспонденции не нравились.

Конечно, я должен был писать их иначе, но кто их стал бы тогда печатать? Моего шефа интересовали не факты, а представление о них его рекламодателей. Да и факты нужны были те, какие нужны шефу, и платил за них он, а не кто-нибудь другой.

Кстати, тогда же я встретил того репортера, но не убил его и даже не надавал пощечин. Было бы глупо, если б я это сделал: теперь я знал все профессиональные уловки. Мы выпили с ним в баре, хотя он не мог вспомнить меня. Я отнесся к нему без злобы. В сущности, ведь ему я был обязан своей журналистской карьерой.

Я работал так, как вы, советские журналисты, не умеете работать. Кроме моего основного агентства, я сотрудничал

в десятке других газет, и частенько мне приходилось в одной газете писать совсем противоположное тому, что я писал в другой. Я так отбивал себе на машинке пальцы, что вынужден был надевать резиновые напальчники. В течение нескольких лет я ни разу не был ни в театре, ни в кино и читал только те книги, которые мне нужны были для работы, вернее, вычитывал из них только то, что нужно было вставить в статью.

Мы были помолвлены с Керри в течение трех лет и встречались только раз в две недели, пока я не заработал денег, чтобы жениться на ней без опасения ввергнуть ее в нищету. Пять лет я таскался по Африке, Египту и по южноевропейским странам для того, чтобы заработать сумму, которая позволила бы нам иметь ребенка. До этого Керри несколько раз подвергала себя мучительной операции.

Уже во время войны мне удалось устроиться на хорошую должность в одно рекламное бюро. Мои связи с прессой открывали самые широкие перспективы. Но когда начались события в Югославии, мой старый шеф разыскал меня и предложил такую сумму, отказаться от которой я не мог. Посоветовавшись с Керри, я дал свое согласие.

Так как путешествие было очень опасным (нужно было спрыгнуть с парашютом в расположение партизан), я потребовал от шефа застраховать мою жизнь на весьма кругленькую сумму. Шеф и на это согласился.

Как чувствует себя человек, первый раз совершивший прыжок с парашютом, рассказывать вам нет нужды. Партизаны сняли меня с дерева, на котором я повис на стропах, но больше всего они были удивлены тем, что я сносно говорю на их родном языке.

Приехал или, вернее, спустился я к ним с поднебесья крайне не вовремя. Немцы двойным кольцом окружили партизан, и несколько сот автоматчиков прорвались к штабу.

Должен вам сказать, что вообще я не сентиментален. А здесь я был очень взволнован тем, что происходило перед моими глазами, и давно заглухшее чувство родства заговорило во мне, — словом, когда один раненый партизан протянул мне автомат и сказал: «Достреляй за меня, что тут есть, друже», — я не выдержал.

Мы дрались день и половину ночи, потом мы отходили в полном мраке по каким-то горным тропинкам. Я шагал рядом с раненым партизаном, и, когда от усталости стал шататься, он предложил опереться на его плечо.

А когда я отдохнул, то попросил немедленно провести меня к командиру, интервью с которым входило в основу моего задания.

Представьте мое смущение: тот самый раненый партизан и был командиром. Весь облик этого человека и все его поведение настолько противоречили тому, о чем мы договорились с шефом, что я не смог писать неправду...

Мне не приходилось встречать более благородных людей, более одухотворенных и чистых в своих поступках и помыслах.

Я радировал и знал, что это не будет напечатано, но я писал правду.

Ну, что ж дальше? Я остался с партизанами и стал партизаном. Я научился спать стоя, как лошадь, греть руки о нагревавшийся ствол автомата и даже бросать гранату. Стоит ли говорить, что моему решению остаться с партизанами предшествовали встречи с людьми, которые знали меня с детства, и посещение места, где я родился. Я посетил свой дом, вернее, развалины на том месте, где был мой дом. Мне рассказали, как был обезглавлен мой отец и как голову его привезли устали и бросили к ногам моей матери. Я разыскал свою сестру. Это была седая старуха в рубище. Она не узнала меня. Дети ее погибли под развалинами дома, куда попала немецкая бомба.

Я не мог больше оставаться американцем, я стал хорватом. И мне вернули мое родное имя.

Два года я пробыл в армии партизан, это для меня было большим, чем двадцать лет жизни *там*.

Но самое мучительное началось потом. Мы одержали победу. Да, вы помогли нам, без вас победа не пришла бы. Война кончилась. Я увидел страну, разоренную, измученную, и мне нужно было решать: кто я? Нужен ли я здесь? Да, я мог воевать, но что я мог делать теперь? Писать? Нет, не могу писать. Здесь нельзя писать так, как я писал всю жизнь. Но у меня нет другой профессии. Хорошо, я могу стать шофером. А семья — жена, ребенок? Обречь их на такую жизнь? Потом это совсем другая жизнь. Здесь нужно жить не только для себя, понимаете? Ну, вы это отлично знаете! А они не поймут никогда. Но ведь той, своей жизни я добился какой ценой! И я достиг многого! Отказаться от всего? Смешно, верно? Да, пожалуй, смешно отказаться? А жена, которую я любил, которая дорога мне, как сама жизнь, — отказаться и от нее?

Но она сама отказалась от меня.

Она прислала мне телеграмму и попросила во имя

нашего ребенка не возвращаться больше в Америку. Там меня считали убитым. Жена получила страховую премию и вложила ее в дело отца. А когда ее отец узнал, что я жив, он отказался отдать деньги. Теперь, если я вернусь, они будут разорены.

— Ну, согласитесь вы теперь выпить со мной еще? — Он поднял бокал и остановился, выжидающе глядя мне в глаза.

— Как же вы думаете жить дальше?

Он наклонился и, расплескивая вино себе на колени, глухо сказал:

— Я очень много потерял, но я нашел то, без чего не может жить ни один настоящий человек, — отечество.

Поставив бокал, он добавил задумчиво:

— Я все равно не мог бы вернуться, жена только облегчила мое решение. Я всегда считал ее самой умной женщиной, какую мне когда-либо приходилось встречать.

Охватив лицо руками и опершись локтями о колени, он застыл в неподвижности. Потом, выпрямившись, заявил:

— Если б я сейчас встретил того репортера, с каким наслаждением я набил бы ему морду и сбросил туда, вниз!

Поднявшись, он направился было к бару, за новой бутылкой. Но, не дойдя, вернулся и сказал:

— Нет, не буду, утром будет болеть голова. А завтра у меня большой день, пускаем новую турбину.

— Вы что, поступили на завод?

— Да, я кое-что смыслю в этом деле. Я забыл вам сказать, что около двух лет в Канаде я работал по монтажу, там я и научился русскому языку у ребят из русской колонии. Но они совсем другие русские. Впрочем, это так, к слову.

Он пожал горячей сухой рукой мою руку, небрежно надел фуражку, лишенную медного герба, и ушел, ни разу не оглянувшись.

КИРИЛЛ ОРЛОВСКИЙ

Четыре бруска тола (по двести граммов в каждом), связанные проволокой в один пакет, лежали у меня в вещевом мешке поверх запасных дисков к автомату.

Я привык работать толовыми шашками. У гранат есть свое неудобство. При броске с небольшого расстояния без укрытия можно поранить себя. А в нашем деле даже легкое ранение равно смерти. Тогда не уйти от погони.

Тол мы добывали из немецких авиабомб.

Когда немцы совершали очередной карательный налет, две-три авиабомбы обычно не взрывались. Кто оставался живым, выкапывал бомбу из земли и привозил в лагерь.

Мы выбивали тол кувалдой или выплавляли его, как воск, положив бомбу в банный котел с кипящей водой.

Тола из одной двухсоткилограммовой авиабомбы мне хватало, чтобы подорвать четыре немецких эшелона.

Для экономии взрывчатки я обычно работал «удочкой». Делал я это так: закладывал под рельсы мину, а к чеке, находящейся во взрывателе, привязывал тонкую проволоку, метров двадцать длины. Лежа под откосом, я держал конец этой проволоки в руках. Когда проходил эшелон, я дергал проволоку, и происходил взрыв. Такой способ считается у нас опасным, зато нет риска, что мина не срабатывает и эшелон пройдет благополучно.

Так вот. В мешке у меня было восемьсот граммов тола, а я сам лежал в снежной яме выкопанной недалеко от шоссе.

Вправо и влево — мои ребята, зарытые в снег. Сверху снег я замел еловым веником, чтобы не осталось следов.

День был очень холодный. Знаете, бывает такой мороз, когда стужа смертельно сушит все, и даже воздух становится сухим, блестящим, и дышать им трудно, дерет ноздри и горло. И снег был тоже очень сухим, словно толченное стекло.

Было тихо: когда на сосне лопалась кора, казалось — это выстрел.

Мы лежали в снегу уже двенадцать часов. У нас в Белоруссии после таких морозов небольшие реки промерзают до дна, и крупная рыба в нихдохнет. И мне казалось, что я тоже промерзаю до самого сердца.

Если бы прошло еще несколько часов и те, кого мы ждали, не появились, мы не смогли бы выйти из своих снежных ям, окаменели бы в них. Я знал, что никто из партизан не поднимется из ямы, прежде чем я не отдам команды, — это были хорошие ребята. А тот, кого мы ждали, был гадиной из всех гадин. Более пятидесяти солдат охраняли его. Понимаете, что это был за фашист! Я должен был его убить.

Все получилось так, как я рассчитал. Гитлеровцы ехали на лошадях, запряженных цугом. Когда они приблизились, мы, все двенадцать, поднялись из снега и стали их расстреливать.

Я бежал вдоль дороги и разыскивал того фашиста. Я увидел его. Он лежал в санях в черной шубе с енотовым воротником и отстреливался из автомата. Я поднял над головой восемьсот граммов тола, чтобы метнуть в сани, и тут произошло то, о чем лучше никогда не рассказывать.

Будто курьерским поездом ударило меня в правое плечо и голову, поволокло по земле, ломая чугунными жерновами.

Когда я очнулся... Да, действительно, так калечит только поездом. Правая рука почти вовсе вырвана, на левой нет двух пальцев. Тол взорвался у меня в руке в тот момент, когда я хотел его кинуть. Взорвался оттого, что немецкая пуля случайно попала в толковый пакет.

Ребята пытались оказать мне помощь, но я приказал им кончать врагов.

Не знаю, почему я не истек кровью. Видно, снег, пропитанный кровью, примерз багровой глыбой, стал как бы повязкой. Так, с этой приставшей ко мне снежной глыбой, меня везли сначала на лыжах, а потом на санях.

В нашем отряде нет врача. Пришлось везти меня в соседний отряд. Врач думал, что без наркоза я не выдержу операции. Но для того чтобы достать наркоз, нужно было сделать налет на крупный немецкий гарнизон. Это заняло бы два дня, не меньше. Я сказал: «Давайте без наркоза». Врач ответил: «У меня нет пилы». Пилу ему добыли. Слесарную пилу-ножовку. Ее наточили, вычистили наждаком, выварили в кипятке.

Операцию решили делать на открытом воздухе: в землянке темно. Вбили в снег колья, на них положили лыжи.

Но недолго пришлось лежать мне на этом хирургическом столе.

Фашисты устроили облаву. Меня снова взвалили в сани, забросали полущубками и увезли километров за тридцать. Я ждал, пока кончится бой. Тогда врач закончил операцию, а до этого ему было некогда — он работал за второго номера у пулемета.

Понимаете, как много я вытерпел, но, чтобы жить, стоило это вытерпеть.

Через три месяца я встал. Я потерял руку. Но партизаны не дали мне стать калекой. Я снова командовал своим отрядом. И, видно, неплохо мы били врага.

Когда приходили в отряд новички, они спрашивали товарища Безрукого. Это хорошая слава! А слава — она как крылья для человека.

Осенью меня вызвали в Москву.

Я пришел к себе домой и остановился перед дверью. За дверью были жена и дети. Я постучал в дверь ногой, потому что позвонить мне было нечем.

Я знал, что жена согреет меня любовью, друзья — дружбой. Я знал, что меня ждет безбедное существование. Но я чувствовал себя глубоко несчастным.

С тысяча девятьсот восемнадцатого года я член партии. Еще до войны я был награжден орденами Ленина и Трудового Красного Знамени. Теперь получил звание Героя Советского Союза. 18 января мне исполнилось только пятьдесят лет. Так неужели сейчас, когда война не кончилась, когда родная моя, истрадавшаяся Белоруссия разорена, истоптана оккупантами, я буду растить себе брюхо на пенсии и ловить на даче пескарей, похваливая за заботу Советскую власть? Не мог я этого принять. Не мог. Жить — так уж большой, всеобщей жизнью моей страны.

Я решил написать письмо в ЦК.

Полгода обдумывал это письмо. Прочел сотни книг по сельскому хозяйству. Посетил лучшие совхозы и колхозы. Просмотрел архивы Сельскохозяйственной выставки и только тогда решился.

Я просил доверить мне дело организации образцового хозяйства в моем родном селе Мышковичи, Бобруйской области, Кировского района.

На следующий день после того, как я послал письмо, мне позвонили по телефону и попросили зайти в Народный комиссариат земледелия. Народный комиссар земледелия

Андрей Андреевич Андреев долго беседовал со мной. Я расказал, почему я верю в свои силы.

В свое родное село Мышковичи я приехал спустя несколько дней после его освобождения. Обугленные развалины, вырубленные сады предстали пред моими глазами. Многие из тех, с кем я рос, с кем провел юношеские годы, были казнены врагами. Сестра убита. Когда я партизанил, то видел немало таких разоренных сел. И чем больше горя видел я на своей земле, тем легче мне было убивать врагов, тем дерзновеннее подрывал я мосты, склады, совершал налеты на комендатуры. Здесь я должен был воодушевить к труду людей, согбенных горем.

Меня избрали председателем колхоза.

Три миллиона кредита мы обдумали всем сердцем, всеми силами своего ума. Первыми моими помощниками явились друзья-партизаны. Иван Белявский стал колхозным агрономом и моим заместителем. Михаил Рудник и Аркадий Скудный — бригадирами-полеводцами. Василий Белявский — членом правления колхоза.

И вот прошло полгода, как наше село очищено от оккупантов. За это время мы засеяли двести шестьдесят три гектара озимой рожью, оборудовали помещение для скота, полностью обеспечили яровой клин семенами, заготовили две тысячи тонн торфа для удобрений, а в будущем году в нашем колхозе будут построены: скотный двор, амбары, гараж, мельница, электростанция, лесопилка. Мы сделаем все, мы выполним все свои обязательства. И еще, знаете, хочу... — И тут Кирилл Прокофьевич Орловский улыбнулся и сказал строго, раздельно: — Я хочу получить медаль Сельскохозяйственной выставки, хотя бы малую серебряную, в первый же год открытия выставки.

Мы возвращались от Орловского ночью. Падал мягкий, похожий на тополевый пух снег. Где-то далеко за холмом горело голубое зарево от огней проходивших автомашин.

— Первая колхозная пятилетка, — мечтательно сказал подполковник Студников. — Я знаю Кирилла, он своего добьется. Поедешь после войны этой дорогой и заблудишься, ничего не узнаешь.

— Мы думали — приехал к нам раненый человек, надо ему условия создать, лучшую избу выделить. А он на первом же собрании словно сердце у себя вынул и фонарем над селом повесил, — тихо сказал Белявский.

Падал теплый снег, и в воздухе пахло весной, хотя был январь.

У НАС НА СЕВЕРЕ

Группа советских бойцов, возвращаясь из рейда по тылам противника, наткнулась на немецкий разведывательный отряд.

Незамерзающее болото стало местом боя.

Каждая сторона знала: главное — доставить добытые сведения командованию. Но чтобы доставить их, кому-то нужно было остаться живым.

Бой рассыпался на одиночные схватки. Дрались в воде. Когда бросали гранату, подымался фонтан грязи. На месте взрыва, сквозь разорванный мох, можно было провалиться, как в колодец.

Наши бойцы вели с собой «языка». Они оставили его в прикрытии за огромным валуном, круглым, будто искусственно обточенным.

Фашисты обнаружили пленного и направили сюда весь пулеметный огонь. Они решили убить «языка» во что бы то ни стало.

Пули, стуча о камни, отлетали расплюснутыми. И вот одной такой пулей пленный был убит.

Бойцы прошли за «языком» немало километров. Шли по преющим болотам, карабкались по скалам из розового гранита, шагали по тундре, заросшей жесткими низкорослыми деревьями, переправлялись через порожистые незамерзающие реки.

А теперь этот «язык» никуда не годился.

Вражеский отряд удалось притиснуть к трясине, покрытой тонкой пленкой хрупкого льда. Дальше была река.

Бой достиг последней степени ожесточения.

На поверженного врага наступали, топя его. Раненые цеплялись за кочки, чтобы не утонуть. Врагам приходилось плохо. Тогда они выбрали самого сильного, вручили ему

сумку с донесениями и, прикрывая огнем, дали ему возможность перебраться на ту сторону реки.

Сержанту Юрию Кононову было приказано догнать врага и взять его взамен убитого «языка». Кононов бросил шинель, остался в ватной куртке и, схватив лыжи в руки, побежал к реке.

На берегу он стал разуваться. Ему кричали:

— Давай скорей, а то уйдет!

Кононов устал, он прошел двое суток натошак. Фашист был сыт и проделал путь в восемь раз короче. Нужно начать «обыгрывать» преследуемого сейчас же. Для начала сухие ноги — это не так уж плохо. И Кононов перешел реку разутым. Голые ноги в ледяной воде почернели, а боль подходила к самому сердцу. Но зато, когда Кононов стал на лыжи, у него были сухие ноги.

По ту сторону лежала тундра, покрытая снегом, рыхлым и мокрым, как пена.

Фашист ушел далеко вперед. Он шел быстро. Бамбуковые палки взлетали в его руках. Он походил на водяного паука.

На Севере погода меняется быстро. Но пурга возникла исподволь. Сначала по насту бежала сухая снежная кисея. Было такое ощущение, словно идешь по быстро текущей белой реке. Потом снежное течение поднялось до колен, потом волна его достигла груди и, уже рвущаяся и стонущая, взметнулась над головой.

Юрий продолжал шагать, стараясь только, чтобы ветер все время бил в правую скулу: этим он определял направление.

Фашист не умел ориентироваться по бешеному течению ветра. Он заблудился и вынырнул из белого сумрака совсем рядом с Кононовым.

Для фашиста все было гораздо проще. Ему надо убить Юрия, чтобы избавиться от преследователя. Кононову нужно взять фашиста живым.

Фашист дал несколько очередей, потом выждал, отошел в сторону и снова стал на лыжи. Но, сбившись с пути, потерял направление и теперь шел в сторону озера.

Пурга стихла так же, как и началась, — исподволь. Она высушила снег, и снег стал сыпучим, как мука.

Фашист шел впереди, и ему приходилось прокладывать лыжню для Кононова.

Скоро фашист свернул к скалистому плоскогорью. На его каменной поверхности снега совсем мало. Кононов снял

лыжи и понес их в руках. Фашист тоже хотел снять лыжи, но когда он остановился, намереваясь сделать это, Кононов открыл огонь.

Фашист стал уставать. Он останавливался и с автоматом в руке ждал Юрия, словно приглашая его на поединок. Но Кононов садился на камень и спокойно следил за врагом, а когда фашист садился, Юрий начинал ползти к нему, и фашист вставал. Он стоял, пока Кононов лежал на земле и отдыхал.

Выведенный из себя фашист закричал и погрозил Кононову кулаком, а потом погнался за ним.

Ни разу до этого Кононову не приходилось бегать от врага. Вначале Кононов остановился, чтобы встретиться с ним грудь с грудью, но потом сообразил, что это сейчас ни к чему, и быстро побежал от фашиста. И даже несколько раз нарочно упал, чтобы заставить фашиста увлечься преследованием и потерять на это и время и силы. Фашист отказался от преследования, повернул и спустился к реке.

Лед реки, чисто подметенный ветром, блестел. Над болотистыми ее берегами висел туман.

Река впадала в озеро. В устье реки коричневые скалы торчали из воды, скользкие и гладкие, как бока мокрой лошади.

Фашист стал карабкаться по прибрежным камням. Кононов дал ему уйти, потом отломил ото льда примерзшее бревно и, став на него, подгребая лыжей, переправился через полынью.

Фашист шел по льду озера, хромая. По-видимому, он поскользнулся на камнях и повредил ногу. Останавливаясь, он повисал на палках, как на костылях.

Кононов открыл огонь. Фашист вынужден был снова идти. Переправляясь через скалы, он сломал одну лыжу и, проваливаясь в снег, двигался очень медленно. Фашист полз, пока совсем не выбился из сил.

Чтобы положить на лыжи оглушенного прикладом врага, Кононову пришлось подсовывать под него лыжные палки.

Всю ночь Юрий тащил рослого и очень тяжелого фашиста, лежавшего на лыжах. От голода у Кононова начались такие боли в животе, словно кишки скручивались в жгут.

На рассвете он заставил пленного подняться и идти.

К вечеру они добрались до того места, где произошел бой с немецким отрядом.

Чтобы согреться, Кононов собрал деревянные ручки от немецких гранат и сложил из них костер. У одного из убитых он нашел консервную банку. Но она оказалась не с консервами, а с лыжной мазью. Кононов жевал мазь, пахнувшую дегтем и воском. Сидя у костра, он заснул и обжег себе лицо. От ожога он проснулся и был рад этому, — «язык» в это время пытался пережечь веревку, которой были связаны его руки.

Через двое суток Кононов доставил пленного в штаб.

СЫН НАРОДА

Пыльный и горячий большак. Жарко и пустынно.

И вдруг на дороге танки. Они мчались к реке, как стадо на водопой.

Поднявшись из кустов, Саркисян вглядывался в желтое, пыльное марево.

«Люки открыты. Танкисты сидят на башнях. Жарко, потому и сидят на башнях. Постой, что это такое — песня? Они поют «Катюшу». Веселый народ танкисты!»

Танк остановился. Командир машет рукой.

Саркисян, улыбаясь, подходит к танку. Танкисты, срыгнув на землю, ждут и тоже улыбаются.

Жестокий, хрустящий удар по голове. Саркисян лежит на земле. Лицо в пыли, колено давит спину, шею стиснули пальцы, воняющие керосином.

— Сучкин сын, кажи переправу, сучкин сын.

Хватают за волосы, бьют.

Он носил пистолет по-кавказски — на животе. Резко поворачивается на спину — трещат волосы, — стреляет.

На четвереньках бросается в обочину, потом к огородам. Из танка бьют пулеметы.

Потом он лежал в яме, где раньше брали для печей глину. Горела деревня, кричали люди. И было ему тоскливо, страшно, и не знал он, что теперь делать.

Это было 14 июля сорок второго на реке Сож, возле деревни Студенец.

Так он узнал подлость и коварство врага.

В прошлом году Саркисян поступил в стрелковое училище. Он хотел стать хорошим, умным воином. Но не знал русского языка. Тяжело было. Но он был волевым и самолюбивым. Ведь оказалось же, что в этой школе учатся люди шестидесяти девяти национальностей, и учатся хорошо. И он окончил школу на «отлично».

И сейчас ему было только восемнадцать лет. И он ползал по лесу, где находилась его рота. Теперь танки

прошли здесь. Он вынул из разбитой пушки замок и закопал в землю. Ломал винтовки. Но хоронить убитых товарищей уже не было сил.

Скитаясь по лесу, он нашел еще семнадцать таких же одиночных мстителей. Потом их стало сорок семь. Разжились тачанками, вооружились — по четыре ручных пулемета на каждую тачанку. Совершали налеты на обозы, полицейские и карательные отряды.

В августе он влился со своей группой в крупный партизанский отряд М.

С двенадцатью партизанами он пошел в разведку. Внезапным налетом взял деревню. Оставил на улицах трупы сорока семи немцев, в доме комендатуры шесть чиновников и коменданта с разрубленной головой.

Народ помогал мстителям. Когда узнали, что отряд сидит без курева, снарядили делегата. Делегат привез из-под самого Брянска триста пятьдесят стаканов махорки. Партизаны отблагодарили жителей, выдав им десять мешков муки из немецкого обоза. В деревне Литвиновичи немцы изнасиловали девушку. Двадцать женщин ворвались в сарай, где спали четыре немецких солдата, и задушили их.

Партизаны превратили немецкий тыл во второй фронт. На все злодеяния, которые приносили немцы мирному населению, партизаны отвечали карающими внезапными налетами.

Наша армия перешла в наступление. Отряд неожиданно попал в окружение — в окружение своих же родных красноармейских частей.

— Я прошел хорошую школу, и теперь я хочу быть разведчиком, — сказал Саркисян.

Он уходит в глубокие тылы врага.

На станции стоит немецкий паровоз. Саркисян снимает ручку с противотанковой гранаты, закладывает запал и подбрасывает гранату в топку. Из железнодорожной будки выбегают три немца... и падают. Хороший маузер у Саркисяна, пристрелянный.

Наткнулись на склад горючего. Восемь огромных цистерн закопаны в землю. Только железные крышки торчат.

Часовые лежали уже связанными, с пилотками в зубах.

А как взорвать склад, когда нет толу? Стали стрелять бронебойными по крыше, но не течет горючее. Попробовали трассирующими. Еле ноги унесли. Чуть было сами не сгорели.

С толком работать куда лучше.

Вдвоем с Ивановым они подобрались к немецкой коммандатуре, заложили в подвал восемнадцать килограммов толу — вот это был взрыв!

Потом, когда они отдыхали в лесу, Саркисян спросил товарища:

— Ты Давида Сасунского знаешь?

— Богатыря, что ли, вашего? — спросил Иванов.

— Сильный человек был, — сказал Саркисян. — Но чтоб двухэтажный дом одной спичкой на воздух поднять — до этого и он не додумался. — И серьезно добавил: — Давид тоже за наш народ воевал.

Кстати, имя, данное Саркисяну при рождении, — Наполеон. Но ему не нравится, когда его так называют.

— Зовите меня лучше Мишей, — говорит он. — Допустим, что это моя партизанская кличка.

И все называют его Мишей.

ДЖЕННИ

Падал лохматый теплый снег, и от снега пахло, как от травы после дождя: свежестью.

Очень приятно стоять под этим падающим снегом! Стоишь, словно в черемуховой роще, когда осыпается цвет. Даже голову кружит!

Но дороге, по грунтовой стороне ее, строго предназначенной для гусеничного транспорта, катился серый немецкий танк с раскрытыми люками.

Последние дни ремонтники только и знали, что гоняли с поля боя эти пленные машины к своим летучим мастерским.

Хорошо стоять под снегом, когда этот снег напоминает белый сад, и смотреть на такую дорогу!

И вдруг — крик, пронзительный крик. Когда я обернулся, то увидел, что какой-то человек бежит по полю, увязая в снегу, а впереди, наперерез немецкому танку, скачет большая трехногая овчарка.

Старые ржавые проволочные заграждения пересекали поле. Собака на какое-то мгновение присела, сжалась в комок, и вдруг выпрямилась, и, вся вытянутая, взвилась в воздух. Коснувшись земли, собака перевернулась через голову и покатилась в овраг. Потом она снова появилась возле откоса — без лая, молчаливая, шатающимися прыжками она заходила к танку сбоку, движимая каким-то своим расчетом.

Механик-водитель не мог слышать крика, но в открытый люк он увидел махавшего ему руками человека и остановил машину. Остановил как раз в тот момент, когда овчарка, сделав последний прыжок, легла под правую гусеницу.

Потом я увидел, как собаку тащили от танка за веревку, привязанную к ее ошейнику. Собака не хотела уходить, она рвалась на веревке, мотала головой, прыгала в разные

стороны, вставала на задние лапы, садилась, упираясь передней лапой в землю, и выла.

Только когда танк ушел, собака понуро побрела вслед за людьми. Поджатый хвост, повисшие уши, взъерошенная шерсть и ковыляющая поступь придавали ей вид невыразимо несчастный.

Привыкнув на войне к тому, к чему, казалось бы, очень трудно привыкнуть, я был странно взволнован этим непонятным происшествием.

Вечером я зашел к подполковнику Мезенцеву. Он сидел за столом у карты. Карандаш, часы, циркуль, портсигар, зажигалка, как всегда, лежали возле его правой руки. Слева стояли четыре ящика с телефонными аппаратами в чехлах из желтой кожи.

А в углу за печкой лежала уже знакомая мне овчарка.

Она лежала вытянувшись, положив длинную красивую голову на переднюю лапу. Глаза ее были открыты. Собака вздрагивала. Короткая кулышка все время тряслась, словно от непереносимой боли.

Миска, наполненная кусками вареного мяса, стояла возле собаки, но она, по-видимому, к ней не притрагивалась.

Мезенцев, словно продолжая начатый разговор, обратился ко мне раздраженно:

— Ведь говорил же всем — идет машина, закрывай дверь! Теперь несколько дней жрать не будет. Всё швейцары нужны! — И взял телефонную трубку.

— Сколько? — спросил он, морщась. — Ну и не трогайте. Знаю. Правильно. Пускай пропустят. Мы их на самоходные примем.

Делая отметки на карте, Мезенцев объяснил:

— Выманивать у немца танки приходится. Берегут посуду, а у меня техника в засаде простаивает.

Я не знаю, когда Мезенцев спит, ест, одевается, бреется. Есть ли у него семья? Что ему нравится и что не нравится? Я приходил к нему в разное время и всегда заставал его у карты и телефонных аппаратов, и всегда он был невозмутимо одинаков.

Видно, удивительная работоспособность начальника штаба добывается из того же источника, из которого черпают свои силы идущие в бой. Но в своем деле каждый идет своим собственным путем.

Крохотная электрическая лампочка, светоносная капля, висела у потолка на толстом прорезиненном проводе. Сухие строгие руки Мезенцева двигались по карте. Где-то далеко,

со стороны дороги, слышалось мерное ворчание мотора.

Собака подняла голову, уши ее напряглись и встали, узкая морда повернулась в ту сторону, откуда шел звук.

— Ну вот, — сказал Мезенцев, — опять. — И решительно заявил: — Кончено. Пошлю в тыл, больше терпения моего нет! — И, словно не совсем доверяя себе, еще более категорически подтвердил: — Завтра же отправлю!

Может, машина свернула куда-нибудь в сторону или заглух мотор, только шума ее больше не было слышно.

Но собака еще долго оставалась в напряженной позе, потом медленно вздохнула и стала укладываться.

Свернувшись в клубок, спрятав нос в кольцо пушистого хвоста, она снова начала дрожать и тихо повизгивать.

Мезенцев, не отрываясь, что-то писал, широко расставив локти и низко склонившись к бумаге. Потом он взял написанное, поднес к свету, сделал несколько поправок, тщательно сложил бумагу, провел ногтем и вдруг разорвал на мелкие клочки.

— Нет, — сказал он, — нельзя. Ничего не выйдет. Не могу, привык. — И, уже обращаясь ко мне, резко спросил: — Чай пить будете?

Если бы Мезенцев скомандовал: «Руки вверх!», я бы меньше удивился, чем этому внезапному жесту его гостеприимства.

Чай был теплый, невкусный. Но, видно, Мезенцев считал, что чай — единственный возможный повод для неслужебного разговора.

Держа в ладонях кружку с безнадежно остывающим чаем, Мезенцев говорил сухо, быстро, словно вынужденный к разговору, а не побуждаемый собственным желанием.

— В сорок первом году нам, пограничникам, пришлось первым принять предательский удар немцев. Они шли на нас танками. Мы отступали и дрались. С нами были наши собаки. Они были обучены кое-чему. С толком, привязанным к спинам, они бросались под немецкие танки и взрывали их. Мы тоже взрывали танки. Привязывали к мине веревки и бежали наперерез танку. Все искусство заключалось в том, чтобы остановиться, когда мина окажется против гусеницы танка. От моего отряда осталась одна собака. Вот эта, Дженни.

Услышав свое имя, овчарка подняла голову, навестила уши, застучала хвостом и заулыбалась, как это умеют делать собаки, морща дрожащие губы и обнажая клыки.

— Ну, ну, ладно, — сказал собаке Мезенцев и еще поспешнее продолжал: — Немцы окружили нас. Но мы вырвались. Немецкий танк стоял в засаде на просеке. Дженни бросилась к танку, на ней был последний толовый пакет. Но немецкие танкисты уже познакомились с нашими собаками. Танк стал пятиться. Он ударил задом и бил в Дженни из пулемета. Ей перебило лапу. В лесу я отрезал перебитую лапу перочинным ножом и наложил повязку. С тех пор мы всегда вместе.

И, видимо, обрадовавшись, что так все быстро рассказал, Мезенцев поспешно встал, подошел к Дженни и, погружая руку в теплую ее шерсть, с грустью добавил:

— Умная, ласковая, только вот, знаете, тапки. Привяжешь — веревку перегрызет. Закроешь в блиндаже, кто-нибудь войдет — она собьет с ног, выскочит. Недавно на НП тоже. Хорошо — бронебойщики выручили. Разложили танк, когда она под него укладывалась. Прямо беда.

Собака перевернулась на спину и лизнула руку Мезенцева. Глаза ее светились. Мезенцев вытер руку и подошел к телефону.

— Хорошо, — сказал он довольным голосом, — очень хорошо! Пускай скапливаются.

Прищуриваясь, он смотрел на карту и наносил на ней толстые красные изогнутые стрелы.

В углу стукнула миска. Я подумал, что Дженни ест, и обрадовался. Но собака не ела. Она сидела, упиравшись передней лапой в миску, брюхо ее было втянуто, голова с торчащими ушами повернута к окну.

Казалось, собака не дышала, так она была неподвижна. Внезапно овчарка бросилась к двери, ударилась о нее лапой и грудью, упала, потом поднялась, жалобно огляделась и, сжавшись в комок, прыгнула на стол, а оттуда в окно. Посыпались осколки стекла, рама оказалась слабой и вывалилась наружу.

Холодный ветер со снегом рванулся в хату.

Мезенцев кинулся к дверям. Зазвонил телефон. Махнув рукой, подполковник взял трубку.

Окно я заткнул свернутым полушубком. Порванную когтями Дженни карту Мезенцев заклеил.

Скоро глухие и тяжкие толчки разрывов снарядов вышибли полушубок из окна. Я вышел из хаты.

Казалось, что небо сделано из кровельного железа, оно гремело, колеблясь и выгибаясь. А облака в нем горели, словно они были пропитаны нефтью.

На рассвете я вернулся в блиндаж.

Мезенцев сидел, откинувшись на спинку стула. Лицо его было, как всегда, сухо, спокойно: бессонная ночь не наложила на него своего отпечатка. Ровным голосом он диктовал в штаб донесение о разгроме немецкой танковой бригады.

На следующий день я отправился к месту засады, чтобы посмотреть на разбитые немецкие танки.

Оттепель испортила дорогу. Оставив машину, мы пошли пешком. С ветвей деревьев, отягощенных снегом, капала вода. Если смотреть на ветви деревьев против солнца, увидишь, что эти капли цветные — они окрашивались в цвета радуги.

И вдруг кто-то крикнул:

— Дженни!

Да, это была она.

Собака скакала на трех ногах, забрызганная грязью, низко опустив голову к земле.

— Дженни! — закричал я. — Дженни!

Собака остановилась, повернула в нашу сторону свою красивую острую морду. Потом осторожно вильнула хвостом, приподняла над клыками дрожащие, черные, нежные бахромчатые губы и, мотнув головой, снова продолжала свой путь неровными, шатающимися скачками.

ПЕРВЫЕ ДЕСАНТНИКИ

В сентябре 1941 года на юхновский аэродром приехали военные корреспонденты. Здесь базировались бомбардировщики ТБ-3. Эти пожилые машины уже во время финской кампании летали только во фронтовые тылы.

На первый взгляд машины поразили меня своей огромностью. Они были монументальны. Экипажи состояли из старейших летчиков. Движимые привязанностью к своим самолетам, они приписывали им самые сверхъестественные качества.

Вначале я воспринял это как беззастенчивое хвастовство и только потом понял, что это также было проявлением безграничного мужества.

В то время мы, молодые военные корреспонденты, чувствовали себя стесненными тем, что не подвергаемся повседневно всем опасностям, которым, как нам казалось, необходимо было подвергаться, чтобы вызвать уважение бойцов и офицеров к нашей профессии. И многие из нас, руководимые этим чувством, ходили в боевые операции, и не все возвращались из них.

Мне нужно было написать очерк о летчике, капитане Филине. И я старался убедить командира части, что для очерка мне нужны художественные детали, а их можно добыть только из личных ощущений.

Командир колебался, но потом сказал:

— Хорошо, летите. Только придется снять одну бомбу. Хочется, чтобы правдиво о нас написали, сейчас это очень важно.

Это была высокая цена правды, и для того чтобы понять ее, пужно вспомнить те дни.

ТБ-3 летали только ночью. Зенитный огонь им был почти не страшен. Немецкие зенитчики работали с упреждением, рассчитанным на скорость современных машин. Небольшая скорость ТБ-3 путала немецких артиллеристов.

Для встречи с ночными истребителями имелось два пулемета, третий, дисковый ручной, лежал в проходе возле правого пилота.

До вылета у меня оставался впереди почти целый день.

Скитаясь по аэродрому, я встретился с московскими ребятами, добровольно вступившими в десантные группы. Они ждали сегодня своего первого вылета на боевую операцию.

Выглядели они очень живописно. Гранаты заткнуты за пояс, из карманов торчат ручки пистолетов. Большие кип-жалы в черных ножнах. Десантники напоминали своим видом партизан времен гражданской войны и, видимо, гордились этим.

Им было приказано отдыхать до вылета. Но отдыхать они не умели.

Здесь царило то взволнованное веселье, которое бывает за кулисами во время постановки спектакля силами самодеятельного клубного кружка.

Да, пожалуй, у них у всех было такое чувство, будто они должны играть роль героев, и единственная опасность, которая угрожает им,— это забыть слова, которые нужно произносить при этом.

Среди них находились также две девушки. Только они послушно старались спать и каждый раз поочередно возмущались, требуя тишины.

Но когда возникала тишина, какая-нибудь из них стаскивала с головы ватник и, приподнимаясь, тревожно спрашивала:

— Что, уже пора?

Вечером я наблюдал, как десантники усаживались в самолет, торопливо, как в трамвай, цепляясь друг за друга парашютами. И перекликались, словно боясь, как бы кто-нибудь не отстал и не остался на земле.

Летчики были раздражены этими пассажирами, а командир корабля, «миллионщик», заявил, что за все время ему не приходилось ни разу иметь дело с такой «неорганизованной публикой».

Когда самолет с десантниками улетел, на аэродроме сразу стало как-то очень пусто, грустно и тихо.

Наконец пришла и моя очередь вылетать.

И в небе, в самолете, меня сопровождало это чувство внезапного тягостного одиночества.

Вернулись мы на аэродром, когда уже поднималось солнце. А часа через два на командный пункт позвонили из штаба стрелковой дивизии, находящейся на линии фронта,

и сообщили, что в их расположении упал самолет, принадлежащий юхновской авиачасти.

Судя по номеру, это была машина, на которой вылетели десантники.

На следующий день я был в госпитале, и командир корабля летчик-«миллионщик» Алексей Григорьевич Хохлаков рассказал мне, как было дело.

Через сорок минут после того, как перелетели линию фронта, на самолет напал немецкий ночной истребитель. Левый мотор был поврежден. Самолет мог дотянуть обратно через линию фронта, только освободившись от пассажиров. Командир отдал команду прыгать. Но пришел бортмеханик и доложил, что четверо парашютистов ранены.

— Хорошо, — сказал командир, — раненые пусть остаются, а остальным прыгать.

Бортмеханик вернулся в свой отсек, открыл бомболюки и знаками приказал прыгать. Когда четыре человека выпрыгнули, командир сообщил, что остальные могут остаться: авось удастся дотянуть через линию фронта. Но тут выяснилось, что четыре человека, выбросившиеся из самолета, как раз и были раненые десантники.

Они решили пожертвовать собой, чтобы сохранить жизнь тем, кто не был ранен и мог сражаться с врагом. Но спустя полминуты на корабле не осталось ни одного десантника: все они пошли вниз за ранеными товарищами, чтобы спасти их, помочь им.

В те дни было совершено столько подвигов, что поступок московских десантников как-то растворился в волнах народного героизма.

В декабре того же года я находился в морской бригаде. Моряки ходили в атаки на оккупантов, сбрасывая на бегу каски и доставая из карманов смятые бескозырки.

И вот здесь, у начальника штаба бригады, мне пришлось снова встретиться с этими первыми московскими десанниками. Их привели разведчики. Они нашли их в лесу полузамерзшими.

На самодельных салазках лежало трое раненых (четвертый был тогда ранен смертельно). Они были хорошо укутаны одеждой. Шестеро остальных полураздеты. Как оказалось, полтора месяца они пробирались через леса к своим. Начальник штаба приказал всех их отправить в госпиталь.

Но через два дня я снова застал эту шестерку у начальника штаба.

Они стояли, как стоят по команде «мирно», и лица у них были такие сияющие, точно их наградили орденами, хотя никто никаких наград им не выдавал.

Начальник штаба сипло кричал в трубку:

— Слушай, «Береза», тут у меня ребята-десантники, они просятся к нам, так ты зачисли пока что к себе. Именно те самые. Они сторонкой прошли... Девушки?.. Да какие же они санитары! С ними куда хочешь можно пойти... Ну вот, точно, лучше десять раз в атаку сбегать. Я и говорю, хорошие ребята.

Я взгляделся в лица этих четырех юношей и двух девушек, похудевшие, словно после тяжелой болезни. Их покрывали черные пятна ожогов от стужи, но каким удивительным светом лучились их глаза! Можно многое забыть на свете, но нельзя забыть эти глаза.

И я вспомнил, как они, отправляясь на задание, готовились к красивому и упоительному подвигу, и немало в этом, думалось, шло еще от книги, от живого воображения, почерпнутого из романтики первого поколения комсомола.

И, наверное, они совершили бы удивительные подвиги. Но то, что они сделали, было не менее, а может быть, и более героично. Теперь они знали, из какого простого железа куется негнущаяся воля советского человека.

И они снова были готовы к подвигу, зная, по какой трудной тропе им предстояло пройти.

Мне больше не пришлось встретить ни Александра Полунина, ни Виктора Одинцова, ни Сережи Грекова, ни Дмитрия Баранова. Майю Свешникову и Лизу Мигай я тоже больше не видел.

Но когда становится трудно и кажется, что уже нет сил и невозможно справиться с тем, что предстоит сделать, я вспоминаю этих, да и многих еще людей, которых приходилось встречать на войне, и сразу до боли в сердце становится стыдно за свою слабость, и, что бы там ни было, добиваешься, чего нужно добиться.

БОЙЦЫ

Из всех воинских званий самым священным было, есть и будет звание бойца Советской Армии.

Говоря «боец», мы мысленно произносим слово «народ». Вглядываясь в душевные черты нашего солдата, мы всегда найдем в них то, что так отличает советский народ от других народов.

То, что хочется здесь рассказать,— не воспоминания. Все это слишком живое и близкое.

...В декабре 1941 года я вместе с младшим политруком Зотовым отправился в одно из подразделений для вручения бойцам партийных документов. В те страшные для нашей родины дни было особенно много желающих вступить в ряды Коммунистической партии.

Обстановка не позволяла оформлять этот акт с подобающей торжественностью. Партийные билеты вручали на передовой, лежа в снегу, под огнем. Когда очередь дошла до командира отделения Александра Ефимовича Сережникова, произошло следующее: вместо того чтобы принять из рук Зотова партийный билет, Сережников расстегнул полушубок, вынул из кармана гимнастерки другой партийный билет, в потрепанном клеенчатом футляре, и, протягивая его, дрогнувшим голосом попросил:

— Если можно, оставьте мне этот... Можно так сделать, а?

Нам не удалось в это утро разъяснить Сережникову положение устава. Бойцы поднялись в атаку. Партийный билет в клеенчатом футляре со слипшимися, почерневшими листочками остался в руках Зотова.

Вечером мы разыскали Сережникова уже в санбате. Во время атаки у него разбило осколком висящую на поясе бутылку с горючей жидкостью. Но он не остановился,

чтобы броситься в снег и попытаться сбить пламя. Горящим живым факелом добежал он до немецкого окопа и там дрался до тех пор, пока не упал. Огонь на нем погасили наши бойцы, хотя думали, что он уже мертв.

В санбате Сережников спрятал под бинты на груди свой партийный билет и рассказал нам, почему он просил оставить ему тот, с черными, слипшимися листками.

...В октябре подразделению, в котором находился Сережников, было приказано оседлать проселочную дорогу, выходящую на Волоколамское шоссе. Основные силы врага прорвались далеко вперед. А здесь одна их часть уперлась в нашу оборону. Бой длился четвертые сутки. Два немецких танка были подбиты. Один сожгли бутылками, под другой бросился боец, держа в руках итальянскую мину в деревянном ящике.

Весь офицерский состав был выбит. Но каждый раз, когда погибал командир, находился боец, который брал на себя командование. И уже вторые сутки власть переходила от бойца к бойцу.

— Все мы знали обстановку, — говорил глухо Сережников, стараясь отодвинуть пальцами марлю, сползающую на опаленные губы. — И было легко уговорить себя, что дальнейшее сопротивление бессмысленно. Ведь когда хочешь жить, всегда легко найти слова, которые оправдали бы тебя. Особенно остро это желание проявлялось, когда погибал командир. Но каждый раз откуда-нибудь раздавался голос: «Ребята! Слушай мою команду!» И человек, который был до сих пор неприметен, вдруг вырастал перед нами и, словно отгадывая твои мелкие чувства, говорил: «Спасать жизнь разрешаю, только уничтожая врага. Кто жить хочет при Советской власти, тот будет драться. А кто желает просто так жить — тот изменник. Понятно? Так слушай мою команду!» И мы слушали такую команду и дрались до смерти.

Третьи сутки мы не спали, и, чтобы не заснуть совсем, командир наш, боец Чекулаев, поднимал нас ночью в контратаку. Во время такой контратаки смертельно ранили Чекулаева. Я бежал рядом с ним, когда он упал. Хотел крикнуть ребятам, но он приказал молчать, потом изогнулся весь, достал из гимнастерки партийный билет и прошептал совсем тихо: «Возьми, спрячь».

Я нагнулся к нему, говорю: «Давайте кого партийного позову, — может, я не имею права его брать, я ведь беспартийный». А он повел на меня глазами, качнул головой и вытянулся.

Держу я в руках его билет и не знаю, что делать. Решил к ребятам бежать, а там плохо, фашисты огнемет привезли: бегут наши ребята назад, горят; ничего не поймешь, что делается. И сам я ничего не делаю: в одной руке билет держу, а в другой — винтовку.

Потом сунул билет в левый карман, застегнул пуговицу, чтоб не потерять, взял в обе руки винтовку, и вдруг ко мне мысль такая: значит, вот они откуда, ребята такие, берутся, — партия их этому учит, она — их воля. Что же, думаю, будет, если у нас тут больше партийных не осталось! Бросился вперед, кричу во всю мочь: «Стой, слушай мою команду!»

Остановил трех бойцов. «Чего вы? — говорю. — Ложись! Вон огнемет в темноте светит, давай по нему беглым!» Другим бойцам такую же команду дал. Пробили мы бак у огнемета, на гадов пламя потекло. В общем, потеснили мы их даже немного. После этого признали меня все за командира, будто кто меня сверху назначил.

Ну, еще двое суток в обороне командовал, а потом гитлеровцы не выдержали, обошли наши позиции, и не стало их перед нами. Подождал я день. Потом решил к своим пробиваться. Обратился к бойцам, поздравил их с победой. Они, конечно, удивились сначала, но я разъяснил: «Это ничего не значит, что фашисты позади нас находятся, главное — мы их заставили с дороги свернуть, а это кое-что значит!»

Приказал я собрать раненых и в самодельные сани уложить, лошадей отпрячь от орудий и везти раненых, а орудия на лямках самим тянуть. Снаряды роздал по рукам, везти их было не на чем.

Две недели пробивались мы к своим. Все мы были в летнем обмундировании, и я велел людям для тепла под одежду сена напихать. Вид у нас, прямо скажу, был дикий...

Когда попали к своим, вызвал меня командир полка, похвалил за все, а потом спрашивает: «Вы, говорит, среднее образование имеете?» — «Нет, говорю, не пришлось». — «До армии кем были?» — «Токарем», — говорю. «Откуда же у вас столько сил взялось, что вы в трудную минуту на высоте оказались?»

Потрогал я у себя в кармане билет, вспомнил, как у меня то особое чувство возникло, и сказал: «Считал себя членом партии». — «Ну, тогда понятно», — сказал генерал, пожал мне руку и отпустил в новое подразделение. Наше

в отдыхе нуждалось. А я настоял, чтобы меня не задерживали, — неловко, думаю, в такие дни поправляться.

В общем, все хорошо получилось, только вот с билетом товарища Чекулаева я неловкость допустил, сознаю. Может, разрешите оберточку взять? Она мне реликвией останется. Пусть мне памятью будет, как я хоть самозванно, а его волю выполнил и коммунистом стал — еще до того, как вы мне билет вручили.

Зотов снял обертку с билета Чекулаева и протянул Сережникову. Сережников спрятал ее на груди, под бинтами, и сказал тихо:

— Вы извините, я отдохну, — постонать маленько надо, жжет у меня все очень. Когда стонешь, оно вроде как оттягивает.

И откинулся на подушку забинтованной головой, на которой только и оставались видными страдающие, но удивительно ясные и спокойные глаза...

Война показала великую способность советского бойца к героизму, способность переносить лишения, непреклонную веру его в свои силы. Но есть еще одно духовное качество, о котором нельзя не сказать. Это прозорливая чуткость к своему товарищу, умение согреть душу другого человека простым словом, сказанным именно тогда, когда человек нуждается в помощи.

Попав в Корсунь-Шевченковский «котел» и стараясь выбраться из него, фашисты внезапно нанесли удар в районе, где находилось подразделение майора Яковенко. Они пытались здесь прорвать наше окружение.

Бойцы Яковенко недавно пришли из пополнения, большинство из них ни разу не участвовало в боях. Немецкая артиллерия направила сюда весь свой огонь. Когда замолкала артиллерия, в воздухе появлялись «юнкеры». Казалось, вся земля вывернулась наизнанку. Оглушенные и потрясенные, люди теряли над собой власть.

Командир роты, пытаясь поднять дух бойцов, выбрался на открытое место и оттуда громко отдавал команду, стараясь показать, будто во всем, что происходит, нет ничего особенного. Это был храбрый человек, но он не учел одного. Бойцы решили: если в этом нет ничего особенного, значит, то, что произойдет потом, будет действительно ужасным. В подразделении находился боец Алексей Зенушкин, участник Сталинградской обороны, награжденный орденом Красной Звезды и двумя медалями. Он попал сюда после госпиталя и держал себя очень независимо, был неразговорчив, всем своим видом подчеркивал свое достоинство.

И вот этот самый Зенушкин, расталкивая бойцов, в оцепенении прижавшихся к осыпавшимся стенкам окопа, громко, так, чтобы все слышали, заявил:

— Ребята, слышь, ребята! Ведь это он почище, чем в Сталинграде, на нас лóжит! Уж на что я привычный, а здесь вся душа примерзла. Нам там куда легче было, а тут, гляди, что такое творится!

Кто-то, подняв голову, недоверчиво сказал:

— Не может быть. Там куда хуже было.

Но его перебили:

— Говорит же человек, он знает!

Начался спор. И в этом споре люди словно ожили. Мысль о том, что им достается хуже, чем сталинградцам, возвышала их души. Некоторые стали подсмеиваться над Зенушкиным. А тот оправдывается:

— Я, ребята, сам думал, что свыше того, что мы тогда там испытали, не может человек перенести, а тут вот такая картина!

Словом, когда немецкие танки пошли в атаку, их встретили дружным огнем. Один танк был подбит, остальные повернули обратно, а шедшая вслед за танками пехота была опрокинута в рукопашном бою и загнана обратно в мешок смыкавшегося окружения.

Позже я спросил Зенушкина: правда ли, что силу огня, которую обрушили на них здесь гитлеровцы, можно было равнять с тем, что было в Сталинграде? Зенушкин сощурился, посмотрел мне в глаза, подумал и тихо ответил:

— Нет, здесь пожире огонь был, да и сами немцы потрепаннее. Но и я ведь в Сталинграде, как эти ребята, ежился, пока не привык. А может, вы думаете, что я в их глазах славу сталинградцев повредил? Нет, она нам не для собственного пользования дана, — ею живой дух у людей подковыривать надо, а не собой гордиться. Я лично так думаю.

В последние часы боев за Берлин каждому, кто участвовал в этой битве, естественно, могла прийти в голову мысль, что погибнуть сейчас, в конце войны, — самое ужасное. Между тем боеспособность советских воинов, чем ближе было к концу, не снижалась, а, наоборот, возрастала.

Бойцы дрались в эти часы с особой самозабвенностью. Я видел, как из танка, зажженного фаустпатроном, выскочил танкист с окровавленными руками и бросился к кирпичной баррикаде, за которой сидел гитлеровец. Руки

танкиста были сильно поранены. Подскочив к гитлеровцу, он сбил его ударом ноги.

Я видел бойцов, которые, ворвавшись в каземат подземного завода, были отрезаны от входа внезапно опустившейся бетонной плитой и оказались лицом к лицу с семьюдесятью фашистами. Разбив электрическую лампу, освещавшую каземат, в полной темноте, шестнадцать наших бойцов вступили в рукопашный бой и вышли из него победителями.

Каждый боец рвался к зданию рейхстага, чтобы водрузить на его вершине знамя победы. И когда знамя взвилось над куполом рейхстага и Берлин погрузился в покорную тишину, каждому стало ясно, что вот в это мгновение война кончилась. Но я не видел опьяненных победой лиц, не слышал безудержного ликования. Бойцы с каким-то особым любопытством вглядывались друг в друга, озабоченно приводили себя в порядок. И каждое слово, прежде чем произнести его, тщательно выверяли и словно взвешивали.

И еще вот что... В эту же ночь наши танковые бригады покинули Берлин, чтобы идти на помощь осажденной Праге. Бойцы мотопехоты, усевшись на броне танков, прижимаясь друг к другу, прятали в поднятые воротники свои лица от бешеного потока пыльного ветра, дувшего им навстречу. И никто из них не смотрел на мелькавшие мимо здания. Никто не выразил сожаления, что не удалось как следует разглядеть город. Пожилой боец, оглядывая свои темные руки, негромко сказал:

— Теперь враг на все века нас запомнит. У меня к нему теперь того интереса нету. Города желал бы снова посетить, которые мы для народов освобождали. Мы ведь скольким народам счастье сделали. Так должны они совесть на все века иметь, и если мой внук придет, то и ему условия предоставить из уважения.

Другой боец сказал:

— Это ты зря на себя напирал. Мы в войне не только за себя беспокоимся, мы интересы населения всего земного шара обеспечивать должны для справедливой жизни.

— Это верно, — согласился первый боец.

Дорога шла через горы. Бронзовые стволы елей стояли ровными рядами, между ними мелькали домики с черепичными крышами.

На следующий день, разбив на рассвете вражеские части, наши танки вышли на улицы Праги. Тысячи людей забрасывали танки цветами. Танкисты смущенно прятал

лись в люках, а бойцы-десантники, сидящие на броне, добродушно отбиваясь от обнимающих их рук, вразумительно объясняли:

— Наше дело маленькое — сел да приехал. Хорошо, машин у нас много таких наклепали.

И толпа — настоящее человеческое море — кричала:

— Братья! Вы братья наши!

Такими запомнились они мне. И если можно себе представить лицо Победы, то оно именно такое: губы не сурово и надменно сомкнуты, а изогнуты живым движением слабой, еще не совсем привычной улыбки. И нет ничего человечнее и выше этого.

НОВОГОДНИЙ РАССКАЗ

На обрывистом берегу, над морем, стоит красивый каменный замок. И хотя он каменный, узорные стены и башни его с такой легкостью устремляются ввысь, что можно подумать, будто весь он сплетен из огромных кружев.

Стрельчатые окна наполняют здание светом. И когдаходишь в замок, кажется, что находишься в огромном фонаре.

А когда смотришь себе под ноги, то невольно думаешь, что стоишь на ковре. Но это не ковер, а чудесный паркет, сделанный наподобие мозаичной картины.

Дивные каменные плетения, украшающие стены, во многих местах разбиты, резной флюгер изрешечен пулями. С потолка свисает обрывок цепи, к которой некогда была подвешена красивая люстра. И люстру, и дверные медные ручки в виде львиных лап, и еще много драгоценных вещей немцы увезли из замка. Они собирались разобрать и паркет, но не успели.

Когда внезапно с моря в город ворвались советские десантники, враги не смогли воспользоваться своими машинами. Наши бойцы сбросили фашистов с крутого берега на скользкие и острые скалы.

Люди, жившие до немецкого нашествия в курортном городке, спустились с гор, где они прятались в пещерах. Они не узнали своего родного красивого города — так сильно его разрушили враги. Но не такие это были люди, чтобы горе сломило их. Счастье победы, одержанной над противником, придало им силы, и они стали восстанавливать город.

А самое лучшее из уцелевших зданий — этот старый замок — они решили отдать детям. И чтобы все знали, кому принадлежит замок, над входом его прибили вывеску, на которой было написано: «Дом пионеров».

Теперь вам понятно то торжественное волнение, с каким ребята готовились к встрече Нового года. Поистине, для них после всех бед и несчастий этот Новый год был самым счастливым.

И все старались помочь ребятам встретить праздник так, чтобы всю жизнь они помнили его. Ведь это был не просто новый год. Это был первый год, когда людям снова вернули то, без чего не может жить ни один настоящий человек, — родину!

Наш Крым весь как удивительный сад! Каждое дерево в нем в свое время было пронумеровано, за каждым деревом следил лесник и заботился, чтобы оно лучше росло. Немцы вырубили в Крыму много драгоценных деревьев. И теперь нелегко было выбрать дерево красивое и пышное и которое не жалко было бы срубить.

Председатель городского Совета долго искал такое дерево и наконец нашел его в Никитском ботаническом саду. Это была огромная ель, похожая на зеленую башню, со стволом, размоложенным снарядом почти у самого корня. Тяжело раненная ель все равно не смогла бы долго жить.

Целую неделю перед Новым годом бушевал буран. Верхнюю и нижнюю дороги в горах занесло снегом. И ель из ботанического сада нельзя было перевезти в Дом пионеров.

Ребята по утрам собирались в Доме пионеров и молча клеили игрушки для елки, хотя знали, что елки не будет. Им вовсе не хотелось делать эти игрушки, и клеили они их, чтобы не огорчать взрослых, которые уверяли, что елку обязательно привезут. Некоторые жители даже предлагали отправиться всем городом на очистку дороги, чтоб машина могла проехать в ботанический сад.

Рядом с Домом пионеров находился санаторий, в котором отдыхали после ранений бойцы и офицеры Советской Армии. Они решили сделать ребятам подарки на Новый год и для вручения подарков выделили двух делегатов: черноморского моряка Кузьмичева и старшину-пехотинца Андреева.

Утром 31 декабря Кузьмичев и Андреев, забрав подарки, отправились в Дом пионеров. Когда они пришли туда, директор рассказал, что елку привезти на праздник не удастся.

Выслушав директора, Андреев сказал:

— Вот какое горе у ребят! — И спросил Кузьмичева: — Может, кипарис какой срубим?

— Кипарис не елка, — сердито сказал Кузьмичев. — Но

что дорогу завалило, это только для сухопутных препятствие. Ее по морю доставить можно, на шлюпке.

— По морю нельзя, — возразил директор и подошел к окну.

В окно было видно штормовое море. Огромные серые валы толкались и бились друг о друга с такой силой, что стекла в окне дрожали.

— Меня не укачает, — заявил Кузьмичев, словно он видел в окне только картину, изображающую море. И, повернувшись к Андрееву, серьезно спросил: — Ну, а ты как?

— Без елки какой же может быть праздник! Скука одна. Дело ясное, поехали.

Немного погодя директор, который не отходил от окна, увидел на море шлюпку. В ней сидело двое. Шлюпка то взлетала вверх, словно море хотело ее выбросить, то проваливалась, как в яму.

...Через три часа Андреев и Кузьмичев добрались до Никитского сада. Выйдя на берег и покачиваясь от усталости, они разыскали в саду раненую ель, срубили ее и погрузили в шлюпку.

Обратно плыть было еще тяжелее. Зарубцевавшиеся раны нестерпимо разболелись. А тут еще шторм разыгрался сильнее. Волны хлестали ледяной водой, воющий ветер обжигал стужей. Вода обледеневала на елке, на одежде, на шлюпке...

Все тяжелее и медленнее двигались они против огромных темно-зеленых волн, выраставших одна за другой, как стеклянные горы. Ударом волны из рук Андреева вышибло ведро, которым он вычерпывал воду из шлюпки.

Тогда Кузьмичев молча снял с себя гимнастерку, завязал ее так, что получился мешок, окунул его и, встряхнув, подставил ледящему ветру. Ветер надул мешок и обледенел его. Несколько раз проделал так Кузьмичев, из его гимнастерки получилось нечто вроде ледяного ведра.

Этим ледяным мешком они стали вычерпывать воду.

Но как ни гребли Кузьмичев и Андреев, шлюпку все дальше выносило в открытое море. Это делал ветер: он дул в лохматые ветви ели, как в парус. Скоро Кузьмичев и Андреев изнемогли, руки у них были истерты веслами в кровь, а берег все удалялся, превращаясь в белую, еле заметную полоску.

— Что будем делать, Костя? — спросил Андреев.

Лицо его стало совсем черным от усталости и ожогов ветра.

— Придется на буксир елку взять, а то парусит, ходу не дает! — прокричал Кузьмичев.

Вой ветра гасил его голос.

Привязав бечевой ель к корме шлюпки, бойцы столкнули дерево в воду и снова стали грести.

Облегченная лодка медленно продвигалась против ветра.

Сумерки заволокли берег, а белый густой снег сделал невидимыми даже волны.

Часа через два Кузьмичев спросил:

— А мы правильно плывем, Андреев? Может быть, мы в другую сторону едем?

— Я по скуле курс держу, — ответил Андреев, с трудом сдерживая дрожь. — Мне ветер все время в правую скулу дует, понял?

— Понял, — сказал Кузьмичев и насмешливо добавил: — Тебе бы капитаном быть с твоими знаниями.

Скоро снег прекратился, и над головами гребцов обнажилось глубокое небо, усеянное яркими, сияющими звездами. Громадные волны с кипящими белыми вершинами насквозь просвечивались этими звездами, когда шлюпка погружалась в провалы. Уже берег был близко, и шум прибоя доходил сюда, как гул землетрясения.

Из последних сил оба бойца налегли на весла. Вода редела кругом, и огромные волны разбивались в пыль о каменистый берег.

Елка на буксире билась, как огромная рыба, то взлетая на вершину волны, то погружаясь в воду. Внезапно черная скользкая скала выросла перед шлюпкой. Глухой толчок, треск... Горькое, холодное удушье проникло в грудь Андреева. Показалось, что все кончено... Но вдруг рука Кузьмичева подхватила его за пояс. Гудящая волна ударила еще раз, но снова его потянула наверх та же сильная рука. Андреев открыл глаза. Он лежал на берегу, а рядом сидел Кузьмичев и неторопливо раздевался.словно человек, который пришел на пляж купаться в жаркую погоду.

— Ты что? — спросил Андреев.

Кузьмичев обернулся к нему и деловито ответил:

— За деревом сплываю, посиди, — и бросился головой в набежавшую волну.

Андреев поднялся и, шатаясь, пошел в воду вслед за Кузьмичевым. Плавал он неважно, но где это видано в армии, чтоб оставлять товарища в трудную минуту!

До двенадцати часов оставалось двадцать минут. В замке собрались ребята со всего города. Играла музыка,

горели разноцветные лампы. У ребят в руках были фунтики с конфетами и пряниками. Затейники и артисты выбивались из сил, чтобы всем было весело.

Никто из ребят не произносил слово «елка»! Они знали, что, вместо того чтобы расчищать дорогу к ботаническому саду, взрослые чинили электростанцию, и сейчас первый ее ток был дан Дому пионеров. Разве этого мало?

Только одна маленькая девочка сказала громко и плаксиво:

— А где же елка? Мне сказали, что будет елка, а ее нет,— и заплакала.

Все ребята зашикали на эту маленькую девочку, которая ничего не понимает.

Но вдруг дверь распахнулась, и огромная елка, вся в стекляшках, похожая на великолепную люстру, всплыла в зал. Она звенела своими стекляшками, как музыкальный ящик.

Ребята так растерялись от счастья, что даже не сразу бросились к ней, чтобы понюхать, дотронуться до ее живых и таких нарядных ветвей. В суматохе они не обратили внимания на двух странных людей в белой, хрустящей льдом одежде.

Придя в себя, ребята принялись прыгать и петь вокруг елки, которая походила и на зеленую башню, и на сияющую всеми огнями люстру, и на сказочную волшебницу.

А Кузьмичев и Андреев стояли возле камина, протягивали руки к его красному пламени и никак не могли согреться.

ПОДВИГ

В Милане, на кладбище Мисокко, между четырехгранными темно-зелеными колоннами подстриженных кипарисов и белыми мраморными изваяниями, находятся четыре могилы, огороженные общей оградой из гладко обтесанного красного камня.

И когда бы вы ни пришли сюда — в дождь, в ненастье, вы всегда увидите на этих могилах свежие букетики из алых гвоздик, поставленные в глазированные голубые кувшины, врытые в землю.

По воскресеньям сотни людей навещают этот уголок кладбища: рабочие, работницы, рыбаки, крестьяне и крестьянки, бесшумно ступающие в обуви на веревочных подошвах. В молчаливом благоговении они стоят возле четырех могил, пока кто-нибудь из присутствующих не поднимет загорелую, коричневую руку и не начнет говорить. И видно, очень жгучие слова произносят уста ораторов, потому что итальянские полицейские в черных мундирах и белых американских касках начинают потихоньку пятиться подальше от горящих глаз и гневно сжатых кулаков.

Спросите кого-нибудь из этих людей, кто здесь похоронен, — и вам скажут, спокойно глядя в лицо:

— Здесь похоронены наши братья.

...В январе 1943 года, когда у фашистов на фронте дела сложились плохо, гитлеровцы привезли в Милан группу русских военнопленных. Они водили их по улицам, закованных в кандалы, босых, в рубищах, сквозь которые были видны черные, незасохшие раны.

Гитлеровцы хотели, чтобы ужасный вид этих людей внушил итальянцам веру в скорую победу над Россией. Но получилось обратное.

Русские военнопленные шли по улицам с гордо поднятыми головами, строго держа строй. Устремив взгляд вперед, они пели песню, полную непонятных итальянцам, но грозных слов. А когда фашистский солдат, одетый в ме-

ховую куртку, ударил одного русского по лицу за то, что тот рассмеялся, указывая своим товарищам на статую Муссолини, сделанную из зеленоватого и скользкого, как мыло, камня, русский шагнул вперед и обеими руками, закованными в кандалы, отбросил солдата на панель с такой страшной силой, что цепи кандалов лопнули, а руки русского, рассеченные стальными браслетами, залились кровью.

Здесь, возле летнего кафе «Эспланада», произошло сражение скованных, израненных русских солдат с фашистской охраной и подоспевшей ей на помощь итальянской полицией. Русские дрались ногами, головами, били, словно молотами, скованными руками. Все видели, как один русский, прыгнув на спину охраннику, толкнул его на стеклянную витрину магазина, навалился всем телом — и острые осколки стекла, оставшиеся торчать в раме, вонзились в голову и шею фашиста.

Сколько дней потом прохожие испуганно обходили мраморные плиты, покрытые черными пятнами крови! А там, где русский солдат, прислонившись к стене, дрался последним, остались глубокие отпечатки босых ног. И кто-то уже тогда в эти отпечатки на льду положил по алому цветку гвоздики. Полиция на следующий же день на рассвете обнаружила на статуе Муссолини веревочную петлю, накинутую на его каменную шею. На конце петли болталась дощечка с надписью: «Это за русских».

Оставшихся в живых четырех русских солдат гитлеровцы заставили рыть траншеи в парке, где была расположена мощная противовоздушная батарея.

Это было в ночь на 14 февраля 1943 года, в холодную, темную миланскую ночь, памятную всем жителям города.

Батарея была хорошо замаскирована деревьями и макетами зданий, сделанными из соломы и скрывавшими под собой дальнобойные зенитки. В эту ночь англо-американская авиация совершила воздушный налет на город. Он был внезапен. Немцы не успели даже как следует сбросить маскировку со своих орудий. Но все же огнем дальнобойной батареи почти в первую минуту было сбито два американских бомбардировщика.

Но тут произошло вот что: русские солдаты, отбросив кирпичи, сняли с себя гимнастерки, облили их маслом, предназначенным для чистки орудий, зажгли и пылающие куски одежды швырнули на валявшиеся в куче соломенные маскировочные щиты. Вся батарея озарилась светом пожара. Она стала хорошим ориентиром для бомбардировщиков.

Русские снова взялись за кирки, но теперь они уже не копали землю, они разбивали прицельные приспособления у двух орудий...

Англичанам и американцам удалось сбросить бомбы и без дальнейших потерь вернуться на свои базы. На сей раз их удар был действительно нанесен по военному объекту, освещенному пылающей маскировкой, а не — как это часто бывало — по рабочим кварталам города, погруженного в темноту.

И как знать, не случись этого, может быть, древние памятники архитектуры — Сан-Лоренцо, Сан-Сатиро или храм Санта-Мариа делла Грации, где Леонардо да Винчи написал свою «Тайную вечерю», или театр Ла-Скала, выстроенный в XVIII веке архитектором Пьермарини, или знаменитый Миланский собор — были бы превращены в эту ночь в развалины.

Русские солдаты вызывали огонь на себя здесь, в чужой и далекой стране, как они делали это на своей родной земле, сражаясь за каждую ее пядь, одухотворенные великой любовью к родине и великой ненавистью к врагу.

Тела погибших русских солдат были унесены итальянскими рабочими и похоронены на кладбище Мисокко.

Когда фашистская полиция обнаружила, кто покоится в этих могилах, она не стала уничтожать их. Здесь полиция устраивала засады на тех, кто приносил алые гвоздики.

В день торжественного военного парада англо-американских оккупационных войск тысячи рабочих и крестьян с флагами вышли на улицу и стройными колоннами двинулись к центру города. Полиция, уверенная, что эта демонстрация происходит в честь англо-американских войск, с почтительной готовностью освобождала демонстрантам дорогу. Но демонстранты, не доходя до главной площади, где выстроились англо-американские войска, круто свернули в сторону и пошли к кладбищу Мисокко, где среди темно-зеленых колонн кипарисов и белых памятников находились простые и скромные могилы русских воинов...

Если кому-нибудь из вас придется побывать в Милане, вы должны пойти на кладбище Мисокко. Там, на участке № 16, вы найдете четыре могилы, в которых покоятся советские воины — Андрей Петров, Степан Гаврилов, Семен Черный, Василий Веселовский. И когда бы вы ни пришли сюда — в дождь, в ненастье, вы увидите на этих могилах глазированные глиняные кувшины с букетами алых гвоздик.

В ДОМЕ ОТДЫХА

Сквозь стеклянные стены летнего сада, приторно пахнувшего теплой землей и испарениями растений, был виден парк, высокие сосны с пернатыми ветвями.

Наступали сумерки. В их синеве особенно белыми казались нежные пушинки снега, медленно, осторожно колыхающиеся в воздухе.

Оранжерейная мягкая духота, глубокая тишина дома отдыхающих, вид медленно падающего снега — все это вызывало приятное, сонливое ощущение.

Я сидел в кресле и смотрел на стеклянные стены, за которыми бесшумно падал густой снег.

Где-то в глубине галереи журчал фонтан. Мерный звон струи также действовал усыпляюще, и сквозь баюкающее биение ее до меня доносился негромкий разговор двух людей. Это были, видимо, какие-то хозяйственники, потому что говорили о накладных, цементе, о работниках главка. Кого-то бранили, кого-то хвалили, — и здесь они не могли расстаться со своими служебными переживаниями. Но вот один из них, вздохнув, мечтательно произнес:

— А снег все идет. И смотри, как важно, неторопливо приземляется! Вроде моей Зинаиды. Все успевают уже парашюты разобрать, а она все, бывало, в небе висит, словно хризантема.

— Это только ты со своими девяноста килограммами со свистом и ветерком пролетал, — ехидно сказал собеседник.

— Во мне было семьдесят.

— Зато в сорок четвертом тебя ни один парашют не выдерживал.

— Это я после госпиталя поправился.

— А мне так до конца войны ни разу отдохнуть не привелось.

— Нашел чему завидовать!

— Бирюкова после госпиталя сразу на второй курс

строительного приняли. Он, пока лежал, успел все предметы за первый курс пройти. Вот и завидую.

— У него тяжелое ранение было.

— Понятно. С легким только и успеешь беллетристику почитать... Вот мне бы сейчас что-нибудь этакое, я бы сразу заочный полностью прошел.

— Ты подумай, какую чепуху городишь!

— А зачем мне здесь думать? Я отдыхаю. А на часы ты не смотри: здесь все по звонку живут, сами позовут к ужину.

— Беспокоюсь, Зина ушла в семь, да еще без ботишков. Места незнакомые, может, заблудилась.

— А ты бы ей компас на грудь повесил вместо брошки.

— Пожалуй, я пойду.

— Это тебе полезно для моциона.

— Хотя бы свитер надела.

— И штаны стеганые.

— Ну, знаешь...

— Да ведь носила же.

— Ты не хочешь со мной прогуляться?

— Зинаиду искать? Нет. Я уже раз для тебя ее нашел, с меня хватит.

— На реке лед замерз, как ты думаешь?

— До реки отсюда восемьдесят километров. И знаешь, иди-ка ты скорей. А в случае чего дай ракетами: один раз зеленой и два раза красными, или наоборот, забыл уж, как у нас там было.

— Так я пойду.

— Ступай, ступай.

— А доктор здесь есть?

— Знаешь, не отравляй ты мне покоя души. Иди.

Смолкли тяжелые поспешные шаги. Мой сосед закурил, вытянул ноги, шумно вздохнул и предался сонливому покою, чувству, которое так покоряюще действовало здесь на человека.

За стеклянной стеной по-прежнему роился косматый снег. С отягощенных снежными подушками веток деревьев изредка падали большие, махровые хлопья. А в глубине галереи мурлыкала струя фонтана, и в воздухе пахло хмельной теплотой земли.

Вскоре я увидел идущего по парку высокого, широкоплечего человека в расстегнутом кожаном желтом пальто. Он озабоченно разглядывал снежный покров и даже в одном месте присел на корточки, будто найдя что-то на земле. Потом решительно направился в чащу деревьев.

— Видали неврастеника? А?

Я обернулся. Передо мной стоял человек с сухим, острым лицом, покрытым прочным коричневым загаром. Засунув руки в карманы, покачиваясь на широко расставленных ногах, он смотрел прищуренными, насмешливыми глазами.

— А ведь какой железный товарищ был. Это с ним после войны стряслось. Ну разве можно так трепетать над своей супругой?

— Значит, любит сильно.

— Любит? Да он ее десятки раз на смерть посылал, глазом не моргнув. Я ему даже говорил: «Что это вы, товарищ начальник, на Зинаиду Петровну все наваливаете? Ну, раз уцелела, ну, два, а на третий можно хоть какую-нибудь передышку дать». А он: «Неопытного человека в тыл посылать — вот это действительно на верную смерть. У Смирновой после каждого выполненного задания увеличивается возможность остаться живой». Это он так жену по фамилии называл. Ну, что вы теперь скажете?

Я сам из-за этой его принципиальности чуть было к праотцам не отправился.

Мы с Зинаидой Петровной прыгали в районе немецкого аэродрома. Задание пустяковое. Засесть где-нибудь вблизи и пеленговать расположение. Ветришко, правда, был сильный; начало Зинаиду Петровну сносить в озеро. Ну, я решил подрулить к ней. А на мне рация — двадцать килограммов. Окунулся в озеро. Зинаиду Петровну спас, а рация отказала. Стали отсиживаться. Дней через пять начальник сам сбросился с новой рацией. Выполнил задание и решил тут же, на месте, меня расстрелять. Я говорю: «Как же ты меня здесь расстреляешь, когда фашисты кругом? Услышат выстрел — прибегут, все пропадете». А он: «Тогда тебя надо повесить».

Спустя некоторое время снова получаю задание — с Зинаидой Петровной в тыл.

Я ему: «Товарищ начальник, не могу я с женщинами работать!» А он: «Приказываю — и все!» А дело крайне сложное, по линии разведки. Получеловека одного мы должны были поймать и в штаб доставить.

Декабрь, стужа отчаянная, а мы специально легко одеты, чтобы подозрения не было, что со стороны в город прибыли. На Зинаиде Петровне шапочка, жакет и ботинки, ну и я в этом роде. А нам его из города нужно было километров пятьдесят вести, да еще по болоту. На нем шуба, ему ничего. Стал я с него шубу снимать, думаю — Зинаиде

Петровне накину. А он лег и говорит: «Лучше сразу, чем от мороза погибнуть!» Я бы его, конечно, поднял, я бы его заставил в любом виде идти. Только я к нему с револьвером, а Зинаида Петровна как на меня взглянет, глаза у нее неприятные стали такие, с зеленым отливом, презрительные. И говорит: «Не смей!» Я ей: «Кто здесь старший?» А она: «Если вам холодно, я вам свой жакет дам». Характерная женщина, ничего не скажешь. Так и шли вприпрыжку. Аж до костей прохватывало, а этот в шубе пыхтел от скорой ходьбы.

Потом я же от начальника замечание получил: «Почему во время задания подчиненные с вами в пререкания вступают? Какой же вы командир после этого?»

Да и сама Зинаида Петровна от него пострадала. Ей за ее работу шесть орденов причиталось бы, а он ее только к Красной Звезде представил. Да и то после того, как политотдел вмешался. Я бы на ее месте давно с ним развелся. Тяжелый человек.

— А где вы с ним снова встретились?

— В Сухуми. Я там санаторий строил. Ну, жизнь там, сами понимаете: красота, пальмы, обезьяны, море кругом. А он приехал и говорит: «Поедем ко мне». — «Куда?» — спрашиваю. «В Якутию». — «Холодно, говорю, у вас там, Дмитрий Алексеевич». — «А у вас здесь жарко», — отвечает. Прикинул. С ним, думаю, можно горы ворочать. Увлекаемый человек, всегда чего-нибудь особенного хочет. Соблазнился. Холодноовато там оказалось. Но размах — вроде как из роты в армию попал. Полная битва с природой.

— А Зинаида Петровна?

— Что Зинаида Петровна? Она всегда с ним. Изменилась, конечно, против прежнего. Волосы гладко посит, а сзади пучок. Учительствует. Вот рассказать бы ребятам, как их учительница в разведку за «языком» ходила! А школу он там выстроил — просто дворец. Весь материал, который был отпущен на строительство директорского особняка, он в школьное здание вогнал, а сам в избе до сих пор живет. На фронте я с ними мучился и вот теперь, в мирной жизни, страдаю. Отпуск у нас двухмесячный, мы бы в Сочи могли жить, на солнце как следует прогреться, а он сюда, в Подмоскowie, забрался. Через день в город ездит, — проект нового строительства затеял, ну, чуть не на самом берегу Ледовитого океана. Нашел место, нечего сказать, подходящее. Бросил бы я его давно, но не могу — душа не позволяет.

И вдруг лицо моего собеседника расплылось в широкой ласковой улыбке.

— Идут! — сказал он с радостным воодушевлением. — Вот видите, нашел-таки. Таежник. Он ее след и в пургу разыщет. А здесь — с закрытыми глазами.

Я посмотрел на стеклянную стену и увидел, как по парку шли, прижавшись друг к другу, женщина в светлой беличьей шубке и высокий мужчина в желтом кожаном пальто. Лиц их нельзя было разглядеть из-за густой снежной пелены.

И хотя по-прежнему, так же дурманя, пахла теплая земля, смешивая свой запах с приторным ароматом растений, и усыпляюще бормотала живая вода в фонтане, и мягкое сияние матовых фонарей наполняло галерею каким-то призрачным светлым туманом, — все стало каким-то другим, освещенным новым светом.

Было как-то особенно радостно думать, что рядом с тобой замечательные люди, что их не двое, не трое, а много. Ведь и многие, многие, кажущиеся обыденными, озабоченными, вдруг неожиданно освещаются сверкающей красотой своей необыкновенной жизни, своей души.

За стеклянной стеной снег уже не роился. Поднятый струями ветра, он косыми волнами неся в пространстве и клочьями белой пены ударялся в стекло.

Могущественные, устремленные в небо, гордые и статные пернатые сосны шевелили своими ветвями, роняя налипшие снежные сугробы, будто отряхиваясь перед боем, перед поединком с бурей. И наверно, они грозно гудели при этом своими вершинами.

В движущейся снежной мгле я продолжал различать мужчину и женщину, идущих рядом по снежной целине. Я не знаю, о чем они говорили, — может быть, они не говорили, а пели и смеялись, идя навстречу хрипящему ветру. Знаю только одно — что сердце мое, моего соседа и их сердца в эти мгновения были переполнены радостью и любовью и к этим деревьям, и к ветру, мчавшемуся изо всех сил куда-то, и к людям

КАМЕННЫЙ БРОД

Солнце осталось где-то там, по другую сторону горного хребта, когда мы спустились в обширную зеленую долину. После каменных круч, почти подвальной затхлости вечных сумерек ущелий можно было смело сказать, что мы действительно спустились на землю.

Каждая пядь этой земли, начиная с крутых подножий гор, была терпеливо обработана руками чешских крестьян.

Мы ехали по проселочной дороге, и навстречу нам тянулись телеги, тяжело нагруженные зерном.

Но вот с нами поравнялась большая телега на резиновых шинах, запряженная парой сытых коней, на головах которых были надеты яркие высокие соломенные шляпы.

В телеге сидел католический священник. Только многими годами длительной тренировки можно было выработать такое выражение каменного торжествующего равнодушия, какое заострено на его лице. Только путем длительного безделья обретают эту пухлость рук, которые своим цветом напоминали белых толстых жаб, какие водятся еще в подземных пещерах Чехословакии.

Рядом с телегой, держа в руках вожжи, шагал босой тощий крестьянин с седой непокрытой головой.

Мы остановились — дорога была слишком узкой. Испуганные кони стали биться в упряжи. Седой крестьянин, широко расставив руки, бросился к коням, схватил их сильными пальцами за ноздри.

Наш шофер, выйдя из машины, подошел к телеге:

— Почему не сворачиваете с дороги?

Священник даже не повернул к нему своего невозмутимого лица с совиными глазами.

Тогда шофер проговорил неожиданно задушевно и грустно, обращаясь к старику крестьянину:

— А ты все гнешь свой хребет, дядя, унижаешь свою старость перед этим кабаном?

Крестьянин, опустив голову, долго глядел на свои разбитые, почерневшие ноги, потом медленно, нехотя произнес:

— Мне осталось отработать только два года. — Повернувшись к священнику, подобострастно спросил: — Ведь два года, так я говорю, отец мой?

На недвижимом лице священника чуть заметно дрогнули лиловые веки.

— Какой он тебе отец? — гневно крикнул шофер. — Твой отец, а мой дед честный крестьянин. Не смей называть этим именем черного кабана!

— Он мой духовный пастырь!

— Но ведь он предал меня гестаповцам и засадил в тюрьму!

— Он сделал это для того, чтобы испытать твою веру в бога.

— Ты пропащий человек, — грустно вымолвил шофер. Крестьянин помолчал, потом сказал глухо:

— Пропусти нас с миром, племянник, убери с дороги машину.

— Не убери. Объезжайте сами, и поскорее, а то, клянусь, я столкну с дороги вашу телегу.

Священник поманил крестьянина пальцем и, наклонившись так, что лицо его набрякло и отвисло, как вымя, что-то зашептал ему на ухо.

— Святой отец просит передать его слова, — сказал крестьянин. — Если ты заставишь нас переезжать через канаву, то он в воскресной проповеди расскажет народу о твоём насилии. Ты служащий государства, значит, этим будет причинено поношение государству, которое держит таких, как ты, людей на службе.

Шофер сел в машину и захлопнул дверцу. Через мгновение мы мчались с такой скоростью, словно в машине был установлен реактивный двигатель.

Только ночью, уже на подъезде к Пильзену, шофер рассказал нам о том, как брат его отца Иозеф попал в рабство к католическому священнику. Когда священник узнал, что Владислав — так звали нашего шофера — освобожден из тюрьмы советскими войсками, он решил сыграть на этом. Он нашел Иозефа и, скрыв от него, что Владислав уже на воле, сказал ему: если он даст обет католической церкви, его племянник будет освобожден из тюрьмы. В качестве обета он предложил Иозефу взять на себя обязательство пять лет безвозмездно и безропотно работать в усадьбе священника.

Четыре раза Владислав приезжал к священнику и просил его освободить Иозефа, и каждый раз священник, подымая к лицу сложенные пухлые ладони, произносил с величайшей кротостью: «Сие только от бога. Только он один может освободить от данного ему обета».

— Но дядя, кажется, нашел бога на земле,— говорил нам Владислав, лукаво посмеиваясь.— Я знал, что мой старик уже третью неделю ходит к председателю сельскохозяйственного кооператива, к Фоме Малику, и наводит у него справки. Спрашивает: если он станет окаянным перед лицом церкви, смогут ли принять его после этого в кооператив? И я думаю, что наши ребята простят ему этот грех...

Спустя месяц мы снова встретились с дядей Владислава и вот уже при каких обстоятельствах...

Еще ночь была на исходе, когда крестьяне чешского села Каменный Брод, расположенного в тридцати километрах от границы американской зоны оккупации Германии, начали собираться на площади возле старинного круглого безводного бассейна, чтобы всем вместе пойти на поля и присутствовать на историческом акте. В это утро мощные гусеничные тракторы должны были впервые распахать объединенные земли и навечно уничтожить разделявшие их межи.

Счетовод сельскохозяйственного кооператива Вацлав Кубка, сидя на позеленевшей от древности каменной ограде бассейна, играл на скрипке старинную народную мелодию и пел сильным и сиплым голосом сочиненную им самим в честь сегодняшнего дня песню:

— Мы сегодня распахиваем межи, которые веками бороздили наши земли, как морщины бороздят чело измученного страданиями человека.

Мы сегодня складываем свои земли в единую чашу. Межи разделяли наши земли. Межи разделяли наши души. Гей, крестьяне! Объединяйтесь! Кто не с нами, тот против нас! Мы сегодня все надели праздничные, светлые одежды. Только попы, только кулаки сегодня в черном. Они хоронят сегодня свою злую власть над нами. Я сегодня играю, как на свадьбе, потому что стальные богатыри пришли к своей желанной невесте, и она родит нам счастье и богатства. Гей, крестьяне! Объединяйтесь! Кто не с нами, тот против нас!

Собравшись на площади, крестьяне слушали песню Кубки и одобрительно притопывали в такт ногами, обутыми в новые, праздничные ботинки.

Председатель кооператива Леон Живка шепотом отдавал последние приказания бригадирам, которые должны были возглавить торжественное шествие.

Пепельный сумрак еще стоял над землей, когда колонна крестьян села Каменный Брод, под музыку скрипок и аккордеонов, пошла по направлению к полю. Впереди торжественно шагал Леон Живка, за ним бригадиры со знаменами. Пионеры шли отдельной колонной, и впереди них шагал маленький горнист. Надувая щеки, он трубил изо всех сил.

Когда колонна проходила мимо часовни, в каменной нише которой стояло ярко раскрашенное распятие, все увидели, как с земли поднялся распростертый у этой часовни священник, отец Франц, и, не отряхивая пыли со своей черной одежды, встал как изваяние возле железной ее ограды. Свежепобритые брови священника, напудренное, шелушащееся лицо, новенькая сутана — все это свидетельствовало о том, что поп тщательно готовился к встрече с народом.

Но никто из крестьян не остановился возле священника, не подошел к нему за благословением; шествие миновало его.

Постояв некоторое время возле часовни, поп, отряхнув пыль, приставшую к его черной одежде, подтянул брюки, решительно зашагал вслед за колонной, выпятив грудь, размахивая руками, отбивая каблуками шаг, словно он шел замыкающим в солдатском строю.

Отец Франц долгое время находился на плохом счету у правящей верхушки католической церкви, особенно у тех отцов ее, которые были близки к Ватикану. В 1945 году он сильно скомпрометировал себя в их глазах. После разгрома советскими войсками гитлеровских армий в Чехословакии части американских войск вторглись в Пильзенскую область. Они вели себя на чехословацкой земле как грабители. Американские солдаты ворвались и в дом священника, изнасиловали работницу отца Франца. А она была ему больше чем работница. Отец Франц в ярости собрал прихожан и проклял американских солдат.

Деревенский аббат не знал о том, что еще задолго до освобождения Чехословакии Советской Армией представители высшей церковной иерархии, по поручению фашистского наместника в Чехословакии Франка, вели переговоры с командованием американских и английских войск об оккупации ими Праги. Он знал только прежние послания Ватикана, в которых папа Пий благословлял Гитлера

и предлагал католической церкви облегчить ему путь к всемирной власти. И он честно выполнял предписания церкви. В день, когда гитлеровские орды вторглись в Чехословакию, отец Франц обратился к прихожанам с проповедью, полученной им от самого архиепископа Берана.

— «Братья во Христе! — читал отец Франц послание епископа. — Воздадим благодарность армиям пришельцев за то, что они наносят нам эти раны. Ибо они помогают нашему народу, принимающему страдания, уподобиться Христу. И чем сильнее, чем глубже будут наши раны и страдания, тем выше должна исторгаться из наших сердец благодарность им, помогающим нам познать Христа через страдания и горе».

Через некоторое время к отцу Францу прибыл посланец иеромонаха Салезианского ордена Вацлава Мртвого. Он передал ему порицание церкви и сказал, что, если аббат не искупит свою вину за телесные повреждения, церковь предаст его суду.

Отец Франц выбросил из дома перину и спал теперь только на голых досках, стена и скрежеща зубами во сне.

Каждую неделю отец Франц получал гневные послания от каноника собора св. Вита в Праге Ярослава Кулача (бывшего осведомителя гестаповца Оберхаузена), в которых он упрекал священнослужителей, «впавших в бездействие и либерализм» и ограничивающих себя только служением богу, но не его церкви, «борющейся против красной чумы».

В 1949 году к отцу Францу прибыл из Праги аббат Янек и от имени заговорщицкой организации — «пасторского центра» — предложил ему предоставить убежище двум американцам, которые должны были в ближайшие дни перейти границу. Отец Франц отказался их принять. Он объяснил, что не может их видеть после того, что было совершено в его доме.

— Вы на краю пропасти... Я предупреждаю вас, — сказал ему на прощание аббат Янек. — Вы, наверное, знаете, что случилось с теми священнослужителями, которые перестали служить нашей церкви. Пули настигали их даже в алтаре.

Год тому назад к отцу Францу ночью пришел молодой человек. Аккуратно повесив свое пальто на вешалку, пригладив у зеркала волосы, он вынул из кармана письмо и вежливо сказал раздраженному бесцеремонностью гостя священнику:

— Это письмо вы послали моей матери, когда она лежала еще в больнице. Сожалею, что оно написано в неприличных стихах, но из него явствует, что я ваш сын... Я знаю, что вы не станете бросаться мне на шею, но я тоже не собираюсь этого делать. Кстати, мне от вас почти ничего не нужно.

Сын действительно ничего не требовал от священника. Он был скромным молодым человеком, чрезвычайно опрятным, сдержанным, вежливым. Жителям села он сообщил, что он племянник священника. Скоро он поступил работать в качестве инструктора в местную спортивную организацию. Через некоторое время перешел жить в дом вдовы Слениш.

Встречаясь с отцом, он вежливо приподнимал шляпу с петушиным пером за лентой и никогда первым не обращался к нему.

Священник, смирившись с мыслью о том, что у него есть сын и что он не только ничем не угрожает, а, наоборот, всем своим поведением подчеркивает свое равнодушие к нему, постепенно проникся уважением к юноше, которое потом перешло в мучительную потребность видеть его, оказывать все знаки позднего отеческого внимания и ласки.

Раскрытие в Чехословакии ряда антигосударственных заговоров, организованных представителями высших кругов католической церкви с помощью Ватикана, убедило отца Франца в том, что после Гитлера не стоит делать ставку на Трумэна, и он аккуратно отправлял свои пасторские обязанности и снова спал на перине, думая, что сон его не будут больше тревожить суровые посланцы правящей католической клики.

Первые лучи солнца озарили светом легкие облака, розовой пеной висящие на черном, чугуно-твердом гранитном хребте гор, когда крестьяне села Каменный Брод приблизились к своим полям, покрытым алюминиевой пылью тумана, пахнущего грибной сыростью.

И вдруг сквозь эту матово светящуюся дымку люди увидели страшное зрелище.

Посреди поля стояли три черных креста, врытых в землю. На самом большом кресте висел труп юноши, в котором все узнали племянника отца Франца. Он был удушен черным телеграфным проводом и привязан к перекладинам креста кусками этого провода...

Через неделю допрашивали отца Франца.

Он держал себя перед следователем с большим достоинством.

— Итак, вы приняли участие в казни своего племянника?

— Он не был моим племянником, — яростно сказал священник, — это был террорист, подосланный сюда, чтобы застрелить председателя кооператива Леона Живку.

— Совершенно верно. Но почему вы лично приняли участие в его убийстве и водружении креста с его телом на кооперативных полях?

— Я был косвенным виновником того, что этот выродок проник к нам сюда, и решил сам искупить вину свою перед народом. Что же касается крестов, то мне, как служителю церкви, эти символы не кажутся лишними.

— Вы говорите, что убитый не был вашим племянником, но, возможно, он был вашим другом, родственником, сыном?

— Нет, — сказал священник, — этот негодяй пытался обмануть меня, но мне удалось установить истину.

— Вы ошибаетесь, вам не удалось установить истины. Установили ее мы. Вот вам документы, из которых неопровержимо следует, что убитый вами был вашим сыном. Ознакомьтесь, пожалуйста.

В тот же день отец Франц, превратившийся после прочтения документов в трясущуюся развалину, осипшим голосом рассказал о том, как он получил это задание от слуг Ватикана.

Неделю тому назад он был приглашен на квартиру к прелату Гуначу. Здесь он застал доктора теологии Викланда, архидьякона Земона и человека в штатском, которого он не знал.

После того как собравшиеся поговорили о делах церкви, Гунач, обратившись к нему, сказал:

— Отец Франц, мы узнали о том, что вы дали приют юноше-террористу, назвавшемуся вашим сыном. Органы государственной безопасности собираются вас арестовать. Ваш арест уронит престиж католической церкви. Мы хотим знать о ваших намерениях.

— Откуда я мог знать, что мой сын попал в шайку террористов? — растерянно произнес отец Франц.

— Вы многого не знаете, отец Франц, — любезно улыбаясь, проговорил Земон. — Вы даже не знаете, что этот юноша не ваш сын.

— Но кто же он и откуда у него письмо? — с отчаянием спросил отец Франц.

— Право, не могу точно сказать, откуда этот юноша взялся; что же касается вашего письма, то оно хранилось в архивах церкви, не без понятных для вас оснований, конечно. Но вот почему оно попало в руки мальчишки, который, надо прямо сказать, оказался артистической натурой, если сумел вас так основательно провести? — И, откидываясь на спинку кресла, щуря свои близорукие глаза, Земон отрывисто и зло добавил: — Из определенных источников нам стало известно, что этот мальчишка надул не только вас, но и тех, кто оказал ему доверие. Он трусил, не выполнил задания и теперь, кажется, собирается отдаться в руки властям, так как ему показалось, что за ним установлено наблюдение.

— Но где же тогда мой настоящий сын? — спросил отец Франц, с трудом воспринимая все то, что ему здесь сказали.

— Не валяйте дурака. Не время и не место! — грубо прервал отца Франца человек в штатском. — Вам хотят помочь выпутаться из грязной истории, в которую вы влипли. Нужно ликвидировать этого сосуна. Вам в этом помогут. Между прочим, мы знаем, что есть такие парни, которые хотели бы устроить маленькую религиозную постановку в вашей деревне, где, кажется, собираются учинить колхоз. По времени это будет кстати. Если потом провалитесь, можете сказать, что хотели убрать террориста.

И, обратившись к священнослужителям, оскалив в улыбке зубы, человек в штатском сказал:

— Я думаю, что такой процесс будет даже на руку католической церкви. Ведь подумать только: священнослужитель борется со шпионами!.. Я думаю, что после этого в ваших пустующих храмах прибавится посетителей.

— Церковь благословляет тебя, аббат Франц, — вставая с кресла, торжественно произнес прелат Гунач. — Генеральный викарий нашей епархии шлет тебе особо свое напутственное благословение.

Так отец Франц, как слуга католической церкви, выполнил задание агентов Ватикана.

В знойный день мы ходили по полю сельскохозяйственного кооператива Каменный Брод, распаханному тракторами и похожему сейчас на огромное зеленое озеро, лежащее в гранитной ограде горных хребтов. Председатель

сельскохозяйственного кооператива Леон Живка озабоченно расспрашивал нас, сколько стоит сейчас в Советском Союзе комбайн, и, обращаясь к следовавшему за ним по пятам счетоводу Вацлаву Кубке, говорил ему:

— С этого урожая — еще нет. А с будущего купим обязательно. — И вдруг зычно крикнул куда-то в сторону: — Эй, Иозеф! Иди скорее сюда!

К нам подошел старик крестьянин, в котором мы не без труда узнали дядю нашего шофера Владислава. На нем была новая зеленая шляпа, серый костюм в желтую клетку; в руках он важно держал желтую папку, набитую какими-то бумагами.

— Ну, как дела? — спросил его Живка.

И пока старик крестьянин не торопясь начал набивать свою трубку табаком, Живка объяснил нам:

— Иозеф судится сейчас с католической церковью. Он потребовал через народный суд, чтобы церковь вернула все деньги, причитающиеся ему за пять лет безвозмездного труда на бывшего нашего аббата. Он считает, что церковь обманула его, взяв у него обет неоплатно работать пять лет за чудесное освобождение его племянника. Он считает, что за это он должен был дать обет Советской Армии, а вовсе не попам. Так я говорю, Иозеф?

Иозеф важно кивнул головой.

— Ну, а как суд? Чью сторону он принял?

Иозеф поднял глаза к небу и произнес с достоинством человека, знающего себе цену:

— Я всегда был верующим, и разве я мог сомневаться, что суд народа примет мою сторону! Суд присудил в мою пользу.

— Значит, ты теперь богатый? И в благодарность можешь поставить в храме самую толстую свечу, — улыбнулся Живка.

Иозеф промолчал. Потом сухо сказал:

— Да, я теперь богатый, я купил в Праге трактор и велел в воскресенье доставить его сюда, к нам. Этот обет я дал себе еще тогда, когда судья произносил свою речь и говорил о том, как много людей в Чехословакии еще обманывают попы, вытягивая у них деньги, на которые потом Ватикан содержит тех, кто хочет, чтобы наш народ снова жил очень плохо.

И, помедлив, Иозеф произнес глубокомысленно:

— Вы все знаете, что я был самым верующим человеком в нашем селе. Если я теперь говорю, что попы обманывают народ, можете в этом не сомневаться.

А потом Иозеф, как-то неловко дернув шеей, обратился к Живке и сказал заискивающе:

— Слушай, Живка, а нельзя ли в воскресенье объявить прихожанам, что́ я сделал с деньгами, которые мне вернули попы? Может, это их тоже направит на путь истины? Может, мне следует об этом поговорить с новым аббатом?

— Если ты веришь в то, что он тебя не обманет. Выходит, что твоя новая вера не совсем устойчива, а?.. Впрочем, делай как хочешь, мы верим тебе.

И Леон Живка стал нам с увлечением рассказывать о том, как он думает спланировать доход кооператива после нового урожая.

1952

ЛЕНОЧКА

— Я умру сейчас! — злобно сказала Леночка.

Прохожий в растерянности остановился.

Леночка сердито отвернулась и прошла мимо.

Ничего не было стыдно, только больно, до ужаса больно.

На ходу расстегнула пальто, засунула руку за корсаж юбки и прижала изо всех сил ладонь к горячему боку.

Это иногда помогало.

— Операцию лучше не откладывать! — предупреждал доктор.

Но Леночка гордо ответила:

— Сначала сдам все экзамены, перейду на второй курс и только после того смогу заняться личными делами.

Приступы повторялись, она научилась преодолевать боль, прибегая к различным уловкам.

Хорошо щипать руку, а еще лучше начать петь или говорить быстро, быстро...

Уже утром она почувствовала себя скверно. Не нужно было ей ходить за конспектами к Ире. А еще этот грубиян Костя при всех сказал:

— Ты зачем, Елена, со страдальческим ликом на зачет ходила? Профессора разжалобить?

— У тебя, кажется, только по физкультуре пять? — холодно спросила Леночка и, повернувшись в профиль к Косте, сказала Ире: — У некоторых товарищей физическое развитие происходит за счет умственного.

— А некоторые гражданки воображают, что все достоинства заключены в длинных ресницах.

Леночка хотела ответить как можно более едко. И вдруг почувствовала, как это началось снова. Она опустилась на стул и, спрятав под скатерть руку, стала щипать ее.

— Что, — торжествовал Костя, — нечем крыть?

Леночка приняла вызов. Она вскочила, подошла к зеркалу, как будто для того, чтобы поправить прическу, хотела

громко запеть. Пусть не воображает, что она расстроилась от его слов.

Холодная тошнота подступила к горлу. Поверхность зеркала стала мягкой, глубокой, как вода, и Леночка ощутила, как всю ее начала всасывать внутрь эта мягкая глубина.

Никто на свете не знал, каких усилий стоило ей вырваться из этой бесцветной пустоты.

Она стояла посреди комнаты, бледная, опираясь рукой о что-то противно-гладкое, и, с ненавистью глядя в испуганное лицо Кости, сказала:

— Ты не думай... Я тебя не люблю... Ты тупой, грубый, ты ничего не понимаешь. Вот ты кто!

В передней она пыталась снять с вешалки свое пальто. Костя, стоя в темноте, незнакомым голосом просил:

— Прости меня! Пожалуйста, Леночка!

— Уйди! И не смей идти за мной, а то я не знаю что сделаю!

Она сбегала с лестницы, выскочила на улицу, и ей стало совсем плохо. В глазах поплыли радужные пятна...

«Я падаю,— подумала она.— Ой, нет, не здесь. Дойду до угла и там лягу. Пускай делают что хотят. Ой, мамочка!»

-- Гражданка! Вы сумку бросили!

— Я не бросила, я уронила.

— Послушайте! Вам же плохо.

— Уйдите! — сказала она.— Уйдите! — И, согнувшись, пошла быстрее.

«Если это еще раз повторится... я не дойду. Я умру на улице».

— Ой! — громко вскрикнула Леночка и присела на корточки.

Машина, задев колесом кромку панели, остановилась.

Пахнуло жаром и нагретой резиной.

— Садитесь, товарищ!

— Что вы все ко мне пристааете? — жалобно спросила Леночка.— Не нужно, я сама!

— В родильный дом, что ли? — обернувшись, спросил, озорно улыбаясь, шофер.

И Леночка заплакала.

— Я умираю, а вы издеваетесь. У меня аппендицит!.. — Она сползла с сиденья на пол.— Не трогайте! Мне так... не так больно.

Машина покачивалась.

Боль от толчков плескалась по всему телу.

Леночка толкнула дверцу.

— Я не могу терпеть больше! — кричала она, вырываясь, и укусила чей-то палец. Потом снова опустилась на пол машины.

Рядом были чужие ноги в калошах, она подумала: «Может, они холодные?» — и прижалась к ним лицом.

Машина остановилась.

Леночка, притихнув, стопала.

— Я поторошлю, — сказал кто-то.

— Замки опустите: выскочит, — посоветовал шофер.

— Он ушел? — спросила Леночка.

— Вернется, — сказал шофер и, перегнувшись через сиденье, погладил ладонью плечо Леночки. — Вы молодец! Другая на вашем месте кричала бы на всю улицу.

— Не трогайте меня! А орать я все равно еще буду.

— Пожалуйста, — согласился шофер, — это я просто так сказал.

С двух сторон в окна машины заглядывали лица с одинаковым выражением тревожного соболезнования и любопытства.

— Зачем они смотрят? Как им не стыдно? Зачем?! — И Леночка зарыдала.

— Ну, уж это вы зря, — растерянно сказал шофер.

— Не ругайте меня. Ну, не пужно. Пожалуйста. Мне так больно!

— Девочка моя, у меня у самого руки дрожат. Я вам лицо вытру.

— Пожалуйста, — согласилась Леночка. — А то оно у меня все заревавшее.

Леночка подняла голову и, ожидая нежного прикосновения, почувствовала, как сладкая усталость охватывает все ее тело.

— Пожалуйста, — томно повторила она, закрывая глаза.

Ужасное, раздирающее снова обожгло все внутри.

Она резко поднялась, ударила головой о мягкий потолок машины. Стало темно и не больно...

Она с удивлением открыла глаза.

Лицо, наклонившееся над ней, расплывалось и таяло в воздухе.

Леночка хотела громко сказать: «Позвоните маме».

Но вместо этого она бессильно мяукнула:

— Ма-а.

— Хорошенькая, как котенок, — произнес незнакомый голос.

Леночка закрыла глаза. Ей стало неприятно видеть лицо какой-то женщины. «Откуда она взялась?» — подумала Леночка. И снова с усилием подняла веки.

— Здравствуйте! — сказал, улыбаясь, доктор.

Леночка хотела приподняться, но доктор не позволил ей этого сделать.

— Доктор! Умоляю! — поспешно сказала Леночка. — Усыпите меня, иначе я не выдержу, я умру!

— А вы еще не выспались? Ну, знаете!.. — И доктор развел руками.

Леночка сердито посмотрела на него.

— Если вы не дадите мне хлороформа, я выброшусь в окно. Так и знайте!

И заплакала. Слезы, приятно теплые, стекали за шею и щекотали кожу. Леночка удивлялась, что плакать может быть так приятно, и старалась плакать подольше.

— Милая! Да все уже кончено, — сказал доктор, — соберите ваши слезки в чашечку и покажите мужу.

— Какому мужу? — удивилась Леночка. — У меня нет мужа! Я холостая... — И, смутившись этого глупого слова, повернулась лицом к стенке.

— Доктор! — раздался веселый голос с соседней кровати. — Это же ее посторонний подобрал. А во время наркоза мы все глупости городим. Вот Сережа все спрашивал: «Мамочка, где мои штанишки?»

— Это он маленьким себя вообразил, — объяснил кто-то милым грудным голосом. — И вечно вы, Петухова, зря болтаете. Сережа — герой, и о нем нужно говорить только с уважением: у него обе ноги ранены.

— Тяжелый перелом берцовых костей, — сказала Петухова. — Вы не перебивайте! Скажешь «Сережа», так вы сейчас же как на пружине вскакиваете, а у вас от этого температура поднимается.

— А вы как «тук, тук» услышите, сейчас же сама не своя делаетесь и губы мажете.

— Ну и пусть, — согласилась Петухова. — Хорошо, у вас халат по фигуре, а я в своем как матрешка. Доктор! Скажите, чтоб мне синий дали, как у Егошиной, или разрешите с ней поменяться; он ей все равно не к лицу, и потом она лежащая.

— Здесь у нас не ателье мод, — сказал доктор.

— Ах, доктор! — воскликнула Петухова. — Я никогда не забуду, как за руки вас хватала, и все целовала их, и просила: «Доктор, миленький, мне же только девятнадцать, это же неправильно будет, если я умру».

— А я, — протяжно сказала женщина с милым грудным голосом, — все угрожала, если умру, то вас в тюрьму посадят.

— Как же, помню, — вздохнул доктор.

— А как карточку я вам свою всё показывала, — томно произнесла женщина с красивым, но исполосованным красными шрамами лицом. — Помните, кричала: «Доктор! Ведь я когда-то ничего себе была». А вы на карточку смотрите и грубо так говорите: «Перестаньте! Вы еще долго ничего себе будете».

Доктор крикнул и немного смутился.

Женщина взяла с тумбочки зеркало, глядя на себя, озабоченно спросила:

— Я думаю, от массажа краснота пройдет?

— Конечно, — сказал доктор, — со временем. А пока, ну, попудритесь, если это так уж необходимо. Кстати, Петухова, где это вы губную помаду берете, и вообще, зачем вы здесь мажетесь?

— Это не помадой. Это она химическим карандашом. Доктор удивленно посмотрел на Петухову.

Та покорно согласилась:

— Хочу быть красивой. Но вы не беспокойтесь, температура у меня не от этого.

— С постели встаете? — строго спросил доктор.

— Когда для себя надо, тогда встаю, — смущенно пролепетала Петухова.

— У нее «для себя» всегда совпадает со стуком костылей в коридоре, — заметила женщина с больным лицом.

— Постарайтесь, Петухова, чтоб больше таких рефлексов не было, а то я вас в другую палату переведу.

— Доктор, голубчик... — Петухова сложила покорно руки и с мольбой посмотрела на доктора.

Пришел профессор, он говорил с доктором по-латыни. Когда они остановились у постели женщины с красным лицом, доктор равнодушно смотрел себе на ноги, слушая профессора. Когда подошли к постели женщины с милым грудным голосом, доктор озабоченно закусил губу, а профессор снизил свой голос почти до шепота. Потом они ушли. А женщины стали снова разговаривать.

Леночка закрыла глаза и притворилась спящей.

«Какие пошлые женщины, — думала Леночка. — Как они смеют здесь говорить так! Если б они знали, что я пережила, как это страшно, как отвратительно страшно! А жить! Жить ведь очень красиво. А университет? Они, наверное, не знают, как это замечательно...»

Петухова рассказывала:

— Дышу я, знаете, изо всех сил, даже в ушах свистит, а действия никакого. «Доктор, говорю, чего мне на вату мало капают, велите налить побольше». Доктор подошел да как даст мне по голове. Я, конечно, в обморок и уж больше ничего не помню.

— Не сочиняйте, Петухова, доктор не мог вас ударить!

— Да ведь не кулаком! А вроде молотка такого, в вату обернутого, особым приемом. Я все помню!

— Глупости, Петухова! А вот когда я на столе была, так вижу, доктор нервничает и, представьте, разрез не там делает, где нужно. Я кричу: «Доктор! Не там! Не там! Доктор...»

— Вы под каким наркозом были? — ехидно спросила Петухова.

— Под общим.

— Ну, так вы ничего не могли видеть. Вот если под местным, тогда можно замечания доктору делать. Местный наркоз мужчины предпочитают, им интересно, как у них там внутри ковыряются. А женщина всегда догадается в обморок упасть, если в общем откажут.

— А Люля?

— Да ведь она лейтенант. Какое может быть сравнение!..

Ночью Леночка проснулась.

Лунный свет белым квадратом лежал на полу.

Протяжно гудел лифт. Хлопнула дверь. В коридоре слышались шаркающие шаги. Что-то тяжелое повезли в коляске на резиновых шинах. Кто-то поспешно побежал по коридору, и где-то далеко закричала кошка. «Кто ее там мучает?» — подумала Леночка. И вдруг поняла...

Воспоминание о боли внезапно прошло сквозь все тело настоящей болью. И она застонала — сначала слабо, потом сильнее. И уже не знала, правда ей так больно или нет. Она хотела столкнуть с тумбочки кружку, чтоб кто-нибудь проснулся.

— Болит, а? — услышала Леночка голос Петуховой.

— Ой! — простонала Леночка.

— А ты кнопку нажми, дежурная придет, капель даст.

— Не хочу я капель. Больно мне.

— Ты вот что! Протяни-ка руку. Достала до меня? Вот и хорошо!

Боясь, чтоб Петухова не заснула и не убрала руку, Леночка спросила:

— Вы чем больны?

— А ничем! Из-за погоды повредилась, — сказала Петухова сонным голосом. — Ехали на трехтонке, гололедица страшная, машину так и заносит. И вдруг хулиган мальчишка выскочил на шоссе в санках. И откуда он взялся? Я на тормоза легла. Машина юзом на него. Гляжу, такой компот, ну я круто рулю — и на мачту...

— А мальчик?

— Вгорячах выскочила, догнала, хочу уши ему трепать, а руки чужие, слабость какая-то. Ну, говорю: «Беги звони в Скорую помощь, а то все равно отшлепаю». Упала я, что ли, толпа собралась, волнуются. И вдруг этот самый мальчишка прямо через ноги людей пролез ко мне и говорит: «Тетенька, я уже позвонил. А вы милиционеру теперь скажите». Я ему: «Пошел вон, а то я тебе прямо уши оборву». А он плачет и говорит: «Пожалуйста, рвите». Такой упрямый, нахальный ребенок попался. И какие родители бывают странные! Да я бы с такого необыкновенно хорошего ребенка глаз не спускала.

Леночка поднесла свою руку ко рту и стала, задыхаясь, кусать ее.

— Что ты? — тревожно спросила Петухова.

Леночка сдавленным от спазмы в горле голосом синло произнесла:

— Простите меня! Я так о вас думала!

— Это вы про Сережу слышали? — спросила Петухова. — Он верхолаз, недавно расшибся. Очень интересный молодой человек. Только я не влюблена в него вовсе. — Судя по скрипу кровати, Петухова приподнялась на локоть и горячим шепотом объяснила: — Скучно здесь, вот я и делаю представление. Не все, знаете, женщины отсюда в полной сохранности выйдут. Тяжело им. А я вроде доказываю: любовь при любых обстоятельствах в полном порядке расцвести может. Женщине не увечье страшно — ей без любви остаться страшно. Любовь для женщины — это не только закон природы, а что-то большее. У Сережи одна нога до колена отнята, а другая волочится. Ну и я тоже не вполне. А я ему записочки да улыбочки. Всем и приятно.

— А Сережа вас любит?

— Сережа? И вовсе нет! — удивленно и даже несколько обиженно воскликнула Петухова. — Я же замужняя.

— Петухова, послушайте! Как ваше имя?

— Мотя.

— Мотя, я прямо расцеловала бы вас!

— Когда поправитесь, встанете, тогда и расцелуемся.

...Леночка проснулась от солнечного света, теплого и щеконого.

Женщины разговаривали шепотом и занимались своим туалетом.

Где-то в коридоре послышался мерный стук костылей по кафельному полу и одинокое шарканье ноги.

Петухова, сидя на койке, поспешно мазала себе губы огрызком карандаша. Женщина, которая вчера говорила таким милым голосом, озабоченно повязывала волосы лентой. А женщина с красными шрамами на лице держала перед собой зеркало; послунявив мизинец, провела им по бровям и произнесла протяжно в нос:

— Ой, Петухова! Отобью я у вас Сережу.

Стук костылей приближался.

Петухова, наклонившись в напряженной позе, держала в руке веревочку, конец которой был привязан к ручке двери, и тоже прислушивалась.

Когда стук костылей послышался совсем рядом, Петухова потянула веревочку к себе, и дверь открылась.

В коридоре стоял юноша с высоко поднятыми от костылей плечами.

Но Леночка не успела как следует рассмотреть Сережу. Санитарка резко захлопнула дверь:

— Смотри, Петухова, я дежурному врачу пожалуюсь! — И, обернувшись ко всем, сказала с укоризной: — И как ей не стыдно!

Санитарка обервала с двери веревочку и унесла с собой.

Женщина с изуродованным лицом, громко смеясь, сказала:

— Петухова! А он даже на вас не взглянул, он мне улыбнулся...

Ночью у Леночки опять начались боли. Петухова снова держала ее руку в своей и говорила шепотом:

— Ты стонать не стесняйся, я сама слабодушная. Вот Зыкова, Зоя Алексеевна, у которой лицо ранено, — вот это человек! Она своего профессора заслонила, когда у них там в лаборатории посуда с кислотой лопнула. У ней не только лицо, полтела ошпарено было. Ей каждая перевязка все равно что с живого кожу сдирать, а она только зубы стиснет и молчит. А вот та, которая лежащая, — голос у ней такой приятный, — на муку мученическую пошла для того, чтобы ребенка иметь. Ее под местным два часа резали, и тоже, говорят, даже не всхлипнула. Понимаешь, какие уважаемые женщины! Я здесь словно на фронте среди героев побывала, прямо душой выросла. Вот тебе и больница!

А вот в седьмой палате одна женщина, так та уж такая стойкая оказалась, дальше некуда...

Леночка слушала горячий, измученный непрост Петуховой и плакала, плакала не от боли, нет, боль уже почти исчезла, а от какого-то высокого, восторженного чувства, которое заполнило все ее существо. Словно какой-то новый мир открылся ее взору, мир, где живут только очень красивые люди, нежные и сильные, и говорят они словами, волнующими, как музыка, мир, где несчастье, постигшее одного, приносит страдание всем и радость, доставшаяся одному, разделяется всеми. Мир необыкновенных людей, каких она до сих пор еще никогда не встречала в своей жизни.

В палате горел синий ночник.

Глухие звуки города слабо доносились сюда, а Петухова все говорила и говорила, но Леночка уже не слышала ее слов. Она спала, прижавшись лицом к твердой маленькой руке Петуховой.

1954

НА ДАЛЬНОМ СЕВЕРЕ

Ледокол, на котором Семынин должен был отплыть обратно на материк, запаздывал.

Но вчера получили радиogramму: если разводья не сомкнутся, корабль придет в порт сегодня после полудня.

Уже неделю назад Семынин унаковал все свое имущество. Странное ощущение, словно какое-то неожиданное узнавание самого себя, сопровождало его во время этих сборов: ящик с аптечкой, две большие коробки с витаминными препаратами, восемь банок какао «Золотой ярлык», бутылъ с рыбьим жиром, огромный комбинезон на меху, примус с запасной горелкой, три пары белья, стеганного на шерстяной вате. Приемница московского «Бытового комбината», вручая ему заказ, сказала: «Будьте уверены, в таком белье даже на Северном полюсе вы будете чувствовать себя, как в Сочи на пляже».

Но почему-то он ни разу за два года не надел это белье и вообще не воспользовался многим из того, что с такой обдуманной запасливостью привез с собой сюда.

Вначале Семынину казалось, что жить здесь человеку невозможно. Коричневые обледеневшие туши гор, свирепая сивая рычащая вода океана, вечная стужа. Его подавляла длинная полярная ночь, ее нескончаемые сумерки, словно пенел с навечно погасшего солнца. А потом — короткое, как вспышка, лето, когда исчезла грань между днем и ночью и вся снежная пустыня почти фосфорически сияла, лучась и сверкая льдами. Небо нестерпимо блистало, словно вогнутое зеркальное днище исполинского прожектора, и все это неистощимое светоносное изобилие раздражало, истомляло, лишало сна.

Поселившись в «персональной хате-особняке», Семынин с первых же дней превратил ее в берлогу. На подоконнике стояли миски с недоеденной замерзшей пищей. На

полу возвышалась куча каменного угля. Возле кровати валялась грязная шкура белого медведя. Валенки Семынин сушил на печке и, чтобы не подгорали, ставил их на тарелки.

Но как-то рано утром, когда Семынин лежал еще в постели, к нему явился метеоролог, совмещавший свою должность с обязанностями медика. Долго с недоумением разглядывая термометр, он сокрушенно сказал:

— Голубчик, прибор показывает нормальную температуру.

— Я же говорил вам, я совершенно здоров, абсолютно здоров.

— Но ведь вещественное доказательство вашего общего недомогания налицо. — Метеоролог-медик с печальной усмешкой оглядел замусоренное помещение и, понизив голос, спросил: — А кишечник у вас, извините, действует?

С тех пор Семынин приучил себя, преодолевая отвращение, мыть холодной водой жирные миски, сколотил для угля ларь и купил у отъезжающего этажерку, на которую поставил книги, прежде валявшиеся на полу.

Невесть кем, но давно и прочно установленный обычай повелевал людям с нарочитым упорством и во всей неприкосновенности отстаивать тут бытовой обиход, привезенный с материка.

Когда инженерно-технический состав собирался на совещание в конторе строительства (тогда это был еще дощатый барак с насквозь промерзшими по углам стенами), считалось неприличным приходить в ватниках.

В семейных бараках на тумбочках стояли фикусы, а жирные кошки лакали из блюдец разведенный молочный порошок.

Официантка в белой наколке поверх мехового канора торжественно сообщала, обходя столы:

— Сегодня борщ из свежих консервов, на третье — мороженое.

И хотя в столовой можно было согреться, только если сесть недалеко от чугунной, прозрачно раскаленной печки, даже те, кому не удавалось занять это тепленькое местечко, все равно заказывали мороженое и ели его, причмокивая озябшими губами. И в этом было вызывавшее улыбку пренебрежение к суровому и жестокому Северу.

На третий же день после приезда, во время обхода своего участка, застигнутый ураганом в будке портового

крана, Семынин просидел в ней целые сутки, все время содрогаясь от мысли, что стальная шатающаяся башня крана вот-вот рухнет на камни.

Когда ураган стих и Семынин еле живой сполз с вышки, начальник строительства отечески похлопал его по спине и как ни в чем не бывало осведомился, проверил ли он расчеты фундаментов под портовые склады.

— Когда же я это мог проверить? — негодуя спросил Семынин.

— С вами все материалы были, чего же вы там в будке весь день делали? — удивился генерал.

Начальник строительства созвал сюда со всей страны своих армейских сослуживцев. Он привык разговаривать с людьми с бесцеремонной откровенностью. Узнав, что Семынин холост, он сказал сердито:

— Я вас предупреждаю, никакого блуда здесь не позволю! — Потом торжественно произнес: — Здесь люди волшебное дело творят, и жизнь у них должна быть красивая.

Семынина назначили старшим инженером на строительство портового причала. Он сидел в теплой конторке и, если нужно было отдать приказание, вызывал подчиненных к себе.

Однажды штормом сорвало с якорей плавучий копер и бросило на подводные скалы.

На следующий день Семынин в приказе объявил строгий выговор начальнику копра за то, что тот перед штормом не закрепил, согласно инструкции, судно дополнительными тросами за береговые причалы.

Семынина вызвал к себе начальник строительства, потряс бумажкой с приказом и стал кричать:

— А вы проверяли, были ли у них эти ваши дополнительные тросы или нет?

— Я констатирую причину аварии, — сказал Семынин, — и прошу вас на меня не кричать.

Начальник положил руку ему на плечо, долго испытующе смотрел в глаза, потом сказал грустно и недоверчиво:

— Ладно, я извиняюсь, но вот такой приказ — это хуже брани для человека. О чем вы думали, когда его подписывали? Ведь тросов я им не дал. Я не дал, потому что их нет. Понимаете, нет.

— В таком случае, — сухо сказал Семынин, — я отменю приказ. Но буду вынужден сообщить в министерство о том, что по вашей вине на моем объекте произошла авария.

— Министру должны? — спросил начальник.

— Да, министру!

— Правильно! Теперь я слышу голос человека, а не бюрократа.

Как-то начальник пригласил Семынина к себе в гости.

— Нечего вам дома по вечерам беллетристику читать. Приходите, водки выпьем.

Компания собралась смешанная. Кроме руководителей стройки, здесь были монтажники, бетонщики, арматурщики. Генерала они знали еще по фронту, а друг к другу полушутливо-полусерьезно обращались по-военному: «товарищ старшина», «товарищ старший сержант» и так далее.

Генерал подвел Семынина к своей жене и сказал громко:

— Вот тебе, Алина Петровна, москвич, театрал и прочее.

И, видимо смутившись неудачным словом «прочее», добавил неловко:

— Так сказать, весьма теоретически подкованный инженер.

Жена генерала была тоненькая, рядом с пожилым мужем она выглядела особенно молодо. Лицо скуластое, рот маленький, бледный, и только блестящие глаза со смелым взглядом скрашивали ее непривлекательность. Она немного заикалась и часто подносила руку к шее, словно помогала себе произнести трудно выговариваемые слова.

За столом Семынин сидел рядом с ней. Она молча слушала его и, рассеянно улыбаясь, все время пасторженно следила за генералом. Изредка она произносила с упреком:

— Алеша, у тебя нет одной почки.

— Первый раз слышу! — весело кричал генерал. — А зачем мне их много?

— Вы когда с Алешей служили? — обратилась Алина Петровна к Семынину.

— Давно, на финской. Под Суоми-Сальми одна и та же мина нас подранила, — ответил Семынин, про себя удивившись тому, каким далеким все это казалось ему сейчас.

— Алеша потом еще на Отечественной несколько раз был тяжело ранен. У него все тело в шрамах, — сказала Алина Петровна, застенчиво улыбаясь.

— Знаки минувших битв и сражений, как у Мазепы, — сорвалось у Семынина. И, только сказав это, он почувствовал всю неловкость сказанного.

На острых скулах Алины Петровны появились красные пятна. Глядя пристально в глаза Семынину, она медленно произнесла, все время потирая ладонью шею:

— Да, из-за меня он оставил семью. Я знаю, вы все, его фронтовые товарищи, не хотите простить ему этого, но они ни в чем не виноват. Слышите, ни в чем!

— Тихо! — вскричал генерал, стуча ладонью по столу. Потом он встал, одернул на себе пиджак, словно это был китель, и произнес торжественно: — Вот что, ребята. Выпьем за Алину. Я знаю, вы, черти, коситесь на нее. Но я вам скажу, как перед боем, начистоту. Она мне, как звезда, — поняли? — как звезда голубая, светит. И кто сейчас со мной не выпьет, тот мне не друг!..

Много позже, сидя за праздничным столом, эти люди с удовольствием, с упоением вспоминали о том, как обнаружили в поселке первые воробьи, когда состоялась первая свадьба, появился первый милиционер.

Но вот о том, как они пришли первыми в леденящую пустыню и вручную бурили застывшую в камень почву, как перебрались жить в землянки, сломав на топливо для обогрева механизмов деревянные стандартные дома, — об этом они говорили неохотно, употребляя выражения из бюрократического жаргона: «Вопросы материального обеспечения приходилось решать оперативно, в соответствии с обстановкой», или «На первом этапе выполнение плана часто находилось под угрозой».

О пуске первой шахты, а потом обогатительной фабрики, построенной по последнему слову техники, не могли припомнить ничего выдающегося. Но с наслаждением смеялись, вспоминая, как после пожара провиантского склада генерал отдал команду немедленно приступить к рытью котлована на месте пожарища, пользуясь тем, что земля оттаяла. А потом люди месяц ели медвежатину, которую доставила в поселок охотничья бригада во главе с самим генералом.

Семынин не знал, чем объяснить нарочитое нежелание этих людей говорить о том главном, что они здесь так героически создали. Скромностью? Но вот хотя бы генералу разве свойственно это качество?

Поднялся с бокалом главный инженер. Умный, образованный человек, один из строителей, известный на всем Севере.

Насупив брови, он произнес торжественно:

— Товарищи, я предлагаю выпить за мамонта, бранные останки которого мы потревожили при строительстве котлована под фундамент сбогатительной фабрики.

И всем очень понравился шутливый тост главного инженера.

Но когда Семынин, выпив и расчувствовавшись, вскочил и напряженным голосом воскликнул: «Я пью за наше строительство, за нашу победу!» — получилась какая-то неловкая пауза. И только генерал, протянув свою рюмку, растроганно сказал:

— Спасибо, друг! Но только насчет победы — полегче! Вот хотя бы вашему объекту, если по материковым нормам подходить, так только за один перерасход цемента нас за воротник да в госконтроль. — И со вздохом произнес: — Ну, ну, не обижайтесь!

На следующий день Семынин пришел на конференцию инженерно-технических работников с головной болью, весь разбитый. Начальник строительства делал доклад о бетонировании в условиях низких температур. Семынин был поражен познаниями и начитанностью этого человека, которого он по старой памяти считал способным только быть храбрым и начальствовать над людьми.

После доклада Семынин подошел к генералу и искренне поздравил его.

— Что, аргументированно получилось? — хвастливо спросил генерал и без всякой тени смущения заявил: — Это все Алина меня подтягивает. Самолюбия у нее на сто человек. Я, знаете ли, с ее помощью кандидатскую думаю защитить, а потом на докторскую навалюсь. Генерал — доктор наук, что, неплохо звучит?

Как-то Алина Петровна позвонила Семынину и спросила, нет ли у него английского словаря.

Семынин привез словари и учебники, думая здесь в свободное время как следует вспомнить полузабытый английский язык, но со дня приезда к книгам не притрагивался.

Алина Петровна пришла к нему за словарем, и, помимо желания Семынина, вышло как-то так, что он согласился заниматься с ней.

Она училась со старательностью школьницы. Но способностей к языкам у нее не было, и Семынин часто раздражался тем, что она не может усвоить самые простые грамматические правила.

Однажды ночью в избу Семынина пришел генерал. Он выглядел смятенным и растерянным. Усевшись в полустубке на скамью, он долго потирал руки, кричал, озираясь. Потом сказал:

— Вижу, у молодого человека огонек горит, думаю — не забрести ли на огонек?.. Вот и забрел.

Семынин лежал в постели, укрытый собачей дохой; он хотел встать, но генерал удержал его.

— Я ведь к вам, собственно, без дела. Обогреюсь и уйду.

Он потер ладонями лицо, повздыхал, шумно высморкался и вдруг хрипло и резко сказал:

— А ведь я к вам из-за самой подлой ревности явился. Пришел домой — нет Алины. Ну и озверел. Вот, думаю, открою дверь, а она у вас. Мне, знаете, ваши занятия — такое мучение души все эти дни. Стыдно, ох как стыдно! У вас выпить нечего?

— «Четвертый номер» там, в углу, но я думаю, оно промерзло, — пролепетал Семынин, подавленный мужественным признанием этого властного, самолюбивого человека.

Генерал встал, прошелся по избе, зачем-то открыл дверцу печи, заглянул в нее, с силой захлопнул, постоял в нерешительности, потом сказал:

— Вы Алине о моем посещении не говорите. Я ей сам расскажу. Я ей все рассказываю. — Взявшись за ручку двери, он остановился и сказал строгим, начальническим тоном: — Но чтоб занятия с ней не прекращать! Ясно? Это же она для меня английский язык изучает, чтобы мне с диссертацией помочь. Понятно?

И он ушел, низко нагнув голову под притолокой.

На следующий день Алина Петровна, как всегда, ровно в семь пришла на занятия, и как ни вглядывался в ее лицо Семынин, оно было точно таким, как всегда. Он решил, что генерал скрыл от жены свой ночной приход.

Участок Семынина был одним из трудных. Планы не выполнялись. Волны окатывали краны, копры, те покрывались ледяными чехлами, и лед приходилось сбивать ломami и кувалдами. Запасных частей не было, и их надо было изготавливать в механической мастерской кустарным способом. Семынина «прорабатывали» на всех производственных совещаниях. Начальник строительства еле здоровался с ним.

Трудно сказать, отчего в конце концов работа все-таки наладилась, — оттого ль, что генерал с утра до вечера не

уходил с причала, командуя, подбадривая людей, или оттого, что люди постепенно приспособились к тяжелым условиям работы. Но через три месяца участок начал работать по графику, а еще через месяц основные объекты вступили в строй.

Расхаживая по бетонному пирсу, генерал говорил Семынину, держа его под руку:

— Конечно, есть люди, которые не поверят, что здесь когда-нибудь смогут вырасти пальмы. Ну что ж, и пускай не верят! Тем более пальмы здесь ни к чему. Африка сама по себе, Арктика сама по себе. Везде есть свои недостатки. Там сейчас жара, пыль нестерпимая, а у нас хорошо, прохладно, чистенько. Скоро театрик с колоннами построим. Оперетку организуем. Красивая жизнь начнется. Городку имя какое-нибудь торжественное дадут. Ресторан будет, кафе — все, что хочешь для души. А я на пенсию пойду, буду помидоры по-мичурински разводить. К тому времени, может, моя Алинка постареет, и будет полное благополучие жизни.

На генерале был только один стеганый ватник, и, хотя мороз стоял градусов тридцать, потный чуб свисал из-под его ушанки, и весь он был пышущий жаром, здоровьем.

— А вам, — генерал, по своему обыкновению, положил руку на плечо Семынину, — нужно жениться, обязательно жениться. Вы вот к Алине присмотритесь внимательно, чтобы у вас, так сказать, образец был, ну идеал, одним словом. Поедете в Москву, там девушек много, так чтобы вам не запутаться!

И так хорошо прозвучали эти его слова, что Семынин не посмел улыбнуться, а искренне сказал:

— Вы очень счастливый человек, Алексей Иванович

— Ну, еще бы, — спокойно и самоуверенно согласился генерал.

На торжественное собрание, посвященное окончанию строительства порта, генерал пришел в парадном мундире. Он вышел к трибуне, огромный, плечистый, весь в металлическом блеске.

— Товарищи, — проговорил генерал осипшим от волнения голосом, — есть предложение ходатайствовать о присвоении нашему населенному пункту названия «порт Гвардейск». — И, помедлив, с застенчивой, просящей улыбкой сказал: — Как, не слишком это будет, так сказать, в смысле значения? Очень, конечно, ответственное название.

И когда люди поднялись и стали аплодировать, генерал с сияющим лицом кланялся, прижимая к груди широкие, толстые руки.

К открытию навигации генерал приказал соорудить деревянную арку у входа в порт и украсить ее сосновыми ветками.

Он приказал также посыпать песком тротуар на главной улице.

В первое же воскресенье он появился на этой улице, держа под руку Алину Петровну. Завидев еще издали Семынина, генерал зычно прокричал:

— А мы с Алиной Петровной погулять решили по проспекту, воздухом подышать! — Потом озабоченно заявил: — Летом здесь надо киоск поставить с минеральной водой, боржом от изжоги хорошо действует. — Насунив брови, сообщил с особой значительностью в голосе: — Радиogramму получил. Приказывают отвести здание для горисполкома. Понятно?.. Горисполком! Значит, городом признаны. — И генерал громко захохотал и даже притопнул ногой, обутой в тугий шевровый сапог, начищенный до черно-пламенного блеска.

На первом корабле, пришвартовавшемся к стенке нового порта, прибыла государственная комиссия, чтобы оформить акт приемки строительства и включить его в список действующих предприятий страны.

И вот снова, как и в прошлый раз, ночью в избу Семынина вошел генерал, молча пододвинул к себе ногой табуретку, тяжело опустился на нее, снял шапку, обил с сапог снег, снова надел шапку и произнес сиплым, очень спокойным, каким-то мертвым голосом:

— Так вот, подписала акт приемки госкомиссия.

— Поздравляю! — горячо, с воодушевлением заявил Семынин.

Генерал вяло пожал руку и сообщил со вздохом:

— Теперь этот Сахаров — начальник комбината — уже всем командует. — Сердито сощурившись, зло добавил: — Прибыл, как говорится, на готовенькое. — Но тут же смущенно пояснил: — Производственник он, конечно, знающий.

Генерал потушился, помолчал, потом поднял глаза с тяжелыми, набрякшими веками и глухо сказал:

— В сорок пятом то же пережить пришлось. Вышел к личному составу дивизии, чтобы проститься, хотел бодрую речугу сказать. Гляжу на людей, с которыми за войну все на свете прошел, стиснуло чего-то в горле, чувствую,

подлец, плачу... Ну, махнул рукой и полез в машину, даже новому командиру руку на прощанье не подал. Вот какая неожиданная психология получилась. И тут опять нечто подобное.

— Такая уж наша судьба, строителей.

— Ты мне не объясняй, — почему-то обиделся генерал. — Объяснять другому — это самое легкое. — Вытер шапкой вспотевшее лицо и проговорил жалобно: — Пришел с комиссией на силовую станцию, стали акт подписывать — ручку в пальцах удержать не могу, дрожат, проклятые. Мы ведь, помнишь, на всю полярную ночь поселок отключили, чтобы электрообогрев бетона обеспечить. Люди в круглосуточной темноте жили, и никто не скулил, не жаловался, а тут еще один из комиссии спрашивает, почему рамы на складских помещениях не остеклены, а досками забиты. Не выдержал, накричал я на него. Стекла-то мы под парники пустили, чтобы зелень выращивать. Это когда цингу обнаружили. — Помедлил и произнес мечтательно: — Хорошие у нас люди, настоящие, все беды с честью выдержали.

Генерал прошелся по комнате, повздыхал, остановил взгляд на Семышине и вдруг заявил сердито:

— Думаешь, мало я за тебя душой переболел? Первое время даже противно — во сне снился. Прислали, мол, на мою голову цурика. А теперь, когда из тебя крепкий строитель получился, — будьте здоровы, привет и так далее. И не тебя одного мне из души выдирать.

Генерал подошел к окну и, ковыряя ногтем намерзший на стеклах лед, произнес с недоумением и горечью:

— Может, это и пережиток или еще какая глупость от первов, а вот ночи теперь не сплю, тоскую, как вот тогда, когда дивизию свою сдал.

Генерал смолк и только мямля свое лицо с ожесточением. Семынин с жалостью смотрел на согбенную спину генерала и невольно вспоминал, как совсем недавно, во время внезапно налетевшего урагана, прекратилась подача электроэнергии и на кране повис, широко раскачиваясь, дизель. Его грозило расшибить о бетонную стенку причала. И вдруг на пристани появился генерал. Он тяжело бежал по причалу, на ходу сбрасывая полушубок. Добежав до крана, генерал поднялся на него и пополз по косо наклонившейся стреле, держа в руке стальной тонкий трос. После того как этим тросом оттянули дизель от стенки причала, генерал сказал списходительно Семышину: «Какой же вы руководитель?

Люди оплошали, а вы к телефону, начальству докладывать. Струсили, голубчик?!»

...Семынин оделся и вышел на улицу проводить генерала.

Над океаном трепетало северное сияние, и отсветы его словно на ощупь бродили по обледеневшим склонам горного хребта. Соперничая с торжественным, могучим излучением полярного неба, в черных клетках арматуры, там, где строились цехи завода, вспыхивало пронзительное голубое пламя электросварки, шипучее и живое. А со стороны порта доносились звонкие и упорные удары дизельных копров, втаптывающих в дно океана стальные шпунты.

Семынин сказал генералу:

— Смотрите, какая красота!

Генерал поднял голову, долго и внимательно глядел в небо, потом произнес со вздохом: «Иллюминация», и, не сказав больше ничего, ушел, тяжело передвигая ноги.

Спустя несколько дней Семынин встретил генерала в портовом складе. Генерал кричал на своего старого фронтowego товарища, заведующего складом:

— Если еще раз увижу хотя бы одну гайку без технической смазки — к чертовой матери выгоню! — Обернувшись к Семынину, он злобно и отрывисто приказал: — А вас, товарищ инженер, я попрошу явиться ко мне и доложить, почему на складе нет должного порядка.

Семынин пришел к генералу и положил на стол докладную записку. Генерал глухо спросил:

— Обиделись? На меня теперь все обижаются...

Вскоре генерал уехал из порта Гвардейска, получив назначение на новую стройку.

А потом и Семынин стал готовиться к отъезду.

Последние дни Семынин сидел у себя дома. На душе было грустно. Он часто вспоминал своего начальника. И хотя генерал не казался ему образцовым человеком и не о таких генералах он читал в книгах, было в нем все-таки что-то хорошее, что-то нужное людям.

В десять часов за Семыниным зашел монтажник Вавилов. Дул теплый ветер. Серые облака катились по склонам гор. Туман осыпался мелким дождем. А в зеленой промоине неба встала прозрачная арка радуги. Одним концом эта арка опиралась о коричневый горный хребет, другим погружалась в воды океана. Согретый солнцем, мох расцвел белыми крохотными цветами, и они источали нежный аромат полярной весны.

Басисто ухали взрывы в горах. Черные столбы поднимались в небо и, помедлив, рассыпались.

Далеко в океане показался дым корабля.

По мачте горисполкома побежал темный комочек и, достигнув вершины, развернулся в красное полотнище флага. Вавилов остановился, вытер пот со лба и сказал задумчиво:

— Океан, силища! Вон какую скалу в щепу разбил! А мы этому океану — извините подвиньтесь! Смотрите, гряду какую насыпали. Спихнули океан в сторону — и ничего, терпит. Сила на силу, вот как. Против человека ничто устоять не может. — Потом он помедлил и произнес грустно: — Скучно без генерала теперь нам, армейским. Войну он с майора начал, с открытым сердцем всегда жил.

...Дорога спускалась вниз.

На дне расселины лежал чистый снег. Полосатые тени скользили по снежной поверхности, и казалось, что на дне ущелья лежит белое озеро и по нему бегут беснумные волны.

Пересекая ущелье, прошли по хрустящей поверхности этого сухого озера, залитого почти фосфорическим снежным сиянием. Солнце стало пригревать сильнее. Кругом шумели ручьи. Ноги погружались в мокрый, рыхлый, пенистый снег.

По чистой воде океана шел ледокол. Блестело небо. Над трубой ледокола возникла белая клубящаяся струя, и спустя несколько секунд из-за гор раздался торжествующий рев. Можно было подумать, что это не ледокол, а горы кричали, — таким сильным и могущественным был этот голос.

И вдруг подул сырой ветер. Небо померкло. Стало темно, сумрачно. В воздухе замелькали косматые белые снежинки.

Семенин долго стоял на палубе ледокола и смотрел на огни города. Когда он приехал сюда, города не было, а теперь он есть. И в нем живут и трудятся очень разные люди, и ни один из них не похож на другого. Но все они вместе построили своими руками этот город, завод, шахты, порт. Построили там, где никогда прежде не ступала нога человека. Герои они? Да, герои. Но когда Семенин думал о себе, — ведь он тоже строил этот город! — он чувствовал, что слово «герой» никак не подходит к нему. Сколько раз он проклинал себя за то, что напросился ехать на Север, завидовал всем живущим на материке, отсиживался в теплой будке

конторы, превратил свой дом в свинарник, ходил небритый по неделям, презирал слабости у других и не хотел замечать их у себя. И все-таки порт был построен, и он, Семьинин, строил вместе со всеми. И сейчас ему было жаль уезжать отсюда, где он стал лучше, чем был, так и не успев заметить, когда и как это произошло.

Стала дымить пурга, и скоро она застлала пеленой огни города. А Семьинин все стоял на палубе и смотрел на город, испытывая щемящую тоску расставания. И так же, как Семьинин, на корабле стояли сотни людей и смотрели на город, который они построили, в котором они жили и где оставили часть своей души.

ТОВАРИЩ ЕЛКИН

Елкин заботился о своем организме. Делая заказ официантке, он внушал:

— Без первого, два вторых. Понятно? От жидкой пищи полнеют. Обратите внимание. — Отодвинувшись от стола, хлопал по животу ладонью, жаловался: — Глядите, уродство какое! А был как хворостинка. — Отпустив официантку, сообщал доверительно: — Главная моя любовь — шашлык. Но разве в трассовой столовке его стряпают? В Москве исторический ресторан имеется — «Арагви». Вот там удовлетворяют человека!

— Охота тебе столько слов о жратве?

— Я же для аппетита, для соков, пусть выделяются.

И о внешности своей Елкин тоже заботился. Даже в рабочее время носил кубанку из серого каракуля. Пробрировал на верхней губе узенькие, стильные усики. Входя в помещение, тотчас вынимал из кармана круглое зеркало, гребенку и начинал налаживать пробор в поредевших волосах. Плешивость свою объяснял охотно:

— Это у меня не от аморального поведения, а от газов волосы повылазили.

— От каких еще газов?

— А вот ведешь пальбу из танка, угоришь, башку ломит. Я даже первое время в санчасть ходил, пирамидон выпрашивал. — Задумывался. — Весьма возможно, и от порошков волос повредился.

Зарабатывал Елкин много. Он с равным мастерством работал на тракторе, трубоукладчике, бульдозере, даже на новом трубогибочном агрегате. Сберегательную книжку, бережно обернутую в целлофан, носил всегда при себе и, охотно показывая, сообщал с достоинством:

— Прошлый месяц вместе с премией три тысячи отхватил! Профессорская ставка, а?

— А ты хапуга!

— Не с того края критикуешь, — спокойно возражал Елкин. — Получка — самый правильный показатель, кто как работает. С моим здоровьем и квалификацией можно и больше заработать, но я режим соблюдаю, надрываться мне врачи не велели.

— Ты что, хворал чем-нибудь?

— Нет, болезней у меня во всю жизнь никогда не было.

— Значит, на фронте ранен?

— Я человек везучий, в бою ни разу ничем не задело.

— Что ж ты тогда докторов беспокоишь?

— После лагеря у меня иногда бзик бывает, велели периодически наведываться.

— Срок отбыл или реабилитированный?

— Да я не у своих, а у немцев содержался.

— Выходит, в плен взяли?

— Не взяли, а сам к ним дошел.

— Да ты что, дезертир, сволочь?

— Если ты такой первный, так мне с тобой разговаривать неохота. Я сам нервный, только от людей скрываю.

— Нет, ты договори до конца, раз начал.

— Пропало у меня удовольствие с тобой разговаривать! — сурово произносил Елкин и предупреждал: — Больше ты ко мне с разговорами не подходи! Обижу.

Но если бы собеседник проявил выдержку и проинициальность, то он узнал бы кое-что любопытное об этом на первый взгляд не очень-то симпатичном человеке.

Вообще плохое распознать в человеке легче, чем хорошее. Для этого ни особого ума, ни таланта не требуется. Тем более что в характере русского человека щепетильная застенчивость часто мешает ему высказывать прямо то, что свидетельствовало бы о нем с лучшей стороны.

Говорят о себе такие люди обычно несколько иронически, словно боясь, чтобы не подумали о них лучше, чем они есть. И, словно боясь тонкости, нежности, доброты своей натуры, они защитно пользуются грубостью, сохраняя в ней, как в корявой жесткой скорлупе, мягкую сердцевину своего характера.

Вот, скажем, тот же Елкин пришел к заведующему орсом просить, чтобы тот принял на работу одну женщину. Но как он рекомендовал ее? Усевшись перед канцелярским столом на табуретку, положив ногу на ногу, отставив левую руку с круглым зеркальцем и правой с расческой раскладывая поперек лысины чахлые волосы, заговорил доверительно:

— Я, товарищ Хлебников, феминку нашел для пере-

движной лавки, прямо закачасться! На что я мужчина хладнокровный, и то все поджилки затряслись. В журналах портрет трофейной «Мадонны» помните? Так эта гражданка получше.

Хлебников, тощий, плоский, со светлыми, рыбьими глазами, спросил деревянным голосом:

— В торговой сети прежде работала?

— Да у ней же улыбка, Петр Игнатьевич! Под такую улыбку самый ваш завалящий ассортимент раскупят!

— Пускай сначала пройдет отдел кадров!

— Да вы на нее взгляните, поговорите, составьте объективное мнение! Я же говорю, дама потрясающая!

— Не могу брать торгового работника, основываясь на личном впечатлении.

— Так я сопровожу ее в отдел кадров, — засуетился Елкин, — поскольку вы, значит, сами не возражаете.

Хлебников предупреждающе поднял костистый бледный палец и сказал строго:

— Я не возражаю только против того, чтобы любой гражданин проходил через отдел кадров! Но это еще ничего не означает... — и помахал пальцем, а потом произнес укоризненно:

— Я вас, товарищ Елкин, как механика уважаю, и ваша рекомендация для меня много значит. Но вы, извините, сейчас, как кобель, рассуждали. Даже, я бы сказал, не совсем прилично.

Конечно, Елкину было стыдно получить от Хлебникова такую отповедь. Елизавета Григорьевна Сорокина, которую он рекомендовал в заведующие передвижной лавкой, была совсем не посторонней женщиной, а вот все-таки наговорил о ней столько пошлых слов, что от болезненного стыда у него снова долго ломило затылок, как это случалось, когда угорал в танке после боя.

Женская красота успешно и щедро описана в творениях многих прославленных литераторов. Мы же во избежание излишеств и расточительности изобразительных средств сообщим о Елизавете Григорьевне самые краткие сведения: рост средний, возраст тоже, образование тоже.

Сказать конкретно, из каких показателей складывается идеал женской красоты, означало бы допустить вкусовщину, субъективизм, впасть в ошибку.

А в сочинениях могут совершать ошибки только герои, но отнюдь не автор.

В природе любого человека таится художник. Чувство прекрасного присуще каждому.

Хорошая работа вызывает наслаждение, восторг, скверная — отвращение, ярость. В конце концов подлинный мастер любой профессии — изысканный художник своего дела.

Елкин — отличный механик-водитель. Его работой любовались многие рабочие на трассе. Значит, у Елкина чувство прекрасного развито сильно, и он мог острее других чувствовать красоту Елизаветы Григорьевны.

Но впервые Елкин увидел Елизавету Григорьевну мельком на улице еще до войны, когда не был отличным механиком-водителем. Она прошла мимо Елкина под руку с Алексеем Сорокиным.

Девушка лет двадцати, невысокая, гладко причесанная, с несколько великоватыми для ее худенького лица глазами, нормального телосложения, хотя узковатая в талии. Платье — серый креп-жоржет. Обувь — босоножки, размер тридцать пятый — тридцать шестой. В руке сумочка из черной клеенки, издали можно принять за лаковую. Губы некрашенные, бледные от слишком ярких глаз.

Но Елкин ничего этого не заметил. Он оказался вдруг во власти странного ощущения мгновенной грустной утраты чего-то такого чудесного, что было больше и, может быть, лучше, чем только что промелькнувшая мимо девушка, хотя и вызвано ею и ей только присуще.

Сорокин познакомил Елкина с Лизой. В присутствии Лизы Елкина всегда охватывало застенчивое оцепенение. Он стеснялся смотреть на нее. Курил, глотая дым, разговаривал шепотом, отрывисто, угрюмо потупившись, еле двигая сухими губами.

— Какой у тебя приятель неразвитый! — жаловалась Лиза.

— Это он обалдел: ножами занимается, в машиностроительный поступить хочет. А так был веселый. — И, рассмеявшись, Сорокин добавил: — Купил, чудак, новые ботинки, и все на них смотрит, не налюбуется.

Вскоре Лиза вышла замуж за Сорокина. И Елкин с неожиданным облегчением избавился от этого наваждения.

Елкин был волевой и честный парень. Некоторые девушки знали его как веселого, наступательного и инициативного, но он даже думать о жене товарища считал подлостью. Теперь он смотрел на Лизу с таким искренним равнодушием, что вызывал ее неприязнь.

Ведь любая красивая женщина обижается, если вы хотя бы чем-нибудь, хотя бы ради объективности, не выразите

восхищения столь ценным даром, каким ее наделила природа.

После автобронетанкового училища Елкин и Сорокин попали на фронт в одну часть.

В боях Елкин никогда не утрачивал тщательно обдуманной осмотрительности. Но не из боязни смерти. Он берег танк.

Брезгливо очищая после боя траки гусениц от налипших кусков, Елкин говорил озабоченно:

— Машина — силища! Тысяч сто цена! А расколотить ее фашист болванкой в два счета может. Кто виноват? Водитель.

— Это на гражданке. А на фронте такое забудь.

— Зачем забывать! Война — дело временное.— Спрашивал сурово: — Чем воюем? Моторами. У кого первого забарахлит, тот и накрылся. По-настоящему тот фашисту могилау рост, у кого техника в лучшем состоянии.

С фанатическим усердием он содержал танковый дизель в чистоте, присущей часовому механизму.

Про Елкина даже шутили: «У него от смерти талисман — гаечный ключ и пучок ветоши».

Елкин всегда уклонялся, если его звали смотреть пленных.

— А зачем мне? — произносил он безразличным тоном.— Нет в этом надобности. Вот развернемся в Берлине на сто восемьдесят, тогда из танка вылезу, сяду на башню, погляжу с высоты на город, на людей просто, по-человечески. А сейчас не могу. Сейчас я хладнокровный, как гадюка...

Однажды на рассвете Елкин приволок на санитарных санях дизель, снятый им с подбитого нашего танка почти у самого переднего края противника.

Всю ночь, пока он возился у танка, немцы били из пулеметов и минометов.

Елкин получил приказ немедленно явиться к командиру корпуса.

Генерал был невелик ростом. Сух, подвижен, лицо морщинистое, изможденное. И только глаза сверкали задором, злостью. Свежевыбритая голова была цвета перламутра.

— Тебе кто приказал к ним на передний край лезть?

— Это я самовольно,— признался Елкин.

— Тебя же, негодяя, прикрывать пришлось, сколько снарядов потратили!

— Мотор — вещь ценная, он дороже снарядов стоит. Тут наша выгода.

— На твоей машине недавно новый поставили. Зачем полез?

— Я не для себя, я для других.

— Как же ты его один поднял?

— Треногу из бревен поставил и на таях вздернул. У ремонтников консультировался.

— Ты что, смерти не боишься?

— Нет, боюсь. Раз у нас на одну машину меньше, у них лишняя возможность наших ухлопать.

— А ты чего такой шепелявый?

— А вот. — Елкин раскрыл окровавленный рот. В опухших деснах торчали обломки зубов. — Соскочила вага и торцом поддала. Теперь беззубел.

— Почему сразу не доложил? Такую боль стоишь терпеть!

— Объяви вам: «Извиняюсь, зубы болят, после зайдуду», — вы бы меня за такой рапорт пропесочили — лучше не надо.

— На, сержант, выней, помогает!

— Больше не могу, и так совсем пьяный. Ребята со всей роты собрали, у кого что осталось.

— Пьяный, а соображаешь!

— А сила воли на что? Выйду из блиндажа, сразу ослабну, может, такое отчудю, даже понять будет невозможно.

— А если я тебе прикажу быть как стеклышко?

— А зачем?

— Надо, сержант, для одного дела надо. — Генерал коротенькими шажками побегал по блиндажу, остановился, сказал сурово: — Приказываю! Немедля к ремонтникам! Соберешь, проверишь, дизель установишь на двести семидесятый и сейчас же доложишь мне лично!

— Да я же пьяный, зубы болят невыносимо! Две ночи не спал, надорванный и озябший тоже.

— Знаю, сержант, и потому, что знаю, приказываю.

К вечеру, совсем обессиленный, Елкин явился к генералу. Доложить об исполнении приказа он не мог: так сильно опух рот.

Генерал был в блиндаже не один. Уставившись яростными глазами на начальника разведки, он сказал:

— Не ваш пойдет, а этот, наш! Я и комиссар корпуса рекомендуем для выполнения особого задания. — И тут же

закричал на адъютанта: — На моей машине в санбат, лечить, кормить самым что у них там есть лучшим! И пусть каждый день докладывают мне о самочувствии!

Когда Елкин ушел с адъютантом, генерал набросился на начальника разведки:

— Обмануть противника — ваша обязанность. Но обмануть советского солдата не позволю! Должен знать, на что послан! — Ласково произнес: — Да разве среди моих танкистов найдется такой, чтобы даже мертвый оставил в целости секретный приказ? Он же его заранее вокруг гранаты обернет, проволокой свяжет и рванет себя вместе с ним в случае чего. Вот чем весь ваш фокус кончится. — Заявил категорически: — Задание может выполнить только человек, знающий, на что он идет, волевой. Вот как этот солдат Елкин. А проверку я ему сделал надежней всей вашей канцелярии. Меня, батенька, партия с семнадцатого года учит в людях разбираться, прошел школку надежнее вашей...

Прославленная английская разведка после долгих и доскональных изучений своих агентов не нашла ни одного, кому можно было бы с твердой уверенностью в успехе поручить задание чрезвычайной важности. Англичане предпочли живому человеку труп. Они выбросили из подводной лодки у берегов Италии мертвеца, одетого в мундир морского офицера. На груди у трупа была сумка, где лежал «секретный документ» с фальшивой дислокацией английского флота. Сделано это было для того, чтобы ввести в заблуждение немецкий генеральный штаб...

Вот и Елкину тоже вручили секретный пакет с фальшивым приказом, и он выехал на мотоцикле ночью с целью, чтобы этот приказ обязательно попал в руки врага.

Позднее Елкин всегда уклонялся рассказывать о тех попытках, каким его подвергали, и только пошучивал:

— Про то, что в гестапо каждого стерилизуют, — это брехня. Тут у меня порядок.

Поэтому подробности о том, как его там истязали, нам неизвестны.

Но как бы ни была грубовата эта «байка» Елкина, в ней пряталась целомудренная, застенчивая душа человека, совершившего подвиг, душа, чуждая жажде восторгов, похвал за совершенный подвиг.

Да, это черта характера моего народа — стесняться высоких слов о самом высоком.

И когда кто-нибудь говорит: «Наши опять нового

спутника запузырили, но теперь — солнцу», — я слышу за этим грубым словом «запузырили» застенчиво скрытый безмерный восторг перед эпохальным подвигом наших талантливых людей.

Елкин мыслил о ближайшем будущем так. Всего для всех будет обязательно хватать с макушкой. И люди должны быть обязательно вежливыми, ласковыми, предупредительными друг к другу. Самая короткая в мире рабочая неделя, — значит, будьте любезны. Допустим, ухаживаешь с солидной целью. Не только в выходной с ней в кино сходишь или в театр, встречайся, пожалуйста, каждый день, вникай, подходящий товарищ или нет. А то, когда нет времени, возможны ошибки. Нельзя только по праздникам человека изучать, пужно по будням, когда он обыкновенный, то есть самый настоящий, а не изнутри и снаружи наряженный.

И когда Елкина спрашивали, почему бы ему, холостому, не ухлестнуть за красивой заведующей передвижной лавкой, он отвечал развязно:

— Красивые бабы подхалимов любят: пальто ей подай, калоши подставь, под ручку держи. А я гордый, заискивать перед ними не желаю и к тому же предпочитаю пухлых и толстых: такие гражданки ленивые, потом за тебя всю жизнь не цепляются.

Слова эти он произносил лихим тоном. Но сразу грустневшие глаза не соответствовали бодрому голосу.

В бетонной камере с откидными, как в вагоне, койкой, столиком и сиденьем, зимой замерзая, словно запертый в холодильнике, летом задыхаясь от жары, как в паровой сушилке, измученный пытками, от которых давно погибло бы даже самое сильное животное, Елкин часто лепил из хлебного мякиша лицо Елизаветы Григорьевны; уходя на допрос, он съедал его, чтобы руки и взгляд тюремщика не коснулись этого женского лица.

Елкин не любил купаться в реке со всеми вместе. Выбирал уголок в сторонке. А уж если такого уголка не оказывалось, лез в воду в исподнем. Когда же он поспешно одевался, можно было заметить на его теле глубокие черные полосы, будто выжженные железными прутьями.

Сразу после войны Елкин уехал в деревню для улучшения здоровья. Поступил в МТС разъездным механиком. На свежем воздухе и от хорошей пищи быстро окреп и даже

несколько округлился. Но не прошло и полугода, как он стал снова тощим и нервным. Дело в том, что Елкин выбрал Холмскую МТС не случайно.

В районе ее находилась деревушка с неблагозвучным названием Сукино. Жители этой деревушки во время одного нашего неудачного танкового рейда проложили из бревен своих изб гать через болото, и благодаря этому Елкин спасся на танке с поврежденной пушкой от преследования вражеских самоходок. Деревню немцы потом сожгли.

На месте ее был создан колхоз «Красный партизан». Значительная часть людей ютилась в землянках. Директор Холмской МТС рекомендовал себя так: «Я человек, жизнью до блеска потертый. С низов до верха был поднят и обратно до среднего уровня спущен. Значит, есть за-калка».

Выслушав повествование Елкина о подвиге жителей деревни Сукино, директор заявил решительно:

— Если бы я генералом был, я бы им медали сразу всем выдал, это определено. Но в мирной обстановке руководитель должен исходить из экономической целесообразности. Сукинцы на сегодняшний день — иждивенцы района. Достаточно и того, что мы их зерновой дефицит за счет передовых покрываем. А ты им лес требуешь! Стимул может быть только за сегодняшние показатели, а не за вчерашние! — И посоветовал: — Ты напиши в свою прежнюю часть, — может, по линии военного ведомства им что-нибудь подкинут. А на мою МТС сваливать свою благодарность за спасение военной техники никак не получится.

Елкин сказал кротко:

— Значит, даете команду отставить?

— Выходит, так! — вздохнул директор и попросил: — Только ты на этом факте демагогии не разводи, не рекомендую.

— Почему же мне ее не разводить? — задумчиво спросил Елкин и пообещал со слабой улыбкой: — Разведу, и обязательно.

Чувствуя, как от волнения болезненная судорога сжимает затылок, Елкин поспешно заговорил, торопясь высказать все, пока знакомая боль не вызовет привычной обморочной слепоты:

— Вы эту вашу считалочку бросьте! Бедные и богатые! Богатым колхозам первым запашка, первым уборка, лучшие машины и водители! Да кто тебе позволил таким

счетом колхозный строй ломать! — уже не сдерживаясь, кричал Елкин.

Директор распахнул дверь и, обратившись к дождавшимся за ней посетителям, попросил вежливо:

— Будьте любезны, прошу вас быть свидетелями. — И приказал секретарше: — А вы его формулировочку зафиксируйте и дайте товарищам заверить. — Потирая руки, поощрил Елкина: — Ну, ну, давай, полностью и до конца.

Через некоторое время в райкоме разбирали персональное дело Елкина.

На бюро Елкин заявил:

— Я, товарищи, признаю: совершил проступки и развел склоку с директором не по принципиальным побуждениям, а по сугубо личным причинам. Поскольку меня сукинцы лично спасли и я чувствую себя им лично обязанным. Но считалочку эту, па бедные и богатые колхозы, по линии нашей МТС называю вредной, и здесь хоть до ЦК дойду, а ломать ее надо!

Елкин получил на вид за неправильное свое поведение. Но после заседания бюро секретарь райкома спросил:

— Ты, Елкин, где ночевать собираешься? — И предложил: — Давай ко мне. Доскажешь, почему рейд у вас сорвался. Я сам бывший танкист, мне интересно.

Но разговор с секретарем состоялся вовсе не о войне. Расхаживая в трусах по жарко натопленной комнате, секретарь говорил:

— Ты, Елкин, правильно слабость в работе МТС нащупал. И директор ваш, верно, деляга, и мы его снимем. Но ты тоже хорош, благодетеля из себя строить! Все мы, кто на войне не убитые, кому-нибудь этим обязаны.

Елкин произнес упрямо:

— А я не вообще обязан, а конкретно сукинцам!

— Меня партизаны Пустошинского района выходили. Так что ж, я туда секретарем проситься должен?

— Обязательно!

— Сучок ты упрямый!

— Какой есть, — печально согласился Елкин.

Фамилия секретаря райкома была знаменитая: Пушкин. Чернявый, невысокого роста, энергичный. Его даже спрашивали: «Вы, случайно, не родственник?..»

Жена Пушкина — маленькая, худенькая, скуластая, с большими, сиреневого цвета глазами.

Жили они бедновато. Ходила Пушкина в резиновых ботиках, заплатанных автомобильной камерой.

Елкин как-то спросил ее:

— Видать, на секретарскую зарплату не справляетесь? Или, может, Андрей Михайлович много денег на книги тратит и вам на обмундирование скупится?

Пушкина улыбулась и сказала застенчиво:

— Нет, Андрюша вовсе не скупой, он просто благородный. Его в том бою, где он рану в голову получил, командир танка, старший лейтенант Ефим Борисович Егоров, спас, а сам погиб. После нашел Андрюша семью Ефима Борисовича: жена, бабушка, трое детей. Очень симпатичные люди. Ну и договорилась я с мужем: за то, что он у меня живой, за свое счастье Егоровым благодарными быть. Каждые три месяца переводы шлем от неизвестных товарищей. Разрешил нам начальник почты такой адрес писать, когда рассказали, в чем дело.

— А вы встречаетесь с этой семьей Егоровых?

— Нет, что вы! — испуганно произнесла Пушкина. — Разве можно? А то они на нас подумали бы.

Вечером Елкин рассказывал своему дружку, трактористу Филину, о том, какой секретарь райкома Пушкин человек душевный. Но Филин выслушал его без особого воодушевления. Согласился только, что такое между бывшими фронтовиками водится.

Нахмурившись, заявил:

— Я сам, например, в неловкое положение попал. Нужно было срочно мостишко разминировать. Из нашего батальона один я за это дело взялся. Оставил ребятам адрес жены, чтобы отписали в случае чего. А последняя мина все-таки рванула. Конечно, все убитым посчитали. И вот началось это самое. Шлют переводы денежные на имя супруги в благодарность за покойного. А я живой! Одному отпишу — другой шлет. Ну прямо хоть в газете объявление давай! Еле от них отбил! — Задумался. — Конечно, со мной по недоразумению. А вообще что ж, не один Пушкин. Вся партия, она такая, про людей думать обязанная.

И вдруг Елкин взял и уехал на два года в Арктику.

— Я туда за длинным рублем погнался, — признавался он с беспечной откровенностью и рассказывал: — Сверху донизу на тебе собачий мех. А все равно: выскочишь наружу — зябко. Работа! Скребешь бульдозером, тычешься в торосистый лед, как муха об стекло, насквозь от пота вымокнешь. Бежишь к палатке, одежда на тебе смерзается, хрустит, словно ты весь в яичной скорлупе. В остальном же все культурненько, и денег собрал кучу.

— Как жить планируешь?
— Куплю для форса «Волгу».
— Ну?!

— Взял курс на высокий уровень личной жизни.
— А не оторвался ты там у себя, на Северном полюсе, от обстановки?

— Зачем? Просто у меня пора такая, возраст.

Но имелся один факт, с которым следовало считаться. Супруги Сорокины — Елизавета Григорьевна и Алексей — давно приглашали Елкина навестить их в Армавире. Вот для того, чтобы явиться туда в полном блеске жизненного благополучия, Елкин два года и проработал на станции «Северный полюс». Может, Елкин на что-нибудь рассчитывал? Нет. Так в чем же дело? Елкин считал себя слабодушным и опасался своего слабодушия. Вот увидит он Елизавету Григорьевну — и вдруг размякнет, потеряет голову! Но пока совесть при нем, он беспощадно определил себе тактику и успешно проверил ее на своих приятелях.

Явится он к Сорокиным напыщенным, самодовольным, беспечным. Да как бы Сорокины ни были до этого к нему расположены, скажут то же, что и другие: «Елкин салом изнутри зарос». И если Елизавета Григорьевна из вежливости не скажет, все равно полная гарантия — так о нем подумает. Значит, не будет особой подлости, если он ее снова увидит и теперь снова на всю жизнь запомнит.

Но почему Елкин подозревал себя в слабодушии? Разве не совершил он героический подвиг, выполнив специальное задание командования? Разве слабодушный человек мог такое сделать? Конечно, не мог.

Когда Елкина из гестаповской тюрьмы перевели в лагерь, он держал себя развязно, говорил:

— После гестапо тут дом отдыха. А за нас факты.

— Какие такие факты?

— Исторические. Старые большевики бодро себя в тюрьмах вели, в революцию верили. И мне есть во что верить...

— Ты кто, политработник?

— Если другой работенки не предвидится — могу.

С меланхолическим спокойствием переносил он издевательства охраны. Утверждал:

— Все правильно!

— Что правильно?

— По своей идеологии с нами действуют, в точности как газеты про их зверства описывали.

— Не форсил бы ты, Елкин. У тебя только и осталось — скелет да болячки.

— Ты моего резерва не знаешь.

И здесь, в лагере, Елкин однажды совсем нечаянно вылил из глины лицо Елизаветы Григорьевны.

— Кто это?

— Невеста, — гордо сказал Елкин.

— Красивая. Для такой выжить стоит.

— Стараюсь, — скромно сказал Елкин.

Он бежал из лагеря, воспользовавшись налетом английских бомбардировщиков.

И все же у Елкина были с самим собой особые счета. Когда гестаповцы тщательно и долго истязали его, дабы убедиться в том, что захваченный танкист не подослан советской разведкой, Елкин выл, рыдал, молил. Первое время он поступал так продуманно, считая, что, если обнаружит твердость, он может заронить сомнение у гестаповцев: раз человек твердый, значит, такого специально отобрали, и тогда приказ фальшивый. А если реагирует на мучения вполне нормально, значит, обыкновенный солдатской связной и приказ правдивый. Но со временем Елкин ослабел от истязаний и уже хотел сдерживаться, но не мог. На всю жизнь остался у него в мозгу исступленный визг, который никак не мог исходить от человека, таким он был ужасным. А вместе с тем это орал он, ослепший от боли и обезумевший, утративший в этой боли самого себя. Гестаповцы перестали сомневаться. Фальшивый приказ был передан высшему командованию, и немцы поплатились двумя моторизованными дивизиями.

«Каждый человек воображает, что он что-то такое особенное, — признавался самому себе Елкин, — и я тоже таким себя считал, а на проверку полезла из меня скотина. Ребята полагают, герой. А всю правду не знают. Теперь я в себе неуверенный, — печально думал Елкин, — я себя получше считал, чем я есть. Вот что на самом деле получается».

Елкин ни с кем не делился своими переживаниями. Но с того времени стал на людях держаться как-то нахально, самоуверенно, хвастливо, стараясь этой фальшью скрыть то, что его так глубоко терзало и беспокоило. Может он всегда быть верным себе или при каких-нибудь особых обстоятельствах снова потеряет власть над собой?

Вот какие сложные чувства противоборствовали в душе

Елкина, этого уже теперь немолодого, полысевшего, обремененного брюшком человека.

На трассу строительства магистрального газопровода, где начальником участка работал бывший секретарь райкома, ныне инженер Пушкин, Елкин прикатил в собственном «Москвиче».

Одет он был во все новое. Крошечная коверкотовая кепка, вельветовая куртка на «молнии», брюки с напуском, хромовые сапоги с низко спущенными голенищами.

В таком виде он представился Пушкину.

— Я к вам только похвастаться завернул, — объявил Елкин. — В Армавир направляюсь к приятелю на денек, а потом — в Сочи, покупаться, как все люди.

Пушкин остановил самосвал и, поднявшись на подножку, сказал:

— Ты извини, Елкин, у меня сейчас самая горячка: опрессовку трубы производим на сто двадцатом километре, люди ждут.

— Так я вас подвезу! — с готовностью предложил Елкин. — Зачем же на грузовике трястись! Вот легковушка, будьте любезны.

Но получилось так, что Елкин не только отвез Пушкина на сто двадцатый километр, но целые две недели возил его на своем «Москвиче» по трассе.

Кончилось все это аварией. Ночью Елкин наскочил на прицеп с погашенным сигналом и расколотил своего «Москвича». Но ни Елкин, ни Пушкин особенно не пострадали.

— У частного психология совсем другая, чем у государственного водителя. Ответственности он не испытывает, — пытался оправдаться Елкин.

— Просто шофер ты никудышный, — сказал Пушкин, заклеивая ушибы на лице папиросной бумагой.

— Моя карьера другая: бульдозер, трактор. Тут я властелин.

— Ну, раз ты теперь безлошадный, иди ко мне в мехколону, что-нибудь для тебя подберем сил на шестьдесят.

— А знаете, — сказал Елкин, — правильно ведь все получилось. Ловкая у меня судьба, сберегла от глупостей.

— Может, ты левачить на своей машине собирался? — строго спросил Пушкин.

— Вы меня, Андрей Михайлович, про мои планы не спрашивайте. Поломал их вместе с машиной навсегда

и окончательно. Такая формулировка вас устраивает? — И чтобы переменить разговор, Елкин произнес задумчиво: — Когда я ихний танк своим таранил и после от переживаний нервные лишаи по всему телу пошли, так мне в санчасти мазь выписали — и сразу в два дня сняло. Забыл только, как эта мазь называется.

— У нас на стройке медпункт есть. Зайдешь — спросишь.

Светила луна. Золотистым мехом созревших хлебов теплилась степь, и поперек нее лежал гигантский ствол газопровода.

Взяв власть над Елкиным, Пушкин говорил уже официально и строго:

— Идея газификации страны, выдвинутая на Двадцатом съезде, близка по своему значению ленинской идее электрификации. Поэтому мы, газовики, считаемся на самом переднем крае борьбы за создание технической базы коммунизма...

Елкин, шагая по асфальту, слушал Пушкина, но перед глазами его в лунном, матовом свете всплывало лицо Елизаветы Григорьевны. Тонкое, печальное, гладко зачесанные волосы, собранные на затылке в упрямую корону.

Работа на строительной трассе газопровода при всей насыщенности техникой требует от человека большой физической закалки. По существу, это цех под открытым небом. Машины и агрегаты непрерывно передвигаются по пересеченной местности. Здесь люди лишены многих жизненных удобств, семьи, дома. Кочевой обиход их подобен походному, армейскому быту.

Чем больше на трассу приходило новых машин, устранявших ручной труд, тем малочисленней становились бригады и строже отбор рабочих. И ведал этим отбором не столько отдел кадров, сколько сам коллектив бригады.

Присмотревшись к нерадивому и, после попыток приучить его трудиться в темпе рабочего шага бригады, убедившись в том, что человек непригоден, кто-нибудь во время перекура подходил к нему и произносил с леденящей вежливостью:

— Ты, друг, вот что. Сходи в контору и подай заявление по форме, как полагается, об уходе.

— Это зачем еще?

— Бригада тебя устраняет, понял? Неподходяще ты для нас работаешь.

— Да вы кто такие, чтобы меня с производства снимать?

— Кто? Да такие же, как и ты, только вся разница — вкалываем на полную железку, от этого самые главные.

— Пускай прораб мне скажет.

— Он тебе этого не скажет, у него права такого нет — тебя с работы гнать.

— Ага, значит, вы тут беззаконничаете!

— Ты обожди, мил человек, ты спокойно, умом послушай. У тебя машина стала раз, стала два, а мы должны друг на дружку налезать. Ты свое дело не сделал — другому нечего делать. У нас поточное производство. Взаимная зависимость. Подсобляли тебе. Глядим, что такое? Привык. Вот ты какой воробей! Наловчился не свое клевать. Если бы ты рабочий был, так мы бы тебе еще ко всему сказали, почему поспешать надо, что такое газ для страны значит.

— А я не рабочий?

— Ты мастер отдыхать. Здесь собрались люди, уважающие друг дружку за работу.

— Может, вы бригада коммунистического труда?

— Нет, мы самые обыкновенные.

— Так чего выдумываете, выситесь?

— Мы не высимся, только на полсотни километров впереди графика шагаем и под ручки тебя вести охоты большие нет. Благожелательно советуем: подавай заявление. Нет к тебе уважения, а без этого ты тут обязательно скиснешь.

— Ну ладно, — сдавался человек. — Дотерпите только до полочки.

— Нет, друг, не выйдет. Бригада решила твердо, а чтобы не сильно обидеть, меж собой сложились.

Но человек отказывался брать деньги. Его убеждали:

— Нам же дешевле тебе на дорогу дать. Возьми, дорогой, не стесняйся. Придет вместо тебя крепкий машинист агрегата, мы за эту неделю две нормы вышагасм и расход на тебя с макушкой покроем.

В буран, вьюгу, в нестерпимую жару и нескончаемые ливни, в самых тяжелых природных условиях строительные бригады, подобно заводскому коллективу, работали ритмично, гордясь своей суровой самодисциплиной не меньше, чем высокими заработками.

И когда строительная трасса магистрального газопровода проходила через населенные пункты, механики, машинисты, экскаваторщики, бульдозеристы, сварщики, трактористы, водители тяжелых МАЗов были самыми солидными

покупателями в магазинах. Почтовое отделение отправляло крупные денежные переводы и ценные посылки во многие районы страны с обратным адресом: «Строительство магистрального газопровода».

Но сами строители обладали скудным имуществом, самым необходимым для человека, ведущего походную жизнь. Правда, были любители, которые обременяли себя телевизорами, приемниками, патефонами, музыкальными инструментами. Обычно на трассе жили в вагончиках, в палатках, в шалашах. Зимой расселялись в деревнях по избам, снимали углы и койки, так как вагончиков на всех не хватало. Строительные бригады растягивались на сотни километров, и, когда трасса долго шла по пустынной местности, люди чувствовали себя так, как чувствуют себя зимовщики или геологи: оторванными от Большой земли. И это ощущение сплачивало рабочие коллективы, понуждало взыскательно и вместе с тем заботливо относиться друг к другу.

Елкин в бригаде держал себя заносчиво, высокомерно. Но товарищи по работе примирились с повадками Елкина. Они ценили властное мастерство, с каким он владел трактором, бульдозером, экскаватором, трубоукладчиком... Бывшие танкисты сразу угадали в нем танкиста и говорили уважительно:

— Елкин из тех, кто свой техминимум в Берлине сдал, у самого рейхстага.

Бывает ли так, чтобы человек хороший работал плохо, а скверный, наоборот, работал хорошо? На производстве человек — образец дисциплины, а в быту — безобразник? Или, например, будучи невеждой, вдруг обнаруживает высокую культуру труда? Такие роковые вопросы терзают умы некоторой части наших драматургов, томящихся в поисках материала для построения острого конфликта. Что касается строителей газопровода, то они были убеждены в одном: если человек сильно и хорошо работает, значит, он любит, чтобы его уважали, и, дорожа трудовым престижем, постарается быть даже лучше, чем он есть, ибо ничто так не возвышает и не выпрямляет человека, как восхищение его мастерством. Это знают поэты, художники, актеры, экскаваторщики, бульдозеристы, трубоукладчики и представители множества других не менее важных профессий.

Работал Елкин на бульдозере с той грациозной, небрежной уверенностью, какая бывает присуща только высоким мастерам своего дела. Стальная многотонная глы-

ба бульдозера, могучим натиском выворачивающая из земли гигантские валуны, дробящая пополам нижним срезом щита деревья, соскабливающая пласты песчаника, словно известковую накипь, с покорным проворством подчинялась Елкину. Тяжелые руки его, лежащие на рычагах, казалось, только отдыхали на них, и лицо его во время работы обретало какое-то странное, сонно-спокойное выражение безмятежного властелина. Но стоило кому-нибудь восхититься мастерством Елкина, он застенчиво конфузился и, словно извиняясь за что-то, объяснял:

— Я же танкист. Это с фронта, а не от квалификации.

Когда шофер двадцатипятитонного МАЗа разговаривает с шофером пятитонного грузовика, то с лица его не сходит величаво-снисходительное выражение. Когда молодой машинист сложного трубоочистного агрегата обращается за советом, Елкин дает ему рекомендации, надменно щурясь, пренебрежительно цедя слова сквозь зубы. Но на это высокомерие мастеров никто не обижается. Люди труда почитают умельцев и благоговейно произносят имена знаменитых мастеров и с не меньшим пылом, чем поклонники всемирно известных талантов. Наслаждение своей рабочей славой столь же уючительно, как литературское, художническое, актерское наслаждение успехом. Дорожа этим наслаждением и ради него, люди самых разных профессий готовы многим поступиться в жизни, превращая труд в подвижничество, в подвиг, и все во имя ласкающей теплоты человеческого уважения.

Но все-таки Елкину пришлось съездить в Армавир. Он получил от Елизаветы Григорьевны письмо, состоящее из отчаянных и нелепых слов.

Рекомендую заходить иногда в народный суд не в качестве подсудимого или свидетеля, а просто так, слушателя, — полезно. Из всех бракоразводных дел, которые мне приходилось там слышать, признавая всю проникновенную мудрость судей и народных заседателей, я каждый раз выносил ощущение, что главная причина разводов в уязвленной человеческой гордости. И когда судья терпеливо убеждает пойти на компромисс, я восхищаюсь его душевными словами, умственной энергией. Но что поделать, если мужчина и женщина ради возмездия за измену упорно уклоняются от компромисса!

В Армавире Елкин нашел Елизавету Григорьевну жалкой, подавленной, растерянной. Одета она была неряшливо, лицо сильно напудрено, губы накрашены.

Кто из двух супругов Сорокиных оказался больше виноватым, Елкин не хотел и не мог судить. Чтобы вывести Елизавету Григорьевну из состояния душевного отчаяния, он покорно поддакивал ей. Но когда спустя несколько дней Елизавета Григорьевна пришла «в норму» и даже попросила Елкина устроить ее куда-нибудь работать, он признался, что соглашался лживо: Алексей — хороший парень.

Выслушав, Елизавета Григорьевна сказала устало:

— Вы не представляете, как тяжело было думать, что вы плохой человек, когда вы мне поддакивали! Ведь Алеша мне всегда говорил: вы хороший. Потерять веру в вас обоих — это такая мука. Зачем, зачем вы это делали? — И добавила тихо: — И теперь я все равно буду испытывать к вам плохое чувство. Хотя поступали вы так действительно только из хороших побуждений.

Елкин молча смотрел на тонкое, нежное, печальное лицо Елизаветы Григорьевны, на ее голову с темными глянцевыми волосами, разделенными на пробор и собранными на затылке в упругую корону. Длинные вялые руки ее лежали на столе, и она держала фотографию, где на танке сидели в обнимку ее муж и Елкин. Оба под хмельком, так как в этот день обмывали ордена.

Каждому ясно: хочешь понравиться женщине, старайся показать себя с лучшей стороны, тем более что любовь вдохновляет, а всякое воодушевление украшает человека, делает его лучше. Но Елкин не желал ничем красоваться перед Елизаветой Григорьевной.

На лице Елизаветы Григорьевны блуждала грустная улыбка, такая же прелестная, как у Джоконды.

Сидя перед Елизаветой Григорьевной на стуле и разглядывая так, будто он видел в первый раз, свои сильные, сухие, жесткие и цепкие, как у птицы, пальцы механика, Елкин думал о том, что красота — это драгоценность и ее нужно уважать, потому что она сама по себе излучает таинственную, волнующую радость. И уже одно это хорошо и полезно людям. И то, что красота рождает жажду стать ее собственником, вполне понятно. Но как-то совестно и неловко, ощущая в себе эту естественную жажду, притворяться равнодушным. Сказать же правду о своих переживаниях, минувших и сегодняшних, не означает ли это вызвать у женщины лестью и преклонением перед ее красотой благородную, уступчивую слабость? А может, скорей всего

она проявит эту слабость из одного мстительного желания убедиться в силе своей красоты, оскорбленной, отвергнутой другим?

В комнате горела только настольная лампа. После портвейна лицо у Елизаветы Григорьевны стало темным, глаза глянцевого блестели, губы нежно припухли. Она сидела, откинувшись на стуле, положив ногу на ногу. Елизавета Григорьевна спросила раздраженно:

— Ну чего вы там молчите, говорите что-нибудь! Да оставьте в покое свои руки!

— Заусенцы, — шипло сказал Елкин. — Обстричь их, что ли, или, может, йодом помазать. Зудят.

— Я вам нравлюсь, Елкин?

— Вы женщина особенная! — пасмурным голосом сказал Елкин.

— Ну вот, — с облегчением произнесла Елизавета Григорьевна, — а притворялись, будто не такой, как все.

— Нет, я такой, как все, — твердо сказал Елкин. И спросил обиженно: — Почему же вы думаете, я всех хуже?

— Вы со всеми такую тактику применяете?

— Нет у меня никакой тактики, — глухо сказал Елкин.

Елизавета Григорьевна первно рассмеялась.

— Алексей говорил, вы с некоторыми девушками вели себя очень стремительно. Разучились?

Растирая себе ладонью колено, Елкин произнес, потупившись:

— Я про счастье для себя даже не верил.

— Какое счастье?

— А вот мое с вами.

— Вы уверены? — ослабевшим голосом спросила Елизавета Григорьевна.

— Лиза, — тихо сказал Елкин, — Лиза, я вот что скажу, обязательно скажу. Нагляделся я во время войны на женщин. Как иные с горя, с отчаяния, теряясь, на всякого вешались. Война убыточна не только тем, что люди на фронте гибли, калечились, она и души портила. А теперь человека налаживать надо. Уважительностью. И первым делом к женщинам. Во время войны вам тяжелее всех было. Если по-честному сказать, то женщины войну выиграли, а не кто другой. И на заводах и в колхозах. Они же всюду самостоятельно властвовали! А подведи они, что бы мы на фронте жрали, из чего и чем пуляли? Ведь вы тоже вся, как цветок, слабосильная, а работали в эвакуации в литейном, тяжести ворочали.

— Что ты тут мне лекции читаешь? Нашелся тоже! — перебила гневно и гордо Елизавета Григорьевна. — Вино принес! Хочешь, чтобы каялась перед тобой? Когда я перед Алешкой не каялась! Уходи к черту!..

Была осень. Нежно, сладко и печально пахло скошенной травой. Томная одинокая березка с робким шорохом осыпала пожелтевшие листья.

Вернувшись на трассу, Елкин после работы ходил ночевать в вагончик ремонтной летучки. Сидя на ступеньках, висящих над землей, он курил последнюю перед сном.

Светилось неомраченное небо, прозрачное, торжественное, и только пепельно меркло там, где замирал слабый всплеск малинового отблеска заката.

Потом в белом лунном свете металлически блеснула стерня, и какая-то деликатная птица все никак не могла наладить свою песню. Попробует голос, пискнет, замрет, прислушается — не то. Опять через некоторое время, уже в другом месте, свистнет, осторожно затихнет, сконфузится — опять не то.

Вдруг над зазубренным краем леса беззвучно юркнул и исчез реактивный самолет, и только потом пустое небо прорычало ему вслед.

Чем больше темнота заливала землю, тем ярче становилось небо и ослепительнее его великое сияние.

Подняв лицо, Елкин отдался этому дивному ощущению себя наедине с вселенной, усыпанной мирами, расстояние до которых, говорят, исчисляется световыми скоростями в сотни тысяч миллионов лет. Он сидел и думал о себе, о Елизавете Григорьевне, о мелькнувшем, как видение, реактивном самолете. Да мало ли о чем он еще думал!..

Бывают люди, которые живут суетно, обидчиво, все боясь что-то упустить, чего-то недополучить. Во всем жадно и корыстно хотят быть первыми. Такие и помирают поспешно, как и жили, с недожеванным куском любительской колбасы в зубах.

Даже самый плохонький цветок, наклонись к нему, хорошо пахнет. Так же человек. Приблизься, пойми — обязательно найдешь что-нибудь хорошее. Так что не будем никого осуждать. Скажут о человеке: у него глупая улыбка — и тот на всю жизнь перестанет улыбаться. А что может быть драгоценнее человеческой улыбки?

Может быть, в данный момент Елкин мысленным взором снова видел запрокинутое тогда лицо Елизаветы Григорьевны с закрытыми глазами и вздрагивающими веками, будто туго сцепившиеся ресницы не давали им раскрыться. Может, он сожалел, что не заявил тогда убежденно: «А знаете, вы мне давно нравитесь!» — и с восторгом не доложил, как он в тюрьме и в лагере довольно удачно лепил из хлеба ее лицо.

Ведь он умеет говорить с восторгом и упоением. Я слышал, например, как он сказал однажды с сияющим лицом:

— МАЗ я обожаю! Что же касается роторного экскаватора, то это грезы, мечта! Это же чистое наслаждение на нем работать!

Видите, какие слова знает!

Итак, Елкин сидел на ступеньках ремонтной летучки и думал, о чем желал думать, а вокруг него струнно звенела сухая, жесткая, осенняя трава. Посидев еще с полчаса, он ушел спать в летучку, где терпко пахло металлом и кисло — соляной.

Сюда, в эту летучку, в канун экзаменационной сессии переселился и прораб Глебов. Разложив на тщательно вытертом паклей верстаке книги и тетради, в едком свете аккумуляторной переноски, он просиживал до рассвета, скорчившись на черной от машинного масла табуретке.

Иногда среди ночи Елкин просыпался от странного шума. Открыв глаза, он видел, как Глебов, сидя все в той же позе, мерно бил себя кулаками по скулам.

— Ты что? Зубы болят?

— Это я кровообращение восстанавливаю, — равнодушно объяснял Глебов и извинялся: — Прости, друг, забылся, разбудил. — И снова склонял свою просвечивающую желтой плешью голову к учебнику.

Когда Глебов работал на экскаваторе, он зарабатывал значительно больше, чем теперь прорабом. Получив диплом, он, пожилой человек, в качестве молодого инженера едва ли будет получать больше, чем опытный прораб.

Елкин высказал это Глебову, тот спросил недоверчиво:

— Ты что, шутишь? Инженером работать интереснее, да и себя больше уважаешь. Техника идет вся новая, хочется, понимаешь, не глупее ее быть.

— Ну, ну, давай стирай грани! — снисходительно поощрил Елкин.

Когда Глебов находился на трассе, его ничем нельзя было отличить от рабочих. В промасленной стеганке и в та-

ких же ватных штанах, в резиновых сапогах с отогнутыми голенищами, он всегда находил себе дело у какого-нибудь механизма. Отдавая руководящие указания, собирал рабочих и говорил:

— Давайте, ребята, посоветуемся о сегодняшней проходке.

И получалось как-то так, будто не Глебов приказывал, а словно сами рабочие додумывались, что и как делать лучше, а Глебов только с ними соглашался, осторожно высказывая свое мнение. Замечания о неправильном ведении работы он тоже делал деликатно. Отзывал человека куда-нибудь в сторону и предлагал:

— А ну сядь отдохни.

Рабочий садился и встревоженно, вопросительно глядел в лицо Глебову. Глебов вытаскивал из кармана какой-нибудь технический справочник и погружался в чтение.

— Товарищ прораб, механизм же простаивает! — напоминал о себе рабочий.

Глебов оборачивался, спрашивал сурово:

— Значит, отдыхать на виду у всех, когда другие работают, тебе совестно? А еще что совестно?

Рабочий вытирал лицо платком, произносил страдальчески:

— Ладно, чего там, Ипполит Павлович, душу из меня вынимать! Понятно! Зачищу те места, где грунт в траншею сполз. В слабых местах надо на полметра больше выбирать в расчете на оползание.

— Верно! — обрадованно соглашался Глебов и поощрительно советовал: — Ты и другим скажи правильное твое предложение.

Елкину прораб Глебов очень нравился.

Что же касается Елизаветы Григорьевны, то она все же покинула своего Сорокина. И теперь в обеденный перерыв ее всегда можно было увидеть в передвижной лавке-вагончике с печальной, обворожительной и кроткой улыбкой. Она не очень расторопно отпускала покупателям продукты. Но никто из мужчин не сетовал, не проявлял нетерпения, не раздражался на медлительность продавщицы. И даже, наоборот, охотно уступали очередь работницам, которым не доставляло особого удовольствия любоваться лицом Елизаветы Григорьевны.

Елизавета Григорьевна несколько пополнела и теперь взбивала чуть потускневшие волосы в пышную прическу. Но по-прежнему она оставалась настолько красивой, что, когда самый дерзкий, отважный холостяк подходил к окну

вагончика, он вдруг неожиданно для себя лепетал: «Мне бы, знаете, сосисочек и молочка», — хотя первоначальное намерение было весьма твердое: пиво, четыреста граммов копченой грудинки, батон.

В этом году зимой мне тоже довелось повидать Елизавету Григорьевну в передвижной лавке. Одета она была в полушубок, голова закутана пушистым платком.

Мне показалось, будто красивое лицо Елизаветы Григорьевны омрачено выражением какой-то утомленной, брезгливой скуки. Пухлые губы презрительно сжаты. По некоторым повадкам было заметно, что эта женщина гордится своей наружностью. И хотя все черты лица и впрямь были удивительно правильны, гармоничны, но, лишённые живости, они теряли прелесть обаяния.

Опираясь широко расставленными локтями о прилавок, какой-то хорошо унитанный гражданин в тугом желтом кожаном пальто умильно, подобострастно и горячо убеждал в чем-то Елизавету Григорьевну, нетерпеливо и энергично шаркая при этом по грязной земле почти новыми бурками. Лицо Елизаветы Григорьевны оставалось прекрасным и невозмутимым. Но, судя по тому, как она милостиво кивала головой, то, что говорил гражданин, ей правилось, и она соглашалась с его словами, шипящими, быстрыми, напоминающими своим звучанием шипение сала на раскаленной сковороде.

Передвижная лавка стояла на дорожной обочине. Все было окутано белым сумраком снегонада. Кругом возвышались с гордой осанкой глубоко вонзившиеся в небо огромные сосны. Автомагистраль блестела скорлупой гололедицы. По дороге катились могучие МАЗы — трубовозы. Звенья труб походили на стволы тех гигантских орудий, которые на марше артиллеристы возят отдельно от лафетов. В низине лежали болота, покрытые выпученными, в коричневой шерсти мха прыщами кочек. В хворых, тощих зарослях валялись трухлявые стволы древесной падали. Воспаленные тлением торфяники дымились паром и сочились незамерзающей водой цвета бронзы. И через всю эту непроходимую болотную топь тянулась широкая просека с глубокой траншеей посередине. Заполненная черной водой, траншея походила на русло канавы.

Начальник строительного участка, до этого с сановной важностью беседовавший со мной, вдруг произнес умильно и восторженно:

— Глядите, какая красота!

Но никакой красоты в этой просеке среди чахлой

болотной растительности, в гнили бездонной грязи я не увидел.

— Чудо! — сказал начальник участка. — Мастерство на грани фантастики. — Сладко поеживаясь, кивая головой на приближающегося к нам человека, он объявил шепотом: — А это вот и есть сам товарищ Елкин. Выражаясь на вашем языке, автор проходки через эти самые непроходимые топи. — Добавил огорченно: — Жаль, не видели, как он водит свой бульдозер с уширенными траками по почве со слабонесущей поверхностью. Даже для не сведущего в технике человека зрелище бесподобное. — Почтительно поздравившись за локоть с заляпанным с ног до головы болотной трясиной Елкиным, начальник сказал воодушевленно: — Ну-с, поздравляю! Теперь, как говорится, можете поспать на лаврах. — Оборачиваясь ко мне, объяснил: — Товарищ Елкин главным образом, используя ночные заморозки, ночами работал. Теперь финиш. Прошли самое гиблое место. Со значительным перевыполнением плана.

Лицо Елкина было усталым, изможденным. Он смотрел сурово, не мигая, но глаза у него, как у птицы, яркие, без тени усталости.

— Представьте, в таких условиях не допустил перерасхода горючего! — Елкин усмехнулся. — Как тот пулеметчик, который, экономя боезапас, вытаскивал из ленты патроны и пулял из винтовки.

— Товарищ из редакции, — строго предупредил начальник. — Для него факт экономии — первостепенной важности.

Елкин равнодушно согласился:

— Действительно, имеется такое паличие.

— Так вы, значит, побеседуете о своих показателях, — сказал начальник и заметил Елкину: — У вас лицо несколько забрызгано. А может, товарищ пожелает вас сфотографировать!

Елкин вынул из кармана круглое зеркальце, поглядел в него надменно, презрительно, объявил раздраженно:

— У меня рожа даже на фотографии как в натуре. Стоит ли пленку портить?

— Да! — вспомнил начальник. — Я на вашего напарника взыскание хочу наложить. Оставил машину почти без воды в радиаторе!

— Ничего, — сказал Елкин, — я в резиновом сапоге натащил из родника чистой.

— Это как же понимать, босиком!

— Зачем босиком? Другая нога обутая.— И тут же потребовал: — Вы моего напарника не трогайте. Парнишка молодой, старательный, хороший. Ему не до заправки было, когда в трясину с бульдозером ухнул по самые свои брови и не уходил, пока бульдозер не вытащили. Вся одежда льдом залубенела.

— Тогда отменяю. Был неточно информирован,— согласился начальник.— Ну, я вас покидаю, беседуйте.

Начальник участка рысцой устремился к болоту, где он усмотрел какой-то непорядок в работе насоса, выкачивающего из траншеи жирную черную воду.

Глядя вслед маленькой подвижной фигурке, семенящей по черному льду, я заметил несколько иронически:

— А начальник у вас энергичный.

— Да вы что?! — неприязненно спросил Елкин.— Про Пушкина так? Да он только что сам в сухое переоделся. Он же из болота не вылезал, пока не прошли! И про моего напарника все знает. Только он человек тактичный. Ему охота, чтобы вы про моего напарника тоже отметили, чтобы я не забыл про него сказать.

И Елкин горячо, возбужденно стал рассказывать, какой замечательно способный у него напарник. И когда он так говорил, лицо его вдруг обрело совсем иное выражение. И не только доброта смягчила его суровые черты. Оно осветилось улыбкой, ласковой, осторожной, мечтательной. Той красотой человеческой улыбки, которую я видел у танкистов, завершивших войну у стен рейхстага, обретших радостное право мечтать о счастье для всех, счастье, добытым тяжелой ценой.

— Вы извините,— прервал себя Елкин,— сегодня забыл пообедать.— Кивнув на лавку, пообещал: — Я быстренько чем-нибудь подзаправиться возьму.

Кончился снегопад. Подслащенное розовым закатом небо медленно тускнело. Стало холодно, подул леденящий ветер. Чем ближе Елкин подходил к передвижной лавке-фургончику, стоящей на толстых шинах, тем медленнее, неувереннее становилась его походка и ниже обвисали плечи. Он выглядел таким обессиленным, слабым и даже жалким, с сутулой спиной, облепленной болотной грязью. Вернулся он быстро, прижимая к груди широкогорлую бутылку молока и пакет с едой, обернутый в пергаментную бумагу. Но я не узнал его лица: столько в нем было безнадежного уныния, скорби и затаенной боли.

— У нас лавка обычно до девяти торгует,— сказал Елкин,— но сегодня раньше закрывается: заведующей на

поезд поспеть надо. В городе работать будет. Там, конечно, лучше, в городе, чем у нас на трассе.

— Может, отложим беседу? Ведь вы так устали, да и дела у вас, наверное, есть.

— Нет, — твердо сказал Елкин, — я сегодня совсем от всего свободный. Зачем же, давайте поговорим, если вам это надо!

В избе, где Елкин снимал койку, мы поужинали. А потом он, беспрестанно куря, рассказал о себе. И очевидно, если бы сегодня с ним был не я, а кто-нибудь другой, он так же беспощадно-правдиво рассказал бы о себе. Я не решился записывать при нем все, что он рассказывал. У журналистов, когда им приходится выслушивать душевную исповедь человека, существуют правила профессионального целомудрия. Но факты я все запомнил. Факты, приведенные здесь, точные. Конечно, важно, как их подать. Но это уже вопрос индивидуальных способностей.

Спохватившись, Елкин вдруг сказал:

— Однако светает. Заморочил вам голову всякими неразбери-поймешь. А для вас главное — цифры. Наша мехколонна — ведущая на трассе.

По дороге в контору участка, где, по распоряжению Пушкина, для меня была поставлена койка, Елкин остановился на бугре, возвышавшемся над болотом, словно остров. Он сказал проникновенно, взволнованно:

— Вот пройдешь такую гиблую трясину, намучаешься, а потом какое удовольствие людям в глаза смотреть! Газ тянем. До войны в столичных городах на нем только чайники кипятили, а теперь весь его подземный океан наружу вытягиваем. Такое богатство стране подкинули!

— Ну, спасибо вам, товарищ Елкин, — сказал я.

— За что спасибо? — удивился Елкин. — Это вам спасибо, что со мной побыли. — Признался: — Вы мне сегодня пригодились. С посторонним человеком поговорить о себе не совестно. А так я не любитель со своими ребятами трепаться, только голову забивать. В нашей мехколонне народ напряженный. Новую технику подкидывают, ею овладеть надо, курсы на ходу, зачеты. А вы человек беспечный, вам бы старой техникой овладеть — на все хватит. Вот Тургенев как писал, будь здоров! — И, широко, добродушно улыбаясь, сказал: — Это я шучу, конечно. В вашем деле тоже технический прогресс намечается. Попадают книжки подходящие. Значит, желаю успеха! — И попросил озабоченно: — Вы только в своей корреспонденции про меня там легче. Я ведь почему высокую норму даю? Старый

опыт: танкист! В мирных условиях машину вести, когда по тебе не стреляют, — легкое дело. Молодые — это да! Вот они, наши козыри! Вы про моего напарника с нажимом напишите. Рационализатор! Ну, пока!

Медленно растворялись длинные сумерки северной ночи в робком белесом свете короткого северного дня.

Едкий мутный рассвет будто просачивался сквозь сомкнутые веки и не давал уснуть. Мучимый бессонницей, я невольно вспоминал все рассказанное Елкиным и раздраженно думал, что именно от этого не могу уснуть. Но на самом деле во всем виноват был север с бессонными белыми ночами, где никак не угадаешь границы, когда начинается день и когда кончается ночь. И не так ли противоборствует у сильного человека, омраченного печалью, ощущение радости жизни, которое не гаснет даже тогда, когда ему очень больно и трудно?

1959

ВОДОЛАЗЫ

Если судить только по внешности, специальности и личной книжке, то можно сделать безошибочное заключение: старшина водолазной станции Иван Николаевич Лапшин, человек атлетического телосложения, абсолютного здоровья, проживший под водой в общей сложности четыре тысячи триста двадцать семь часов, совместивший профессию водолаза с профессией сварщика, резчика, слесаря, монтажника, механика, несомненно обладает высокой квалификацией, исключительной силой воли, спокойствием, выдержкой, то есть качествами, непременно для водолаза.

Но на самом деле он мужчина нервный, впечатлительный и обидчивый до крайности. Догадаться об этих чертах его характера постороннему человеку очень трудно. Ибо высокое чувство собственного достоинства, соединенное с профессиональной необходимостью постоянного самообладания, не позволяло прорываться наружу этим особенностям характера.

Каждый раз после медицинского осмотра врач восторженно умилялся богатырской мощью мускулатуры Лапшина, безукоризненным состоянием всех его внутренних органов, несмотря на следы тяжелых ранений, оставшиеся после военной службы на флоте.

Лапшин отличался скупостью на разговоры, а уж если говорил, то строго необходимое. А так как он хорошо знал свое дело и, обладая огромным опытом, умел всегда сам находить решение даже в самых затруднительных случаях, то при беседах с ним еще больше утверждалось впечатление, что перед вами, может, и хороший человек, но уж как-то слишком ограниченный профессиональными интересами, вполне удовлетворенный тем, чего достиг, самоуверенно считающий, что он ни в чьих советах не нуждается.

Да и весь облик Лапшина содействовал впечатлению, что перед вами человек ярко выраженной физической силы, возобладавшей над всеми иными качествами его натуры. Лицо у Лапшина грубое. Все на нем большое: сухой длинный нос; кустистые, с рыжиной брови; резкие, как шрамы, морщины на лбу и продольные на впалых щеках; тяжелый подбородок с туго натянутой, как на согнутом колене, кожей. И только глаза на этом буром лице были кроткие, голубенькие, маленькие, глубоко утонувшие под крутыми уступами надбровных дуг.

Волосы Лапшин стриг коротко. Сквозь сивый ежик светились белесые гляцевитые рубцы. По лицу ему можно было дать и сорок и даже пятьдесят. Грубость черт в сочетании с суровой сосредоточенностью выражения свидетельствовала, скорее всего, что перед вами пожилой мужчина, немало повидавший на своем пути. Но вот те, кто видел Лапшина в бане, утверждали, что ему не больше тридцати.

Действительно, представьте себе атлета удивительно гармонического телосложения, с нежной, гладкой, белой кожей, под которой скользят мощные слитки мускулатуры, вовсе не обезображенной узлами от тяжелого труда и таких обтекаемых форм, что невольно приходят на память беломраморные изваяния юного Аполлона или Давида. И только лицо пожилого человека, приделанное к этому античному торсу, не соответствовало понятию идеальной физической красоты, столь дивно воплощенной в упомянутых скульптурах древнего мира.

Личная книжка выдается водолазу по окончании водолазной школы или курсов. Она является основным документом, по которому определяются квалификационная категория и стаж работы водолаза; записи в нее производятся на основании официальных документов.

В личной книжке Лапшина в графе «возраст» мы прочли...

Впрочем, разве годами можно определить жизненный опыт человека? И как нам, сухопутным людям, оценить по нашим земным меркам те четыре тысячи триста двадцать семь часов жизни Лапшина под водой? Чему они равны по нашим земным исчислениям, сказать затруднительно. Ибо наши ученые утверждают, что существа, например, обитающие на иных, чем Земля, планетах, живут какими-то своими, сверхскоростными мерками, и стоит отправиться туда в командировку нашему человеку, пользуясь земным расчетом, он попадает впросак. И, пробыв там, по нашему счету, неделю, вернется обратно домой, на Землю, в иную

эпоху — эпоху полного коммунизма. И ему не перед кем будет даже отчитаться ни в суточных, ни в командировочных, ни в израсходованном на поездку горючем. Ибо все инстанции, которые существовали прежде для того, чтобы строго внушать человеку, что он существо подотчетное, оказывается, ушли в далекое прошлое. И все живут в полном доверии друг к другу.

Словом, понятие возраста, времени очень относительно и требует дополнительного тщательного изучения. Официальные документы и те не всегда дают возможность вынести полное впечатление о человеке, даже если это такой серьезный документ, как личная книжка водолаза.

В науке человековедения наиболее осведомлены обычно начальники отделов кадров. У них для этого есть строго разработанная система, состоящая из различных показателей, из суммы которых складывается перед ними объективный образ любой человеческой личности.

Переняв внушительный опыт работы отделов кадров, некоторые литературные критики, когда требуется их компетентное заключение, дают при помощи сложения и вычитания отзывы вполне конкретные, относя ту или иную личность либо к категории отрицательных, либо к категории положительных.

Если следовать классификации, с каких-то пор принятой в нашей мировой печати, то Ивана Николаевича Лапшина можно отнести к простым людям.

Невысокая занимаемая должность и профессия его вполне укладывались в разряд, в который зачислено большинство человечества. Сам же Иван Николаевич, если рассматривать его как личность со всеми ее подробностями, достоинствами и изъянами, мало способствовал столь скорому и удобному диагнозу. Правда, как это иногда бывает у водолазов, он во сне делал произвольные кивательные движения головой. Именно таким движением водолазы, нажимая затылком на клапан в шлеме, стравливают воздух. Но сны ему снились в это самое время совсем не производственные, а свои собственные, оригинальные.

Лапшин испытывал отвращение к ловле рыбы, не любил рыбных блюд и, работая под водой с электросварным аппаратом, с удовольствием усмехался, когда рыбы косяки, привлекаемые на свет, порхали вокруг него, словно голубиные стаи.

Как и все водолазы, привыкнув работать впотьмах, на ощупь, он выработал в себе повадку слепца. Поэтому на поверхности движения его оставались замедленными,

вдумчивыми. Но их можно было принять и за проявление солидарности человека, знающего себе цену.

Иван Николаевич был очень правдивым человеком, правдивым до крайности, причиняя этим серьезные неудобства окружающим.

Но затрудняюсь сказать, является ли эта чрезмерная правдивость особенностью характера или она неизбежна для людей его профессии.

В водолазном деле всякая неточность может привести к повреждению здоровья человека и даже к гибели. Когда водолаз информирует старшего о совершаемой им работе с помощью телефонной связи, повествование ведется в стиле строгого реализма. Вот для примера образчик этого водолазного стиля. Лапшин обследовал затопленные фермы взорванного во время войны моста. Мощное подводное течение бросило его в сторону. Он ударился шлемом о выступающий болт. Болт пробил шлем и застрял в нем. Лапшин никак не мог освободить себя и, обессилев, повис, пригвожденный к болту.

Старшина спросил по телефону:

— Ты чего перестал сопеть, Ваня?

— Отдыхаю.

— Значит, крепко пригвоздило, сам сняться не можешь?

— Обожди каркать.

— А ты чего злишься?

— Какую песню тебе спеть, не знаю.

— Шутишь, значит, держись.

— Не я держусь, болт держит.

— Ладно, отдыхай пока. Только ты говори что-нибудь, а то пой помаленьку. Беспокоимся за самочувствие.

— Чопик приготовили?

— На три дюйма; Ваня, ты как с болта снимешься, не забудь, сразу ладошкой пробойну прикрой, чтобы не захлебнуться.

— Глупость какая, попал, как жук на булавку.

— Ты, Ваня, не сердись, сильно не дергайся, а то порвешь шлем, захлестнет водой.

— Во мне силы сейчас, как у пескаря на крючке, я аккуратно дергаюсь.

— Ваня, пятый час пошел.

— У тебя часы, тебе виднее.

— Ваня, я решение принял: сейчас к тебе спустится Волошкин, подсобит сняться.

Водолаз Волошкин долго не мог освободить Лапшина,

и только после того, как поднялся над его головой и изо всех сил ударил свинцовой калошей по шлему, Лапшин соскочил с болта. Крепко прижав ладонь к пробойне, он приблизился к Волошкину. Волошкин наставил деревянный чоп, густо смазанный тавотом, и вогнал его ударом кулака в пробойну в шлеме.

После этого Лапшин сказал старшине:

— Заклепался. Порядок. — И попросил: — Ты подожди меня поднимать, я минут сорок еще полазаю, пощупаю, как тут потом ловчее действовать.

— Ты же, видать, весь мокрый?

— Нет, я сдержался.

— Я говорю, через пробойну нахлестало.

— Это есть маленько.

— Ваня, я тебя все ж подымать буду.

— А я говорю: обожди. Дай обследую, а то назавтра либо об какую железяку рубаху порвешь, либо снова занозишься. Разведаю и поднимусь. Моя глупость была, что не обследовал рабочее место, мне от нее и лечиться...

Всю сегодняшнюю ночь Иван Николаевич Лапшин спал плохо, тревожно. Брякнул он месяца три назад инженеру Вовченко:

— Неправильно это, Федор Федорович. Собрались мы в кучу на третьей станции, самые матерые водяные. Все ответственные работы нам, денег гребем много, а молодых кто растить будет? Семилетний план, он не только для тех, кто на поверхности, но и для тех, кто под водой.

Вот и получил назначение: старшиной водолазной станции. Да как с молодежью работать? Сенькин? Он хоть паренек плечистый, грудастый, есть где силенке разместиться, но какой-то робкий, застенчивый.

Предупреждал же: не нахлебайся чаю перед спуском! Не отстукало часу, просит поднять. Спрашиваю в телефон: «В чем дело?» Все понятно! Кричу в трубку: «Водолазное дело — это тебе не за партой: позвольте выйти. Валяй теперь в скафандр!» Все же одумался. Паренек себе не позволит, а заболеть может. Поднял. Выскочил из скафандра — и за будку. Водолаз называется! Да мы, если хотите знать, свой режим построже чем балерины обязаны соблюдать или спортсмены какие-нибудь, особенно если на глубине работа.

А другой и того хуже. Кочетков фамилия. Флотскую фуражку уже где-то подцепил. Ходит в ней зимой, семафорит синими ушами. Сам тощий, долговязый, но мускулишки ничего, вроде сыромятных ремешков, крепкие. Если

бы он фасон только на поверхности держал... А то третьего дня крепил балласт на дюкере. Глубина средняя. Зацепился рубашкой за проволоку, порвал. Залило моментально, только голова в шлеме сухая. А температурка водицы плюс четыре, наружная — минус шестнадцать. А он продолжал балласт крепить. И уж когда промерз до костей, сигнал подал. Мы с Сенькиным его спиртом оттирать.

Укоряю:

«Ты, видать, Петя, сразу не сигналил, боялся, при подъеме захлебнет. Запомни: воздушная подушка, которая в шлеме, воду не пустит, только не надо воздух сильно сгущивать при таких происшествиях».

А он мне:

«Извините, — говорит, — Иван Николаевич, за то, что сразу не сигналил. Мне важно было проверить: запаникую или не запаникую. Выходит, не запаниковал».

«А если ты, пескарь, легкие воспалишь, на мою голову срам».

«Я две зимы в команде «моржей» у нас в Саратове состоял, я закаленный».

Закаленный! Прихожу вчера на станцию, а у этого моржа нос бураком: чихает, сморкается, плюется. Для водолаза насморк — болезнь. Спускать под воду нельзя. Пришлось с Сенькиным вдвоем всю вахту отбыть. Нет, с такими водолазами много не заработаешь. Плакали мои прежние получки... Один расчет, что обоих до второго класса вытяну. Вытяну, если через них до этого сам не утопну. Водолазное дело строгое. Как у летчиков: мелочишку упустить, а вес этой мелочишки — твоя жизнь...

В газовую промышленность Иван Николаевич Лапшин пришел с флота три года назад.

За сутки рабочий шаг мехколонны — километр-полтора. Все время на марше, в походе. Стальной ствол трубы укладывался поперек страны с юга на север, по трассе, прочерченной упрямой прямой сквозь реки, озера, водохранилища, леса, степи, болота, скальные породы, косогоры, бугры и овраги.

Мехколонны, как самоходный завод, давали сваренную, испытанную, уложенную в землю нить газопровода. Города, заводы, фабрики присасывались к магистрали отводами. И отпадала потребность в миллионах вагонов угля, дров. В сотнях тысяч кухонь вспыхивало сиреневое легкое пламя газа. Заводы, фабрики, предприятия переключали топки с угля на газ и уже не марали небо копотью, не засоряли дыхание людей угольным перегаром.

Газ не только топливо, но и промышленное сырье. Трубоотводы уходили на стройки химических заводов, которые будут изготавливать из газа меха, ткани, искусственную кожу, кузова автомобилей, пластмассы заданных качеств.

Но все эти преобразования не могли наблюдать строители газопровода своими глазами. Они тянули стальную трубу по сильно пересеченной местности. Не было времени для торжеств по случаю включения в газовую сеть страны новых населенных пунктов, заводов и фабрик.

Укладывать газопровод через водные преграды — это задача подводников. А этих водных преград в нашей стране до черта, да еще настроили водохранилищ. И колхозники тоже: куда ни сунься — пруд, водоем, что ни балка — запруда. Расхозяйствовались после сентябрьского Пленума. Хватало подводникам работы. И была она тяжелее, чем в океане. Там простор, чистота, прозрачность. А здесь дрянь речушка, даже на карте не обозначена. Работашь, как в яме: воды метр над шлемом, а, того и гляди, зацепишься о затопленные корневища воздушным шлангом или свалишься в омут и увязнешь в тине, липкой, как деготь.

Идешь по дну молоденького моря — всюду пеньки, кусты, ямы от фундаментов больших зданий. Разве таким должен быть пейзаж морского дна? Ни скал, ни подводных рифов, одна мокрая степь под свинцовыми калошами.

Но все-таки то, что человек паловчился моря устраивать, где ему надобно, — это дело уважительное, если не со дна смотреть, а с нового берега, посыпанного желтым песком для красоты.

Иван Николаевич Лапшин проложил уже множество дюкеров через водные преграды. И каждый раз, когда завершалась работа, его переполняло такое же счастливое чувство, как это бывало при поднятии затопленного корабля. Но нет, пожалуй, более приятное! Затонувшие корабли главным образом шли на металл, плавать им после редко когда приходилось. И не потому, что металл и машины портились от пребывания в воде, — конструкция их устаревала быстрее, чем вода успевала ее разрушить. Вот в чем дело.

А газопровод — вещь совсем новенькая. И назначение его такое, что Иван Николаевич хотя никому никогда не говорил об этом, но в мыслях своих рассуждал так: «Человек я, может, и не совсем положительный, но коммунизм делаю фактически».

И в эту беспокойную ночь он и про коммунизм думал тоже, и очень опасался за себя, за подопечных ему ребят. Как он сумеет из них не только настоящих водолазов сделать, но людьми воспитать? Через труд, конечно. Другим способом он и не взялся бы, да и не знает других способов. А вот по своей части это можно испробовать. Пускай они станут лучшими, чем я, водолазами. Вот мой рубежок, и как допру, тут точка! Только это мечта, где им, желторотым! Они небось войну только в кино видели. И ни разу себя покойниками не считали. А Иван Николаевич Лапшин три раза считал себя покойником.

Один раз его понтоном придавило. Врачи говорили — чудом на ноги подняли. Другой раз в Сталинграде на переправе затонувший катер поднимал, а немцы артиллерийский обстрел вели. Разорвался снаряд под водой, в шлеме стекла иллюминаторов выскочили, осколок снаряда — в живот. Трое водолазов кровь свою одалживали, а доктора всё не верили, что он оживет.

Ну а третий раз уже на земле с морской пехотой в атаку бегал, потом полгода в госпитале. Четыре раза доктора потрошили, дадут отдохнуть — и снова, пока все немецкое железо не повытаскивали.

Гордого советского поколения он человек, вот что! А эти кто? Жить им, безусловно, в коммунизме, это точно. А какие они? Есть ли у них главная пружина или нет?

Когда инженер Вовченко спускался под воду обследовать проделанную работу, Иван Николаевич очень нервничал. Вовченко — хлипкий человек, и с ним может что-нибудь случиться. В это время Иван Николаевич надевал на себя легководолазное снаряжение, чтобы можно было в любую минуту прийти на помощь. И когда Вовченко находился под водой, Иван Николаевич говорил с ним подхалимским голосом по телефону:

— Федор Федорович, будьте любезны, справа от вас сейчас пенек затонувший, глядите не запнитесь. Тут, прошу, ходовой кончик из ручек не выпускайте, а то течением вас потревожит, там струя сплошная.

Но Иван Николаевич ужасно не любил, когда Вовченко делал ему замечания на людях. Он даже шел на притворство: показывая себе на уши, говорил жалобно:

— Обожгло меня сегодня маленько, в голове ровно песок пересыпается.

— Уж не кессонка ли? — тревожился Вовченко и предлагал: — Голубчик, прошу. Ну мне тоже в медпункт на минутку надо, порошок от кашля попросить.

И вот, пока шли вдвоем в медпункт, Иван Николаевич спокойно все замечания Вовченко выслушивал, даже кое-что записывал. А потом объявлял радостно:

— А у меня все прошло! Видать, от прогулки.

Вернувшись на водолазную станцию, Иван Николаевич свои соображения и замечания Вовченко складывал вместе и начинал воспитывать водолазов так, как он умел: строго и беспощадно ко всем промахам.

Значит, Иван Николаевич был человек самолюбивый, гордый, дорожающий своим авторитетом бывалого подводника. Став старшиной молодежной водолазной станции, он почувствовал, как трудно ему удержать в сохранности свой авторитет с таким ненадежным составом.

И в эту ночь, как и в предыдущую, Лапшин спал плохо, тревожно, беспокоясь всякими мыслями.

Проснулся он на рассвете. Умылся снегом на улице. Поприседал для кровообращения. Приготовил яичницу с колбасой из пяти яиц. Скушал бутерброд с маслом и медом. Выпил крепкого, черного чая стакан. Стакан, но не больше. Перед работой много жидкости водолазу принимать ни к чему. Потом посидел минут десять на табуретке, уставившись взглядом в пол, чтобы в спокойствии припомнить, что и как надо сделать. Надел стеганку, натянул до бровей водолазный вязаный колпак и отправился на речку.

Никто не умеет так нежно восхищаться красотой природы, как водолазы и шахтеры.

Какой дивной чистотой блещет воздух! Снег кафельной белизны. Огромные сли — словно зеленые скалы. На буграх возвышаются коренастые башни северных русских изб. Суровый облик их смягчен нежной, застенчивой резьбой наличников. В низине под ледяной крышей река неширокая, но глубина овражная на клин. Помучились, пока протаскили через нее дюкеры. Вон по обе стороны из берегов торчат с приваренными заглушками, похожие на бивни мамонта, затонувшего в болоте.

Через водные преграды обязательно надо два дюкера класть: один откажет, другой резервный.

Со Ставрополя, вон откуда газ! Поперек всей страны. Это же понимать надо!

Хоть и не высался сегодня Иван Николаевич, а голова свежая, мысли приятные, бодрые.

На откосе бугра проталина. Сквозь черно-бурую попревшую прошлогоднюю растительность проклюнулась какая-то бледно-зеленая травка, чахлая, слабая, толщиной в три волоса. А Иван Николаевич уже заметил ее, свернул

с тропинки на проталинку, сел на корточки и с умилением уставился на эту травку. И так боязливо, осторожно потрогал пальцем тонюсенький стебелек, будто боялся испортить прикосновением. Хорошо, вокруг людей нет. Глупое зрелище: здоровый мужик-водолаз сидит у паршивой травки и чуть ли не плачет от умиления. Заметив, как бессильно клонится она под тяжестью алмазно сверкающей капли, скинул он эту капельку хвойной иглой, травинка выпрямилась. Иван Николаевич вздохнул с облегчением, словно у него самого со спины тяжелый груз свалился. Так остро он переживал за травку в это мгновение. Вон даже пот на лбу выступил. Черт знает что! Какой чувствительный!

Пусти такого бугая, скажем, в Третьяковскую галерею, он же разрыдается возле какой-нибудь знаменитой картины, придя в душевный восторг. Когда Иван Николаевич служил в морской пехоте, он ведь убивал в страшном рукопашном бою. И не одного. Спрашивали ребята: «Не снятся тебе твои покойники?» — «Нет, — говорит, — зачем же? Война — дело обоюдное. Либо я их, либо они меня. Все правильно, зачем же мне о них думать?»

А вот цветное кино Иван Николаевич не уважал, почему-то говорил с неудовольствием: «Ну его, больно сильно раскрашено, аж глаза тошнит! В натуре оно все лучше, скромнее, аккуратнее и ловчее как-то. Конечно, под водой все цвета выглядят линиялыми, а на глубине все блеклое: белый цвет различишь, а остальные нет. Под водой холодно и темно, как в погребе. Даже если с прожектором работаешь. Стоит перед тобой тусклая стена светящегося тумана. Вот и вся картина. Бродишь в потемках, шарить на ощупь. Контуры всех предметов расплываются. И вот еще что. Любая вещь под водой кажется размером больше, чем она на самом деле, и ближе, чем она лежит от тебя. Вроде как сквозь мутное увеличительное стекло все получается. А если грунторазмывочную работу ведешь, то весь ты в буром, непроглядном мраке. Вообще речная вода плохо прозрачна, гайку, болт к самым стеклам иллюминатора подносишь, будто ты близорукий, — иначе не разглядишь. Выйдешь на поверхность, и все кругом тебя таким нестерпимо красочным кажется, будто ненастоящее, как в цветном кино».

Под водой, в одиночестве, про всех людей думаешь, которые на поверхности. И про жизнь вообще. Лежа на боку в глубокой и мягкой тине, в черном, непроглядном мраке, закрепляя болтами чугунные балласты на дюкере, Иван Николаевич размышлял вслух, по водолазному обы-

чаю, дабы сигнальщик-телефонист знал, что всё у него в порядке: у каждого водолаза собственная манера оповещать поверхность о своем самочувствии. Одни обстоятельно докладывают официальными словами. У других привычка петь или насвистывать. А третьи, как Лапшин, во время работы любят размышлять вслух.

— Цифра, она правду любит, — гудел голос Лапшина в наушниках сигнальщика. — Хочешь коммунизма, прекрасную жизнь, — значит, давай столько-то продукции. Не хочешь войны — опять же давай продукции больше, чем они, тогда война не состоится. Понятно, как на ладошке.

Все эти размышления Лапшина были не столь последовательны, как я их записал со слов сигнальщика-телефониста, потому что прерывались они часто производственной информацией.

У восьмого метра надо траншею углубить, а то течением замыло. На девятом футеровка отошла — сбрось в майну моток проволоки. Запомни: гаечный ключ-кувалду, связку с болтами кладу возле свай, которые здесь еще, видать, со времен Петра заколотили. Надо бы потом спилить, очистить фарватер.

Но когда Иван Николаевич подымался на поверхность и, освободившись от снаряжения, отдыхал, хлебая черный, как деготь, чай из жестяной кружки, и его мокрое от пота шерстяное белье сохло на веревке над железной печуркой, стоило сигнальщику напомнить об этих рассуждениях в воде, он сейчас же сердито приказывал:

— Отставить разговорчики, нашел время!

Действительно, на поверхности Иван Николаевич отличался молчаливостью, замкнутостью и даже некоторой скрытностью.

Трудно было представить, что вот совсем недавно из-под воды беспрерывно раздавался в телефонной трубке его сильный голос, проникнутый размышлениями, трогательными воспоминаниями и такой счастливой убежденностью в радости жизни.

А тут он сидит угрюмый, озабоченный, самовластный, презрительно на всех щурится, ища глазами, к какому беспорядку придраться.

Непонятно. Ничего не понятно. Что за человек Иван Николаевич?

Почему, например, на собраниях он недовольным голосом делает только одни критические замечания, но не любит, когда другие не на собраниях, а так, в обыкновенных беседах, говорят о плохом?

Под водой он никогда не ругается, а любит больше всего помечтать вслух и даже похвастаться. А вот на поверхности не любит, когда кто-нибудь пускается в отвлеченные рассуждения, обрывает и говорит сердито:

— То, что через семь лет будет,— это в газетах написано цифрами. Ты скажи, почему слабину на болтах не справил, почему я после тебя гайки подкручивал?

И все это сердитым, брюзжащим голосом. Будто не он только что радостно из-под воды объявлял, что коммунизм у нас будет обязательно, хотя сигнальщик вовсе его об этом не спрашивал, а интересовался, как положено, через известные промежутки времени его самочувствием.

Когда Иван Николаевич углублялся в чтение книги или газеты, мускулы лица его твердели и только широкий подборсодок судорожно, жалобно вздрагивал, а на скулах проступали бурые пятна. Но что его там волновало, неизвестно. Он не говорил о прочитанном и никому не давал своих книг. А если сильно капючили, вынимал десятку: «На вот, поди купи». И трогать свои книги не позволял, сердился:

— Я чужим рукам себя за рожу лапать не позволю, а книга, она почище, если в нее, как в душу, смотреть. Понятно?

Нет. Не понятно. Если уж ты такой брезгливый, так почему у этого же человека, которому запретил книги своей касаться, без всякой брезгливости берешь прямо с тела шерстяную фуфайку и кальсоны, надеваешь на себя, когда свое шерстяное белье еще не успело высохнуть после вахты? Докурить чужой окурок в два вдоха, потому что целую выкуривать перед спуском вредно, не брезгуешь, а книгу дать брезгуешь. Нехорошо.

Если он книголюб, так ведь самые из них знаменитые, наоборот, любят хвастать и суют вам бесценную инкунабулу в руки, чтобы вы поддержали, удостоились, прикоснулись к векам.

Однажды он, правда, признался из-под воды:

— Вчера книгу купил выдающуюся. Тираж полмиллиона. Но я так ее читал: все думал, она для меня одного писана. Хорошая книга действует, будто для тебя одного все доверчиво сказано. Вот что такое хорошая книга!

Значит, вот в чем дело. Тогда извините. Это вовсе не странность у Ивана Николаевича, а просто сильная любовь к печатному слову, целомудренная чистота и безграничная доверчивость.

Но вот недавно знаменитый московский мастер художественного чтения выступал перед строителями. Иван Нико-

лаевич, смущенный, красный, все время конфузился, злился и жаловался соседям:

— Вот бесстыжий человек! Чего он тут перед нами на разные голоса кривляется? Ты уж если хочешь книгу передо мной, самым грамотным, представить, скажи по-честному, что она с твоей душой делает, что думать заставляет. А обезьянничать, что в ней написано, неприлично. Театр, кино — это одно, а книга — совсем другое. С ней надо один на один, с глазу на глаз, тогда ты ее переживаешь полностью. А театр из нее делать пельзя. Неправильно.

Не дослушав чтеца, он ушел из зала, топая так, будто он пришел в клуб в водолазных свинцовых калошах.

Прежде чем сваренный в сплошную многокилометровую нить газопровод укладывали на дно траншеи, сотрудники передвижной лаборатории подвергали стыки труб всевозможным исследованиям.

Старший лаборант Левкин вынес из вагончика тяжелый свинцовый контейнер, где хранилась ампула с радиоактивным кобальтом.

С помощью манипулятора эта ампула опускалась в отверстие, просверленное в стенке трубы, и на пленке, обернутой вокруг стыка, как на рентгеновском снимке, обнаруживалась вся структура сварного шва. То, что атомные изотопы так запросто применяются в деле, было предметом особой гордости Лапшина. Он рассуждал счастливым голосом:

— У американского капитала одно в башке: побольше народу спалить при содействии наемной науки. А мы атом укрощаем, приспособливаем к труду.

Обещал твердо:

— Обожди, будет толк и от атомной бомбы в наших руках. Засунем ее, скажем, в доменную печь, запустим гореть на медленном режиме — и потечет чугун огромной рекой по четырнадцати копеек тонна.

— Почему же именно по четырнадцати копейкам?

— А может, еще дешевле, — не смущался Лапшин и произносил наставительно: — Наша наука старается для народа так, чтобы всего было побольше, побыстрее и подешевле. Я лично так ее понимаю.

— Ну а почему спутники, ты знаешь? — пытались поддеть Лапшина.

Иван Николаевич спокойно, с достоинством объяснял:

— Если вещь не серийная, она дорого стоит. Как их на поток наладят, цена станет вполне доступная.

— Это для кого, для нас с тобой, что ли?

— Для пассажирского пользования,— подшучивал Иван Николаевич, хлопая себя по нагрудному карману.— Скоплю денег на билет, слетаю на какую звезду поближе.— Став серьезным, говорил озабоченно: — Техника сейчас далеко скакнула, это правильно. Но нужно нам себя тоже высоко вытягивать. Без этого все как следует не получится.

— Чего не получится?

— Понятно чего,— начинал сердиться Лапшин.— Для коммунизма жилую площадь налаживаем, а сами в себе еще слабо поворачиваемся.— И заявил строго: — Не все мы для него подходящие, вот что.

Сенькина и Кочеткова Лапшин наставлял сурово:

— Вы, ребята, не бойтесь, что у вас сразу не все получается. Вот забыл Кочет воздух стравливать, его и выбросило. Ползал на карачках подо льдом, как муха по потолку, искал майну. А ты, Сенькин, улегся на брюхе и сунул башку в яму, поглядеть захотел, как рыба в омуте тесно спит зимой. И чуть не задохся. Воздух, его куда тянет? Наверх. А если твоя башка ниже пяток, чем ей дышать?.. Ну ничего, я на глупость вашу не сержусь. Я ведь чего хочу? Чтобы вы правду про свою глупость сказать не боялись. Без этого не выучиться. А что она такое, правда, для коммуниста? Вот вам исторический случай.

Во время гражданской войны шел на Москву из Сибири эшелон с золотом. Там был венгерец-революционер товарищ Мате Залка. Получил липовые сведения, будто путь впереди отрезан. Он и принял решение, чтобы золото врагу не досталось, загнать эшелон в туннель и там взорвать. Завалил целой горой. Прибыл в Москву, доложил Владимиру Ильичу. Ленин его спрашивает: «Вы, товарищ, конечно, были против того, чтобы взорвать туннель?» А он правду сказал: «Наоборот, Владимир Ильич, я был как раз одним из инициаторов этой вредной, идиотской штуки». По-вашему, его за это к Дзержинскому, в ЧК отправить? Залка небось тоже на другое для себя не рассчитывал. Но Ленин по-своему правду его оценил. Пожал руку и сказал: «Люблю, когда собственные ошибки осуждаются нашими товарищами с такой страстью и беспоощадностью». Этот Залка после стал героем гражданской войны. Погиб в Испании, сражаясь против фашистов. К себе, значит, без пощады относился и, верно, в последний свой час помнил, как высоко Ленин ценил в человеке правду.

Сенькин, взволнованный рассказом, прошептал подавленно:

— Я, Иван Николаевич, без спросу пытал себя на плавучесть, броски под водой делал. Стукнулся шлемом об лед, получилась вмятина. Ходил к жестянщику, в ремонтные мастерские, он исправил, совсем незаметна стала вмятина.

Лапшин пожал Сенькину руку, сказал растроганно:

— Значит, дошло.

Кочетков, сверкая нефтяного цвета глазами, сказал вызывающе:

— А я бы гранатами обвязался и никого к золоту не допустил...

— Пустяки говоришь, — поморщился Лапшин. — Белье все равно бы эшелон под откос свалили из орудия. Вот тебе все твоё геройство! Товарищ Залка правильно поступил, горой его привалив; только вот депеша обманная была, но тут его вины нет. — Задумался и проговорил задумчиво: — Ты главное пойми: партия в человеке правду дороже золота ценит. Вот где тут главное.

...Красива северная русская природа, могучая, а застенчивая, кроткая. Воп какими башенками-елями себя усталила! Березки томные, стволы белее снега. Войдешь в березник, и будто сразу света прибавилось. И где-нибудь под ледяным настом скворчит, скребется родник. И вдруг пробьет лед, вырвется наружу, и пахнет от его воды терпко железом. Окунешь в нее руку — будто кто-то сильный пальцы стиснет. Такая она студеная, и на дне галька. Ну каких только цветов она не бывает! Вынешь камешек — обсохнет, потускнеет, будто помирает без влаги.

У родника Иван Николаевич тоже на короточки присаживался, глядел в воду, любовался, прислушивался к звонкому голосу воды. Потом снова по тропе шагал. Идет, усмекается, размахивает длинными руками. Дышит глубоко, ровно, прополаскивает, как говорят водолазы, легкие перед спуском в воду. Как ни говори, а воздух из помпы, пока он через шланг к тебе в шлем попадет, резиной пропахнет, сыростью. Ну и то, что выдыхаешь, отработанный, прямо нужно сказать: не зефир. Зато как на поверхности вдохнешь — настоящее шампанское. Даже в сто раз лучше, вкуснее. И поначалу будто даже хмелеешь от свежего воздуха. Бодро так хмелеешь, красиво...

Завтра водолазная станция перебазировается на другой объект. Работа на этой речушке завершена.

Лапшин решил сегодня сходить под воду и не спеша все

проверить как следует. В наряд такой спуск не запишешь, поскольку работа принята, но для очистки совести надо. Водолазы у него молодые, вдруг чего недоглядели.

Почти у самого берега реки стоит водолазная будка на полозьях. В квадратной майне, обшитой по краям дощатым настилом, плещется серенькая вода. У деревянного щита ручная помпа, накрытая брезентом.

Лапшин поискал глазами, на что бы рассердиться. Пешня воткнута возле майны в специальную лунку, на доске решетчатый черпак и тяжелый водолазный топор, выкрашенный белой эмалевой краской. В подводных сумерках все предметы теряют свои цвета, кроме белого, поэтому для водолазного инструмента такой больничный цвет самый удобный. Лапшин подошел к будке, прислушался. Кочетков громко разглагольствовал:

— В связи с атомом надводному флоту крышка. Теперь даже морская пехота легководолазная. Считаю, надо нам кружок аквалангистов сколачивать. Купил киевское снаряжение, ласты тяжелые. Вот запишусь в туристы, куплю в Риме. Акваланги итальянские наилучшие.

— В Италии всюду красота, — мечтательно сказал Сенькин. И добавил жалостливо: — Но там от капитализма люди плохо живут, безработица.

— Товарищ Тольятти — крепкий мужик, — авторитетно заявил Кочетков. — Его массы поддерживают. — И вдруг произнес печально: — Я ведь давно про Италию мечтаю. У меня стец там. Город Милан, участок номер шестнадцать, кладбище Мисокко.

— Он в посольстве служил?

— Нет, по солдатской линии. Раненного в плен взяли, бежал. Вместе с ихними партизанами воевал. А когда фашисты убили, итальянский народ его у себя похоронил. Нам посольство адрес его могилы прислало.

— А мой без вести пропал под Смоленском, — подавленно произнес Сенькин. — Деревню нашу фашисты сожгли, в дзотах, в землянках жили. Потом всем стали лес на избы выдавать. Нашему семейству не дали, кто-то сказал: отец — власовец. А когда мы с матерью совсем обучились людям в глаза не глядеть, вернулся с фронта наш агроном, заявил в сельсовете: «Брехня. Сам видел, как Семен Сенькин под ихний танк с гранатами полез. Я от него руку левую только нашел, большой палец — как клешня у рака. Это он топором еще парнишкой рассек». — И Сенькин сказал тихо: — Я тоже своим отцом гордый. — После паузы

спросил протяжным голосом: — Чего-то водяной наш хрипчатый не идет. Начнет опять цепляться: то не так, это не так. В водолазной школе и то меньше жучили.

— Это он перед нами себя показывает, — сказал Кочетков. — Небось, когда на прежней станции с одинаковыми для себя работал, глотку не драл. Серегин и Волошкин не мы с тобой. У них у самих по два с половиной года под водой, тоже водолазы знаменитые.

— Когда человек гордый — это даже красиво, — сказала качальщица Нюра. — А вот как наш спесивый — это вовсе не красиво.

Другая качальщица, Маша, сказала горячо:

— Он к нам в молодежную пришел, и получка его стала меньше. А не уходит, — значит, сознательный. Орет для авторитета. А вы слишком много о себе думаете. Подумаешь, лазаєте в речки, а он в океанах и морях работал, и его акула всего обкусала.

— Это у него от осколков шрамы.

— Про Ленина как он душевно рассказывал!

— Из книги вычитал.

— А ты заметил? Будто нос вытирал, а на самом деле — глаза. Сам себе душу этим рассказом растревожил. Водолазы никогда ни от чего не плачут. Он настоящий, партийный...

Лапшину стало неловко слушать про себя, отошел к майне и закурил. Лед блистал лунным светом. Там, где работал земснаряд по замывке траншеи, вода чистая ото льда и рябилась сизой волной. По флотской привычке, Лапшин не кинул окуроч под ноги, раздавил пальцем в ладони, скатал в комочек и щелчком отбросил на берег. Лед для него был словно палуба.

В Положении прямо сказано: «Перед работой водолаз не должен себя утомлять на поверхности и должен избегать всего, что может раздражать или вывести из душевного равновесия». Какое хорошее правило! Вот бы его написать и для всех сухопутных тружеников.

По данным гидрогеологов, дно этой речушки — мягкие суглинки. А на самом деле — огромные валуны и непроходимые завалы древних черных дубов. Валуны Лапшин отмывал из грунта гидромонитором и потом, раздув скафандр, используя плавучесть как дополнительную подъемную силу, оттаскивал гигантские глыбы в сторонку. Следовало для такого дела вызвать кран, но это обошлось бы в лишней десяток тысяч, а Лапшин на поверхности без особого напряжения мог поднять четырнадцатипудовый

рельс. Дубы под водой распиливали и тоже оттаскивали подальше от трассы траншеи.

Инженер Вовченко разрешил Лапшину ввести сдельщину. Хотя от сдельщины водолазы особенно не выгадывали, зато работа шла увлекательно, весело. Кочетков и Сенькин ревностно старались обогнать друг друга. И действительно, как шутил Лапшин, если труд на дрова перевести, то они дали не меньше, чем две сотни кубометров. Только черный дуб на дрова не годится: тяжелый, как железо, и не горит.

Представитель финансового органа, который пришел вместе с инженером Вовченко на водолазную станцию к Лапшину, был человек брюзгливый, говорил вежливо, тихо, как на похоронах. И в глазах у него чувствовалась смертельная тоска по коммунальным услугам столицы. Потребовав вахтенный журнал, перелистав, сделав записи, спросил ядовито:

— А кто проверил, кто принял? Сто тонн валунов, двести кубометров древесины? А где они, покажите?

— Они же под водой, — сказал Лапшин. — Вы слазьте и поглядите.

— Я обязан проверить фактический объем работы и лазать в воду не намерен.

— Так как быть?

Вовченко предложил:

— Желаете, я спущусь и заверю своей подписью? Если старшине не доверяете.

Финансовый работник удовлетворился подписью инженера. Довольный тем, что все законности соблюдены, он пожал руку Вовченко и хотел пожать руку Лапшину. Но тот спрятал свою руку за спину и проговорил сипло:

— Вы ступайте отсюда, а то ветер на реке, в уши надует.

— Да, действительно, — согласился финансовый работник. — Сквознячок у вас здесь основательный. — И ушел с Вовченко, который виновато закусил нижнюю губу, хорошо поняв, как глубоко обижен старый водолаз.

Настроение Лапшина сразу сильно испортилось. А тут еще день погас, стало сумрачно. Посыпался влажный, рыхлый снег, и заломило от ревматизма колено. Иван Николаевич вошел в будку, небрежным кивком поздоровался, приказал качальщикам:

— А ну, девочки, выйдите!

Тяжело плюхнулся на табуретку, скинул валенки, отставил их к печке, штаны и стеганку повесил на дере-

вянный гвоздь. Сидя в толстом шерстяном свитере и в таких же кальсонах, натянул поверх еще вторую пару такого же белья, на ноги напялил меховые чулки-шубники. Кочетков и Сенькин подали водолазную рубаху. Лапшин принял от Сенькина мокрый кусок мыла, намылил кисти рук для того, чтобы они легче прошли сквозь узкие манжеты, встал, опустив руки меж ног. Кочетков и Сенькин вздернули рубаху вверх, сложив воротник, надели медную манишку, закрутили ее барашками. Все это они проделали молча, с напряженными, угрюмыми лицами. Заметив, как тяжело дышит Кочетков опухшим красным носом и как у него слезятся глаза, Лапшин захотел сказать Кочеткову что-нибудь такое, ну похвалить за старательность, что ли.

— Осопливел ты, братец, — произнес Лапшин утробным голосом. — Для всех прочих это только неудобство, насморк, а для водолаза — болезнь. Могут даже бюллетень выписать. Отдыхай, значит.

— Оп, Иван Николаевич, ноги себе ошпарил, — сообщил Сенькин. — Кипятком лечился. В обе ноздри чеснок пихал. Еле обратно вытащили.

Кочетков сказал обиженно:

— Вы, Иван Николаевич, падо мной свою власть превышаете. Раз у вас нет моего бюллетеня и вы не доктор и даже не фельдшер, почему под воду не пускаете? Так я могу квалификацию потерять.

Лапшин побагровел, но сдержался, по привычке сдержался, потому что водолаз перед спуском не должен нервничать. Попросил только:

— Ты у меня возле уха не сопи, как землесос. Сдай на шаг в сторонку.

Поверх скафандра Иван Николаевич натянул брезентовые брюки, предохраняющие резину от износа и разрывов, одну свинцовую калошу дал на себя надеть Сенькину, другую — Кочеткову. Обвязал ноги плетенкой, предварительно обдав ее горячей водой из чайника. Потопав, испытал, как держатся калоши, Лапшин вышел на лед.

Кочетков, который был выше Сенькина, набросил Лапшину наплечные грузы, завязал концы, туго стянул у пояса, потом занес под левую руку воздушный шланг, закрепил схваткой. Прodelывая все это, Кочетков старался избегать испытующего взгляда Лапшина и криво усмехнулся, будто все это для него обычное занятие. Сенькин, держа в руках шлем, сказал качальщикам:

— Качай на помпе! — И, сунув лицо в шлем, проверил, как подается воздух.

Лапшин стоял уже выше пояса в воде на трапе, спущенном в майну. Прежде чем дать надеть на себя шлем, он долго соображал, кого лучше оставить за себя старшим — Кочеткова или Сенькина. Кто им будет командовать — Сенькин или Кочетков? Кому из них он будет сегодня подчиняться? Поняв, о чем задумался Лапшин, оба паренька тревожно замерли. Лицо Кочеткова приняло надменное, независимое выражение, лицо Сенькина было скорбно-просительным.

«Один нахальный, — с неудовольствием размышлял Лапшин, — начнет командовать, не удержишь. Другой тихий, как девка, застенчивый, будет лепетать. Но, пожалуй, ему-то полезней всего поначальствовать».

И приказал сипло:

— Сенькин останется за старшего!

Сенькин радостно ухмыльнулся. Скуластое лицо его стало еще шире. Воскликнул:

— Ой, спасибо, Иван Николаевич! — и даже чуть шлем не вырнил.

Еще чего не хватало! И Лапшин с горечью подумал: «Случись что со мной под водой, никакой от них подмоги. Утопнешь самым великолепным образом».

Но произнес привычно:

— Давай! — и чуть склонил голову.

Сенькин надел шлем, резким поворотом закрутил передний иллюминатор. Замер. Тревожно оглядел снаряженного водолаза и слегка ударил ладонью по шлему. Сигнал, что все готово к погружению. Сняв шапку, Сенькин надел телефонные наушники и, взяв сигнальный конец из рук Кочеткова, замер над майной, напряженный, взволнованный, счастливый.

Качальщицы Нюра и Маша озабоченно крутили маховики ручной помпы.

На ручных водолазных станциях качальщицами предпочитают брать женщин: говорят, они выносливее, дисциплинированнее, чем мужчины, в этом однообразном и утомительном труде.

Но, мне кажется, настоящая причина в другом. Просто женщины обладают великим постоянством заботливого милосердия, и оно рождает их поразительную стойкость, когда в авральной обстановке приходится иногда крутить маховики воздушной помпы значительно дольше, чем положено. Качальщики-матросы и те за такой срок валятся у помпы с помутившимися глазами. А качальщицы-женщины, зная, что каждый оборот маховика — это воздух

человеку, находящемуся там, в беде, продолжают работу с заплаканными от волнения глазами, забывая себя. Да, они обладают особым женским мужеством, когда от них зависит жизнь человека, и здесь, в этом терпеливом подвиге, они куда выносливее мужчин.

Нюра, коренастая, с большим белым лицом и так высоко поднятыми рыженькими бровками, что кажется, она на всю жизнь удивлена чем-то очень приятным, говорит нежно-писклявым голосом. Она влюблена в Кочеткова и, не умея скрыть этого, все время оправдывается перед Машей:

— Я же его презираю за зазнайство. Но у меня характер мягкий, не умею высказать свою критику как следует...

Маша — тоненькая, темноволосая, у нее суровые, зеленые, длинные глаза, красивый, низкий, грудной голос. Она степенна, рассудительна, держит себя независимо, чаще всего от нее слышно: «Так не по-комсомольски, так нельзя», или одобрительно: «Это по-комсомольски, это правильно».

Органный, певучий голос Маши действует на Сенькина расслабляюще, как музыка. Губы у него отвисают, он сладко жмурится. Но Маше не нравится Сенькин. Не нравится и Кочетков. У нее твердый план в жизни: после стройки она поступит в вуз и станет атомщицей.

— К тому времени, когда ты диплом получишь, — обиженно говорит ей Сенькин, — штучки эти с атомами мы запретим во всем мире окончательно. Это факт. Вот и останешься не при деле.

— А я в мирных целях, — гордо отвечает Маша. И щурит высокомерно на Сенькина свои длинные, как у козы, зеленые русалочьи глаза.

Оставшись за старшего, Сенькин испытывает блаженство и, глядя на качальщиц, громко произносит в телефонную трубку:

— Товарищ Лапшин, докладывайте обстановку. Как самочувствие?

Сипатый голос защекотал насмешкой в ушах:

— Пескаришки снуют. Интересуются: Сенькин не из их породы? Как им доложить, не знаю, товарищ старшой, посоветуйте.

На носу у Сенькина выступил пот, но он заставил себя произнести внушительно:

— Товарищ Лапшин, повторяю: обстановку и самочувствие, а баловаться разговорчиками на поверхности будем...

Пожалуй, не следовало сегодня Ивану Николаевичу ходить под воду. Чувствует он себя неважно, вот и рука начала болеть.

Неделю назад стоял Сенькин в майне, уже весь снаряженный, только шлем надеть. Иван Николаевич последние наставления давал, как надо правильно держать в скафандре давление.

— Упустишь — все пуговицы на тебе синяками отпечатает. Вот что такое обжатие.

Сенькин снял руку с поручня, прижал к груди, желая показать этим жестом, что все понял. Поскользнулся... Еле успел Лапшин за воротник медной манишки ухватить, а то нахлебался б холодной воды парень, свалившись с трапа без шлема. Весу в Сенькине со всем снаряжением — сто восемьдесят килограммов. А Иван Николаевич не чемпион мира — такие тяжести одной рукой подымать. Но поднял. Вытянул Сенькина на трап, а мышцы на руке растянул. Три почи из горячего солидола припарки делал.

Обычно Лапшин ходит под воду в летней рубаше, без рукавиц. Намажет только руки говяжьим салом, голая рука чувствительнее, ловчее работает. Да и лишний воздух без хлопот через манжету стравить можно.

Иван Николаевич — человек ширококостный, ему на кисти резиновые браслеты надевать не надо, еле намыленные пролезают. Это вот для Кочеткова пришлось долго браслеты подбирать: кость у него тонкая, как у птицы. Учить его трудно: он к словам нетерпеливый, недоверчивый. Приходится практикой проучивать. Один раз видит Лапшин: Кочетков на коротких брасах наплечные грузы подвесил. Ладно. Спустил под воду, а у самого от волнения спина мокрая. Сошел Кочетков на грунт, сразу его перекувырнуло. Поднял, спросил:

— Понятно, отчего ты там сальто-мортале, как в цирке, делал? А вот если б тюкнулся иллюминатором о камень, стекло тебе выбило б. Но ничего, теряться не надо, прижми рукавицу, и порядок.

Другой раз на длинном брасе грузы подвесил. Тут совсем наоборот: ходит вертикальный по грунту, согнуться в рабочее положение не может. Ему обучение, а тебе мучение...

Иван Николаевич шел по торфяному грунту согнувшись, осторожно разгребал впереди себя руками. Лед над головой светился, будто туманной ночью луна. Потом он лег на бок и пополз, шаря ладонями по грунту, удостовераясь, не размыло ли где засыпку траншеи.

По своему обычаю, он рассуждал вслух, не думая вовсе о том, кто там, на конце провода, умный или глупый, — это у него такая потребность, все равно как дышать воздухом.

— Ходят, топают по земле веками всякие недоверки, — гудел в телефон Иван Николаевич. — Должность у него такая, что ли, в человека не верить... Вытралить ему на берег валуны и черный дуб для его бухгалтерии! А слово человека дешевле бумаги. Вон у нас лавку без продавца, на совесть открыли. Другой хоть и жуликоватый, а смутится от такой веры, даже лишний целковый положит. Думает, я хоть жуликоватый, но хочу честным быть, а другой вдруг не захочет, из-за одного подлеца на всех тень ляжет. Вот и получается: каждый раз подсчитывают выручку, и всегда лишнее. От хорошего человек хорошим становится. Самое верное средство...

Пока Иван Николаевич все это бормотал, он успел проползти всю подводную трассу дюкера. Отнес в сторонку принесенные течением две коряги, сшил поближе к корню высокий пенёк и перешел на трассу второго, резервного дюкера. При каждом его шаге бурая тина вздымалась вверх, совсем так, как в жаркий день на проселочной дороге пыль под ногами путника. Ощупав руками насыпь траншеи второго дюкера, убедившись в том, что и тут все в порядке, Лапшин решил сходить чуть выше по течению, туда, где дно реки не очищено от завалов черных дубов, — пощупать: если какой-нибудь ствол или коряга не лежит крепко в грунте, весенним половодьем их может отнести на трассу и своей тяжестью они будут давить на стенку газовой трубы.

Он полз на боку в бурой туманной мгле, и песчинки, увлекаемые течением, звонко стучали в медное темя шлема. Черные дубы, пролежав в воде множество столетий, обрели свинцовую тяжесть, стволы и толстые ветви словно изваяны из угля и такие же ломкие.

Иван Николаевич уважал черный дуб за древность. Вытащенные на поверхность, медленно высыхая, дубы становились твердыми, как кость. Если такое дерево отнолировать, оно блестит, как черное стекло.

Иван Николаевич говорил Вовченко:

— Надо местных колхозников подучить черные дубы вытралить, обсушить — и на мебельную фабрику. Тысячи огребут. А то бюсты героям Отечественной войны изговлять. Материал чистый, благородный...

Внимательно ощупывая завалы, Лапшин то на короточ-

ках, то плавным движением всплывал над поверженными стволами или проползал под ними. И вот тяжелая, косо лежащая колонна черного дуба, когда Лапшин уже прополз под ней, медленно и лениво, подломив окаменевшие сучья, осела на грунт и прижала воздухопроводный шланг и сигнальный конец.

Первое дело — это не волноваться, не спешить. Прикинуть все обстоятельства происшествия. Прекратив травить воздух, раздув скафандр до предела, Лапшин подполз к дубу и, привалившись спиной, попытался приподнять. От натуги кожу лица изнутри покалывало, словно иголками. Резина противно скрипела и даже оттянулась, но дуб не тронулся. Лапшин прилег отдохнуть в тину, отдышаться. Потом встал, сильно провентилировал скафандр, отчего его на три метра подняло со дна, потом снова стравил воздух, лег на грунт и начал выгребать из-под ствола торф, тину, чтобы сделать лаз и через него перебраться на другую сторону дерева, освободить шланг и сигнальный конец. Пошла галька и такая плотная глина — ее только струей монитора взять. Несколько раз ложился отдыхать Лапшин. Начали сильно мерзнуть ноги, ныла рука с растянутыми мышцами. Пропотевшее белье сыростью холодило тело. И видно, сучком пропорол водолазную рубашу: чувствовал, как леденяще сочилась сквозь прореху вода. Прибавил воздуху в скафандр. Раздулся, и просачивание прекратилось.

— Прихлопнуло, как мышь за хвост. А все почему? Нетерпеливо под водой продвигался. Ведь трасса под дюкером также была завалена черным дубом. А вот всю ее очистили. Пришел сухопутный служащий, давай ему доказательство. Что же ему водолазы — поденщики? Они, как все люди, соревноваться хотят. Вот Сенькин здесь под водой сколько один черных дубов наворочал. Молодец!

— Спасибо, Иван Николаевич, — раздался в шлеме голос Сенькина. — Спасибо. Только третий час идет, я вам команду даю, который раз даю, — подъем. А вы дисциплину не соблюдаете. Кочетков говорит, вы нарочно меня презираете. И вот я вам окончательно приказываю. Выходи наверх!

— Я извиняюсь, — сконфуженно прогудел Лапшин. — Тут у меня задержка.

— Какая задержка, докладывайте, — вдруг звонко и повелительно произнес Сенькин таким голосом, какого Лапшин у него никогда не слышал.

И Лапшин обиделся.

— Ладно. Не верещи, пошукаю — скажу. — Усмехнувшись, добавил: — Как в побаске, медведя поймал, а тащить не могу: крепко держит.

— Товарищ Лапшин, докладывайте без смешков. Я вам окончательно приказываю.

Лапшин промолчал. И вообще он больше не отвечал ни на подергивание сигнального конца, ни на тревожные уговоры Сенькина, а потом Кочеткова. Ну чем они ему могут помочь? Бубнил глухо, устало:

— Хватит вам орать в трубку. Дайте в спокойствии обдумать.

Усевшись на ствол черного дуба, Иван Николаевич отдыхал после очередной неудачной попытки подкопаться под ствол в новом месте. Чувствовал он себя совсем неважно. Ноги стали как ледышки, из носа текло, слабость болью разлилась по телу. И вдруг он увидел в бурой мгле белый расплывчатый силуэт человека.

— Кто? — закричал Иван Николаевич. — Кто тут ныряет?

— Это не я, — раздался испуганный голос Кочеткова. — Это сейчас Сенькин. Я за вами нырял, не нашел. Мы с инструментом — кусачки и ножик. Как вы на аварийный случай учили. Сначала сигнальный конец перерезать, потом воздушный шланг. Большим пальцем его заткнуть и всплывать спокойненько. Все согласно вашей инструкции. — Добавил обидчиво: — Мы тут вовсе ничего не самовольничаем.

— Отставить! — сказал Лапшин. — Отставить, ребята. Я тут сам, я быстренько.

Встав, он последний раз провентилировал скафандр. Опустившись вновь на грунт, стиснув зубы, навалился на ствол черного дуба, почти стравив весь воздух из рубахи, чтобы она не лопнула от нажима на ствол. Дуб покачнулся. Лапшину удалось немного протаскать вдоль его ствола сигнальный конец и шланг. Но они зацепились за сук. Лапшин ударом свинцовой калоши обломал сук и снова, навалившись на дуб, уйдя по колено в грунт, приподнял и снова протаскал конец и шланг. Только яростное, гневное отчаяние скорби и стыда оттого, что он насмешничал над теми, кто так застенчиво и просто полез за ним сейчас в ледяную воду, чтобы спасти, придало ему эту чудовищную силу. Лапшин выдернул шланг и сигнальный конец, ломая сучья у оконечности дуба. Упал. Лежа на боку, тихо попросил:

— Давайте подъем, ребятаки. Конец и шланг теперь чистые.

В водолазной будке у жарко натопленной печки сидел Иван Николаевич Лапшин и пил черный, как деготь, чай из жестяной кружки. Две пары его толстого шерстяного белья, мокрого от пота, сохли над печкой. меховые чулки-шубники сушились отдельно, подальше от печки. Сенькин сидел на чурбачке, разложив на коленях гигантскую резиновую рубаху Лапшина, и тер ее подпилком, собираясь наложить заплату на то место, которое проткнуло сучком черного дуба. Кочетков сморкался, чихал, кашлял и от этого казался очень деятельным, хотя он в данный момент ничего не делал, а только с завистью наблюдал за Сенькиным, которому Лапшин оказал такое исключительное доверие. Нюра и Маша сидели на лавке. Лицо Нюры было бледнее и шире, чем обычно: побледнело от пережитого волнения и опухло от слез. Она сидела, откинувшись, на лавке, отчего полная грудь сильно торчала под мокрой от пота кофтой. Она совсем изнемогла, глаза ее были мутные, пьяные.

Лицо Маши как-то подсохло, вокруг зеленых глаз обозначились темные кольца, губы потрескались, и нижняя, закушенная, кровоточила. Но она сидела прямо, стараясь сейчас только не думать, что ее тошнит, не думать о том, что все продолжает перед ней качаться.

В окошко водолажной будки был виден лед реки. Дула поземка. Сухие белые полосы снега с жестким шорохом мел студеной ветер. Вода в майне покрылась тонким, как целлофановая пленка, льдом. А та часть реки, которая была свободна ото льда, дымилась паром и плескалась на быстрине желтыми, злобными волнами.

Вместе с шерстяным водолажным бельем Лапшина над печкой сушились синие трусы и зеленая майка Кочеткова, а также бязевая рубаха и такие же кальсоны Сенькина.

Кончив пить чай, Лапшин взял вахтенный журнал и, попросив у Кочеткова его вечную ручку, приступил к заполнению соответствующих граф отчетности. И все, что он там записал, было абсолютно технически точно...

Но думал Иван Николаевич сейчас совсем о другом.

Если бы он находился под водой, возможно, мы бы узнали, о чем он в эти мгновения думал, ибо, повторяю, следуя своей привычке, он всегда под водой думал вслух, вовсе не заботясь, кто там на конце провода — умный или глупый человек.

Кончив запись, Иван Николаевич оглядел Машу и Ньюру, Сенькина и Кочеткова и произнес усталым, утробным голосом, дрогнувшим от волнения:

— Вы, ребята, все же себя аккуратнее берегите. С такими, как вы, очень надежно далеко топать. — И, смутившись, добавил: — Это я себе, а не вам докладываю. А то вот Кочетков послушает и совсем зазнается. — И спросил: — Ты с какого года?

— В тридцать восьмом стартовал, — небрежно объявил Кочетков.

— А ты, Сенькин?

— Я тридцать шестого, я его старше.

— Красиво жить будете! — твердо и решительно объявил Лапшин. Поперхнулся, закашлялся, отвернулся к окну и произнес сипло: — Пуржить начало. Вон как метет! Север, одним словом. А на Кубани, откуда я родом, сейчас весна.

В белесом, невидимом из маленького окошка водолазной будки небе серебряными, светящимися полосами вздрагивало прозрачное белое пламя северного сияния, величественное, таинственное, дивное. Мела поземка и наметала сухие, сыпучие сугробы у стальных труб газопровода, торчащих из берегов реки.

СЕМЬДЕСЯТ ЧЕТВЕРТАЯ ПАРАЛЛЕЛЬ

Зверобойная шхуна «Нерпа» только что вернулась с промысла и встала на рейде острова Диксон, громыхнув якорными цепями. Мачта и палубные надстройки суденышка обросли льдом. Флаг на корме косо примерз к флагштоку.

По всему видно — шхуну сильно потрепало в океане. Мне посоветовали отложить посещение корабля, пока люди на нем не приведут себя в порядок.

Не истаявший за лето снег лежит в ржавых расщелинах скал фаянсовой твердости пластами.

Сизый, вязкий, пенистый туман шевелится в бухте, словно какое-то гигантское рыхлое морское животное.

Фиолетовые низкие тучи плывут над островом, раздирая мягкое брюхо в металлической чаше антенн.

Говорят, нигде пространство не вызывает столь пронзительной тоски у свежего человека, как в Заполярье.

Остров Диксон — конец, край земли и начало владычества океана. На острове — вызывающе против черной мглы полярной ночи — дома покрыты голубой и розовой штукатуркой.

Возле общественных зданий в грунте, привезенном с материка, посеян овес в качестве газона. Как и всюду на земле, тут тоже все относительно, все познается в сравнении.

Для меня этот остров — последняя точка земной тверди перед океанской беспредельностью. Для зимовщиков и моряков Диксон — юг, центр заполярной цивилизации, столь же привлекательный, как для подмосковного жителя столица.

В середине поселка, на перекошенном скалистом пространстве, вспученном валунами, в туманной мгле идет футбольное состязание.

Задача игрока — обвести не только противника, но и торчащие валуны.

Когда мяч уходит в аут, его ищут с электрическими фонарями. Уличные киоски торгуют мороженым, ромашками в горшках. Из парикмахерской выметают войлочные кучи волос командированных, прибывших из Арктики.

Покупатели в книжных магазинах ведут себя со свирепой жадностью. Нигде я не видел столь бойкой и страстной книжной торговли.

В дощатых промтоварных магазинах такой же ассортимент, как и в Москве.

В просторном зале ресторана редкостное изобилие электрических ламп. Световая роскошь, особенно ценимая в периоды длинного мрака полярных ночей.

Энергичные зимовщики, студенты-заочники атакуют почтовое отделение заказными пакетами.

Диксон — перевалочная база для заочников. И самый драгоценный груз, который уходит с острова на материк, — это почтовые тюки на адрес высших учебных заведений от студенческой аудитории, простирающейся до самого Северного полюса. Здесь хвастают не только количеством сданных медвежьих и песцовых шкур, но и сданными зачетами.

Нужно было забраться на край земли, чтобы слушать те же самые разговоры, какие можно услышать в период экзаменационной сессии в сквере у подножия величавого дворца МГУ!

Авиация сильно дискредитировала понятие о пространстве. На острове те же фильмы, которые идут сейчас в Москве и Ленинграде. «Смотаться» в Москву и Ленинград для жителя Диксона значительно проще, чем иногда добраться в пургу на тракторе на зимовку, километров за сто от острова, на побережье океана.

Отпускники, вернувшиеся из Сочи и Крыма, в первые дни забнут и кутаются по-зимнему. Местные граждане гуляют по дощатым настилам центральной улицы с непокрытой головой, в легких плащах, в сандалетах. Мамаши с достойной важностью толкают впереди себя нарядные хромированные коляски с младенцами. Торгующие организации засылают мотоциклы и мотороллеры, а вот детские коляски жителям приходится импортировать из столичных центров.

На доске объявлений приколоты кнопками листочки с написанными от руки текстами: «Куплю детскую коляску для двойняшек или хотя бы напрокат — две»; «Продаю отъездом подписные собрания сочинений русских и иностранных классиков, собачью упряжку, трехстволку

«зауэр, три кольца»; «Интернат купит микроскопы, теодолит, кварцевые лампы для солярия»; «Куплю аквариум»; «Связи временной командировкой (на два года) желаю передать на сохранение комнатные цветы, только любителя или общ. организации»; «Куплю кошку».

Я бродил по дощатым настилам городка, и низкие космы тумана волоклись у ног, как поземка.

Все время я пытался остро ощутить гигантское расстояние, которое отделяло меня от дома, грозное пространство Заполярья. Но никак не мог вызвать щемящего чувства дали.

Здесь, как и всюду на советской земле, существовала та обыкновенность, которая мешала возникновению этого чувства. И то, что здесь строили новую ТЭЦ на три тысячи киловатт, и банно-прачечный комбинат, и новый стадион, и новые жилые дома, и возле здания райкома и райисполкома стояла Доска почета с портретами лучших людей города — все это как бы стирало особые приметы пространства. Но вот когда я вышел за пределы городка и пошел напрямик по мшистой, дряблой земле, очень скоро глазам моим открылась окоченевшая, мертвая пустыня.

Перед этой пустыней тропические джунгли не что иное, как парниковая роскошь, пески Сахары — пляж.

Из болотной топи торчат черные макушки подземных диабазовых скал, рассыпаны круглые гигантские валуны — истертые каменные подшпишники ледников. Какие-то хрящеватые, бледно-зеленые, полупрозрачные, длинные, как водоросли, растения, то сплюснутые, словно присо-савшиеся к земле, то мягкие, как плесень, то жесткие, как кораллы. Пейзаж дна океанских глубин — вот что такое осенняя тундра... И если Арктика — ледяное темя планеты, то вечная мерзлота — ее гигантское подземное хранилище.

Здесь от почвы веет холодом, будто из распахнутого погреба, набитого льдом.

Каждое лилипутное растение своей борющейся жизнестойкостью героично и восхитительно, как подвиг.

Я бродил по влажной хляби мхов, между каменных россыпей и свражных ям, заполненных до краев увесистой талой водой вечной мерзлоты. Под слоем мха лежали пласты желтого, словно старое сало, снега, твердого, как песчаник.

Округлые облака ползли по этой земле гигантскими комками плесени. Я входил в облако, и меня охватывали белый, сырой мрак и ощущение брезгливости, как от при-

косновения слизистой медузы. Я испытывал страх, боясь заблудиться в облаке, свалиться в бочаг с отвесными рыхлыми стенами.

Озябнув, промочив ноги, я снова выбрался на деревянный настил улицы, и сильные электрические фонари, светящиеся в дневном тумане, обрадовали, как солнце.

Среди груды черных камней на острове расположены здания научно-исследовательской обсерватории, радиометеорологической службы и «штаба» арктической павиляции, куда я поднялся на второй этаж по узкой деревянной лестнице, чтобы узнать, будет ли какая-нибудь возможность попасть на судно, следующее в караване по Северному пути в Мурманск.

На длинном столе лежала распластанная карта Арктики. Вокруг нее почтительно стояли навигаторы в черных флотских мундирах.

Коренастый человек с тяжеловесным профессорским лицом, озабоченно склонившись над картой с острокопечным циркулем в руке, напоминал хирурга в решающий момент операции.

В проливе Вилькицкого сейчас шел караван судов, и туда ломились ледяные поля, по площади равные Исландии.

Капитан-наставник, старый моряк, чопорный и надменный, словно английский лорд, в ярко начищенных генеральских ботинках, только что вернувшийся с длительной воздушной разведки, потирал ладонью подбородок, жаловался на то, что в связи с сильной болтанкой не смог чисто побриться в самолете. Он был чем-то взволнован и явно скрывал это.

Но когда небрежно, лаконично и точно он стал объяснять мне ледовую обстановку в проливе, я понял причину его расстройства. Некогда капитан плавал на знаменитом ледоколе, который находится сейчас в составе каравана. И вот сегодня этот корабль трижды затирало льдами, и нынешний флагман арктического флота атомоход «Ленин» трижды возвращался и обламывал вокруг прославленного корабля шестиметровые ледяные толщи, чтобы освободить ледокол из ледового плена.

Капитан сказал доверительно:

— Я начал службу на флоте сорок лет назад кочегаром, а теперь заканчиваю ее тем, что завидую тому, кто начинает свою службу у котлов атомного реактора.

Помедлив, он сообщил задумчиво:

— В двадцатом году, во время голода, чтобы доставить

хлеб людям, наша дружина водолазов подняла с затопленных германскими подводными лодками пароходов три тысячи пятьсот тонн угля. На этом угле мы пошли из Архангельска — целая флотилия во главе с флагманом «Георгием Седовым». Чтобы дойти до Диксона, мы спалили в топках все, что могло гореть на корабле. — И заключил с печальной иронией: — Для нынешних атомщиков это только исторический анекдот.

Подойдя к распластанной карте, не склоняясь над ней, заложив руки за спину, он спросил:

— Ну что вы тут колдуете, капитаны? Я же доложил: колотит ледяное поле напролом. Взглянешь сверху — вместо ледовых полей мозаика. — Усмехнулся: — Мы только морячки, а там физика.

Никто не ответил старому капитану. Он пожал плечами и, обратившись ко мне, объявил бодро:

— Выходит, опоздали, товарищ. К утру караван будет уже далекомько отсюда. — И, обращаясь снова к морякам, сказал вызывающе: — Ну что, капитаны! Сочиняйте новый график, атомоход прибавил нам еще месяц навигации. И это только для начала.

Развалившись в кресле, посоветовал мстительно:

— А кое-кому и у нас здесь придется прописываться на постоянное жительство. Ничего не поделаешь, надо жить по атомному календарю. А по нему выходит — весенняя навигация откроется нынче раненько...

В общежитии научных работников, где мне дали место для ночлега, я познакомился с супружеской парой. Он — инженер-геолог, она — сотрудница обсерватории, тонкая, бледная, с длинными зелеными глазами, рыжеволосая, в желтом тугом свитере и в черных брючках. Он не по возрасту солидный, в ярко-синей рубашке, вместо галстука цветное кашне, упрятанное за расстегнутый воротник.

Словом, явные улики, по которым на материке определяют «стиляг».

Я не очень охотно принял гостеприимное предложение поужинать вместе. С большим удовольствием предпочел бы общество капитана «Нерпы», опытного и бывалого поларника.

Комната супругов своим убранством вполне соответствовала вкусам хозяев. Огромная тахта, обтянутая раскрашенной рогожей, торшер, сделанный из весла, вместо стульев разноцветные табуретки. Низкая книжная полка, сооруженная из неокрашенных досок, сверху уставлена полированными корневищами. Столик с металлическими

ножками, накрытый стеклом. Вот и все, что имелось в этой комнате.

В другом месте такой продуманный вызов против общепринятых атрибутов уюта выглядел бы даже симпатичным. Но на этом скалистом острове на краю земли он мне показался притворным, нарочитым, жеманным и настраивал враждебно-иронически.

Я сказал для того, чтобы что-нибудь сказать:

— Значит, так вы здесь и живете?

Инженер ответил беспечно:

— На Диксоне очень хорошие условия для научной работы, нет отвлекающих обстоятельств. Летом климат почти такой, как зимой на Южном побережье Крыма.

— Ну, а когда полярная ночь?

— День превращается в понятие условное, только и всего.

Раздражаясь легкостью, с какой молодой инженер судил о Заполярье, я не удержался и съязвил:

— Конечно, для вас, старого полярника, здесь уже все привычно.

Инженер промолчал, но супруга заявила с обожанием:

— Володечка считает, что Диксон — это еще не самый Крайний Север.

— Я полагаю, что трудности определяются не столько широтами, сколько степенью материально-технического обеспечения, — самоуверенно сказал инженер. — И вообще первым целинникам было тяжелее зимовать, чем теперь полярникам при современном уровне снабжения. — Обращаясь к жене, спросил: — Согласна?

— Ах, ну что ты, Володечка! — пожала плечами супруга. — Я жила там на привилегированном положении — работала на электростанции. Светло, тепло и всеобщее уважение. — Супруга потрянула тщательно и модно взлохмаченной головой и объявила капризно: — Я ведь просто сбежала на целину от несчастной любви вот к этому типу.

Инженер бросил сердитый взгляд на жену и, вежливо улыбаясь, сообщил:

— Ольга Андреевна хотела работать в Арктике, но по состоянию здоровья ей не разрешили. Мотивом для опровержения решения комиссии послужила работа ее на целине.

— Ты просто нахал, зазнавшийся нахал! По физкультуре я всегда была лучше тебя. Ты часто болел и пропускал уроки, а я никогда ничем не болела! — воскликнула супруга.

— Мы вместе учились в школе, — пояснил инженер.

— И всегда вместе сидели, на одной парте, — напомнила жена.

— Да, сидели, — согласился инженер.

— И я всегда была влюблена в него и никогда не говорила ему об этом, потому что была рыжей, тощей и считала, что все рыжие некрасивые.

— А ты и осталась рыжей и тощей.

— Но теперь я стала красивой и знаю, что я красивая, — сказала женщина.

И, запрокинув голову, повернулась к нам в профиль, приняв надменный вид.

Я смотрел на нее, такую сейчас оживленную, гордую, светящуюся, и только теперь понял, какая она действительно удивительно красивая и как она заполнила собой эту комнату со скудным убранством, где все казалось лишним, кроме нее самой, сухощавой, стройной, озорной, с лицом, освещенным огромными зелеными глазами.

И видно, она поймала мой взгляд, мгновенно смутилась, поспешно села на табурет, как-то вся сжалась, ссутулилась и, робко поглядывая на мужа, спросила жалостливо:

— Но ведь правда, Володечка, я стала сейчас лучше, чем была девчонкой? Я ведь так старалась...

— А я каким был квазимодой, таким и остался, — угрюмо сказал инженер.

Низкорослый, с коротко стриженной крупной головой, упрямо выпуклым лбом и мягким курносым носом, он не мог похвалиться наружностью, и модное одеяние очень не шло ему.

— Володька, — воскликнула женщина, — как ты смеешь о себе так говорить и даже так думать о себе! Это не ты, а я уродина.

— Ольга, перестань, — попросил инженер.

— Ах, так! — сказала она. — Ну так вот. — Женщина отвернулась, подняла руки к голове, что-то сделала с волосами, взяла салфетку, окунула в блюдо, быстро вытерла лицо и вновь обернулась к нам.

Разделенные на пробор волосы туго обтягивали голову, обозначались некрасивые, большие, бледные уши, тонкий хрящеватый нос, безбровое, безресничное, белесое, простенькое лицо, наивное и трогательное в своей незащитности. Она смотрела на нас с презрительной брезгливостью.

— Вот я какая на самом деле, — с мстительной жесткостью сказала Ольга Андреевна и добавила: — И еще есть веснушки, — помедлила, — всюду.

— Ольга, ну зачем ты?!

— Чтоб товарищ знал, какими средствами я добилась, чтоб ты стал моим мужем. Ну как, ужасная? — спросила Ольга Андреевна.

Конечно, та, прежняя, больше соответствовала современному понятию хорошенькой женщины. Но эта, которая сейчас сидела передо мной, яростная, взволнованная само-разоблачением, несла в себе столько пламени любви и безбоязненной уверенности в победе своей любви, что я невольно почтительно произнес:

— Ваш муж должен считать себя очень счастливым человеком.

— Да? — протяжно спросила женщина. — А вот представьте, когда меня здесь не было, он чуть было не женился на другой. — И добавила с нежностью: — Видите, какой негодай, а притворяется хорошим.

Я вопросительно взглянул на инженера.

И он снизошел к моему любопытству...

Инженер участвовал в поисках зимовщика из бухты Омудевой. Ползущий след человека привел к охотничьим «пастьям» на песцов. В них лежали пачки бюллетеней, которые зимовщик должен был доставить промысловым охотникам во время выборов в Верховный Совет. Человек был застигнут черной пургой, но, обессиленный, заморзающийся, он дополз до охотничьих «пастей» и положил туда бюллетени, зная, что рано или поздно их там обнаружат охотники, обходя «пасти». Этот человек даже для спасения жизни не захотел разжечь костер из бюллетеней и погиб, окоченев в снежной яме.

Инженер тоже сам чуть было не погиб в поисках зимовщика, заблудившись в тундре.

Зверовод ненецкого колхоза нашла его в снежной пустыне, спасла, выходила.

— Такая, знаете ли, оказалась славная девушка. — Инженер взял с книжной полки фотографию в пластмассовой рамке, подал мне, предупредив: — Конечно, она здесь хуже, чем на самом деле. — Спросил: — Вы индийскую киноактрису Наргис помните? Так вот, ее копия.

Сходства с Наргис я не обнаружил. С фотографии глядело округлое лицо с суровыми темными глазами в нежно припухших веках.

Жена инженера, наклонясь над фотографией, произнесла с плохо скрытой тревогой:

— А она все-таки ничего. — И бодро объявила: — Все равно я очень благодарна за Володечку. — Потом поспешно

сказала: — Только вы, пожалуйста, не думайте, что он в нее уж так сильно влюбился. Володя — человек крайне рационалистичный. Он просто воображал, что с ней у него получится исключительно ценное содружество для работы в Арктике. С такой женой можно смело и в Антарктиду ехать. — И спросила насмешливо, заискивающе: — Ведь правда, Володечка, тебе с такой женой очень удобно было бы в Антарктиде работать? Она за тобой бы так ухаживала!

Инженер угрюмо молчал.

— Нет, ты скажи, будь честным, — настаивала супруга. — Ведь я права. И он ей предложение сделал, и все логически обосновал, и сел в лужу. Звероводка оказалась студенткой Ленинградского института, и жизнь в Арктике с милым ее совсем не соблазняла.

Инженер сконфуженно подтвердил:

— Действительно, Ольга Андреевна права. Я оказался в глупом положении, руководствуясь только первым впечатлением.

— А как ты осрамился у них на стойбище, не скрывай, дружок! — потребовала супруга.

— Ничего тут нет особенного, — сказал инженер, — просто, когда я мотался один по тундре и вроде как умирал от голода, выяснилось, что я бы вовсе так не ослабел, если б решился съесть хотя бы одну собаку из упряжки. Но это мне просто в голову не приходило — убить животное, которое столько дней таскало меня на нартах, и последним провиантом я, конечно, честно делился с собаками. И когда девушка привезла меня на стойбище, обмерзшего и совсем слабого от голода, все смеялись: как это так — умирать от голода, когда в упряжке столько собак?

Супруга деловито напомнила:

— И звероводка твоя тоже смеялась. Ведь смеялась, да?

— Ну смеялась... — согласился инженер.

— А я вот не смеялась над тобой, — сказала с дрожью в голосе Ольга Андреевна, — а просто ела с тобой собачатину, чтобы ты остался живым, ела не для себя, для тебя. Мне ведь вовсе тогда не хотелось жить, но я жила, чтобы ты остался живым. И ела, ела...

— Ну, правда, ела, — мягко сказал инженер. И строго напомнил: — А где же все-таки твой знаменитый кофе по-турецки?

Ольга Андреевна вышла, хлопнув дверью. Инженер наклонился, косясь на дверь, сказал:

— Мы с Оленькой, видите ли, ленинградцы, в одной коммунальной квартире жили. Блокада. Я сильно слабел.

И вот она кормила меня котлетами. Сами теперь понимаете, из чего... Словом, Оленьке тогда было двенадцать, я ее старше, а вот оказался менее прочным...

Вошла Ольга Андреевна, толкнув дверь ногой. В руках у нее поднос с тяжелыми глиняными чашками. Прозрачные зеленые глаза светились самоуверенно и гордо. Инженер бодрым тоном, будто продолжал то, о чем рассказывал в отсутствие жены, говорил:

— После института сразу поехал на зимовку мыса Стерлегова. Получили звание коллектива коммунистического труда. В сущности, на зимовках коммунистический быт — правило поведения, а вовсе не какое-то особое достижение.

Ольга Андреевна, ставя чашки на стеклянную поверхность стола, заметила строптиво:

— Володя всегда все преувеличивает. И на зимовке и здесь — всюду разные люди. Приехала я на Север, понятно, из-за Володечки, мне ведь в Пулково предлагали. Но старая любовь, ничего не поделаешь. Естественно, я, как и всякая молодая женщина на моем месте, мобилизовала все свои ресурсы, чтобы Володечке всегда правиться. А тут начались пошлые разговоры — стилижка и прочее. Очень, знаете, неприятно. Я бы, конечно, ради Володечки могла начать и безвкусно одеваться. Но он не позволил. И знаете, чем пресек все пересуды? А вот, — Ольга Андреевна кивнула на мужа, — видели? Франт. Начал одеваться обдуманно. И мгновенно разговоры обо мне прекратились.

Оглядев с гордостью мужа, объявила:

— Теперь ясно вам, какой он у меня чуткий, хороший, самоотверженный.

Инженер осторожно снял руку жены с плеча:

— Тоже мне психолог! Просто я принципиально не терплю скидок на быт в Заполярье.

— Слышали? — обиженно воскликнула Ольга Андреевна. — Я же вам сказала: сухой, рационалистичный человек. — Склонившись, бережно поцеловала в колющий затылок и объявила капризно: — Я очень просила Володечку отпустить для меня бороду, как у Хемингуэя, а он не хочет.

— Вам нравится Хемингуэй?

Ольга Андреевна обожаяще посмотрела на мужа:

— Володечка считает, что Чехов — мужественный и смелый писатель, а вот Хемингуэй боится сказать о человеке все, что он о нем знает.

— Ну, а вы сами как считаете?

Лукаво улыбаясь, женщина произнесла певуче и нежно:

— А мне больше всех на свете нравится мой Володечка. Он такой всегда рассудительный. Зимой провалился в трещину, привезли — ледышка. Прибежала в больницу. А он: «Пожалуйста, не волнуйся, я работник умственного труда, потеря какой-нибудь конечности для меня не столь существенна». А вот я бы ни за что не рассталась ни с одной из своих конечностей. Хотя тоже принадлежу к упомянутой категории тружеников.

Инженер объяснил:

— Ольга Андреевна занимается исследованиями некоторых подробностей космического пространства. И вот ее новая работа признана весьма ценной.

Он вынул из шкафа толстую рукопись, отпечатанную на гектографе. Ольга Андреевна перехватила рукопись, небрежно бросила ее обратно на полку, пожаловалась:

— У Володечки единственная слабость — это хвастать мной.

— Но почему же единственная?

— Потому что в других слабостях ты сам никогда не признаешься.

— Тогда скажи, в каких, если знаешь.

— А коровы, — гневно сказала жена, — коровы, которыми ты упрекаешь здесь многих!

— Ну и что? — насупился инженер. — Ведь это правда! Они дают удой три тысячи четыреста литров. Выше, чем на многих фермах на материке. И если бы еще использовать некоторые питательные водоросли, мы могли бы сократить привозные корма.

— Ага! Стесняешься! — победоносно воскликнула жена. — Ты другое говорил. Местными коровами ты упрёскал тех, кто не мог сразу приспособиться к полярным условиям.

— Позволь, позволь, — обиделся Владимир, — не искажай мои мысли! Я утверждал и утверждаю: раз двадцать пять процентов суши нашей планеты — вечная мерзлота, следовательно, нужно рассматривать Крайний Север как обыкновенную часть общей территории страны, и жизнь здесь должна быть такая же, как на материке, без этой самой подчеркнутой исключительности.

— Ну вот, — печально произнесла Ольга Андреевна, — любящая женщина бросилась к нему на этот холодильник, создала уют, а этот тип воображает: иначе и быть не могло. — Пожаловалась: — Теперь вы понимаете, как трудно

быть его супругой. Он железный и волевой, не знающий ни сомнений, ни страха...

— Ольга, прошу! Это уже переходит границы!

— Ну хорошо, — покорно согласилась Ольга Андреевна, — давайте пить кофе и наслаждаться тем, что мы на краю земли чувствуем себя так, как будто живем в самом центре ее цивилизации, — ведь этого хочет Володечка.

— Да, — сказал инженер, — именно этого...

Когда я вернулся к себе в комнату для приезжих, на одной из пустующих коек сидел тучный человек в нижнем белье и, наклонившись над табуреткой, где стояло крохотное зеркало, брился. Покосившись, он спросил с грубоватой бесцеремонностью:

— Ну как, переживают? — Потер ладонью щеку, заключил одобрительно: — Значит, не показали виду. — Признался: — А вот у меня не хватило духу к ним зайти. — Поморщился: — Неприятно себя виноватым чувствовать. Но разве это я? Работа. Заболел гидролог на полярной станции — срочно заменить. Кем? А вот, пожалуйста, Владимир Иванович, чем не кандидатура? И ничего не скажешь! Вполне. А давно ли это «вполне»? До Ольги Андреевны подпустился парень: выпивал, летом в валенках ходил, физиономия в шерсти. Приехала эта пичужка и взяла в оборот. И теперь что ж, правильно. Отдал приказ — примерно на годик их разлучаю. Дело велит, а душа ноет.

Человек крикнул, улегся на койку и, глядя в потолок, произнес мечтательно:

— Я бы сейчас пивка выпил! — Пожаловался: — А то не засну сразу, извините, уж буду вас табачком беспокоить, нервы, знаете ли...

Всю ночь сосед по койке не давал мне уснуть. Он вздыхал, ворочался, курил, пил воду...

Грозным видением вставало передо мной мертвое пространство обледеневшей полярной тундры.

Я лежал и думал о том, что если бы Тунгусский метеорит на самом деле оказался летательным космическим снарядом, благополучно прибывшим на Землю, какую ужасающую тоску испытали бы жители иной планеты, увидев тундру, гигантскую, окоченевшую, болотистую, подобную дну океана. Но первые наши люди, которые высадутся из космического корабля на другую планету, мне думалось, будут обживаться там с таким же надменным пренебрежением к космическому пространству, с каким они относятся тут к ледовой пустыне.

И все, что здесь сделали и делают советские люди, оставаясь всегда такими, какие они есть, было не меньшим подвигом, чем будет грядущий подвиг первых астронавтов.

Утром я не увидел больше моего соседа. Возле его койки на полу стояла большая полоскательница, полная едко воняющих окурков.

Я оделся и вышел на пристань, где уже ждала меня шлюпка. Мы плыли в белом мраке. Туман оседал влажным снегом. Я поднялся на шхуну по спущенному с борта штурмтрапу.

Вся нижняя палуба завалена серыми окровавленными громадами туш белух.

Мачты корабля в белом наросте. Оттаивая, они роняли капли. Было такое ощущение, будто над кораблем идет дождь.

В металлическом вельботе, висащем на шлюпбалках, стоял долговязый юноша и кувалдой выправлял вмятины. Вельбот гудел от ударов, как железная бочка.

Спрыгнув на палубу, юноша провел ладонями по щекам и объявил, застенчиво улыбаясь:

— Вот бородой оброс, совсем как Кастро...

В блестящих резиновых сапогах до паха, в розовой майке, обнажавшей тонкую шею и длинные белые руки с темными тяжелыми кистями, в белесой курчавой бороде, он выглядел весьма живописно. Вот он, оказывается, какой, этот «опытный полярник», капитан «Нерпы».

Но беседа о полярных плаваниях у меня с ним не получилась.

Пригласив в каюту, капитан долго и страстно выспрашивал меня: что там, на Ассамблее в Нью-Йорке? И потом печально объявил:

— Ну какое у нас здесь плавание, время навигации совсем куцее. Весь экипаж — сплошные студенты-заочники. — И спросил извиняющимся тоном: — А что будете делать зимой, если нечего делать — только учиться?.. Как ходили? Нормально. А то, что помяло льдами и разошлась обшивка, так мы помощи не просим. Мы чего по радио от Диксона требовали? Давай сводку! Шли, конечно, с сильным бортовым креном. Встретили лесовоз, предложил помощь, а мы ему тоже — давай сводку. Получили. Включили на всю свою радиомощность веселую музыку для ясности и пошли дальше своим ходом. И вот приберемся, доставим на полярную станцию инженера — и обратно. — Сказал озабоченно: — Надо поспеть к началу учебного года.

— А вы где учитесь?

Капитан усмехнулся:

— Не учусь, а уже сам учу. Окончил заочный педагогический, преподаю ботанику. Ну, еще работаю по совместительству агрономом в колхозе.

— Агрономом?

— Ну да, парниковое хозяйство у нас здесь большое. На ферме три тысячи семьсот коров. Изучаем растительность тундры, косим кое-что на зеленую подкормку. Но лето в этом году выдалось влажное, ничего не прихватишь. А так, бывает, и урожай тонн пятьдесят собираем. — Произнес задумчиво: — Супруга инженера, которого мы на полярную станцию свезем, в астроботанике понимает, говорит, что есть планеты, где климат менее подходящий, чем у нас в Заполярье, а растительность, скажем на Марсе, все-таки существует. Вот ракетой прихватить бы оттуда семян, попробовать, — может, у нас лучше пойдет. Если по-мичурински мечтать — ну, не сады, а пастбища.

Капитан взглянул на часы и попросил:

— Вы меня извините! Баржа сейчас подойдет, надо добычу свалить. Звери тяжелые, как коровы, а стрелы у нас слабые, нужно смотреть и смотреть, чтобы не перегружали.

Мы вышли на палубу.

Непроглядный туман окутывал остров и бухту. С корабля на притулившуюся к борту посудину светил прожектор. Но луч его не пробивал влажную мглу и, отраженный туманом, висел в воздухе световой лужей.

Роился редкий снег. Пресно пахло льдом. Шхуна шаталась и мерно лязгала цепями.

На баке я увидел вчерашнего знакомого инженера. Он был в берете, короткой куртке с множеством пряжек. Одежда несколько легкомысленная для полярной зимовки. Рядом с ним стояла Ольга Андреевна, в таком же черном берете, как на муже, и в серой цигейковой шубке. Лицо ее светилось печальной и нежной озабоченной улыбкой, в руке она держала плетеную авоську, набитую лимонами и луком.

Я спустился по висящему трапу на катер. Мотор взревел. Все скрылось в белесых сумерках. Боецман «Нерпы», плечистый паренек в брезентовом бушлате, сказал сердито:

— На рассвете на корабль прибежал начальник полярной службы, брюхатый, жирный, как белуха. О пассажире суетился. Дал команду каюту первого помощника освободить... Нам что, пожалуйста, потеснились. Пришлось

только график культработы несколько поломать. Инженер обещал лекции читать. Посмотрим, что нового скажет: мы «Технику — молодежи» выписываем, народ подготовленный.

Катер привалился к склизкой стенке пристани. Я сошел на невидимую в тумане землю. Лязгали ковши кранов, выгружая из трюмов лихтеров норильский каменный уголь. Высоко рычали в бухте корабли. И когда от дуновений ветра туман шатался, отчетливо выступали из берегов черные, грозные диабазовые скалы, и в расселинах их угрюмо мерцал сизый, не истаявший за тысячелетия лед.

1960

ТРАССА

Чем дальше на север уходит трасса магистрального газопровода, тем гуще, сумеречней леса и все дольше тянутся бурые торфяники с ярко-рыжей, стеклянно-прозрачной, незастывающей водой в мочажинах.

Сотни километров стальной трубы уложены в землю. Протащены дюкера через водные преграды. Но впереди еще много трудных переходов. Строители питали надежду на то, что стужа проморозит самые гиблые болота. Но зима выдалась мягкая, нежная или, как ее пазывали здесь, подлая.

Там, где болота приблизились к автомагистрали, на обочинах щиты с человеколюбивыми надписями: «Прход запрещен — топь!»

Местные жители хвастались, что в здешних болотах лютой зимой сорок второго года утонули немецкие бронетранспортеры. Ни у кого из строителей газопровода такие патриотические воспоминания не вызывали воодушевления.

Строительная мехколонна своим моторным могуществом подобна танковой части.

Болотная пучина дрябло сопротивлялась. Торфяной покров колыбался, словно плавучий остров, и гнилостно лопался под тяжестью машин.

Бульдозеры отдирали толстые пласты земли, сочащиеся коричневой жижей. Выдавленная из недр черная трясина обдавала потоками вонючей черной грязи. Смерзаясь, она обретала каменную твердость лавы.

По просеке, которую проскребали бульдозеры, двигались долговязые экскаваторы, подталкивая ковшами себе под гусеницы связки бревен. Стальная бесконечная кишка газопровода приподнята на коротких стрелах кранов-трубоукладчиков. Чтобы удержать трубу и не перекувырнуть-

ся, на борту трубоукладчиков навешены чугунные тяжкие плиты противовесов.

Очистные машины, оседлав трубу, шлифуют ее до зеркального блеска металлическими щетками. Вслед ползет агрегат, с медицинской тщательностью бинтующий ствол трубы широкими полосами изоляции, поливая ее расплавленным огненным битумом.

И вся эта колонна машин работает в болоте слаженно, словно завод, а уходящая на сотни километров просека — словно бесконечно вытянутый цех этого завода.

Но зияющие черные ямы там, где увязали машины, с плавающими на поверхности обломками бревен, обрывки скрюченных стальных тросов, поверженные, вдавленные, измочаленные стволы деревьев, жирные лужи машинного масла свидетельствовали, что труд строителя по всему напряжению здесь равен бою.

В такую пору еще короток день на Севере. Скоро ночная мгла плотно припала к земле. На машинах зажглись фары. Световые столбы упорно толкались в темноте.

Когда прожекторный луч падал в заросли, пронзительно вспыхивали хрустальными фонтанами обледеневшие деревья. Потом голубой луч утыкался в землю, и белый дым болотной испарины клубился в нем, будто в стеклянной трубе.

К ночи болотная хлябь обмерзла каменной корой. Под тяжестью машин корка лопалась с таким гулом, с каким река в половодье взламывает свою ледяную крышу.

К заболоченной низине подъехал грузовик-фургон, в котором развозят рабочих мехколонны на ночлег по избам. Шофер крикнул:

— Эй, механики, такси подано!

Но никто не откликнулся на призывный возглас.

На болотной кочке лежала старая автомобильная покрывка и кипела жирным, чадным пламенем.

К этому костру из резины подходили рабочие мехколонны; одни присаживались у огня на корточки, другие, отворачиваясь от дыма, стояли, протянув к огню руки.

Тракторист Белкин, человек среднего возраста, но уже с брюшком, солидный, знающий себе цену, сидя на земле, переобувался. Одутловатое лицо его с тщательно подбритыми узенькими усами сурово-озабоченно. Встряхивая над огнем портянки, он рассуждал:

— По статистике у нас здесь на каждую человеко-единицу по семьдесят лошадиных сил приходится, но до

полной механизации нам жердей не хватает, чтобы из них ходули сколотить. — Пожимая полными плечами, заявил: — Просто удивляюсь, ноги промачиваю, а грипп меня почему-то достигнуть не может.

Пожилой сварщик Лопухов, сушивший у костра пачку электродов, отозвался иронически:

— Может, тебе амфибию заказать или лучше всего вертолет? Будешь сидеть на воздушных в чистоте и аккуратности. А то верно, какое безобразие: человек на работе ноги промочил, а он желает в коммунизм на сухих ногах шагать...

Белкин обиделся. Полное лицо его набрякло. Топчась босыми ногами по снегу, крикнул:

— Ты, Лопухов, меня не задевай. Я в танке два раза подряд горел и в Берлин на танке въехал. Неохота мне тебе грубое слово говорить. Вот чего! И на этом у меня с тобой точка.

Лопухов плюнул на палец, потрогал горячие электроды, скосив глаза, осведомился:

— Ты чего кипятишься? Трактор твой в болоте вязнет? А отчего он вязнет? Траки узкие, на них и жалуйся. А то, видите ли, ножки промочил, с этого будто расстраивается. — Усмехнулся, приподнялся и, показав рукой на железные плиты, обвязанные проволокой, на которых он сидел до этого, добавил: — Ладно, сберегу я тебе твои нервы, приварю к тракам эти дощечки, и получится, как ты даже об этом во сне не мечтал.

Белкин пытливо взглянул в глаза Лопухову, нагнулся, поднял тяжелую железную плиту, долго недоверчиво разглядывал, но постепенно его пухлое лицо стало расплываться в широкую улыбку.

— С высокой вышки ты, Лопухов, дело понял. Я прямо заявляю, с высокой вышки.

— Дошло? — спросил Лопухов. — Значит, есть на чем шапку носить. — И заботливо посоветовал: — Ты, Володя, обуйся, а то зря босой по снегу толчешься, захворать недолго. Ты мне подсобить должен, одному мне не справиться.

Прыгая на одной ноге, поспешно обуваясь, не спуская с Лопухова восторженного взгляда, Белкин твердил:

— Ну и человек! Вот человек!.. Ну и человек, с самой величайшей буквы...

К костру подбежал, зажав под мышками озябшие ладони, худенький молоденький бульдозерист, весь до плеч заляпанный заледеневшей болотной грязью. Сунув прямо

в огонь окровавленные, в ссадинах, опухшие сизые руки, звонко пожаловался:

— Четвертый раз Пеклеванного вытягиваю. Увязнет, одна стрела торчит наружу — тяну, тросы лопаются. Завяжу бантом. Та же музыкальная история. Трах — и нет струны. — Взглянул на Лопухова, сказал извиняющимся голосом: — Решил передохнуть маленько, морозом грунт крепче схватит, и за ночь, пожалуй, проскребу всю бо-лотину.

Лопухов сощурился:

— Всеми советскому народу порешили рабочий день сократить. Только один наш Ваня несогласный, у него свое мнение.

— Так, Василий Егорович, — взволновался бульдозерист, — я ведь почему так? Днем грунт некрепкий, приходится лежневку класть, сколько кубометров леса зря в грязь утапывать. А ночью землю смороженную задаром пройти можно. Значит, сколько тысяч рублей сберечь можно.

— Хороший ты паренек, Ваня, это я тебе официально говорю, — без улыбки произнес Лопухов.

Подошла изолировщица Лина Саночкина. Поверх бежевого пальто она была обвязана большой, как одеяло, шалью. Попросила жалобно:

— Пустите, товарищи, замерзла — сил нет. — Но тут же поспешно заявила: — Хотя вообще я уже привыкла работать при низкой температуре.

Бульдозерист, глядя на девушку, сказал мечтательно:

— А на Кубани летом ты, Линочка, как русалка, в купальнике работала. — Обернулся к Лопухову, сообщил радостно: — В Бухаре под землей целый океан газа обнаружили, будем оттуда нитку тянуть. — И, кивнув на Саночкину, добавил заботливо: — Там ей тепло будет, даже жарко.

— Нам, газовикам, партия на семь лет расписание составила, насквозь всю землю трубопроводами прошьем, везде побываем, — заметил Лопухов.

Линочка дернула плечом и сказала вызывающе:

— Во-первых, бухарский газ мы будем тянуть на Урал, а там климат континентальный.

— Вот что значит полное среднее образование, — громко рассмеялся бульдозерист, — всё знаете.

Девушка обидчиво и гордо вскинула голову.

— Считаю твой смех неуместным. — Нервно засовывая выпавшие из-под платка каштановые прядки, заявила

вздрагивающим голосом: — И вообще, если ты снова не будешь заниматься в школе рабочей молодежи, ты не сможешь быть членом бригады коммунистического труда. Я тебя, Иван, об этом решительно предупреждаю.

— Ух ты, какая строгая! — заступился за паренька Лопухов. — А то, что он всю ночь вкалывать по своей воле на трассе будет, это тебе что, не коммунистический показатель?

Девушка сияющими глазами быстро взглянула на бульдозериста, но тут же потулилась и сказала служебным голосом:

— Это только один показатель, а мы должны взять на себя целый коммунистический комплекс.

— Выходит, ты неполноценный? — уставился на паренька Лопухов. — Или отлыниваешь от чего? — Потребовал строго: — А ну доложи пожилому человеку, из чего ты состоять должен.

Паренек, шаркая по земле ногой, проговорил сипло:

— Ну, значит, давать самую высокую в мире производительность по своей части...

— Ну и как? — осведомился Лопухов. — Получается? — Не дожидаясь ответа, заявил: — Я, ребята, не для хвастовства, а в порядке информации, — всегда больше, чем две нормы. С этой точки я для вас подхожу?

— Вы, Василий Егорович, — вежливо сказал паренек, — автоматами пренебрегаете, наловчились на ручной, как потолочник много зарабатываете, а о дальнейшей своей перспективе не думаете.

— Значит, не подхожу?

Паренек вопросительно посмотрел на Саночкину. Не получив от нее помощи, кашлянул, пробормотал сконфуженно:

— Значит, пока нет. — И тут же поправился: — Но мы на вас, Василий Егорович, воздействовать будем, и тогда пожалуйста.

— Формалист ты!

— Я, Василий Егорович, просто очень высоко думаю о тех, кто в такой бригаде состоять будет, — тихо произнес паренек.

— А себя небось зачислишь?

— Вовсе нет, во мне пятно есть.

— Это какое же такое пятно?

Паренек махнул рукой, попросил Лину Саночкину:

— Скажи.

Видя, что девушка колеблется, повторил повелительно:

— Говорю, скажи. Я своих пятен не боюсь.

— Он бульдозером столб телефонный своротил, никому не сказал, сам его на место ставил, провода соединял. А из-за того, что он один со столбом возился, люди сколько времени без связи были.

— Что ж ты так?

— Я испугался.

— Испугался? Бульдозерист, он все равно что танкист, должен быть смелым.

— Я смерти не боюсь.

— А прораба, выходит, больше смерти испугался, если сказать про столб не посмел.

— Вы его, пожалуйста, больше не критикуйте, — попросила девушка, — мы его и так сильно критиковали. И он ужасно все сильно переживал.

Лопухов положил руку на плечо пареньку, сказал озабоченно, ласково:

— Это хорошо, что ты так расстроился. Нам люди-деревяшки вовсе не требуются. Нам люди очень душевные нужны. И с этого главная красота жизни будет. — Задумался, проговорил наставительно: — И правильно, ребята, что вы так высоко мерку под свою бригаду держать хотите. Только я так полагаю, выше темени ее задирать ни к чему. Дерево кверху растет не оттого, что его кто-то для этого дергает. Подтягивать друг дружку можно, а вот дергать — это не обязательно.

— А я хочу, чтобы он всем был хороший, — решительно заявила девушка. — И буду его дергать, как вы выражаетесь.

— А в кино ты с ним хоть раз ходила? — осведомился Лопухов.

— Ходила, — шепотом сказала девушка.

— Ну, тогда порядок. Тогда, значит, все правильно.

Бережно завернув просушенные электроды в кусок брезента, Лопухов встал, потоптался на месте, будто не решаясь сразу уйти от тепла костра, поглядел на просеку, где лежала на насыпи гигантская труба газопровода.

— Вот товарищ Ленин мечтал еще задолго до революции, какое облегчение даст горючий газ людям. А теперь мы его мечту исполняем в полном масштабе. Такая, значит, картина получается. — Лопухов вздохнул и, переведя взгляд на девушку, произнес строго: — Ты его воспитывать воспитывай, но зря пилить брось. Я-то вижу, с чего вы друг дружку задеваете.

Подмигнул и пошел к трактору, с которого Белкин уже успел снять гусеницы и расстелить их по земле, приготовив к сварным работам. Ушли и другие рабочие.

У костра остались бульдозерист и девушка. Высокое пламя отгораживало их друг от друга. Бульдозерист последний раз протянул к огню опухшие, в ссадинах руки, потом туго натянул нарядную, из серого каракуля ушанку, произнес сконфуженно:

— Ну, я пошел. — И, будто оправдываясь, объяснил: — А то мотор застынет.

— Мы сегодняшнее твое обязательство обсудим и учтем, — пообещала девушка.

— Ладно, учитывайте.

Ссутулясь, он пошел, хлюпая по черным лужам, натекшим от костра.

— Ваня! — жалобно крикнула девушка.

Бульдозерист остановился.

— Ваня, — сказала девушка, — ты постарайся.

Растерянная улыбка блуждала по ее лицу, до этого такому самоуверенному и даже надменному.

— Чего там, — буркнул паренек. — Сотру пятна, — значит, сотру.

— Ты понимаешь, — сказала девушка, — я как комсорг должна подходить к тебе строго принципиально.

— Я понимаю.

— Но мне лично, понимаешь, лично надо, чтобы ты был во всем самым хорошим. Слышишь, мне лично. — Все это она проговорила быстро, задыхаясь, высоким срывающимся голосом.

— Самым лучшим я все равно не буду, — мрачно сказал паренек.

— Почему? Ведь ты можешь...

— Пеклеванный — бывший танкист. Он бульдозер так водит, словно это «Москвич». Вокруг столбов восьмерки делает. А я сшиб. — Признался уныло: — Нет, мне еще далеко до Пеклеванного. Тут у меня не получится.

Девушка смотрела вслед бульдозеристу. Лицо ее было расстроено и взволнованно. Снежинки, падая, таяли на щеках и, не тая, повисали на бровях и ресницах.

Вспыхнули фары на бульдозере, и тяжелая машина, дробя гусеницами черный болотный лед, низко опустив нож, вспахивая широкие пласты застывшей торфяной почвы, с танковым ревом стала прокладывать просеку в болотных зарослях.

Едкая белая луна бесшумно пылала жгучим холодным огнем.

Стужа сушила влажный воздух. Синими искрами сыпались с неба тончайшие ледяные чешуйки. Из заболоченных падей вздымались, словно бугристые острова, холмы.

Над заболоченной землей напух мглистый туман. Болота сочились незамерзающими родниками с желтой и прозрачной, как янтарь, водой. Сквозь чащобу зарослей светлой бесконечной аллеей пролегла бесконечная просека.

Серые сумерки северной ночи полосовались голубыми едкими огнями фар, и слышался танковый рев моторов машин, прокладывающих траншеи в первозданной болотистой хляби.

1960

ПОД НЕБОМ АФРИКИ

Эта древняя мечеть простой и строгой архитектуры, с кирпичным шестигранным минаретом, походит на старинную заводскую трубу, под тяжестью времени она глубоко вдавилась в землю.

Оклепанные грубоковаными гвоздями двери ее покрыты изощренной резьбой — тончайшим и хрупким древесным кружевом.

Двор мечети выложен огромными плитами желтого песчаника. Пламенное солнце Африки жжет сильными прямыми лучами. Плиты накалены и угарно воняют жаркой пылью.

Под «слоновой пальмой», ствол которой подобен бетонной колонне, недвижимо восседает на циновке неимоверно костлявый человек в чалме из ветхой бязевой ткани.

Жесткое сухое лицо его, изъязвленное давними следами оспы, казалось столь же каменным и надменным, как лицо сфинкса. Десятка полтора пестрых тощих кошек изнеможенно и покорно возлежали у его босых ног, черных, как черное дерево. Молящиеся, выходя из мечети, склонялись, надевая обувь, оставленную во дворе, и склонялись еще ниже, когда с выражением благоговения подходили к сидящему на циновке человеку и бережно прикасались губами к его руке или высоко вздернутому костистому плечу.

Человек принимал эти знаки почтения равнодушно, как должное.

В каирском музее я видел мумии фараонов в масках из мягкого золота, запечатлевших черты лица былых повелителей. Но эти маски из жирного золота уступали величию отрешенности от всего земного, какое застыло на лице человека, сидящего во дворе старинной мечети.

Пронзительный взгляд его немигающих, как у птицы, глаз был чужд и враждебен.

Я почти физически ощущал на себе их едкий блеск, излучающий черный холод. С таким же презрительным высокомерием он смотрел и на Капустина. Но Капустин только слабодушно и завороженно улыбался. Сделав несколько робких шагов, он приблизился к человеку, опустился перед ним на корточки и пролепетал умильно:

— Кошечки, кис, кис.

Наш чопорный переводчик счел нужным предупредить:

— Это очень святой человек, очень.

Жгучий взгляд святого выражал уже не презрение, а гневное негодование.

Капустин жалостливо попросил:

— Вы объясните, пожалуйста, гражданину: очень я, знаете, животных люблю. Дома у меня свой кот остался.

Одна из пестрых египетских кошек, поддавшись зову Капустина, доверчиво обнюхала призывно шевелящиеся толстые пальцы, прыгнула на колени, забралась на плечо. Лицо Капустина стало блаженным и торжествующим. По-приятельски подмигнув святому, он объявил:

— Видал миндал! Зверь сразу хорошего человека чувствует. — Сказал восторженно: — Это же умнейшие существа. Мой Барсик лапкой форточку открывал. — И, скрючив руку, Капустин показал, как действовал его кот лапкой.

Святой сердито повел глазами на переводчика, и, когда выслушал, лицо святого смягчилось.

Но Капустин, казалось, совсем не интересовался святым, он с упоением ласкал кошку и был весь в неге от столь приятного для него занятия.

Коренастый, широкоплечий, с красной, опаленной африканским солнцем мясистой добродушной физиономией, Капустин, сощурив узкие, с лукавинкой, детской голубизны глазки, наслаждался признательной кошачьей нежностью.

Выпуклый коричневый лысый лоб его пересекал чудовищный глубокий рубец, и когда кошка щекотала этот фиолетовый рубец пушистым хвостом, Капустин блаженно ухмылялся.

Переводчик сказал:

— Святой хочет знать: кто вы?

— Валяйте доложите! — согласился Капустин.

Ну что мог рассказать о Капустине переводчик? Русский рабочий. Приехал в Египет помогать строить Асуан-

скую плотину. У себя дома участвовал в строительстве еще более гигантских сооружений. Был в Порт-Саиде на экскурсии и благоговейно положил цветы у подножия памятника героям — борцам за освобождение. В Каире возле гостиницы увидел: ребяташки играют тряпичным мячом, опытной ногой футболиста пнул мяч, и возникло опасение, что Капустин так и останется на улице и будет бегать с ребяташками за мячом. Но, избежав искушения, Капустин только помахал им рукой. На следующий день купил настоящий футбольный мяч и неловко, конфузливо подарил ребятам. Ходил вечером в «Мертвый город», где в склепах гигантского кладбища живут тысячи бездомных. А потом ночью пил водку, беспрестанно курил, вздыхал и утром неожиданно заявил, что решил остаться в Египте работать на новый срок.

Вот, пожалуй, все, что знал о Капустине наш каирский переводчик.

Переводчик сказал:

— Святой человек спрашивает: откуда у вас столь страшный шрам на голове?

— Так, отметинка, на память о войне, — сказал Капустин.

— Значит, вы храбрый воин?

— Солдат был, как все.

— Нравится вам в Египте?

— Жарковато, а так ничего.

— Вы, конечно, неверующий!

— В бога — нет, а в человека — да!

— Вы следуете какому-либо определенному учению?

— А как же, у нас весь народ прицельно думает.

— Вы не имсете желания объяснить сущность исповедуемого вами учения?

— В чем дело, пожалуйста, — радушно согласился Капустин. — Вот, к примеру: человек человеку друг, товарищ и брат, и ради этого и стараемся, чтобы у всех все было.

— Святой говорит: человек смертен. Достойно поклонения только то, что бессмертно.

Капустин озабоченно нахмурился, потом сердито ткнул пальцем по направлению к мечети, спросил:

— А ну, пусть гражданин святой скажет фамилии ребят, которые это здание построили. Рабста, глядел, будьте спокойны, сколько веков прошло, а капитального ремонта не требует.

— Святой не может вам на это ничего ответить.

— Не может, — буркнул Капустин. — Понятно, почему не может. Человек не телом, а делом бессмертен. Вот где фокус. Ребят этих, строителей, и в помине нет. А работа их стоит бессмертно. Труд человека я и кланяюсь. Такая моя идеология... простей простого.

— Святой говорит: жизнь человека кратка и суетна. Все смертны, и все перед смертью ничтожны.

— А что он понимает, ваш святой, в человеческой смерти? — спросил Капустин. — Он ее в глаза каждый день видел? А я видел на фронте во всех вариантах. Меня вот как осколком толкнуло, будто паровозным буфером с полного хода. Был солдат — нету солдата, одно мясо. Сутки мертвый лежал. А начал в жизнь входить, хоть пол-ума во мне, а понимаю, очнусь — в какую ужасную боль, думаю, влезу. Лежу, руки-ноги раскинул, и все в красном тумане, и все сплошная боль. А все-таки тужусь, вспоминаю, как в атаку бежал, как трусил и как виду об этом не показывал, и когда заметил, что за другим бойцом бегу, вроде себя человеком заслоняю, пересилился и шагнул в сторону — тут меня и накрыло. Выходит, перед смертью свое человеческое не потерял, не унился. Приполз в санбат. Врач не верит, что я живой, и руки у него от изумления трясутся, когда кости выпимал. А я за жизнь держусь и помереть себе не позволяю. Видал, нижняя губа рассеченная, так это же я сам себе тогда прокусил. Теперь, конечно, уродство. А ведь с расчетом кусал, чтоб боль в башке маленько ослабить, на другую точку ее вроде увести. Вот, мил человек, какой факт я на своем опыте со смертью проверил. Смерть — глупость. Она все равно как вот этот камень — дурак, и все. И все неживое без человека — дурак. А ты, гражданин, смерть хвалишь — некрасиво. Очень некрасиво ты думаешь. Все живое — красота. И все живое хвалить надо. Если оно, конечно, не какое-нибудь вредное насекомое.

Взволновавшись, Капустин достал сигареты, протянул святому, спохватился, сказал смущенно:

— Извините. Чуть не совратил, рамадан, вам сейчас не положено. — И произнес примирительно: — Конечно, если у человека нет перспективы, его на пессимизм всегда тянет.

Святой внимательно слушал переводчика, и с каждой фразой лицо его добрело. Сделав широкий жест, он пригласил Капустина пересесть на циновку. Усаживаясь, Капустин с облегчением вытянул ноги, объявил:

— Мастера вы на корточках сидеть, а я вот не наловчился.

Сидя на циновке плечом к плечу со святым, Капустин чувствовал себя удивительно свободно и естественно, его совсем не изумляло то, что он в Египте под жгучим солнцем Африки сидит рядом с человеком, которого считают святым. Для него святой был просто человеком, таким же человеком, как и он сам, Капустин. И он разговаривал со святым, как с обычным человеком.

И в этом, видно, было заключено таинство силы обаяния Капустина, которому невольно подчинился святой. И по лицу святого блуждала печальная, но уже дружеская улыбка.

А Капустин, положив ему на слабое угловатое плечо свою тяжелую, с железными пальцами механика руку, говорил озабоченно:

— Тебе, гражданин, надо бы на Асуан съездить. Поглядел бы — картина. Я тут за город ходил, пирамиды смотрел. Вещь! Но мы же для дела погромადней штуку сооружаем — на пользу народу. Приезжай со всеми своими кошками, а после людям расскажешь, по-своему, конечно, расскажешь. Ты ведь человек религиозный, я понимаю, но против факта не попрешь. Я же видал, как тебя молящиеся уважают. Вот и расскажешь между молитвами. А я тебя с моими учениками познакомлю — ребята способные, подающие надежды. И тоже одной с тобой веры. Они тебя от одного фанатизма на руках по всей стройке понесут. Все будет как тебе по званию положено.

Святой внимательно слушал переводчика, который, почтительно склонившись, шептал ему на ухо и каждый раз низко кланялся, когда святой сам начинал говорить.

Капустин взглянул на часы, поднялся и, протянув святому руку, сказал:

— Ну что ж, посидели, поговорили, пора и честь знать. Будьте здоровы.

Но святой не принял руки Капустина. Он странно, беспокойно озирался и потом вдруг повелительно приказал Капустину снова сесть на циновку.

Капустин подчинился.

Лицо святого вдруг обрело азартное, хитрое выражение, сухие губы его бережно стали бормотать звонкие стихи. Он простер тонкие худые руки с огромными сизыми ладонями, и тогда, словно по велению свыше, вся кошачья ватага, нехотя покинув циновку, выстроилась и, подчиняясь напевному стихотворному ритму, стала мерно шествовать вокруг святого. Потом с ленивым достоинством и змеиной

грацией кошки выполняли различные цирковые номера, которые смело можно было отнести к высокому классу искусства дрессировки. Лицо святого, командующего своей кошачьей ватагой, было возбужденно и гордо сияло, огромная чалма сползла на одно ухо, что придало ему странно лихой вид.

После того как представление кончилось, мы поблагодарили святого и почтительно с ним распрощались, он проводил нас до самого выхода. И когда мы шли по кишачей машинами одной из центральных улиц Каира, наш чопорный переводчик, сын шейха, получивший образование в Англии, пожимая узкими плечами в морковного цвета пиджаке, произнес презрительно:

— Базарный фокусник! Этот старик с кошками известен тем, что шляется по пустыне и поет там свои стихи кочевникам. Сам он бывший феллах — мужик, который притворяется дервишем. Нищие почитают его святым и восхваляют свыше меры. Но если бы кто-нибудь из образованных мусульман увидел этот кошачий цирк во дворе мечети, он с возмущением прогнал бы старика на базар, где ему истинное место.

— А разве святой человек никогда раньше не показывал здесь представление со своими кошками?

— Никогда, — решительно и негодуяще заявил переводчик.

Мы переглянулись с Капустиным...

Вдоль набережной Нила на фоне неба синей эмали стояли торжественные пальмы. Окна зданий были украшены тяжеловесными каменными решетками затейливого орнамента. Они полезны здесь, эти решетки, они поглощают неистовый жар африканского солнца.

Облокотившись о парапет набережной, мы смотрели на могучую реку.

Капустин сказал грустно:

— Значит, завтра вы уже дома. А я вот на новый срок переписался. И кто меня дернул в этот «Мертвый город» ходить! Понимаете, люди среди мертвяков на кладбище живут. А куда им деваться? В пустыню, что ли, так там без воды сдохнешь. — Стукнул тяжелой мускулистой рукой о камень парапета и пригрозил Нилу: — Обожди, голубчик, мы тебя Асуаном осадим, заставим на людей работать. Кончать надо с этим безобразием, чтоб люди на земле не по-человечески жили. — Потом усмехнулся и произнес: — А святой-то ничего парень оказался, доступный. Надо только подход к каждому человеку знать.

Сгущенный зной жег нестерпимо. Воздух был как белое пламя, и вода Нила не давала прохлады и казалась горячеей.

Капустин заметил:

— В Каире еще ничего, прохладно, а вот в Асуане сейчас пекло. Коснешься голой рукой металла, отдернешь — печется. Но ничего, я там вроде огнеупорный стал — в работе себя забываешь.

Я смотрел на бурое, мясистое, прорезанное глубоким шрамом добродушное лицо Капустина с узкими, детской чистоты, голубыми глазами и не мог понять, что же в нем преобладает — бесконечная доброта или непреклонная воля. Таким он мне и запомнился, этот наш рабочий человек в Африке.

МОНТАЖНИКИ

Бригадир монтажников, человек атлетического сложения, в брезентовой робе, тяжело бухая сапогами, взошел на палубу самоходного понтона и закричал на всю реку:

— Сухов! Сухов! — Выждал, прислушался и снова заорал так, что казалось, на висках у него лопнут вены: — Сухов!

— Ну чего вы кричите? «Сухов, Сухов»... В чем дело?

— Ты не Сухов? Тебя не спрашивают.

— Ну, не Сухов. А для вас, кроме Сухова, людей на стройке нет?

— Так ведь он в своем деле маг и волшебник! Личность! — Сощуриив маленькие, хитрые, как у слона, глазки, бригадир спросил: — А ты в красненьких плавках тут загораешь?

— Работаю!

— Интересный рабочий класс появился. Налегке считаываешь прибежать в коммунизм под аплодисменты зрителей.

— Да ведь жара!

— А руки что? Зябнут? Почему в рукавицах?

— Коренной подшивник менял, не видите?

— Голой рукой ухватистей, понятливей! — Усмехнулся. — Теперь понимаю, отчего у меня лицо в стенгазете как у верблюда! Ты небось рукавицей карандаш держал.

— Вам не понравилось?

— Нет, почему же, если под критическую заметку, то — вполне. Но факт описан положительный, а рожа при нем отрицательная.

— Я хотел самое основное ухватить.

— Вот именно, схватил первое попавшееся и на все две недели увековечил.

— И только главное выделил. Такое непримиримое, волевое. — Юноша снял рукавицу и провел зигзагообразно рукой в воздухе.

Бригадир внимательно проследил за движением руки, обьявил сердито:

— Ну и соврал людям. Какой же я волевой и непримиримый, если после всего с тобой рядом стою и добродушно разговариваю?

— Просто вы не поняли рисунка!

— Чего же тут не понять? Изобразил грубую схему моей физиономии, и все.

— Нет, не все! Я и свое отношение к вам выразил!

Бригадир насупился, молчал, думал, произнес решительно:

— Так, ясно! Теперь давай прикинем, кто ты. И кто я. Ты молодой, спортивный, аккуратненький. Я — в годах, брюхо и прочее. Допустим, я тебя на монтаж турбин беру...

— Правда? Возьмете? — обрадовался юноша.

— Обожди. Я рассуждаю теоретически. Ну, взял, допустим. И у тебя все будет получаться неладно, а у меня, как всегда, все тютелька в тютельку. Станут на нас с тобой слесаря смотреть, и будешь ты в их глазах очень некрасиво выглядеть, а я — красиво. Ведь так?

— Так, — согласился юноша.

— А если ничего не понимающая в монтаже лаборантка на нас с тобой посмотрит? Ей кто приглянется? Ты! Да еще в плавках! Просто Аполлон из московского музея имени Пушкина. Значит, что? Не всякая точка зрения есть последняя инстанция. Так!..

Бригадир глубоко вздохнул, побагровел, зычно крикнул:

— Сухов! — Выждал, прислушался. — Исчез Сухов в неведомом пространстве. Значит, клев!

Сел на железный горячий борт понтона, пожаловался:

— Сибирь, а печет, как в Африке.

— А вы искупайтесь!

— Вода холодная, простужусь, а мне болеть нельзя.

— У вас что, сердце?

— Организм в полной исправности, — с достоинством сказал бригадир, — но обязан его оберегать. Администрация недостаточно подъемной механизацией обеспечила. Для крупных деталей краны, а вот мелочь вручную подгоняем. Чемпионы мира по поднятию тяжестей могут штангу ронять, аж доски трещат, а мы такого позволить себе не можем. У нас вещи ценные, бросать невозможно. Затянешь брюхо ремнем потуже и берешь вес со всякого положения.

— Вы сильный!

— Ничего, не жалуюсь. В артиллерии служил. Был случай, у орудия один остался, фашисты пристрелялись. Надо менять огневую позицию. Тащил орудие, как битюг, выдохся, лег. Их автоматчики набежали, схватил лом-лапу со станины. Отбился.

Он закурил, произнес уважительно:

— С нашим прорабом Игорем Сергеевичем вместе служили. Я уже батареей командовал, а он у меня рядовым бойцом огневого взвода. Потом я его вычислителем выдвинул.

— И вам не обидно?

— Что такое?

— Ну, наш прораб теперь вами командует.

— Все законно. Он студентом третьего курса на фронт пошел. А я кадровый был.

— Слушайте, а где тогда тягач стоял?

— Какой тягач?

— Ну, на котором орудия возят?

— Так у нас конная батарея. А коней бомбежкой накрыло.

— Смешно! Как в гражданскую войну, примитивно, на конях орудия возили!

— У нас много такого смешного на фронте было,— иронически сказал бригадир.— Поллитровками с горючей жидкостью от танков отбивались! Такие чудачки, значит, были...

— Вы меня не поняли, Флегонт Петрович, я просто удивился отсутствию моторизованных средств.

— У немцев тоже имелись конные орудийные упряжки. В конях свой смысл, горючего не требуется.— Потупился, сказал грустно: — Ранят коня, а он кричит, стонет. Нечеловеческое это дело — война.— Спросил: — Значит, художником заделался?

— Просто для себя рисую. Таланта, возможно, настоящего нет.

— То есть как это нет? — рассердился бригадир.— А я тебе говорю, есть! Если бы не было таланта, не задело бы за живое! А раз я обиделся за портрет, значит, есть талант!

— У вашего Сухова есть талант?

— А как же, выдающийся слесарь всех времен и народов! Сидит где-то в кустах, а рыбак он липовый. Но почему на реку ушел, знаю. Переживает. У него дар всякую машину понимать. А тут с автоматикой временная загвоздка, ну и мучается...

— Флегонт Петрович, — внезапно дрожащим голосом спросил юноша, — вы нарочно пришли сюда со мной разговаривать?

— То есть как это — нарочно?

— А вот так...

Бригадир смутился, стал тереть глаз согнутым пальцем, скривив при этом рот, посетовал:

— Мошкара-зараза житья не дает. — Потом, словно устыдившись, поднял голову и, твердо глядя в глаза юноши, сказал: — Ну, давай тогда напрямик. Ты вчера обозвал меня недопустимо.

— Я вас критиковал.

— За то, что объявил: соберу агрегат досрочно, а собрать не сможем? Так?

— Да.

— И за то, что сказал, пока я бригадир, я тут командующий и никто меня не заставит тебя в бригаду взять?

— И за это тоже. И потом вы свою бригаду вашим именем называете.

— Так, ясно, — протяжно произнес бригадир, помедлил, сказал глухо: — Значит, я твой рисунок на меня правильно понял! Есть во мне лишняя гордость, она меня запосит. В словах себя величаю. Ну и, когда горячусь, позволяю чрез меру сам себе свой авторитет превысить. Это ты во мне точно подметил.

— Вот именно! — обрадовался юноша. — Я и хотел в вашем портрете такое передать.

— Теперь обожди, — властно сказал бригадир. — Теперь я хочу не себя, а тебя понять... Ты что, уходить собрался? Слаб на прямой разговор!

— Нет. Просто мне неловко перед вами в полуголом виде стоять.

— Если от штанов мысли прибавится, надевай, раз ты такой официальный.

— Вы, конечно, можете меня презирать, — губы юноши запеклись от волнения, — тем более я отчасти по личным мотивам плохо о вас высказался и теперь особенно чувствую, что по личным...

— Да ты легче дергай, — подал совет бригадир и осведомился: — Это что, для красоты или удобства у тебя на ширинке «молния»?

— Ну зачем вы издеваетесь?

— А что, я должен торжественно с тобой говорить, как на собрании? Ты меня обобщил, загнал в формулировку, обозвал самодержцем.

— Я про вас очень резко выразился,— скорбно произнес юноша и зябко передернул плечами.— Но нельзя так свою личность превозносить, как вы ее превозносите!

— Ты не мельтешишь,— строго сказал бригадир,— я тебя сейчас к стенке припру. Товарищ Ленин как народ называл? «Творец истории». Творец! Значит, делатель всего. Вот я такой и есть. Я сам себе команду давал, когда один у орудия остался, сам, понял, сам! Ты на чертеж смотришь — схема. А я глазами, на ощупь, объемно вижу в нем каждую деталь и как она к другой детали, в каком рабочем положении прилегает. Меня главный конструктор терпеливо, как слесарь, слушает, если высказываю свое соображение. Так, спрашивается, могу я иметь свою особую рабочую гордость? Могу?! Вот руки, гляди! — Бригадир простер открытые ладони, спросил: — Видел, какой маникюр сделал? Все мозоли наждаком счистил. А зачем? Автоматику регулируем, механизмы высшего класса точно. Их чувствовать живой теплой рукой надо. Грубой рукой не поймешь.

Бригадир встал.

— За тебя мне обидно. Весь ты такой новенький. В жизнь вошел в самое ясное время, и нате вам... Против нехорошего в человеке решил с поленом. А поленом не пыль выколачивают, людей калечат.— Лицо бригадира выражало боль и тревогу.

— Хотите,— предложил юноша,— я сам сниму ваш портрет из стенновки?

— Зачем, портрет правильный.

— Значит, вы на меня уже не сердитесь?

— За слова простить не могу, уж очень сильно ты меня своими словами ударил, прямо по сердцу ударил.

— И в бригаду не возьмете?

— И в бригаду не возьму. И не потому, что ты меня обидел, а потому, что, если какая-нибудь деталь будет плохо пригнана, ты ее от нетерпения ручником, а даже металл требует вежливого обращения, его грубостью не возьмешь...

Мощный тягач, скрежеща гусеницами по гальке, подвез тралер, на котором стояли тяжкие машины, обшитые тесом.

Стрела плавучего крана навесила хищно загнутые крюки.

Флегонт Петрович уже был на берегу. И хотя за погрузку отвечал бригадир такелажников, бывший моряк Балтийского флота с надменной осанкой, он вынужден был уступить командование Флегонту Петровичу. Он сдался

яростной стремительности, с какой Флегонт Петрович властно овладел бригадой.

Прежде чем обвязать тросами ящики с машинами, Флегонт Петрович недоверчиво осмотрел почти каждый шаг витка каната, нет ли обрывов. Он требовал дополнительных креплений и, как завзятый такелажник, вязал узлы. И когда ящик, описывая полукружье, поплыл в воздухе, он смотрел вверх с молитвенным выражением. Потом ринулся на палубу понтона и простер руки навстречу опускающемуся грузу.

— Осторожно, вас же раздавит! — крикнул юноша и бросился к Флегонту Петровичу.

Флегонт Петрович покосился слоновьими хитрыми глазками и мирно объяснил:

— Это же я нарочно на первах краповщика играю, чтобы ставил аккуратно, чувствовал, а то на последних сантиметрах отдаст, брякнет. Вот я его психически атакую, чтобы не брякнул.

Груз почти неслышно опустился на понтон, и вода всхлипнула под его тяжестью.

— Молодец! — закричал радостно Флегонт Петрович краповщику. — Вот это работа!

И когда понтон пошел на другой берег, Флегонт Петрович не отходил от ящиков и оглаживал их рукой.

Моторист в красных плавках стоял у штурвала, а рядом с ним моряк, бригадир такелажников. Моряк сказал, кивнув на Флегонта Петровича:

— Его на корабль боцманом, — справится, вьедливый тип.

— Это ты тип, — обидчиво сказал моторист, — а Флегонт Петрович личность замечательная, его все здесь очень уважают, очень...

Гигантская, голубая, грациозно изогнутая стена плотины высоко возвышалась над берегом, над лесом, и позади нее уже простиралось море с чайками, с волнами, и эти волны сочно бились о понтон и шатали его.

Белые сгустки облаков плыли в синеве неба. Жгло солнце. Пахло горячим железом, машинным маслом. По гребню плотины шел человек, и с катера он казался ничтожно маленьким. Возможно, это шел один из тех, кто построил плотину, а может быть, это был Сухов, «выдающийся слесарь всех времен и народов» — так его величал сам Флегонт Петрович...

СКЛЬНЫЕ ЛЮДИ

Бурая пустыня тундры. Сизые, пепельные сумерки короткого, на исходе, северного дня предвещают начало длинной полярной ночи.

По пророчеству метеорологов, скоро должна начаться пурга, и уже белые, снежные, марлевые полосы с песчаным шорохом низко несутся над тундрой.

Два танка с фанерными будками вместо башен, запряженные цугом, волокут на санях, сваренных из железподо-рожных рельсов, обвязанный цепями огромный, как нефтяная цистерна, дробильный барабан для горнообога-тительной фабрики.

Танки подминают, как кустарники, тощие ели, жили-стые березы и размалывают их древесину на желтых плитах миллионлетнего льда, лежащего под тонким по-кровом торфяной почвы.

На выходах чугунно-твердых массивов диабаз траки гусениц высекают синие сухие искры. Рельсовые полозья саней, нагревшись о камень, сползая на лед, шипят и ды-мятся паром.

Сильный ветер океана гонит толстые, темные, отяже-левшие туши облаков, и земля от них в черных островах плавучих теней.

Трасса в тундре обозначена вешками, на которых висят гроздья пустых консервных банок.

Впереди идет тракторный вездеход. На прицепе балок — низкий дощатый домик с полозьями из бревен лиственницы. Балок оборудован подобно железнодорожно-му вагону. В углу никелированная печь — титан. В балке жарко. На верхней полке с высокими, как у корабельной койки, бортами спит, укрывшись с головой новеньким, воняющим овчиной полушубком, директор будущей обога-тительной фабрики Евгений Иванович Попов.

За откидным столиком сидит рыжеволосая, бледноли-чая, худенькая, в ситцевом платье с короткими рукавами

Лена Набокова и озабоченно мажет хлеб маслом и клубничным вареньем. Это для Вовы, семилетнего сына инженера Попова.

— Ешь, — говорит повелительно Лена.

— Я же просил вас, не приставайте.

Вова глядит с одинаковым отвращением на хлеб, намазанный вареньем, и на Лену. Лицо мальчика выражает такое страстное презрение, что девушка теряется. На тонкой щеке выступают красные пятна, на длинных глазах слезы.

— Это же витамины!

— Ну и ешьте их сами.

— Какой ты грубый.

Вова, отвернувшись, угрюмо смотрит в пластмассовое выпуклое окно, за которым медленно ползет обледеневшая пустыня.

Нижняя пухлая губа мальчика закушена, под глазами темные круги не то от длинных ресниц, не то от какого-то скрытого горя.

Словно в забытии, он гладит себя по щеке большой костяной пуговицей, по-видимому от дамского пальто.

Лена тревожно наблюдает за мальчиком, потом, вздохнув, берет с титана высушенные чулки, натягивает на рефлектор ручного электрического фонарика, и склонившись, принимается штопать.

На нижней полке расположились супруги Алексеевы. Гимнастерка демобилизованного сержанта со множеством эмалированных значков висит на вешалке, аккуратно растянутая на деревянных плечиках.

Сержант озабоченно вспарывает пожом банку консервированного компота.

Супруга его в ярко-вишневом свитере и такого же цвета лыжных штанах. Красивое, несколько опухшее лицо томно и капризно. Она говорит сердито, вызываясь глядя на взъерошенный затылок Вовы:

— Почему-то всегда, если ответственный работник, так дети у него обязательно недовоспитанные!

Сержант, испытывая чувство неловкости от столь прямой атаки супруги на сына директора, примирительно шутит:

— Все мы были когда-то одноклеточными, прежде чем человеками стать.

Но супруга не вняла шутке. Она усмотрела в ней слабодушную попытку со стороны мужа смягчить смысл сказанного ею из боязни, что услышит директор, и уже

с неудержимой запальчивостью произнесла громко и вызывающе, кивнув на койку, где лежал Попов:

— Тоже мне, от вертолета отказался, будто для того, чтобы лично трассу проверить, а сам как улегся до отъезда, так до сих пор спит и даже не пошевелится.

Сержант, поняв, что жена таким способом обличает его якобы в подхалимаже, чтобы реабилитировать себя в ее глазах, тоже громко заметил:

— Действительно, у гражданских командирская дисциплина растрепанная.

— Евгений Иванович трое суток не спал, — сказала Лена, и губы ее обиженно дрогнули, — то в трюм, то на палубу, то на причал, то снова на корабль. Грузы, жутко подумать, сколько тысяч тонн принял — и все техника, а ее осторожно, как посуду, выгружать надо! — Сощурившись, продолжала иронически: — Конечно, Евгений Иванович — не солидный начальник: заняли вы его койку, а он покорно на верхнюю залез. Глядеть больно, как его на пей шагает.

Супруги сконфуженно переглянулись, но Лена успокоила:

— Вы не переживайте. Евгений Иванович вас даже не заметил. Он и меня не заметил. Он сейчас вообще ничего не замечает.

— Действительно, замотался человек, — сочувственно произнес сержант.

Лена обиженно, исподлобья посмотрела на сержанта, давая этим понять, что она не принимает такого развязного слова «замотался» по адресу Евгения Ивановича, но ничего не ответила. Бережно положила руку на плечо мальчика, спросила:

— Может, Вовочка, ты спать хочешь?

— Не хочу. — И мальчик сбросил ее руку.

— Ну, как знаешь, — послушно согласилась Лена. — А может, тебе почитать книгу?

— Не хочу.

Жена сержанта, которой явно не нравилось поведение Вовы, сдерживаясь, осведомилась у Лены:

— Вы кем на стройке работаете?

— Да я не на стройке, я обслуживающая. Курсы окончила на акушерку-фельдшерицу.

— Ну! — обрадовался сержант. — В самое ближайшее вы нам вот так вот! — и провел ребром ладони по шее.

— Ты, Костя, не паясничай, — строго заметила супруга.

— А в чем дело? Это же факт. А врач есть?

— Нет,— сказала Лена,— врача нет.

— Как же так,— возмутился сержант,— такая выдающаяся стройка, а врача нет!

— Врач был,— тихо сказала Лена,— а теперь нет врача.

— Ну ничего, обойдемся.— Сержант повернулся к супруге, утешил: — В случае чего, у любого профессора по радио консультацию запросим. В газете описана масса случаев, когда на зимовках под радио даже операции делали.

— Нет уж, лучше я умру, чем позволю кому-нибудь на весь Союз про меня в такой момент все рассказывать.

— Вы не стесняйтесь,— посоветовала Лена,— ведь морзянкой будут передавать, а ее только радисты понимают.

— А радисты что, не люди?

— Да они у нас ко всем личным разговорам привыкли.

— У вас у самой дети есть?

— Я незамужняя.

— Ну, бывает, мужа нет, а ребенок — пожалуйста.

— Какая вы нервная! — кротко сказала Лена.— Но я вас понимаю: вам полагается в вашем положении быть нервной.

— Откуда вы можете меня понимать, если у вас самой нет никакого личного опыта и даже, возможно, не среднее медицинское, а так себе — общественника.

Лена спокойно выдержала и этот выпад, с достоинством объяснила:

— Нет, я с дипломом. Конечно, хотелось медицинский институт кончить, заявление подавала, думала: можно на заочный. Но, понимаете, заочно на врача не учат. Пришлось на гидрографический поступить. У нас в Заполярье все где-нибудь заочно учатся.

— А вы не думаете, что я дура,— строго спросила жена сержанта,— на четвертом месяце тащиться в Заполярье, в пустыню?

— Так ведь это только дорога пустынная. А на стройке вы ахнете. Кино широкоэкранный. И молочный бар; конечно, все порошковое, но даже сладкий молочный коктейль подают с соломинкой.

— Ты слышал, Костя, у них там бар, как за границей все равно!

— Да нет,— сказала Лена смущенно,— это только называется бар, а на самом деле барак-столовая. Но честное

слово, молочный коктейль с соломинкой подают. И кефир, и простокваша.

— Значит, поселок уже построили?

— Ну что вы, поселок! У нас город будет!

— А сейчас что?

— Вы семейные — вас в дом стандартный поселят.

— А вы где живете?

— Я же холостая, в бараке, конечно. Но он такой утепленный, только в самый сильный мороз в углах куржак протупает.

— Понятно, — протяжно произнесла жена сержанта. Потом деловито спросила: — Значит, свиноводческий холодный?

— Какой свиноводческий? У нас во всех помещениях чистота. Комсомольско-санитарный патруль замечательно следит за чистотой.

— Да вы знаете, кто я?

— Нет.

— Зоотехник! Я же по договору на свиноводческую ферму к вам. Вы что, воображаете, я просто так за мужем увязалась? У меня специальность.

— А свиноводческой у нас нет, — растерянно сказала Лена. Встрепенувшись, объявила радостно: — Но будут! Вспомнила, в газете сообщали. Я просто забыла, и, может, их, поросят, вертолетом с корабля уже привезли, и они вас ждут. — Посоветовала озабоченно: — Только вы, если на подстилку им ягель будете класть, осторожней, пожалуйста, с огнем. В оленеводческом совхозе работала еще девочкой. А ветеринар окурок на землю бросил, ягель как начал полыхать, словно порох. Я за молодняк испугалась, в огонь бросилась и стала его затаптывать — и вот глядите, какие следы до сих пор. — Лена доверчиво вытянула свои худенькие, бледные ноги и даже краешек платья приподняла.

На нее в упор глядели гневные, ясные глаза супруги сержанта.

— А ты свои конечности моему мужу не показывай! — сказала она сипло. — Не агитируй его хотя бы при жене.

Но Лена не обиделась. Усмехнувшись только, посоветовала:

— Вы поглядите сначала на себя в зеркало, а потом на меня. Какая вы красивая и какая я! — И упрекнула: — Ну что вы такая нервная? Вам надо спокойней быть для ребенка.

— А разве передается?

— Не знаю,— сказала Лена,— но все может быть.

— Так вы ради ребенка теперь сразу меня осаживайте, если я опять в чем-нибудь зарвусь.

— Пожалуйста,— согласилась Лена.— Я вам буду напоминать, чтобы вы зря не сердились.

— Да я вообще не сердитая,— простодушно призналась жена сержанта.— Я просто боюсь в Заполярье потеряться перед местными. Они же все во всем закаленные. А я к нежному обращению привыкла. Как слет животноводов — я всегда в президиуме. А вот врезалась в этого,— она небрежно повела плечом в сторону мужа.— Приезжал в отпуск, фасонил. Мол, в ракетных войсках. О спутниках с докладом для молодежи выступал. Ну, я и потеряла с ним бдительность. Побежали расписываться вроде уже как троим. А потом выяснилось, никакой он не ракетчик, а обыкновенный пехотный сержант без особой специальности. Ну, думаю, влип! Разве с таким несерьезным человеком, способным на обман, долго проживешь? Кинулась со зла в райком комсомола и взяла к вам путевку, а он за мной без путевки. Простила. Обман мотивировал тем, что хотелось ему меня чем-нибудь загадочным заинтересовать, голову вскружить. А мне просто его застенчивость понравилась. Гуляем в лесу, а он не хватает, целоваться не лезет, а все говорит, говорит. А я только в глаза ему смотрю, ничего не слышу и вся слабею...

Балок сильно трянуло, под полозьями раздался треск льда и плеск воды.

— Господи, что это? — испуганно спросила жена сержанта, хватая за руку Лену.

— Вы не волнуйтесь, это через озеро переезжаем, но оно до самого дна сплошной лед, только поверху пузыри ледяные от газа, и под ними чуть-чуть воды. Если заливать начнет, так вы на койку с ногами прыгайте — и все.

— А если утонем?

— Трусиха! — сказал Вова и добавил: — Паникерша!

— Да ведь страшно!

— А вы говорили, что умереть не боитесь!

— Вовсе я не говорила!

— Нет, говорили! Я помню.

— Ну, это я просто так брякнула.

— А вот папа мне сказал, что умереть не очень страшно. Испортится что-нибудь в человеке, и организм, все равно как машина, перестает работать, и все у человека

отключается, как телефон или радио, и он ничего не слышит, не понимает, что с ним. Другие о нем думают, а он про них ничего не думает, потому что его просто нет.

— Правильно, — поспешно подтвердила Лена, — это все врачи и даже профессора так говорят, а они знают. — И, предостерегающе сурово взглянув на жену сержанта, которая собралась было возразить мальчику, радушно предложила: — Может, нам патефон завести, пластинок на всю дорогу хватит.

— Не смейте! — крикнул мальчик. — Не смейте заводить музыку! — И, смутившись своего возгласа, объяснил: — Мой папа спит, я поэтому.

Вова снова отвернулся к окну и продолжал машинально тереть о щеку пуговицу, зажатую в руке.

Жена сержанта вывалила компот из консервной банки в глубокую тарелку и радушно спросила Лену:

— Может, покушаете персики в сиропе?

С верхней полки спустился на пол Евгений Иванович. Он подсел к сыну, притянул его к себе одной рукой, другой включил радио и, надев на голову наушники, поговорил с водителями тракторного поезда, который тащил им вслед тяжелые агрегаты для обогатительной фабрики. Отключив рацию и сняв наушники, разминая замлевшие уши, Попов спросил сына:

— Ты что, инфекцию хочешь занести? Какой-то грязной штукой водишь себе по лицу, разве можно?

— Можно, — сказал мальчик.

— А ну отдай!

Попов разжал кулак мальчика, и на ладонь ему выпала пуговица от дамского пальто.

Лицо инженера стало растерянным, и он поспешно вернул пуговицу сыну. Мальчик спросил:

— Может, ты хочешь ее себе взять?

— А что, если нам с тобой в кабину вездехода перейти? — спросил отец. — Там видимость знаешь какая?

— Знаю, — сказал мальчик.

— Скоро будет Медвежья сопка.

— Ну, тогда пойдем.

Попов одел мальчика, замотал ему шею шарфом поверх поднятого воротника полушубка. Мальчик сказал с упреком:

— Ты не по-маминому делаешь. Надо концы сюда спрятать.

— Тогда верхняя пуговица не застегнется.

— А у мамы застегивалась... Вот видишь, и застегну-

лась, — сказал счастливым голосом мальчик. — Она при-
выкла по-маминому застегиваться.

Родственное сходство черт лица отца и сына разительно
усиливалось общим у обоих выражением глубокой зата-
енной печали.

Супруги, очевидно, одновременно уловили это особое
горестное сходство, притихли и как-то защитно прижались
друг к другу.

Инженер по телефону приказал водителю вездехода
остановиться и вышел. Когда дверь открылась, в балок
рванулся снежный колющий вихрь.

Потом балок дернулся, скрипнули примерзшие полозья,
и снова начался путь по тундре. Густая снежная крупа
гулко била в пластмассовые окна. Лена включила электри-
ческий свет. В балке стало еще уютнее.

Жена сержанта спросила шепотом:

— У инженера что, горе какое?

— Да, — сказала Лена.

— Вот, — произнесла с отчаянием жена сержанта, —
обалдела я от своего личного счастья, сидела тут только
жмурилась, а мальчик же осиротел, да?

— Да, — сказала Лена.

— Давно?

— Нет, недавно. Ольга Степановна операцию больному
делала, а на электростанции авария. Стала я светить ей
карманным фонариком, операцию она закончила. Пришла
домой — сердечный приступ. Упала, и все. Вову я к себе
увела. А Евгений Иванович на котловане был, насосы
стали, вода заливала, он оборудование наверх подымал.
Сообщили. Побежал домой, а за ним толпой все его рабочие.
А он им: «В чем дело?» А они не отходят. И правильно, что
не отходили. Он на рассвете в кладовку пошел, где у него
охотничье ружье. А ружья нет, унесли люди. Так и не
отходили от него. Это же такая семья была, такая семья! —
Губы у Лены дрожали. Всклипнув, она произнесла с отчая-
нием: — И видеть я просто не могу, как Евгений Иванович
и Вова перед людьми себя высоко держат, и показывать им
свои чувства нельзя, симулируешь, будто ничего не замеча-
ешь, а все внутри тебя просто разрывается.

Я у них часто бывала. Евгений Иванович придет домой,
все с себя пораскидает, а Ольга Степановна все соберет,
развесит, просушит. И в избе у них все красиво, симпа-
тично, как все равно в городской квартире. Евгений
Иванович горячий, вспыльчивый, поссорится с началь-
ством — сразу: «Брошу все к черту, уеду!» А Ольга

Степановна как оденется, принарядится, прическу особенную сделает... Ну такая вся радостная! Евгений Иванович взглянет — и готов! Схватит на руки, она хохочет и ногами в чулках-паутинках только брыкает.

Но нас, медицинский персонал, держала в строгости. Все видела. Сам начальник строительства боялся ее хуже крайкома. Чуть что, она — акт. На партсобрании возьмет слово и все требует, требует. Начальник ей реплику: «Товарищ Попова, очевидно, считает главным нашим строительным объектом больницу!» А она гордо так: «Пора вам наконец понять, что главным объектом для коммуниста всегда был и есть человек!»

И все она успевала. И Вову воспитывать, и мужа в порядке содержать. И сама всегда такая чистенькая, к себе взыскательная. Заскочишь к ней, бывало, в выходной, а она в резиновых сапогах и в трусиках белье стирает или пол моет. А муж где? На охоте. У нас тут все охотники.

Лена задумалась, разглядывая свои руки с коротко срезанными ногтями, потом произнесла грустно:

— Есть же такие самые лучшие люди на свете. Вот нет ее, а я все не верю, что ее нет, и всегда она такая живая, такая живая! И вот...

Балок дернулся и снова остановился. Вошел механик-водитель, снял шапку, отряхнул с себя снег, плюхнулся на лавку и, покосившись на супружескую чету, сказал доверительно Лене:

— Это я нарочно у Евгения Ивановича сюда запросился. Пусть машину сам поведет, и Вове нравится, когда отец машину ведет, и ему отвлечение.

Подошел к титану, выпил кружку горячей воды, сказал, обращаясь к сержанту.

— Удобство! А ты думал, раз Заполярье, так никакого сервиса. — Прислушался, объявил: — Вертолет гудит. Бочки с горючим на трассу сбросил. А чего же он тогда над нами вертит?

Скоро вертолет стал гудеть над самым потолком. Балок остановился. И почти в это же самое время вертолет опустился на землю. Из кабины вышел летчик. Он улыбался.

— Вова, — закричал он задорно, — полезай ко мне в машину, а то мне одному скучно!

Вова стоял рядом с отцом на подножке вездехода и шурился от косо летящего снега.

Попов сказал летчику:

— Напрасно вы, Флегонт Петрович, рискуете! Пурга, а вы на незнакомой площадке посадку делаете.

— Так я за Вовой спустился. Чего ему тут трястись!

— Хочешь? — спросил отец. — Минут через двадцать будешь дома.

— Нет, — сказал мальчик, — я с тобой останусь.

— Нам еще больше суток ехать, — предупредил отец.

— Ну и пускай.

Летчик сконфуженно переминался.

— Может, все ж таки передумаешь? — спросил он мальчика.

— Нет, не передумаю.

— Ну, тогда привет!

— Привет, — сказал Вова.

Летчик, переваливаясь в мягких унтах, поднялся в кабину вертолета, захлопнул дверцу, лопасти завертелись, и машина, будто вздернутая мощным краном, медленно поднялась в воздух.

— Ну, ты же хотел полетать на вертолете?

— Сам, — сказал Вова.

— То есть как это сам? — спросил сердито отец. — Один, без летчика?

— Нет, я сам буду летчиком.

— Ну, тогда пожалуйста, — согласился отец.

Он влез в кабину вездехода, подождал, пока сын устроится рядом, включил мотор, и машина, качаясь на валках, зашаркала гусеницами по обледеневшей, казалось, навечно земле.

Сильными прожекторами вездеход вонзил в белую снежную мглу два будто стеклянных световых столба.

Мальчик смотрел, не мигая, сквозь ветровое стекло на шевелящуюся снежную пучину. Потом, привалившись плечом к отцу, спросил:

— Ты мне сказал, что все из атомов состоит?

— Да, — сказал отец.

— И человек тоже?

— Конечно.

— И завод, и город наш тоже будет из них сделан?

— Ну, вообще да.

— И я из атомов?

— Пошел бы ты в балок поспать, а?

— Не хочу.

— Почему?

— Ты один про маму будешь думать.

— Нет, не буду.

— Неправда, ты и при мне о ней всегда думаешь, а обещал не думать.

— Тогда я про тебя одного буду думать, хочешь, про тебя одного?

— А чего ты про меня будешь думать?

— Ну, кем ты будешь, когда вырастешь.

— А кем я буду?

— Ну, допустим, космонавтом или ученым.

— Знаешь, папа, — сказал мальчик, — что надо бы сделать?

— Ну?

— Что-нибудь вроде солнца, чтобы оно всегда здесь висело и никуда не уходило и от него всегда тепло всем было и росла трава.

— Что ж, это правильно, — согласился отец, — поддерживаю твое предложение.

— Ну, а если я стану космонавтом?

— Что ж, можно и космонавтом.

— А представляешь, попаду я на другую планету, и как это трудно там всех наших людей одним собой представлять, я же не самый лучший.

— А ты старайся быть хорошим.

— Да у меня не получается.

— Почему?

— Ну, вру я очень всем, и тебе вру. Не могу я без мамы, слышишь, не могу, — мальчик всхлипнул, — а должен притворяться, что могу, чтобы тебя не расстраивать!

— Я тоже не могу, — сказал глухо отец, — и тоже перед тобой притворяюсь, что могу. Так, значит, я очень плохой, по-твоему, да?

— Нет, — воскликнул мальчик, — нет, я знаю, ты даже из-за меня жить остался!

— Не только из-за тебя, — сказал отец. Он осторожно отстранил от себя мальчика плечом, объяснил: — Обожди, сейчас подъем будет, круча.

Мотор взревел, траки гусениц ерзали по диабазу и грохотали так, как грохочут камнедробилки. Машина медленно вползала на горный перевал, и, когда достигла вершины, впереди, в тундровой низине, блеснуло созвездие огней, мигающих в снежном потоке пурги.

— Вот и наша стройка, — сказал отец.

— Так близко! — воскликнул мальчик.

— Нет,— сказал отец,— это еще очень далеко. Только сверху кажется, что близко. Сверху все кажется близким.

Попов выключил сцепление, машина остановилась, мерно гудела мотором и источала тепло.

— Ну,— сказал отец,— теперь пусть ведет машину Александр Васильевич. Спуск — дело опасное.

— Ты боишься?

— Боюсь,— сказал отец.

— Можно разбиться и умереть?

— Да,— сказал отец.

— А если нас с тобой не будет? Значит, ничего не будет, ничего?

— Почему же ничего? Останется поломанная машина. Ну и вместо нас будут думать другие люди про все, о чем мы думаем, и про многое вообще другое. Жизнь на земле — штука, знаешь, вечная.

— А мама?

Попов потолкал ногой тормозную педаль, сказал озабоченно:

— Надо поглядеть, может, тормозная жидкость протекает,— и хотел открыть дверцу. Но мальчик потребовал.

— Нет, ты не уходи, я хочу знать.

— Ну что ж мама? — печально сказал инженер.— Ее нет, а есть ты, и если бы не было никогда мамы, не было бы тебя.

— А тебя? — спросил мальчик.— Ты был бы?

— У меня была своя мама, ну, твоя бабушка.

— Но наша мама самая лучшая?

— Да,— сказал отец.

— И лучше ее на свете нет и не будет?

— Нет, не будет,— сказал отец.

Из балка вышел механик, подошел к вездеходу, открыл крышку капота и стал копаться в моторе.

Евгений Иванович вылез на землю, подхватил сына на руки, поставил рядом с собой, предложил:

— Давай разомнемся, пока Александр Васильевич из бочки в бак горючее сольет.

— Давай погуляем,— согласился мальчик.

Они поднялись на черный, обдутый ветрами каменный выступ диабаза. Мальчик зажмурился от снега, прижался к отцу лицом, потом взял его руку в свои, сжал изо всех сил.

— Больно?

— Нет,— сказал отец.

— Значит, я еще такой слабый?

— Нет, — сказал отец, — ты у меня уже сильный, очень сильный. По-настоящему сильный.

Механик, кончив переливать из оранжевой бочки бензин, влез в кабину и помахал Евгению Ивановичу рукой.

В балке уже все спали. Обе нижние койки были свободны. Евгений Иванович разобрал постель сыну, укрыл одеялом, прижался лицом к его лицу, подышал детским чистым теплом его. Погасил плафон, зажег маленькую настольную лампу в кокетливом шелковом абажуре, лег на спину и, закусив нижнюю губу, не мигая, смотрел перед собой на качающуюся на вешалке гимнастерку сержанта.

Балок визжал полозьями, и в пластмассовых выпуклых окнах мелькали отвесные стены горной кручи.

ВСЮ НЕДЕЛЮ ДОЖДЬ

Река бешено мчалась, раздирая и обваливая берега. Гул ее был подобен идущему поезду. Сильное таяние ледников в горах — причина внезапного летнего паводка. Земснаряд простаивал. Вода поднялась так высоко, что стальная рама с зубастыми ковшами не достигала грунта.

Команда занялась стиркой. Все судно обвешали сохнувшим бельем, словно белыми флагами капитуляции.

В радиорубке крутили пластинки с танцевальной музыкой. Мощные динамики перебарывали kloкочущий рев реки. Но от этой музыки никому не было весело: срывались сроки стройки.

Прораб Гымза подсчитал: если вызвать специальным самолетом водолазов, расходы окупятся. В среднем кубометр грунта, вынутого земснарядом, обходится в сорок копеек; при взрывных работах стоимость кубометра — от трех до десяти копеек.

Прибыли только два водолаза, и то один простудился в пути, чихал, сморкался, кашлял, и врач запретил ему спуск под воду.

Гымза сказал водолазному старшине Василию Бухову:

— Выручай, друг, пропадаю!

Нужно было пайти хотя бы одного человека, знакомого с подводными работами. Верхнепалубный матрос с земснаряда Николай Левкин окончил курсы ДОСААФ, имел диплом, дающий ему право работать в легководолазном снаряжении на спасательной станции. Василий Бухов не без колебаний дал согласие взглянуть на Левкина.

Коля Левкин явился в вагончик к Бухову, тот внимательно осмотрел щуплую фигуру, полосатые брюки, из-под которых высывались белые резиновые кеды, спросил озабоченно:

— Не кашляешь?

— Нет,— сказал Коля.

— Под бокс стрижен. Значит, занимаешься. — И Бухов сделал выпад кулаком.

— Коротко стригусь, чтобы на парикмахерскую зря время не тратить, — объяснил Коля.

— Флотской техникой овладеваешь?

— Нет, — сказал Коля, — не овладеваю. — Поглядел в дощатый потолок, пояснил: — Я, собственно, на биологическом учусь, пока, к сожалению, на заочном.

— Целишься животноводство на соответствующий уровень поднять?

— Беспозвоночными интересуюсь, — сказал Коля и тут же ободряюще информировал: — Знаете, если в закрытых водоемах выращивать низшие организмы в качестве пищевых или кормовых средств, можно получить колоссальные ресурсы.

— Понятно, — сказал Бухов и снова спросил: — Значит, не кашляешь? — Скомандовал: — А ну задери тельняшку! — Прикладываясь холодным ухом к животу, требовал: — Дыши! Глубже! Замри! Теперь давай пульс. Где у тебя тут пульс? Может, в пятках?

— Вы лучше прямо спросите, — посоветовал Коля. — Вас интересует, трус я или нет?

— Ну, допустим.

— Я вам прямо скажу: не люблю под водой находиться, но научился вида не показывать, что боюсь.

— Может, поделишься опытом? Интересно, как это ты научился не трусить?

— Да нет, я боюсь, но натренировался скрывать такой недостаток. Вот недавно утопленника на дне искал. Под береговую вымощину занесло, а все предметы под водой очень увеличенными выглядят. Ну, представляете, какой у него вид, если сутки пролежал. Стал вытаскивать, а нас с ним грунтом завалило. С помощью воображения решил: этот утопленник — еще живой человек и мне надо его спасать. А когда живого человека спасают, разве о себе думают? Ну, я этим воспользовался — и сам выкопался из грунта, и его вытащил. Подняли нас на бот, а он весь такой, будто его воздухом накачали. И стало мне плохо, но я объяснил свое состояние недостаточным кислородным питанием, хотя баллоны и клапан были в исправности.

— Соврал!..

Коля пожал плечами и ничего не ответил.

— В шашки играешь?

— В шахматы — пожалуйста.

— На пол-литра!

— Ну что вы! Разве можно!

— Ты, я вижу, типчик. Догматик! — Бухов щелкнул Колю по животу. — Если водки не пьешь, значит, по девкам сильно бегаешь, от этого такой тощий.

— Я прошу вас!.. — воскликнул Коля тонким, срывающимся на петушинный вопль голосом.

— Ах, вот что! — ухмыльнулся Бухов. — Вы, значит, очень нервные и гордые...

Когда прораб Гымза пришел к Бухову и робко осведомился: «Как дела?» — Бухов сказал:

— Завтра приступаю.

— Я насчет напарника интересуюсь.

— Что ж, Левкин — паренек надежный и культурно развитый.

Так Коля Левкин был взят на новую работу Василием Буховым, водолазом первого класса.

Бухов прибыл сюда с Каспия, где укладывал подводный нефтепровод. Он был зол из-за того, что его сорвали с интересной и выгодной работы. Малорослый, жилистый, с широкими сухими плечами и сверкающими, пронзительными черно-бронзовыми глазами, Бухов производил впечатление человека высокосомерного, презрительно поглядывающего на всех сухопутных граждан. Одет он был в светлый макинтош с коричневыми кожаными пуговицами, на голове шляпа, на ногах легкие остроносые туфли. Всем своим видом он, казалось, протестовал против сложившегося представления о водолазах как о людях морского обличья.

Во время войны служил он в авиации, летал на штурмовиках, прозванных воздушными танками. В глубине души считал, что опасности работы подводников сильно преувеличены. Безмерно восхвалял смелость, мастерство, находчивость летчиков и всячески принижал это же самое в работе подводников. Но, встречаясь с летчиками, говорил противоположное и даже пытался сравнивать подводников с космонавтами. Он любил смелые профессии и после войны мог с таким же успехом стать верхолазом, как и водолазом. Он был отличным подрывником. Когда его сбили на территории противника, попал в партизанское соединение. Взрывал мосты, эшелоны, комендатуры. Получил партизанскую кличку «Васька-салют» за то, что, докладывая командиру о выполнении задания, всегда говорил одно и то же: «Порядок, полный салют!»

За отличную штурмовку вражеского аэродрома его представили к званию Героя Советского Союза. Во время другого полета был сбит его друг Николай Платонов, сбит потому, что прикрывающий штурмовку истребитель с хвостовым номером 812 трусливо отвалил в сторону, когда «мессершмитты» пикировали на уже поврежденную машину Платонова. Бухов взял «виллис», поехал на аэродром, где базировались истребители, разыскал там пилота с истребителя № 812 и пытался застрелить его. Трибунал. Штрафная рота. В конце войны Бухова снова взяли в авиацию, но только механиком в ремонтные мастерские. Сразу после демобилизации он поступил в водолазную школу. Отличился на работах по подъему затопленных судов. Поражал бесстрашием даже бывалых подводников. Любил говорить: «Пока живой, я бессмертный!»

Не так давно Бухова вызвали в воспомат, где сообщили о том, что найден наградной лист, подписанный погибшим командиром партизанского соединения, и поздравили со вторым боевым орденом Красного Знамени.

Бухов устроил в ресторане банкет на сто персон, пригласил также бывших сослуживцев по эскадрилье. Торжественно сообщил, что он все-таки снова разыскал пилота с истребителя № 812 и что тот и в мирной жизни оказался плохим человеком, бросил жену с ребенком, и, сказав рукой на худенькую женщину с большими застенчивыми глазами, сказал:

— Теперь я на ней женюсь! Так что пригласил вас не только орден обмыть, но и на свадьбу.

Все, кто хорошо знал Васю Бухова, сильно сомневались, есть ли у него склонность к семейной жизни. Василий Бухов, подняв обе руки, сказал клятвенно:

— Вот будьте свидетелями! Сдаюсь добровольно и пожизненно, без всякой надежды на освобождение!..

Когда в свое время раненого Бухова партизаны вынуждены были оставить на хуторе, хозяин которого не внушал доверия, Бухов даже в этой сложной обстановке, как он выразился, «не растерялся». И спустя месяц приехал к партизанам здоровым, хорошо упитанным, на пароконной таратайке и похвастался:

— Пускай хозяин скажет спасибо, что я его дочь тоже не увел, а знаете как просилась! — И тут же не то удивился, не то похвастался: — И чего они ко мне льнут, не понимаю!

Возможно, причиной была одна черта в характере Бухова: если со всеми мужчинами он держал себя заносчи-

во, грубо, вызываяще, то с женщинами был чрезвычайно кротким и почтительным.

Единственному другу Коле Платонову Бухов доверял свое сокровенное.

— Женщины — это лучший народ на земле. Самый хороший, — говорил Бухов благоговейно. — Если у них есть что-нибудь плохое, так только от нас, мужиков. Уж очень мы много воображаем о себе, а они от этого страдают! Ведь было время, когда они главными считались, при матриархате. Полагаю, хорошее это было время, наилучшее. Разве женщины допустили б войну, если б их власть? Да никогда! Чтобы их мужей и сыновей убивали? Что они — дуры?! Поскандалили б между собой — и всё. Убежден, одним нахальством мы тогда у женщин власть перехватили, и вот с тех пор войны.

Решение жениться на бывшей супруге пилота с истребителя № 812 возникло у Бухова не сразу. Сначала он посещал ее из одного мстительного чувства: «Не дать ходу в жизни подлому трусу». Но тощая, маленькая женщина с огромными серыми глазами в золотистую крапинку сама перешла в яростное наступление. Она сказала Бухову:

— Вы! Виноваты вы! Из-за вас он не смог искупить своей вины. Знаете, как он страдал, мучился, стал ненавидеть меня за то, что сам же рассказал мне, как смалодушничал! Мы уже не могли жить вместе, не могли. А ваша мстительность — та же трусость. Он испугался смерти, а вы испугались труса и сделали себе целью мстить трусу. Какая низость!

Бухов понял одно: он действительно виноват в несчастье этой семьи!

Будь он человеком иного склада, возможно, пытался бы что-то объяснить, в чем-то оправдываться. Но он был человеком действия. Ходил к бывшей жене пилота упорно, ежедневно. Она закрывала перед ним двери своей комнаты. Бухов сидел в коридоре на сундуке, курил, перезнакомился со всеми жильцами коммунальной квартиры, оказывал им всякие мелкие услуги. Ту же самую тактику применил в механической прачечной, где бывшая жена летчика работала кассиршей.

Всем, с кем так целеустремленно общался Бухов, он казался человеком исключительно положительным. Рекомендовался он теперь так: «Будущий муж» — и называл имя бывшей супруги пилота.

— Как вы смеете! — возмущалась она.

— Честное слово, это правда! — говорил Бухов и

преданно смотрел ей в глаза. — Поверьте, я себя знаю. Вы самая лучшая для меня из всех возможных.

— Оставьте меня!

— Немыслимо! — Советовал: — Вы меня внимательно изучите, а я могу еще лучше стать. Это я вам твердо обещаю.

Однажды во время зимних работ подо льдом на большой глубине он зацепился водолазной рубахой за острый обломок затонувшего корабля, порвал рубаху, его залило до самого шлема. Подъем был длительным, и он понял, что тяжелая простуда неизбежна. Отлеживался в бараке, отказавшись лечь в больницу. Послал телеграмму. И когда женщина подошла к его койке, положила свою холодную руку на его горячий лоб и сказала застенчиво: «Я просто так приехала, может, у вас никого близких нет», — он взял ее руку, поцеловал в ладонь и произнес со вздохом облегчения:

— Ну теперь все! — Потом, в изнеможении закрывая глаза, прошептал хвастливо: — Я же сказал, так будет!..

Бухов много зарабатывал, покупал жене дорогие вещи и требовал, чтобы она «форсила в них».

Приемному сыну подарил мотоцикл и ликовал, когда тот приходил домой в силяках и с помятой машиной.

Мать хотела, чтобы мальчик учился в музыкальной школе, и мечтала о пианино.

Бухов сказал:

— На аккордеоне — пожалуйста. А пианино — габаритная вещь, его на грузовике возить, что ли, если, скажем, в гости пойдем.

Бухов был твердо убежден, что его сын должен стать военным летчиком.

— Но ведь сейчас все против войны, — говорила жена.

— Ну и что? — изумлялся Бухов. — Я сам против. И он тоже будет против, а оттого, что он станет летчиком, от его «против» будет толку еще больше.

При всей своей решительности Бухов ничего не предпринимал, не посоветовавшись прежде с женой и сыном. Объявлял торжественно:

— Ну, ребята, давай за круглый стол! Принимаю решение большинством голосов. — Подмигивал сыну: — Матери мы, конечно, один голос лишний придадим из уважения, как женскому меньшинству среди нас, мужиков...

Словом, Буховы были, пожалуй, по-настоящему счастливы.

Строительная площадка, особенно в дождливое время, производила на всякого стороннего человека впечатление неприятное.

Тракторы истерзали почву, и она заболотилась.

В дорожных колеях, глубоких, как траншеи, валялись измолоченные обломки лежневки, воняющие гниющей древесины. Люди жили в вагончиках. Всюду торчали высокие пни.

Бухов говорил презрительно:

— Даже на фронте древесину сберечь старались: у самого корня дерево срезали для блиндажных накатов. А вы хищники!

— Зимой лес валили, — оправдывался Гымза, — метра на три снег, каждое дерево откапывать, что ли?

— И откапывали б!

— Такой процесс в смете не предусмотрен.

— А совесть?

Гымза пожимал жирными плечами так, что они у него оказывались выше ушей.

— Лесорубы на кубометры мыслят.

— А ты бы им разъяснил: люди жить будут, каждое дерево — воздухоочиститель и красота.

— Ты современную технику недооцениваешь, — объяснил Гымза. — Ставим полностью автоматизированную насосную станцию. Она на замке будет работать, самостоятельно, никакого населения при ней не требуется. Словом, как на грани полного коммунизма.

Все это говорил Гымза у себя в вагончике, стоя у газовой плиты, обвязав брюхо ситцевым женским фартуком и потроша мелкую рыбу перочинным ножом. Гымза всегда сам готовил обед, если на стройку приезжало начальство. Сейчас Бухов был для него важнее всякого начальства, и он решил поразить его своим кулинарным искусством. В круглой кастрюле «чудо» он запекал блюдо из сазаньей икры, грибов, мелко нарезанной ветчины и рябчиков. В чугуне кипел тузлук для ухи. В глубокой тарелке лежала свежая щучья икра, сбитая вилкой, посыпанная зеленым луком, укропом и крупными кусками льда. На сковороде обжаривались ломтики хлеба вместе с тающими кусочками сыра и стружкой из копченой грудинки. В ведре плавали куски льда, бутылки с пивом и водкой. Гымза толсто нарезал головки лука, отчего его выпученные, астматические глаза заливало слезой, говорил с одышкой:

— Ты меня, Василий Григорьевич, правильно пойми, я сейчас перед тобой заискиваю, потому что весь я от тебя

зависимый. Прикажешь: пляши! — буду плясать. А что делать? Сейчас всё в тебе. — Спросил озабоченно: — Может, ты только коньяк принимаешь, так я сбегая!

Бухов, сидя на табуретке у окошка, смотрел, как в потоках дождя шагают рабочие в резиновых сапогах до паха и густая глина облепляет их ноги свинцовой тяжестью.

— Грязь у вас по уши, — сказал Бухов, — хоть бы дорожки песком посыпали.

— Моя функция, — возразил Гымза, — земляные работы, фундаменты, коробки — и привет, на новый объект. А дорожки песком посыпать — это участь эксплуатационников.

— А ты кто?

— Строитель.

— Я спрашиваю: про людей думаешь или не думаешь?

Для того чтобы избежать обсуждения каких-либо неприятных частных, Гымза решил уклониться в сторону отвлеченных суждений и произнес скорбно:

— Конечно, у всех нас, современных жителей переходного периода, наличествуют разные недостатки, и не все мы соответствуем моральному уровню человека будущего. Но мы для него стараемся, подготавливаем, как говорится, почву. — И тут же похвастал: — Селедочку, гляди, всегда в молоке вымачиваю, закусываешь вроде как солененькими сливками, — одно блаженство!

— По-твоему, мы кто? Сырье для этого самого человека будущего, — возмутился Бухов. — Вроде органического удобрения, чтобы не сказать хуже?

— Ты на меня не кричи, — твердо сказал Гымза. — Видал, какой я для тебя веселый, а у меня знаешь что здесь? — И Гымза с силой шлепнул себя по груди толстой, опухшей, сизой ладонью.

— Ну, чего у тебя там такое? — иронически любопытствовал Бухов.

— А вот! — Рот Гымзы перекошило. — Жена бросила; я с тобой здесь шучу, кулинарю, а мне без нее жить вообще неинтересно. А я держусь. Занимаюсь перед тобой подхалимажем. Если не расположу тебя на героизм, загремит план к чертовой матери. — Приказал торопливо: — Возьми ложку, сбрось пену с ухи, а то аромат не тот будет. В ухе сладость не только вкус, но и запах, букет...

Гымза не умел плавать, дважды тонул еще мальчишкой, так, что едва его откачали. Вода внушала ему отвращение. От одной мысли, что Бухову придется в тяжелом, воняю-

щем резиной снаряжении ежедневно лазить в реку и оставаться там под водой несколько часов, Гымзе становилось зябко и тошно. Но вместе с тем Гымза твердо решил по окончании водолазных работ сам спуститься под воду в скафандре, чтобы проверить сделанное водолазом, и для этого он тоже хотел расположить к себе Бухова. Растирая деревянным пестом чеснок, обливаясь при этом слезами, Гымза сказал:

— Совратили у меня жену в районный центр заведующей клубом. Забрала детей и уехала, а у нас свой красный уголок имеется.

— И правильно сделала! — грубо сказал Бухов. — У вас красный уголок на уровне начала эпохи индустриализации: только лозунги и брошюры потрепанные.

— Намучилась жена со мной, — сказал печально Гымза. — Приду в вагончик, брезентовый балахон, грязные сапоги скину — самое время о чем-нибудь личном поговорить, а у меня голова горит и не остывает. Дождь. Сижу, думаю. Дождь! Свалили пиломатериалы, а толем их прикрыли? Цемент в бумажных мешках. Складское помещение без настила, — вдруг грунтовые воды просочатся? Обратно сапоги надеваю, брезентовый балахон, иду, гляжу — что такое? Грузовик буксует, шофер под колеса не горбыль набросал, а лафет, который на стропила идет. Воспитываю!

Вернешься, и опять у тебя целый муравейник в голове. Жена рассуждает о личном, а ты ее не слушаешь. Ты пасосы слушаешь, которые из котлована воду откачивают: все они чавкают или которые простаивают? А ведь меня в трест звали начальником снабжения. Имел возможность пожить с нормальным почтовым адресом. И жена — «за». Я ее жалею, сочувствую, но не могу свою натуру перебороть, чтобы вдруг словно бескрылым стать...

Но Бухов не улыбнулся, не воспользовался этими словами, чтобы поддеть Гымзу, сказал серьезно:

— Это, Филарет Филиппович, ты правильно заметил: есть в тебе чувство будущего. Но я хочу, чтобы мы будущее конкретно на сегодня и на завтра планировали, а не вообще. Тогда хоть стройплощадка — территория временная, а культурный ее уровень должен соответствовать. Хотя бы для волейбола столбы с сетками поставь.

Гымза вздохнул, поежился:

— У меня жена на ставке завклуба числилась, но я ее на склад заведующей отправил, а завскладом — хозяйником. Усилил этим самым командный состав на производстве, сманеврировал.

— А жена хотела идти работать на склад?

— Нет, не хотела.

— Выходит, ты своим семейным счастьем ради дела пожертвовал?

— Ничем я не пожертвовал, — сказал Гымза, — просто целесообразно кадры расставил.

— Слушай, товарищ Гымза! Вот дам я тебе экономию на взрывных работах, купи ты на эти деньги вагон-клуб и пошли жене телеграмму: пускай вернется!

Гымза задумался, потом вздохнул сокрушенно:

— Нет, не могу. С тебя экономию я уже по другой графе спланировал. — Оживился, спросил: — А может, домишко под клуб предоставить, который мы для водолазов запланировали?

— А где он, твой дом для нас? — спросил строго Бухов.

— Где, где! — смутился Гымза. — Ну, разместили же вас, живете, не дует.

— Ох, и жмот ты!

Гымза сконфузился так, словно ему сказали комплимент.

— А как же, соображаю! С инициативой живу, не как-нибудь.

Откидной столик в вагончике Гымза накрыл вместо скатерти полотенцем, уставил яствами и объяснил, потирая руки:

— Ну, товарищ Бухов, примем по первой, чтобы все, тьфу, тьфу, обошлось точно, согласно графику.

Выпив рюмку, сморщился, брезгливо передернул плечами, замотал головой, нащупал ломоть хлеба, торопливо отломил кусочек, понюхал. И лицо его обрело блаженное выражение.

Все эти дни погода была унылой. Черное, грязное небо. Бесперывный серый дождь. Бурая от растворенного грунта, взлохмаченная сильным течением река несла кусты, вывороченные пни, плавучие острова свежего сена с залитых покосов на поймах. Противоположный низкий берег скрыт в сырой дымке дождя и тумана. Тяжелые волны бились о борт водолазного баркаса, о свисающую с борта железную лестницу, тремя ступенями уходящую в воду.

Бухов предоставил Николаю Левкину право самому подобрать качальщиц на ручную воздушную помпу.

Коля привел на баркас четырех девиц, одетых тщательно, словно в воскресный день. Две из них были неумело накрашены и напудрены. Церемонно представил:

— Мои соученицы. Вместе десятилетку кончали. — И совсем ни к чему добавил: — Я их лично знаю.

Бухов сощурился, оглядывая девиц, ехидно спросил Колю:

— Которая здесь твоя?

— Василий Григорьевич! Я вас прошу. — И Коля умоляюще приложил руку к груди.

— Ладно, чего там, — подмигнул Бухов, — сам отгадаю. — Но очень серьезно и обстоятельно объяснил девушкам их обязанности и все правила работы на помпе. Кончил объяснение грубостью: — Словом, если всё поняли, теперь главное. Когда погода наладится, чтобы со всеми своими трусами и бюстгалтерами у меня на глазах не вертеться. Загорать хотите — вон берег, места хватит. — И пригрозил: — А то я мужчина темпераментный.

Девушки смутились и укоризненно уставились на Колю. Очевидно, его характеристика Бухова не совпадала с тем, что они сейчас слышали.

Бухов понял и сказал Левкину:

— Наплел про меня, как последний лакировщик. Теперь сам выкручивайся. А я перевоспитываться среди вас не желаю.

Бухов шлепал ладонью Лену Кукушкину, когда она низкогнулась у ручки маховика помпы, кричал:

— Не кланяйся, не кланяйся, голова будет кружиться, спокойно работай корпусом.

— Какой человек распущенный! — сказала Лена. — Это же ужас!

Но Коля не согласился. Он сказал наставительно:

— У него такой метод: сначала оскорбит, а потом в зависимости от того, как реагируют, правильный вывод делает.

— Ну, тогда я ему по морде дам, — если он еще раз меня шлепнет, — пообещала Лена.

Под воду Колю Левкина Бухов пускать не собирался, говорил:

— Сигнальщик из тебя надежный, а послушать из-под воды в телефон интересно, как ты про научные факты рассказываешь, но позволить тебе в скафандре утонуть я не могу. В океане или в море я бы тебя пустил с полным спокойствием, а здесь опасно, словно в канализационном туннеле, темно, грязно и струю несет со страшной силой. Несколько раз выбросит на поверхность — вот и заболел кессонкой.

Второй водолаз, Мочалин, приходил на баркас, садился на кнехт, мрачно молчал, чихал, сморкался, кашлял, презрительно следил за Левкиным, и если обращался к нему, то не по имени.

— Ну, ты, гигиена! — говорил он Коле.

Мочалин решил, что Коля учится на медицинском, и, так как изверился в помощи участкового врача, мстительно наслаждался придуманной для студента кличкой.

— Ну, ты, гигиена! — говорил Мочалин. — Трави концы! Не видишь, бурун где? А вы, русалки на помпе, — кричал он качальщикам, — давай атмосферы, на глубину вышел!

Но Коля сказал ему:

— Товарищ Мочалин! Я тут за старшего! И прошу, пока вы на бюллетене, соблюдать на борту дисциплину. У нас здесь не плавучий дом отдыха для капризных выздоравливающих.

Мочалин угрожающе поднялся, но Лена Кукушкина с такой яростью подскочила к нему, что Мочалин попятился и сказал:

— Ну, ты, легче! А то искупаю за бортом, как ту самую персидскую княжну! — И совсем уже примирительно пожаловался: — Вот была бы моторная помпа — и никаких баб на борту! — Желая все же уязвить, кивнул на фанерную будку на корме, сказал: — Вот из-за вас гальюн, как скворечник, поставили, обезобразились, все равно как сухогрузная баржа.

После этого случая Мочалин не пытался командовать на баркасе. Но если Коля что-нибудь упускал, Мочалин молча указывал ему пальцем или глазами. Для Коли этого было достаточно, чтобы сообразить, что надо в данный момент сделать.

Условия для подводных работ здесь были необычайно трудными. Скорость течения все возрастала. По дну реки перемещались тяжелые, словно каменные колонны, бревна-топляки. Сильные струи вымывали, сваливали подводные заряды, разрушая всю проделанную за день работу. Внезапно возникшими водоворотами водолаза выбрасывало на поверхность, отчего потом болела голова и звенело в ушах. Когда полз по дну, течением оттягивало шланг и сигнальный конец тяжелой дугой, и она волочила водолаза по грунту. Однажды Бухова ударило о валун шлемом, вогнуло защитную решетку, разбило стекло иллюминатора. Закрыв ладонями иллюминатор, Бухов скомандовал: «Подъем!» — его заливало водой.

Он вышел на палубу, прижимая ладони к иллюминатору тем жестом, как это делает человек, когда у него сильно идет кровь из носа.

Надев сухое шерстяное белье, Бухов ждал, пока Коля вставит новое стекло в иллюминатор шлема. Лена Кукушкина, соболезнующе и восторженно глядя на Бухова, поставила перед ним кружку горячего чая.

Бухов хмуро взглянул на фаянсовую кружку:

— Мочегонное средство, а мне снова под воду идти.

Лицо Лены даже не дрогнуло, она сказала заботливо и нежно:

— Может, черную смородину, молотую с сахаром, попробуете? Я из дому принесла. В ней витамины. Вам нужны витамины.

В прозрачном голубом пластмассовом плаще, сквозь который просвечивало пестрое платье, Лена походила на изящную куклу в целлофановой обертке. Она положила свою руку на руку Бухова и попросила, заглядывая ему в глаза:

— Ну покушайте!

— Слушай,— сказал Бухов, выдергивая свою руку из-под руки Лены,— ты у меня не дури!

— А я дура! — сказала вдруг Лена с восторгом.— Я думала, что под водой работать опасно, а оказывается, пустяки, разбили стекло, закрылись ладонью — и все! — Губы ее дрожали.

— Ты валерьянки выпей,— посоветовал Бухов.— Девушки до замужества валерьянку пьют, все равно как мы коньяк...

О том, как тяжело доставалось под водой Бухову, можно было судить по его водолазному белью. После вахты Бухов выкручивал снятое с себя белье: такое оно было мокрое от пота, словно он в нем купался.

Бухов очищал место забоя, подготовленного для взрыва, от наваленных течением огромных валунов, затопленных пней, бревен, он таскал под водой, как грузчик, мешки с аммонитом, с галькой, которые клал поверх взрывчатки, чтобы наиболее экономно направить силу взрыва. И все время ему приходилось бороться с упругими струями подводного течения, с передвигающимися по дну топляками, корягами, в которых ему грозило запутаться шлангом и сигнальным концом. На этот случай у него на поясе висел тяжелый водолазный нож, чтобы, если нельзя будет освободить шланг и конец, перерезать их ножом, согнуть обрезок шланга и всплыть на поверхность.

Да, это был тяжелый труд, доступный только сильному, волевому, спортивному человеку.

Когда Бухов, отработав под водой, сняв снаряжение, отдыхал, сидя на корме баркаса, лицо его от усталости становилось добрым, безвольным, застенчивым и даже милым. Заметив, что качальщицы увидели на его груди татуировку с изображением самолета и под ним слова «Смерть фашизму», сконфуженно объяснил:

— Конечно, глупость. Это мне один уголовный элемент наколол. В штрафной роте вместе служили. Попали в окружение. Сидим в дзоте, отбиваемся помаленьку. Делать особенно нечего. Ну и наколол. Он мне, а я ему. Обоюдно. Даже, вернее, я сам его на это подбил. Я бы живым все равно не дался, а он, элемент, не внушал доверия. Я и решил: с такой надписью он к ним, в случае чего, не подается: повесят. Для гарантии подбил. Но, может, и зря. Дрался он крепко. Вышли из окружения благополучно. Ну, а потом погиб из-за пустяка. Ворвались в расположение фашистов, он склонился к ихнему офицеру часы снять, другой из парабеллума в спину. Вот не отделался от вредной привычки, а мог бы, возможно, в люди выйти...

Почти каждый вечер Бухова приглашали в гости либо из совхоза-гиганта под названием «Пятачки», либо из объединенного колхоза-гиганта «Заря коммунизма». Население обоих гигантов относилось к водолазу с исключительным уважением, чему способствовала напечатанная в районной газете заметка Гымзы под заголовком «Герой подводных глубин».

Гымза посетил начальство обоих гигантов и угрожающе предупредил:

— Лично проследите, чтобы ни капли горючего. Он из уважения выпьет, утром рука или еще что-нибудь дрогнет — и финиш, погубили насмерть такого человека.

— А брагу?

— В чем? В кружках? Только в рюмках!

— Это же совестно, все равно что пиво из рюмки хлебать.

— Иначе возражаю, — категорически говорил Гымза.

Но Бухов большую часть вечера просидел в пустом кабинете директора совхоза, ожидая, когда междугородная соединит его с женой, по которой он сильно скучал.

Бухов не умел рассказывать о себе, и поэтому он только умоляюще кричал в трубку:

— Ты что-нибудь вообще говори, чего хочешь, мне голос твой живой интересно слушать! Ну давай, голос,

говорю, голос, слушать, говорю, его люблю, ну и тебя тоже! Понятно?..

Как ни странно показалось всем, Бухов сдружился с Колей Левкиным. Он предпочитал общество Левкина даже пиршествам у Гымзы. Тем более что он поссорился с Гымзой.

Однажды Гымза, как всегда обильно уставляя стол своей кулинарией, спросил озабоченно:

— Может, тебе даму позвать? Есть одна такая, интересная, заведующая местной сберкассой.

— Ты что? — спросил Бухов.

— Ничего,— сказал Гымза и обиделся: — Рожу на меня презрительную скорчил. Подумаешь! А я за него переживай. Вчера опять под водой чуть не задушило, замотало шланг о топоры, нож выронил, в тине потерял, три часа шланг и веревку о железо потопленное тер, пока освободился, а если б не было потопленного этого железа, задохся бы, как удавленник, в своем скафандре. И все. Похоронили бы, конечно, с музыкой на кладбище райцентра, а памятник, уж извини, в местном бюджете на тебя не предусмотрен.

— И что из этого следует? — сощурясь, спросил Бухов.

— Обязан я тебе жизнь обеспечить, пока ты живой, чтобы меня потом совесть не мучила,— объяснил Гымза.

— Свинья ты!

— От такого и слышу.

— Пошляк!

— Уж это выражение не принимаю, уж это слишком! — возмутился Гымза.

Отдохнув после работы, Бухов любил длительные прогулки. В любую погоду он вышагивал километров двадцать. Во время ходьбы старался думать о чем-нибудь легком, приятном, чтобы успокаивались нервы и, придя домой, можно было бы сразу заснуть. Больше всего Бухов любил во всех подробностях представить себе, как ему выдают ордер на отдельную двухкомнатную квартиру, и как он нанимает грузовик, приезжает в комнату своей супруги, где жить ему неприятно, потому что эту комнату когда-то получил бывший муж его жены, и вот он вместе с грузчиками входит в эту комнату. Ни жены, ни сына нет дома. Он командует: «Забирать все!» Соседям скажет: «Как только вернется жена с сыном, пусть немедленно едут по такому-то адресу». В новой квартире садится, закуривает. Звонки. Открывает дверь. Жена держит сына за руку. Лицо взволнованное, встревоженное. «Вася, что все это значит?» А он

говорит: «Привет. Будьте как дома». Ведет сына в ванную комнату, говорит: «Валяй, хочешь — купайся, хочешь — душ».

А в коридоре будет стоять холодильник, а столовая будет на кухне, как это он видел в Германии, когда служил в армии.

И вот на эти прогулки Бухов вдруг стал брать с собой Колю Левкина. Конечно, это большая честь для Левкина.

Долговязый, узкоплечий, белесый, сутулый, казалось, оттого, что у него слишком крупная голова и вместе с тем по-ребячьи маленький, вздернутый нос и чуть намеченные крохотные губы, Коля выглядел довольно нелено рядом с Буховым, сложенным удивительно пропорционально.

Во время таких прогулок обычно всю дорогу говорил Коля. Он восторженно рассказывал о том, что, оказывается, строение костной ткани — это самая совершенная конструкция, которая может служить моделью для сооружения, скажем, самых высоченных телевизионных башен. Теперь, говорил Коля, мощность ума человеческого такова, что мы подошли вплотную к тому, чтобы взять нервную клетку в качестве совершенного образца устройства для прибора автоматического управления.

— Ну что же, давай, давай, — одобрительно бормотал Бухов, — действуй!..

Бухов чувствовал, что начинает привязываться к юноше. Ему доставляло большое удовольствие быть с ним — и не потому, что слушать Колю так уж увлекательно, тут было другое. Бухов стал думать: а вдруг Коля — тот самый человек будущего, которого еще только сулят в газетах, в книгах, а, оказывается, он очень просто и нешумно живет себе среди нас уже сегодня?

Но Бухов сам опасался своего увлечения Колей Левкиным. Уж очень он какой-то весь подозрительно хороший. Не видимость ли это? Не притворство? А может, все это просто-напросто признак слабодушия? Со всеми без разбора быть хорошим легче легкого. А если человек плохой, он с ним тоже будет хорошим? Таких людей Бухов презирал.

Бухов относился с подозрительностью к мягкому характеру Коли Левкина. Он говорил ему:

— Ну, допустим, это правильно подсчитано, что у нас с тобой по десять с половиной миллиардов нервных клеток в головном мозгу, и все они бессменно трудятся, и можно сначала через одноклеточные, простейшие организмы познать их устройство и с помощью биохимии, если что в мозгу сработалось или в случае травмы повредилось,

заменить, прирастить из искусственных. Но ведь за все это бороться надо!

— Конечно, — согласился Коля, — надо отдать всю свою жизнь.

— Да я не про то, я про другое, — морщился Бухов. — Я говорю: с людьми бороться. — И пояснил озабоченно: — Знаешь, как бывает: ты «за», а другие «против».

— Но есть аргументация научными экспериментами, и я докажу! — азартно обещал Коля.

— А я твой начальник, — объявил Бухов, — р-раз — и срезал тебе смету! Мне позвоночные интересны, а твоих беспозвоночных презираю.

— Но это же глупо! — усмехнулся Коля.

— А я вот такой. — Бухов грозно вытаращил глаза, придавая лицу идиотское выражение, сказал свирепо: — Вы, товарищ Левкин, фантазер и полная бездарь.

Лицо Коли побледнело, глаза погасли.

— Ну что же, возможно, у меня нет дарования настоящего ученого. Но то, что я вам говорил, вполне возможно, и человечество этого достигнет.

Бухов сатанел:

— Ну куда ты лезешь? Тряпка ты! Разве так можно? Да если веришь, плюнь на все человечество, сам всего достигни, сам, а мне за то, что я тебя обозвал, ты вот что должен. — Бухов ожесточенно совал себе под нос кулак, сжатый с таким остервенением, что все косточки глянцевило блестели. — Вот как надо за свою идею бороться, вот! — кричал Бухов и тыкал себя кулаком в верхнюю губу. — Беспощадно! — кричал Бухов. — А ты... — Бухов плевал в Колино отражение на воде и еще спрашивал: — Видал, куда плюнул? Распалил ты меня, думал, действительно человек устремленный, а ты еще сам беспозвоночное существо. Фитюлька!

— Зачем вы ругаетесь? — упрекнул Левкин. — Во-первых, я еще только заочник. Заработаю летом на земснаряде, буду проситься на очное, если, конечно, в общежитии место найдется.

— А ты требуй!

— Ну как же я могу требовать? — удивился Коля. — У меня нет никаких оснований требовать.

— Да ты же рабочий, не из интеллигентов?

— Почему же не из интеллигентов? — обиделся Коля. — Я из интеллигентной семьи. Отец у меня — техник по подземным канализационным коммуникациям, а мать — лаборантка на полях орошения.

— Проще говоря, по ассенизаторской части работает, — буркнул Бухов. — Не с одеколоном дело имеет.

— Вы очень отсталый, — сказал Коля, — и не знакомы с современной городской санитарной техникой.

— Ну ладно, как его ни называй, все равно оно им остается, — упрямо заявил Бухов и добавил: — Я ведь тебе что внушаю? Если человек кроткий, тихий, значит, в нем огонька нет. А если есть огонек, так он себя распалить должен. Жми вперед. А кто мешать станет, обожги! Не бойся! Пусть сторонятся.

— Нет, так нельзя, — сказал твердо Коля. — Это нечестно — так действовать. Я должен просто убедить всех, что я прав. Понимаете? Убедить! Доказать!

— А условия кто тебе создаст, если ты весь мягкий, как цыпленок? — сурово спросил Бухов и попросил умоляюще: — Ты пойми: я человек жизнью мятый. Всюду углы от вмятин торчат. Я знаю, чем в жизни толкаться. Опыт! Я и делюсь с тобой опытом. Почему? Вот, думаю, экземпляр нового поколения — не пьет, не курит, за девками не бегают и очень искренне наукой волнуется. Может, ты феномен, — спросил опасливо Бухов, — а остальные все хуже?

Коля снисходительно улыбнулся и сказал:

— У вас неправильное представление о современной молодежи. Мы все сейчас понимаем, какая это гордость для человечества — современные достижения науки...

— Да оставь ты человечество в покое, — недовольно перебил Бухов. — Я его знаю, твое человечество. Не успели из второй мировой выскочить, а оно, как дурак, за атомную бомбу хватается, пока она его не спалит. Ну его! — махнул рукой Бухов. — Мы с тобой тоже человечество в своем личном масштабе! И про молодежь тоже меня не поучай. Она у нас всякая, есть субчики, которые собираются в коммунизм вприпрыжку попасть. Я персонально тобой интересуюсь: есть у тебя самостоятельность или нет?

— Не знаю, — сказал Коля. — Но вы рекомендуете мне драться. Драться — это значит кого-то бить, кто окажется меня слабее.

— Ну зачем же слабых? Слабые и так уступят.

— А сильный меня избьет. Ведь так? Если руководствоваться вашей логикой.

— Поймал! — расхохотался Бухов.

— Да я вас не хотел вовсе на чем-то ловить, — строго сказал Коля. — Мне просто неприятно, что вы думаете про нашу жизнь со старых позиций.

Бухов вскипел:

— Ты мои позиции не трогай! Я их своей кровью на фронте поливал!

— Извините,— сказал Коля.— Я не хотел вас обидеть. Я просто обиделся за вас самого, что у вас такие неправильные представления.

— Ну ладно,— сказал Бухов,— замнем для ясности.— И пригрозил: — Только помни, у тебя одни хрящи, а без костей далеко и высоко не прошагаешь — рухнешь.— Сказал расстроенно: — Ты еще не знаешь, какой сволочью человек может быть.— Сощурился и произнес зловеще: — Ты меня на всякий случай тоже запомни; пригодится для закладки в счет будущего...

А небо было по-прежнему низким, набрякшим, из него беспрерывно текло. И все выглядело как сквозь тусклое, закапанное стекло. Река набухла и набухла, мчалась грязная, взлохмаченная, разваливая берега. В пизинах вспучился туман, словно гигантская плесень.

Видимости под водой почти совсем не было, работать приходилось в буром мраке. Сильное течение быстро изменило рельеф дна. Бухов тратил много лишнего времени на ориентировку. Он стал злым, раздражительным, с ненавистью бросал за борт окурки и даже плевал в реку, что было явным и зловещим нарушением флотского обычая.

Презрительно оглядывая зябнувшего на баркасе Левкина, Бухов советовал:

— Ты бы зонтиком обзавелся, что ли, а то промокнешь, простынешь, разведешь гриппозную заразу.

Коля молчал, молчал даже тогда, когда Лена Кукушкина спросила томным голосом:

— Тебе Бухов правится? — И сообщила вызывающе: — А мне очень...

Однажды Коля услышал, как Бухов сказал Лене:

— Вы действуете на меня сильнее, чем все земное притяжение.

Лена простодушно призналась:

— Вы на меня тоже.

Бухов подошел к Коле, спросил:

— Слышал?

— Слышал,— сказал Коля и осведомился в свою очередь: — Ну и что?

— А то,— сказал Бухов, подмигивая.— По-твоему, жизнь есть способ существования белковых тел. Так? Вот мы, значит, и существуем.

— Вот именно,— сказал Коля,— существуете...

Коля тяжело переживал внезапную враждебность Бу-

хова. Но он твердо решил «не выходить из служебных рамок». Кукушкиной самоотверженно заявил:

— Бухов — человек неординарный. — И, преодолев спазм в горле, добавил: — Я тебя понимаю.

— Да... — сказала Лена.

Коля поспешно сбъяснил:

— Но, я полагаю, с его стороны это только полемический выпад...

Теперь Лена сопровождала Бухова в прогулках, и он рассказал ей, как однажды загорелся его самолет и пламя обдувало вторую кабину, где сидел стрелок-радист, и этот стрелок-радист горел заживо и все же не переставал вести огонь по «мессерам», хотя Бухов приказал ему прыгать с парашютом.

— Вот вам, пожалуйста, факт: сгорел человек за идею, мог в два счета выпрыгнуть, а не прыгнул. И знаешь почему? Он передо мной, беспартийным, постеснялся выпрыгнуть... Я бы на его месте, возможно, тоже не выпрыгнул, но не из-за идеи, а просто из самолюбия, чтобы пилот не подумал, будто я трусил. — Признался доверительно: — Я вообще о себе слишком много воображаю, будто на земле самый главный, а какой я главный, если хочется, понимать, иногда для собственного удовольствия плохое другому человеку сделать.

— Я не понимаю, — спросила растерянно Лена, — что вы имеете в виду?

— А вот, — сказал Бухов и, просунув руку под распахнутый плащ Лены, сильно прижал ее к себе.

Из прически Лены выпала полукруглая гребенка. Глаза ее стали испуганными и счастливыми, губы вспухли и дрожали.

Бухов наклонился над ее ртом,дохнул табаком и, вдруг отстранив от себя, сощурившись, осмотрел ее одним взглядом:

— Ты курица! Я же хищный человек, разве так со мной можно?

— Можно! — сказала возмущенно Лена. — Вы думаете, я не знаю, что вы воображаете? Знаю. — Улыбнулась снисходительно. — А на самом деле вы хороший, только на все плохое очень резко реагируете и от этого считаете себя плохим, а на самом деле оттого, что вы такой резкий, вы и есть очень хороший. И вы мне нравитесь. — Доверчиво подняла лицо. — Я Коле говорила: вы мне Лермонтова напоминаете, он был такой же, как вы, маленького роста, смелый и злой ко всему злему.

— Ты Лермонтова оставь,— сказал Бухов, цепко беря Лену повыше локтя,— ты скажи по-честному, сильно я тебе нравлюсь или не сильно.

Лена посмотрела на пальцы Бухова, сжимавшие ее руку, вздохнула:

— Нет, пожалуй, не очень сильно.— И, придя в смятение от этого откровенного и, казалось ей, столь оскорбительного для Бухова признания, поспешно объяснила: — Я вас с Галей Волжиновой обсуждала, и за то, что вы так много в жизни перенесли, мы решили: если вам у нас скучно будет, пожалуйста, ей или мне гулять с вами по сколько угодно километров на высоких каблуках, лишь бы вы не чувствовали одиночества.— Деловито пояснила: — Конечно, я себя перед местным населением компрометирую, но считаю себя выше сплетен.— Призналась со вздохом: — А кроме того, мне с вами даже приятно, хотя и жутко, но все равно приятно.

— Значит, ты меня опасаясь? — спросил Бухов.

— Не вас,— гордо сказала Лена,— а себя. Хотя я с Галей о вас и договаривалась, но, в сущности, мне просто хотелось с вами быть, а договаривалась с Галей я, скорей всего, для того, чтобы не стыдно было перед ней, что я с вами бываю. Видите, какая я несчастная и хитрая.

— А с Левкиным ты тоже договаривалась?

Лена пожала плечами:

— Коля очень умный и наблюдательный, он все без слов понимает.

— Что же именно?

Лена отвернулась и, шаркая ногой, неохотно пробормотала:

— То, что я ему вызов бросила.

— Какой вызов?

Лицо Лены стало красным, сердитым.

— А вот,— сказала она гневно,— если он меня не схватит, то меня кто-нибудь другой схватит, и тогда мы с Колей станем на всю жизнь несчастными.

— Значит, ты его любишь?

— Да нет,— раздраженно заявила Лена,— я его не люблю, но предпочла бы именно его полюбить, если бы он хотя бы немножко стал другим.

— Каким?

Лена восхищенно оглядела Бухова и объявила:

— Ну хотя бы чуть-чуть на вас похожим...

Вечером Бухов жаловался Мочалину:

— Надо мне кончать эту работенку во влаге.

— Это почему?

— Критический возраст почувствовал.

— Сердце давит?

— Не сердце, — негодуяще заявил Бухов, — а, понимаешь, недавно девчонка со мной откровенно, как с пожилым человеком беседовала, а я все полагал, держусь на уровне среднего возраста.

Мочалин сказал сочувственно:

— Меня тоже года прижали. Раньше как? Залью таблетку спиртом — утром законная температура. А теперь три раза в день лекарствами питаюсь, а где эффект? Нет эффекта. — Мочалин штопал меховые чулки-шубники. Он втыкал иглу ладонью с надетым на нее куском кожи, заменяющим морякам наперсток, и лицо его было суровым и озабоченным. Признался: — Я в молодости сильно палачествовал над своим здоровьем, а любая зараза меня избегала. — Подумав, заявил: — Все ж таки мы с тобой люди с повышенной покупательной способностью — и без приговора медкомиссии зачем же от материальных благ зря отказываться? Профессия у нас хорошая. — Поволил нитку, произнес задумчиво: — И работка у нас не такая чтоб уж очень рисковая. Это улицу опасно переходить. В Америке, например, я читал, в год пешеходов ухлонывают больше, чем они во время войны людей потеряли. Вот где одни «чене», а в нашем ведомстве давно фактов не было.

— Стена, — пропикновенно спросил Бухов, — ты о жене не скупаешь?

— Я от нее на работе отдыхаю, — буркнул Мочалин. — Ребята выросли, так ей делать нечего; как вернусь домой, меня воспитывает.

— А ты ей изменял?

— Это зачем же? — равнодушно спросил Мочалин. — Я добровольно женился.

— Значит, любишь?

Мочалин задумался, поднял крупную костистую голову, долго тер впалый висок ладонью. Натужливо произнес:

— Вначале. Потом как вжились друг в друга! — Усмехнулся: — Смешно! Вроде как не представляю, чтоб я без нее отдельно существовал. Так привык, значит. — Погладил согнутым указательным пальцем ус, подмигнул: — Хотя разнообразных женщин и замечаю, но из-за факта их существования никакого себе дифференциала не позволял.

— Не пожалеешь?

— Кого? — спросил лукаво Мочалин. — Их? — Потом

вдруг, став суровым, произнес негромко и сипло: — А за такой разговор спасибо тебе, Василий Григорьевич.

— Это почему спасибо?

— А потому,— сказал Мочалин.— Если б ты с Кукушкиной себя забыл, я бы тебя подушил как следует.

— То есть как это — подушил? — спросил Бухов и угрожающе поднялся.

— Очень просто,— сказал Мочалин. И сделал движение руками, словно перегибал воздушный шланг.— Ты бы у меня там под водой порыдал, поизвинялся бы до полного изумления.— Сказал твердо: — А ты что думал: с тобой церемониться, если б в девчонке счастье убил? — Сощурился, будто прицеливаясь в лоб Бухову.— Ты думаешь, я только своим дочерям отец? Нет, я себя чувствую отцом каждой девчонки паршивой, так что вот.— И Мочалин повторил жест, которым он показал, будто перегибает воздушный шланг.

Бухов, потрогав тугие, округлые, как крокетные шары, бицепсы Мочалина, заметил одобрительно:

— Подходящие прыщики.— И вдруг резким движением перебросил огромного Мочалина через плечо на пол. Сообщил небрежно: — Можем и с вывертом плечевых, локтевых и прочих суставов, а также с перешибом костей. Обучен, так сказать, для действий в тылу.

— Хорош! — сказал Мочалин, ухмыляясь, и, не меняя выражения лица, подцепил ноги Бухова сзади ступней, толкнул другой ногой, и Бухов, как подрезанный, упал на грудь Мочалину. Заламывая руки Бухова за спину, Мочалин снисходительно бормотал: — Мы тоже не из штатских, тоже в тылу у них кое-что делали.— Скрутив Бухова, он поднял его на руках и пропел, раскачивая: «Баю-баю хочет Вася, баю-баю хочет милый», — бросил на койку и объявил без всякой одышки: — А все ж таки чистый ты человек оказался, вполне аккуратной души.— Потом рассмеялся: — Глубоко тебя понимаю, я человек закаленный и то впологлаз погляжу на Кукушкину — существо восхищающее.— И признался сконфуженно: — Я ведь хворый, на бюллетене, а каждый день бритый. Отчего? Инстинкт. Видал, как красота воодушевляюще на человека действует? — Поднял палец.— Я полагаю, при коммунизме от хорошего образа жизни и питания красивых людей в процентном отношении больше будет.

— Это правильно,— согласился Бухов, аккуратно складывая снятую с себя одежду на табуретку. Залезая под одеяло, Бухов сказал: — Вчера мне глупый сон приснился:

будто стою я на площади, как памятник, а пьедесталом у меня пивная бочка.

— Пустая или полная? — деловито осведомился Мочалин.

— Не знаю.

— А надо было б слезть и проверить. — Мочалин заслонил свет газетой, чтобы не мешать Бухову, и начал с удивительной ловкостью штопать огромной иглой шерстяные водолазные рейтузы Бухова, порванные на коленях и на зад.

В окне кривлялись потоки дождя, и струи шлепали по земле так, словно босые люди бегали вокруг барака и часто и тяжело дышали. Пахло сыростью, затхлостью и пресно — туманом от реки.

Наконец врач разрешил Мочалину ходить под воду. И сразу он стал добродушным, симпатичным человеком. Даже костистое, лошадиное лицо его обрело милое, озабоченное выражение. Только сейчас стало понятно, как сильно он тяготился вынужденным бездельем. Он сказал дружелюбно Коле Левкину:

— Это ты правильно обратил мое внимание: если раскаленное тело весит больше, чем холодное, то больной человек весит больше, чем здоровый. Я лично на себе это прочувствовал. Могу быть свидетелем. А насчет того, что Земля летает вокруг Солнца со скоростью тридцать километров в секунду, это ты меня зря информировал во время болезни. Лежу ночью на койке и, понимаешь, чувствую: несусь куда-то в мировое пространство без всяких тормозов, и от этого тоска во всем теле...

Во время войны Мочалин работал как узкий специалист. Его доставляли на быстроходном судне к месту потопления вражеских кораблей и подводных лодок: он должен был только разыскать, добыть карты в свинцовых переплетах, лоции, шифры и другие секретные документы. Работа на больших глубинах, в трущобах потопленного корабля была сама по себе опасной, но обычно противник высылал еще к месту гибели своего судна авиацию, корабли и подводные лодки. С нашей стороны делали то же. Завязывалась морская битва.

В минуты опасности Мочалин умел обретать спокойствие. Объяснял морякам:

— Моя такая тактика? Не надо нервно за жизнь цепляться. Думай в критическом положении о том, где

и как тебя обидели, о всяких неприятностях, тогда тебя не очень сильно на поверхность будет тянуть. И ты сможешь терпеливо лежать и ждать, пока тебя спасут. Но и тут крайности излишни. Вот я себе нервную систему отретенировал. Лежал, помню, на Балтике под грунтом больше двух суток и от своего спокойствия чуть было не отсутствовал. В сон меня тянуло. А что значит сон в таком положении? Забудешь затылком давить на клапан, перестанешь воздух стравливать, разопрет рубашку, она и лопнет. В таком «чене» надо, наоборот, думать о чем-нибудь приятном, чтобы тебя на поверхность всей душой звало, аж пальцы в шубниках копошились от нетерпения. Тогда не заснешь. Меня чем от сна спасли? Сначала вроде концерта в телефон устроили. Экипаж корабля со мной беседовал вежливо, ласково, будто я больной или умирающий. А меня от этой скуки только сильнее спать тянет.

Потом политрук разъяснял всеобщую обстановку и о красоте героизма говорил. А какая тут красота, если ты скафандр в сортир обратил? И кто меня спас? Наш боцман. Пристал: «Куда разводной ключ положил?» Это же оскорбление! Я кричу: «Ты барбос, погляди в кубрике, под койкой или в моем сундучке, на баке, в рундуке, в машинном отделении, где концы обтирочные...»

Так почти сутки он меня обзывал, а я его по всему кораблю гонял. Капитана к телефону вызвал, помощника, политрука — жалуюсь им на оскорбительное подозрение. А они: «Мы не в курсе, вы сами с боцманом выясняйте». Ну, думаю, вот гад, умру заподозренным. Понятно, волнуясь. Тут уж не до сна. На третьи сутки подняли. Потребовал, чтобы лишние удалились, когда снаряжение снимать будут, принял душ. Пошел отдыхать на койку. Врач давление меряет, за пульс хватается. А у меня все из головы история с разводным ключом не выходит. Говорю врачу: «Извините», — полез под койку, смотрю: лежит разводной ключ на самом заметном месте. Я боцману кричу. Пришел, ухмыляется. Я ему р-раз... Слабый был, не сильно получилась... Все-таки покачнулся боцман, но опять ухмыляется. «Я, говорит, Степа, тебя нарочно оскорблял, потому что на остальное ты бесчувственный. Ты, говорит, оцени мою фантазию, когда выспишься. И если б не мой художественный вымысел, уснул бы ты там на грунте навек в лопнувшем скафандре в полном расцвете своих девятнадцати лет».

Спал я больше суток, проснулся, полез под койку за бутсами, а там, извините, пустая кастрюлька стоит, накры-

тая бумажкой. Вот ведь знал, будет разыгрывать. Человек, можно сказать, чудом живой остался, а они смеются. Очень непессимистический у нас народ.

Мне в одном фиорде из нашей погибшей подводной лодки надо было в легководолазном документацию снять. А немцы уже свою водолазную экспедицию снарядили. Вот я выждал, пока их водолаз газовым резаком обшивку лодки против рубки прорезал, проделал проход и полез внутрь копаться, а я сначала ножом перепилил его сигнальный конец, а уж потом согнул шланг, придушил слегка, не до смерти. Взял у него, обеспамятевшего, всю документацию, которую он в сетку, как в авоську, сложил, и вернулся на свою базу. Убивать мне его не захотелось, подумал: «И так у нас, водолазов, всегда смерть рядом. Что я, акула — под водой человека резать!» Прихожу в кубрик к ребятам — встречают уважительно. И вдруг, понимаете, приходит комиссар и подает мне золотые часы на мокром ремешке, спрашивает: «Ваши?» — «Никак нет». — «А чьи же?» — «Не могу знать».

Подает другие часы, тоже на мокром ремешке. «А эти тоже не ваши? А серебряный портсигар? Может, тоже не ваш?» Я, конечно, побелел. Но встал, как положено, по команде «смирно». «В чем дело, товарищ комиссар?»

А он говорит: «Вы успокойтесь. Я просто хочу продемонстрировать команде фашистские нравы гитлеровских водолазов. Фашист положил в сетку не только документацию с нашей подводной лодки, но и снял различные ценные вещи с наших погибших товарищей, а краснофлотец Мочалин отпустил этого фашиста восвояси. Вот и все, о чем я хотел команде сообщить».

И началось! Как немцы по нашему кораблю бьют, так обязательно ко мне ребята с вопросом: «Стена, погляди внимательно, это не твой фашистский дружок тебе в благодарность подарок прислал?» — и суют под нос горячий осколок. До самого конца войны дразнили. Те, кто в живых оставался, эту дразнилку новому пополнению передавали, установили корабельную традицию.

Обо всем этом Мочалин повествовал густым, утробным, монотонно гудящим басом. Потребность разговаривать появилась у него сразу после того, как получил разрешение ходить под воду. И эта разговорчивость была тоже выражением его радости, что он вновь «полноценный».

— Я, ребята, — признавался он, — без дела сразу сильно глупею и на всех людей, как человеконенавистник, кидаюсь, а на работе снова добрую. — Удивлялся: — Ведь

вот как человек правильно устроен. Он, говорят, сначала даже не обезьянкой, а микробом был, а после животным, а из животного благодаря труду стал человеком. Вот, значит, тянет инстинкт на работу, чтоб дальше совершенствоваться.

— В ангела? — с улыбкой спрашивала Лена.

— Ангелов от убожества воображения религия выдумала, — серьезно отвечал Мочалин. — Есть другой норматив. — И закончил печально: — Конечно, много лучше я уже не стану, но кое-каким резервом в этом смысле располагаем...

Гымза приходил на водолазный бот и, не решаясь высказывать прямого своего неудовольствия затянувшимися сроками, мечтательно оглядывал речную даль.

— А ведь речушка смирной всегда считалась. Для крупной рыбы помещение тесноватое, больше плотва. В засушливое время, полагаю, здесь, как говорится, воробью по колено.

— Шли бы вы куда-нибудь в другое место поруководить, — советовал Мочалин.

— Я ведь только про нейзажи задумался, — хитрил Гымза. — Возможно, обижаетесь, что не гляжу на вас с восторгом. А у меня что перед глазами? Один план. Я его подписал, он меня и казнит. Какое сегодня число? — Схватился за голову: — Ну, все! Снимут, как пить дать, снимут!

— Да ведь мы же и так от пота не высыхаем! — упрекнул Мочалин.

Гымза, простирая ладонь, произнес высокопарно:

— Никаких жертвоприношений не принимаю. Только график.

— Пузоносец ты, вот кто! — рассердился Мочалин.

— Много ем, потому что нервный, — строго сказал Гымза, — от этого и полнота. А кругом одни неприятности и срывы сроков. Другой бы запил, а я предпочитаю пищей здоровье подламывать, чем водкой.

Когда Гымза спускался по трапу, грузные щеки его трепыхались. Показал пальцем на бурун в реке:

— Это товарищ Бухов бурлит. — Сел в лодку, прижимая к животу брезентовый портфель, покрытый жирными пятнами мазута. Скомандовал гребцу: — Давай!

На душе у Гымзы было скверно. Глядя на обломанные берега в пробоинах стрижиных гнезд, думал о том, какой он, в сущности, добрый, мягкий и безвольный человек. Зная

в себе эти черты, боясь их и борясь с ними, он впадал в противоположную крайность — симулировал твердость, волевою решимость, грубость. И потом, когда оставался один, вспоминая, как он вел себя с людьми, Гымза испытывал к себе отвращение; хотелось извиниться перед людьми, которых он обидел, сказать им о себе правду, но он хорошо знал, что никогда не решится этого сделать, потому что застенчив. И сейчас, в смятении оттого, что так нехорошо вел себя с Мочалиным, Гымза зябко ежился, громко вздыхал и вдруг, поймав себя на том, что его жалобные вздохи слушает гребец-плотник, прикрикнул на него грубым голосом:

— Ну, ты! Давай веселее махай, что ты, малокровный? — И тут же, смутившись от этого начальнического окрика, побагровел и, чтобы скрыть лицо, открыл портфель, склонился над ним и стал озабоченно копаться в бумагах.

Водолазы подготовили забои, чтобы одним массовым взрывом пробить траншею в скальном выходе дна реки, куда потом лягут стальные трубы нефтепровода.

Рано утром Бухов отправился в райцентр на базу, где получил материалы для взрывных работ. Пятитонка, на которой везли эти материалы, с обоих бортов была обвешана красными флажками, знаками грозного предупреждения — груз взрывоопасен. Бухов сидел в кабине рядом с шофером. В боковом кармане пиджака лежали завернутые в пропарафиненную бумагу медные капсюли запалов.

Шофер, белобрысый паренек, вел машину бережно и напряженно. Голова его вжата в плечи, зрачки расширены, губа закушена, на лбу — выпуклые мелкие капельки пота.

Бухов смотрел на затянутое тучами небо, на зеленую мглу леса, на высокие желтые хлеба, на худощавые молодые деревца, посаженные вдоль дороги, и думал печально о том, что он уже не увидит эти деревца взрослыми, да и вообще больше никогда здесь не будет — этот речной переход только мелькнет в его жизни, как уже мелькало очень многое. И жизнь людей, с которыми он здесь познакомился, тоже мелькнет и исчезнет из его жизни, так же как и его жизнь мелькнет и исчезнет из их жизни. Но почему он, зная все это, старается произвести впечатление на этих случайных для него людей, и мало того: ведь он даже расстроился, что Коля, возможно, в силу недостатка настойчивости, не добьется в жизни того, чего, по мнению Бухова,

заслуживает. Или вот тоже Лена Кукушкина. Зачем понадобилось пугать девчонку, выступать перед ней в обличье хладнокровного погубителя? Во-первых, если говорить начистоту, Бухов поступил так не только из прекрасных педагогических побуждений: он смятенно почувствовал, что она ему нравится. Во-вторых, из трусости и самолюбия, чтобы она не высмеяла его, не нашел ничего лучшего, как притвориться перед ней остывшим и все на свете испытывавшим героем-гордецом. И с Колей Левкиным? Ну на что он толкал парня, за что высмеивал, называл тряпкой? Ведь сам Бухов никогда в жизни ничего не добивался и не добился для себя лично, да и не стал бы из гордости и самолюбия добиваться. Конечно, для другого или для других не совестно, можно и на крайность даже пойти, как это бывало у Бухова не однажды...

Машина еле ползла.

Бухов, оторвавшись от своих размышлений, с негодованием спросил шофера:

— Ты что, молоко везешь, что ли? — Но, взглядевшись в выражение его лица, понял, рассмеялся, похлопал по плечу: — Да эту взрывчатку сколько угодно трясина любых ухабах, ничего не будет. Она на удары смиренная, без взрывателей — мукá, и все. Я в партизанах был. Нам летчики как-то тол брусками в мешках покидали, а население подняло — думали, мыло: стали по домам пробовать — не мылятся. «Вот, говорят, наши тоже, как немцы, эрзацы стали выпускать». А этим эрзацем при обдуманном обращении мы целые эшелоны метров на десять от железнодорожного полотна швыряли.

Шофер, постепенно выходя из судорожного оцепенения, зарумянился, солидно объявил:

— Я полагаю, горючее в наших ракетах наверняка из какой-нибудь взрывчатки, и вообще, надо думать, поршневые двигатели скоро снимем, как исторические древности. — Осведомился: — А если вместо экскаваторов оросительные и ирригационные каналы малыми зарядами пробивать, получится, как вы думаете?

— Получится, — сказал Бухов. — У нас все получается.

И этот парень, шофер, тоже взволновал Бухова. «Вот, — подумал Бухов, — тип, как у него мысль работает! Сначала от страшного груза затих, а потом как расхрабрился — взрывчаткой каналы пробивать... Здорово, конечно, было бы, если бы насобачиться, заложить микрочаряды, а потом как дать — протяженность километров сразу на десять. И труда экономия и времени. Надо только, чтобы взрывчат-

ка сильно подешевела, для этого химическую промышленность побыстрее поднять».

И вдруг Бухов с какой-то удивительной ясностью понял, что он причастен к мечте этого парня. Ведь он прокладывает по дну реки траншею для нефтепровода, а нефтепровод идет к химзаводу. И все у нас в стране находится во взаимозависимости. Если Бухов быстрее пробьет в скальном грунте под водой траншею, быстрее проложат нефтепровод, химзавод быстрее получит сырье. И быстрее выпустит продукцию. И этот паренек-шофер, может быть, этак лет через пять...

— Ты кем будешь? — спросил Бухов шофера.

Тот равнодушно ответил:

— Болотоведом.

— Это что за штука такая? — удивился Бухов.

— Очень просто, — сказал паренек. — Болото — та же пустыня, только не от недостатка влаги, а от ее чрезмерного изобилия. Ну, вот и буду эту пустыню ликвидировать. Болота — это огромные и богатейшие почвенные ресурсы, это перспектива.

— Ну вас к черту! — рассердился Бухов.

— Вы что ругаетесь? — спросил шофер.

— Это я для себя, — успокоительно заявил Бухов. — Жить до чего будет впереди интересно, даже смешно!

Шофер деловито спросил:

— Значит, могу жать на полную?

— Давай, — сказал Бухов, — не опасайся, жми!

Когда машина мчалась по проселочной дороге, выплескивая из колеи плоские фонтаны грязи, Бухов отчетливо вспомнил, как он вот так же, на полutorке, нагруженной ящиками с минами, мчался по простреливаемой немцами дороге и чувствовал в желудке боль и ледяной холод. Солдат-шофер, уткнувшись подбородком в баранку, смотрел остановившимися от ужаса глазами вперед, где с хрустом лопались снаряды, вспыхивало оранжевыми кустами пламя разрывов. Горячий, пахнущий химией тугой воздух шатал машину, и они мчались как в бездну. И вдруг солдат-шофер, покосившись через вздернутое плечо на Бухова, спросил озабоченно:

— Не знаешь, почему такой снаряд у немцев стоит? — И, кивнув туда, где только что ахнул взрыв, не дожидаясь ответа, произнес хвастливо: — Я считал, на меня немцы уже штук сто семьдесят снарядов потратили. — Добавил с удовлетворением: — Обойдусь я им в случае чего не в малую копейчку.

И Бухов помнил этого солдата-шофера с потным лицом, в потной гимнастерке так отчетливо, будто только вчера был вместе с ним на фронтовой дороге, и никогда, до конца жизни его не забудет. А вот этого паренька-шофера он забудет, и, возможно, даже сегодня вечером забудет, хотя, смотрите, какой паренек интересный, как ловко, прямо на ходу, придумал пустить взрывчатку для сельского хозяйства. И все-таки его Бухов забудет. А вот того, в гимнастерке, с расстегнутым воротом, в черных пятнах солидола, он никогда не забудет и слова его не забудет. А что он, собственно, такого сказал, тот солдат-шофер: просто приценился, хотел узнать, почему немецкий снаряд стоит, которым по нему били и которым, возможно, его потом убили. Только он задешево не хотел погибать, этот солдат-шофер. Вся мечта его была, чтобы задешево не умереть. Только и всего.

И он тоже был молодой и белобрысый, как этот шофер, и такой же молодой, как Коля Левкин, да и сам Бухов тогда был таким же молодым, как и они, но смерти не боялся, нет! Из любознательности, из азарта не боялся, из самолюбия не боялся. Он больше всего боялся показаться трусом, этого он боялся. Это для него страшнее всего тогда было — показаться трусом. Но никто никогда не заметил, что он боялся, потому что он считался храбрецом и был храбрецом. И храбрецом даже выгоднее быть, потому что храбрецов все любили на фронте и легко прощали им их недостатки.

И Бухов подумал, что он, пожалуй, мог бы пойти работать на авиазавод, неплохо зарабатывать, жить вместе с семьей. Но тогда бы он стал для жены и сына самым обыкновенным, и его недостатки стали бы сильно заметными. А вот когда он ездит в командировки, работает водолазом, дома считают, что это опасная и смелая профессия, что он храбрец, и просто не замечают его недостатков, и, больше того, его недостатки нравятся жене, потому что она наивно думает, что храбрые люди обязательно должны быть резкие, решительные и даже немножко грубые. И жена не подозревает, что Бухов скучает по ней, что она ему снится и что он тоскливо и злобно ревнует ее к прежнему мужу, ревнует во сне, и, когда проснется, ему хочется все бросить и уехать домой, рассказать, как он скучает, томится, но никогда в жизни Бухов этого не скажет жене. Он человек смелой профессии, храбрец, настоящий крепкий мужик. Перед новым отъездом он усмехнется и скажет: «Ну, пора в новое «аш два о» погружаться, а то тут у вас на

корню засохнешь. Привет!» И помашет свободной рукой жене и сыну.

А в другой руке у него фронтовой старый фибровый чемодан, с которым он не расстается. Стыдно сказать, но Бухов верит, что этот чемодан «счастливый»...

Всю вахту Бухов и Мочалин укладывали мешки с аммонитом в забой, сверху прижимали мешками и галькой, валунами. Бухов вложил взрыватели, соединил их с бикфордовым шнуром, верхний конец которого был выведен на поверхность и закреплен на железной бочке из-под горючего, которая была привязана тросом к якорю и, подобно бую, стояла посреди речной стремнины.

Подводные работы были закончены к завершающему взрыву для образования траншеи на дне реки.

Качальщицы умаялись. На баркасе пахло потом. Вывернутое наизнанку резиновое снаряжение сохло, развешенное на веревке вместе с шерстяным водолазным бельем. Шлем из красной меди в черных вмятинах стоял на бухте свернутого воздушного шланга. Свинцовые калоши и чугунные грузы — так называемые «водолазные медали», — весом в наковальню, лежали на палубе. Шел мелкий, как пыль, дождь. Река дымилась паром.

В ожидании большого взрыва под водой строители компрессорной станции собрались на берегу.

Гымза спросил Колю Левкина:

— Не безопасно?

Коля неопределенно мотнул головой.

— Ну вот, скоро по одному объекту финиш, — восторженно сказал Гымза, вздохнул, приосанился, объявил громко: — Такая у меня участь, граждане, — всюду быть начальством. Прошу! Подальше от берегового уреза. Заде-нет выбросом гальки. Бюллетенить будете, на мою голову.

Лена Кукушкина стояла над самым обрывом, взволнованная и напряженная.

Обшарпанный, с помятыми бортами катер пересекал реку. Не доходя метров десяти до железной бочки-буя, с катера сбросили якорь.

Мочалин выключил мотор, снял с крыши кабины катера резиновую надувную лодку, опробовал, крепко ли закреплена она на пеньковом конце, и бережно опустил ее за борт. Стремглав несущаяся вода стала поддавать легкую надувную штуку. Бухов перебросил свое тело через ржавые поручни, стал на перепончатое дно лодки. Медленно опустился, сел, похлопал по нагрудному карману, проверяя, здесь ли зажигалка, кивнул. Мочалин, медленно

страливая конец, сощурившись, смотрел, как надувная лодка все ближе и ближе подплывала к железной бочке. Вот лодка легко ткнулась о бочку. Бухов наклонился, чуть распушил кончик бикфордова шнура, вынул зажигалку, высек пламя, поднес его к шнуру и, когда шнур затлел, зашипел, стал сигналить, делая движения руками крест-накрест.

Мочалин, упираясь коленями и животом в борт катера, медленно, ритмично выбирал пеньковый конец, на котором трепыхалась на волнах надувная лодка, а в ней полулежащий Бухов с сигаретой в зубах. Бухов ощущал спиной мощное движение реки, стремглав несущейся на стремнине по отшлифованному тысячелетиями каменному ложу.

Бережно и осторожно Мочалин подтягивал к катеру надувную лодку. Стоило ему начать быстрее выбирать конец, как лодка рысила на волнах, кидалась из стороны в сторону с задранной передней частью, и Бухову не раз приходилось балансировать руками и ногами, чтобы не вывернуться.

Наконец лодка подтащена к борту. Бухов легко, пружинисто вскочил в катер, спросил с недоумением:

— Ты что это, Степа, волок меня, словно плотву на леске, боялся, сорвусь, что ли?

Мочалин пробормотал неохотно:

— Заряды великоваты, вот чего, не отойдешь куда следует, набьешь шишку! — Включил мотор, скомандовал: — Вирай якорь!

Но якорь поднять им не удалось: по-видимому, он зацепился лапой за выход скалы, — и выбить заклепанную наглухо, но не по правилам якорную цепь было нечем. Катер несколько раз описал круги, но отценить якорь не удалось, так же как выбить цепь заводной ручкой мотора.

— Ну, все! — сказал Мочалин. — Слезай, приехали! — И, угрожаясь приближаясь к Бухову, приказал: — Прыгай за борт!

— Это почему я? — спросил Бухов. — Почему не ты? — И предупредил: — Не подходи, а то вот дам заводной ручкой!

— Я тебя все равно выброшу за борт, — сказал Мочалин. — Двоим погибать ни к чему, я сейчас здесь перед тобой, как коммунист, главный! — Он надвигался на Бухова, огромный, с толстыми, растопыренными руками.

— А ну вас всех подальше! — сказал с отчаянием Бухов, присел, снимая ногу об ногу сапоги, потом швырнул пиджак, встал на корму, крикнул мстительно: — Ладно, Степка, я тебе это еще попомню! — и бросился в воду.

Мочалин вошел в рубку катера, включил на полную мощность мотор, перешел на корму и, кладя на борт румпальник, стал описывать, возможно, уже последний круг. И когда этот круг почти замкнулся, катер вдруг дернуло, и он как-то робко пошел уже не по окружности. И в это же время за борт уцепились мокрые руки Бухова, а потом он сам тяжело перевалился на дно катера.

Катер мчался прочь от железной бочки, ритмично покачивающейся на течении.

Мочалин, наклоняясь над сидящим на дне катера тяжело дышащим Буховым, как бы заслоняя его своим могучим телом, сказал:

— Значит, это ты, Вася, нырнул по якорной цепи на дно и якорь отценил, так?

Бухов кивнул, хотел ответить. Глухой толчок подбросил катер, из реки поднялась мохнатая водяная колонна и тотчас опала. Последней в реку упала высоко заброшенная взрывом ввысь пустая нефтяная бочка, служившая бумом; она шумно плюхнулась в воду и поплыла по течению.

— Вот, браток, чуть мы с тобой не накрылись, — сказал Мочалин, доставая сачок, чтобы собрать оглушенную взрывом рыбу.

Бухов тоже запасся сачком, расправляя сетку, произнес задумчиво:

— Стрелок-радист у меня был, тоже из-за этого самого предпочел сгореть, а не выпрыгнуть.

— Из-за чего «этого самого»? — спросил Мочалин.

— Из-за гонору! — сердито сказал Бухов.

— Не то слово говоришь, — сказал Мочалин.

— Все слова — мои: какие нравятся, такими и пользуюсь! — огрызнулся Бухов.

Когда катер подошел к берегу, Бухов объявил Гымзе:

— Полный салют, порядок!

На что Гымза прокричал восторженно:

— Ну, ребята! Прямо я крыльями оброс. А то гляжу, чего вы там канителитесь, суетой какой-то занимаетесь; может, спички, думаю, отсырели, даже огорчился от такой непредусмотрительности.

— Ладно, — сказал Бухов, — привет!

— Куда же ты? — всполошился Гымза. — У меня стол накрыт на три персоны, с расчетом, конечно, на вашу свежую рыбку.

— Я спать, — вяло сказал Бухов, — спать. — Лицо его было усталым и изможденным. — Спать, — сказал он и, не глядя ни на кого, пошел вверх по крутому откосу берега.

Бухову хотелось побыть одному. Он испытывал сейчас то огромное счастье, которое доводилось ему испытывать на фронте, после того как миновала опасность близкой смерти. И все было таким радостным, и все товарищи были такими хорошими, и небо казалось сквозным, прозрачным, легким, хотя на самом деле небо было в сизых облаках и снова шел дождь.

ПЕСНЯ НАД НИЛОМ

Ночью, когда гаснет блистающее белым пламенем африканское солнце и только черные камни Аравийской и желтые пески Ливийской пустынь источают сухой жар, строительство высотной Асуанской плотины озаряется тысячами электрических светильников. Ночью огни Асуана на мертвом пространстве пустыни как звездное скопище галактик в бездне космоса. Строительство высотной Асуанской плотины выглядит огромным заводом, лишенным кровли, прикрытым только вечно безоблачным небом, заводом, вырабатывающим нечто гигантски планетарное. Да ведь, в сущности, это так и есть. Строители высотной Асуанской плотины изменяют лик планеты, сооружая на ней новое море, море Асуана. И это море будет вписано во все карты мира.

Арабы называют Нил рекой жизни. От обилия или скудости вод этой великой реки зависит жизнь народа. Строители высотной Асуанской плотины даруют стране независимость от сил природы, они побеждают ее. Отвесные стены ущелий обводного канала зачищают отбойными молотками рабочие, висящие на канатах над пропастью, на дне которой кишат двадцатипятитонные МАЗы. Пулеметные очереди перфораторов, тугие мерные взрывы породы арабы с гордостью сравнивают с гулом сражения в Порт-Саиде во время героической битвы за свободу и независимость.

Асуанский гранит обладает прочностью, прославленной в тысячелетиях. В древнем городе Асуане, напротив отеля «Катаракт», русло Нила выпятилось бурными скользкими скалами. На поверхности этих скал видны зубчатые следы безмерного труда древних мастеров. Они долбили в скалах частые отверстия, вколачивали туда деревянные клинья; после многократных разливов реки дерево разбухало и наконец отламывало глыбу от скалы. Из таких глыб строились храмы, дворцы фараонов. Столетиями человечество восхищается чудом этого долготерпеливого труда. Одна

только пыль асуанского гранита обладает способностью стачивать современные сверхтвердые стали почти как алмазный порошок. Советские машины вырезали в тверди асуанского гранита русло верхового и низового каналов, шесть стволов туннелей (седьмой транспортный), туннелей, сквозь которые можно пронести луксорских колоссов, изваянных некогда из асуанского гранита.

Округлые башни водоприемников, костлявые силуэты кранов, магические вспышки электросварки и Нил, могучий, блещущий огнями и волнами цвета лунного камня. Волжские баржи извергают из раскрытых, как двери, днищ многотонные глыбы гранита, черные трубы пульпопровода вымывают в хребет плотины песчаные сопки из Ливийской пустыни.

И кажется, что эта великая река напрягает все свои гибкие, тугие водяные мышцы, чтобы побороть человека, его труд, его мощь. Она вздувается, темнеет, тужится, но твердь, возводимая человеком, непереборима. Река устало взмахивает волнами и медленно-медленно расползается вширь. Человек назначил ей быть морем. И она будет морем, морем Асуана. Четырехкубовые экскаваторы цвета слоновой кожи со слоновьим упорством выворачивают, черпают обломки гранита и бережно укладывают в железные кузова самосвалов. Падая, ударяясь друг о друга, гранитные глыбы высекают синие искры.

На площадке арматурного завода возвышаются металлические плетения — скелеты бетонных конструкций. И, как птицы на ветвях, сидят рабочие, вяжут металл, а над ними висит луна вверх рожками, она плывет как бы на спине в темном и чистом небе. С монтажного двора, где идет сборка сложной конструкции, доносятся бряцание металла и песня. Ее поют два человека, поют на арабском языке, хотя один из этих певцов — русский.

Кунна банена у ихна ханибна
Саду аль-Аали.
(Мы решили, и мы построим
высотную плотину.)

Это песня строителей Асуана, и все знают ее. А я знаю этих двух людей, которые поют сейчас эту песню в горячей африканской ночи, объятые азартом труда. Один из них Муса Фатах. Он пришел на Асуан три года назад из Нубийской пустыни. Босые ноги его были истерты в кровь, глаза воспалены, ребра обозначались решеткой. Он прошел четы-

реста километров, и все время, пока он шел, дул хамсин, жестокий ветер.

Муса Фатах пришел на стройку с благоговением, с каким мусульманин приходит в Мекку. Из тростника Муса сложил шалаш и поселился в нем. Мелкий подрядчик нанял его за несколько пиастров собирать в пустыне щебень. В корзине, поставленной на голову, он таскал камни из пустыни на строительство дороги. Заработка хватало на лепешку и четыре сигареты в день.

Федор Бабаев прибыл на Асуан тоже три года назад. Он участвовал в строительстве двух самых больших в мире гидроэлектростанций и одной атомной электростанции. Он коренаст, сильные плечи его покаты, как у медведя. В годы войны был летчиком-истребителем, после тяжелого ранения навсегда оставил авиацию, окончил заочно строительный техникум, стал монтажником-верхолазом. На Асуане знают его как мастера на все руки. Советские специалисты обучили на Асуане строительным специальностям несколько тысяч человек. Среди курсантов Бабаева оказался и Муса Фатах. Бабаеву значительно легче было научиться арабскому языку, чем научить Фатаха смело обращаться с механизмами. Муса не боялся высоты, он еще мальчишкой, с обезьяньим проворством, умел мгновенно взбираться на гладкие стволы слоновьих пальм, но здесь смертельно боялся повредить доверенный ему инструмент и все пытался делать голыми руками. Работая в ночную смену на бетонном заводе, на монтаже холодильной установки для изготовления чешуйчатого льда, Федор Бабаев утром шел в клуб и выписывал книги по педагогике. Он жаловался библиотекаряше на отсутствие литературы о том, каков должен быть учительский подход при обучении взрослых людей. Небольшое количество арабских слов, которые научил Бабаев, и русские слова, которые запомнил Фатах, стали достоянием их совместного фонда. Пользуясь им, они многое узнали друг о друге. Муса рассказывал Бабаеву о безмерном труде феллахов, об их древних, как пирамиды, орудиях, с помощью которых они медленно черпают и доставляют драгоценную воду на поля, о тех радостных надеждах, которыми живет сейчас народ, надеждах на будущее, когда высотная плотина дарует стране сотни тысяч гектаров новых орошаемых земель. Бабаев рассказывал Мусе о голоде в Поволжье после гражданской войны, о том, как он остался сиротой и воспитывался в детском доме, о первом тракторном заводе, который ему довелось строить, о первых советских тракторах, свидетелем торже-

ства которых он был, о том, как он стал летчиком, как дрался с фашистами и как трудно было советскому народу восстанавливать разрушенное войной хозяйство.

Однажды нубиец Муса сорвался с портала и повис над бездной обводного канала, уцепившись за анкерные трубы. Бабаев мгновенно спустился на шланге от компрессора по отвесной стене и, приказав Мусе ухватить его за плечи, вскарабкался с ним на площадку. Муса сказал:

— Я хотел бы назвать тебя своим братом, но ты не захочешь.

— Это почему же не захочу? — удивился Бабаев.

— Я черный, а ты белый.

— Уж если на то пошло, я красный, — сказал Бабаев. — А твой подход считаю неправильным для рабочих. Людей солнце подкрашивает, у вас его больше — вы темнее, у нас меньше — мы светлее. Только и всего.

— Это ты хорошо про солнце сказал, — согласился Муса. — Я теперь тоже буду так думать.

— Думать никогда не вредно, — сказал Бабаев. И объявил: — Пушкин — русский великий поэт, а дед у него кто? Негр! — Сообщил деловито, между прочим: — Пушкин революцию через декабристов поддерживал.

— Значит, Пушкин сделал у вас революцию?

— Не Пушкин, а Ленин.

— Ленина я знаю, — тихо сказал Муса.

— Ну, тогда порядок, — сказал Бабаев. — А теперь, браток, давай снова на верховую, но чтоб я тебя больше на работе без монтажного пояса не видел, чтоб ты больше правил техники безопасности не нарушал. Понятно?..

— Понятно, — согласился Муса и добавил вполголоса: — Все понятно, брат.

Под руководством Бабаева Муса Фатах стал первоклассным слесарем-монтажником, и у него появились свои ученики, тоже бывшие феллахи.

Монтируя сложный агрегат на открытом воздухе, днем, когда накаленный металл обжигал руки, Бабаев неловко поднял тяжелую деталь, и от непомерного усилия у него лопнул рубец на старой ране, полученной на фронте. Истекающего кровью монтажника отвезли в больницу. Понадобилось переливание крови. Муса Фатах дежурил у порога больницы, и он дал свою кровь Бабаеву. После выздоровления и отдыха Бабаев снова приступил к работе. Он утверждал, что теперь в его жилах течет африканская кровь и ему легче переносить жару, чем раньше.

Через год Муса Фатах внезапно ушел со стройки

в пустыню. Бабаев сильно горевал о своем напарнике. Но Муса так же внезапно снова появился на стройке, и не один. С ним была девушка, закутанная с головой в черное покрывало. Разыскав Бабаева, Муса торжественно объявил:

— Эта девушка из Нубии. Я хотел, чтобы она стала моей женой. Но ты мой брат по крови, и нужно твое благословение.

— Ну что ж, — сказал Бабаев. — Валяй...

На свадьбе Мусы Фатаха Бабаев произнес речь. Правда, она была более похожа на техническую аттестацию монтажника высокой квалификации, чем на застольную речь. Бабаев считал, что только человек, хорошо овладевший своей специальностью, имеет право обзаводиться семьей.

...В те дни, когда я был на Асуане, мне довелось подолгу беседовать с монтажником Федором Бабаевым, которого я знал еще по строительству Волжской гидроэлектростанции имени Ленина. Здесь, на Асуане, Бабаев со сдержанным достоинством рассказывал о трудовом подвиге советских специалистов — и восторженно, с воодушевлением, о тех тысячах людей, бывших феллахх, которые обрели тут рабочую специальность и стали великим пополнением рабочего класса Египта, его гордостью. И среди таких людей Федор Бабаев с нежностью упомянул имя своего бывшего ученика Мусы Фатаха.

НИНА

Нина, как и все люди, очень хочет быть хорошей. Но, как всем людям, это ей не всегда удается.

Почему?

Вот именно, почему? А почему Лев Толстой в юности тоже ломал себе голову, как стать хорошим? Но ему было легче, он же классик.

Конечно, Нине повезло, она живет в обществе, которое вступило в период развернутого строительства коммунизма. Но, честно говоря, она не чувствует себя достаточно совершенной натурой, чтобы сразу овладеть всем моральным комплексом.

Лежа в постели, перед тем как заснуть, она обычно строго обсуждает себя:

— Человек обязан стать таким, каким он себя воображает, — получше, чем он есть на самом деле. И ни в чем не отступать. И всегда надо помнить: я есть я. И пока ты помнишь, какое это чудо — я, ты ко всем людям тоже будешь относиться со счастливым удивлением, как к чуду. Ведь у каждого свое «я». И нужно с этим считаться...

Каждый видит Нину такой, какой она, допустим, видит сама себя в зеркале. Но о сложности ее душевной натуры разве сразу догадаются? Если наружность у нее, в общем, каждый день одинаковая, все-таки по содержанию вчера она была не такой, какая есть сегодня, а завтра будет еще другой. А какой, даже ей самой неизвестно. Потому что она очень впечатлительная и реагирует на всякие жизненные факты вовсе не так, как хотела бы. Потом, уже после того как отреагировала, она, конечно, продумывает все, и выходит, что реагировать нужно было совсем иначе, а не так глупо, как это у нее получилось.

Если Нине удавалось сделать что-нибудь хорошее, ощущение безмерного счастья заполняло все ее существо. И тогда она чувствовала себя даже красивой. И, конфузясь своей этой какой-то особенной красоты, держалась кротко,

застенчиво, чтобы не так сильно всем бросалось в глаза, какая она сейчас особенно хорошая и красивая.

Но когда поступала плохо, ее охватывало отвращение к себе. Она чувствовала себя уродливой, противной, пугливо стеснялась людей, боялась смотреть на них и на саму себя в зеркало: скуластая, с большими серыми, испуганными глазами и мягкими, как лепешки, губами. Казалось, что ее лицо выглядит как пожизненное наказание за то, что она такая безвольная. И от горечи, от возмущения за то, что она наказана таким лицом, Нина вдруг бунтовала, делалась совсем иной, чем была на самом деле. Вела себя дерзко, вызываяще.

«Раз я такая несчастная, все равно, что обо мне подумают!» — в отчаянии решала Нина и, поссорившись с подругами, еще больше усугубляла свои душевные муки мрачными размышлениями о том, что она хуже всех на свете. Когда растроганные признанием подруги начинали энергично опровергать ее выводы, Нина постепенно соглашалась, что она действительно не такая уж плохая и даже лучше других, и чувство радости, облегчения овладевало ею, и она снова была счастливой и, значит, красивой тоже.

Даже совестно было чувствовать себя такой счастливой и красивой, и, стесняясь быть собственницей такого непомерного для одного человека счастья, она старалась стать кроткой, доброй, чуткой, но это не всегда получалось...

А вот у папы все всегда получается.

Проснется утром, кричит: «Подъем, девчата!» — и заставляет Нину и маму делать физзарядку.

Сядет мама причесываться к зеркалу, папа подмигнет, скажет шепотом гордо:

— Гляди, какая она у нас! Один профиль чего стоит!

А мама будто не слышит, не замечает, только уши покраснеют и глаза сильнее блестят.

С Ниной отец держится так, словно она ему не дочь, а приятель. Хвастается мамой: «Видала, какую я себе жену отхватил — самую лучшую из всех возможных!»

Отец — бригадир слесарей-монтажников. Директор завода обращается к папе по имени и отчеству, а папа говорит ему «ты», называет Володей. Смешно! Это потому, что директор когда-то был фабзайцем — учеником папы. Но папа выглядит почему-то моложе, чем директор. У директора животик, мешочки под глазами, одышка. А папа бегают по конструкциям на высоте двадцатипятиэтажного дома ловко, как циркач.

Папа ушел на войну совсем молодым, в клетчатой ковбойке, с туристским рюкзаком. И маму он тогда даже не считал полноценным человеком. Она была пионеркой в отряде, где вожатым был папа. Папа стал считать маму личностью после того, как его с фронта привезли в госпиталь, где мама ухаживала за ранеными.

И только потом, когда папу выписали из госпиталя, он стал сам ухаживать за мамой.

Мама рассказывала: папа висел между костылей слабый, плоский, от него пахло махоркой, лекарствами, и он вовсе ей не нравился, и она принимала его ухаживания просто из вежливости. Все-таки неудобно, он же был пионервожатым, когда она была пионеркой, и привыкла его слушаться. Но во время войны она стала комсомолкой и считала неэтичным со стороны папы, когда он ей говорил, что она ему нравится не как общественница, а так, вообще. Потом папа снова ушел на войну, и когда хотел на прощанье поцеловать маму, она назвала его распущенным человеком. А папа только посмеялся и похлопал маму по плечу. Потом мама вдруг стала мечтать о папе — писала ему на фронт лирические письма, а он писал ей в ответ главным образом на морально-воспитательные темы, а потом вообще перестал отвечать, потому что был снова ранен. Вернувшись с фронта, папа не обращал внимания на маму — жил на судовой верфи, которую восстанавливали днем и ночью. Мама очень обиделась на папу за то, что он ее избегает. Но она поняла, почему он ее избегает. У папы было сильно изранено лицо. Он считал себя от этого некрасивым, и тогда мама остригла под машинку свои дивно красивые волосы, явилась к папе ночью на верфь, зашла в фанерную будку мастера, где папа спал, накрывшись шинелью, зажгла свет, содрала с него шинель, скинула с себя платок и показала ему свою ужасно некрасивую остриженную голову. Папа все понял. И они поженились. С тех пор папа заискивает перед мамой, считая, что на такой подвиг не могла решиться ни одна женщина на свете, кроме нее.

И наверное, с тех пор папа всегда веселый и всегда чему-нибудь обязательно радуется.

Проснется утром, скажет с удивлением:

— Живой, значит, живем!

И произносит торжественно, как стихи:

— Материя вечна и бесконечна, материя есть единственный источник и последняя причина всех процессов в природе. Она не исчезает и не создается вновь. Она не-

сотворима и неуничтожима и только меняет свои формы...

Мама спрашивает снисходительно:

— Ты что, к семинару зубришь?

Папа смеется:

— Снилось, будто я убитый. Такой молитвой на фронте от страха лечился. И знаешь, помогало!

Про войну он рассказывает только что-нибудь смешное:

— Ползу, а на спине термос со щами... Как дали по мне очередь. Потекло, даже ошпарило. Скинул термос, гляжу, хлещет. Придумал! Заткнул пробойну хлебным мякишем и в полном порядке щи доставил...

Про маму он говорит доверительно:

— Она у нас с тобой слабо активный товарищ по линии домашнего хозяйства.

Вечером сам готовит обед на завтра и утверждает, что самые знаменитые повара — только мужчины. Мыть пол называет «надраивать палубу».

Научил Нину пользоваться по-флотски вместо тряпки мокрой метлой из веревок.

После кино или театра Нина обязательно обсуждает с папой фильм или спектакль. А мама сердится, что они мешают ей молча переживать. Мама считает: искусство существует только для того, чтобы получать от него удовольствие. А папа считает, что искусство обязано заставлять человека думать о том, как стать лучше.

Отец всегда излишне умиляется мамой. А когда Нина его упрекнула, он сказал:

— Она знаешь какая у нас красивая! А я молодым еще хуже, чем сейчас, выглядел. — Объяснил горячо: — Я ей на всю жизнь благодарен за то, что она за такого, как я, замуж вышла.

А папа вовсе не уродливый. Широкоплечий, сильный. Только лицо в синих пороховых точечках и одна щека и висок глубоко вдавлены фиолетовым шрамом. Когда однажды у них дома на вечеринке самая лучшая мамина подруга, и очень симпатичная, танцевала с папой, она все время склоняла свою голову напе на плечо и закрывала при этом глаза. Потом мама поссорилась с этой своей подругой, а папу назвала павианом. И Нина была очень довольна за папу: ведь это явный объективный показатель того, что он может нравиться женщинам, и нечего маме излишне эксплуатировать папино чувство к ней и недооценивать папину внешность.

Когда мама ссорится с папой и начинает выяснять с ним отношения, она приказывает:

— Нина, выйди в другую комнату и закрой за собой дверь!

Папа же, наоборот, когда собирается выяснять свои отношения с мамой, зовет Нину и говорит:

— Вот послушай, кто из нас прав...

Мама возмущается, говорит, что он портит девочку, а папа удивляется:

— Да разве мы не одна семья? Всё всех нас троих касается. — И говорит решительно: — Вообще у меня никаких тайн не может быть от моей дочери. Я вовсе не хочу быть лакированным папашей. Пусть сама соображает, какой у нее отец, и, если что не так, пожалуйста, я за открытую дискуссию.

Мама самоуверенно говорит, что наш папа — еще подросток и таким, как он, людям надо было бы запретить иметь детей, потому что он не умеет их воспитывать.

Папа утверждает, что, наоборот, у него есть задатки воспитателя и не случайно его выбрали единогласно секретарем парторганизации цеха. Мама возражает:

— А я бы голосовала против! Потому что я знаю тебя лучше всех и лучше всех мне известны твои недостатки.

— Какие? — спрашивает папа.

Мама с загадочным выражением, молча поправляет свои золотые волосы, уложенные в затейливую прическу, и потом небрежно замечает:

— Слабый ты психолог.

— Ну? — говорит папа.

— А то, — говорит мама, — мальчиговая стрижка мне была просто больше к лицу.

— Неправда, — кричит Нина, — неправда, ты тогда не потому остриглась.

— Ты так думаешь? — загадочно произносит мама и щурится на отца.

— Врет! — тревожно кричит отец. — Все врёт, от самолюбия врёт! — И целует у мамы руки, потом шею, лицо.

А Нина сердито говорит им обоим:

— Что за глупые сантименты! — И уходит к себе в комнату, и смотрит на себя в зеркало, и думает, как лучше выглядит — с прической или с мальчиковой стрижкой. На всякий случай прикидывает, как ей идет лучше, мало ли что в жизни тоже может случиться...

Папа стрижется коротко, под бокс, летом дома ходит в трусах и майке. Играет во дворе в волейбол с ребятами и,

если его команда проигрывает, сильно расстраивается, спорит, ссорится с партнерами, и тогда выглядит моложе мамы и даже Нины.

Иногда Нине кажется, что она более «взрослая», чем папа. Нина, например, часто думает о смерти: «Если все мы обязаны умереть, то, спрашивается, зачем вообще тогда жить, когда тебя в конце обязательно ждет такое наказание, как смерть всех — и плохих и хороших. Ведь это неправильно. Куда-то пропадет мое «я». И никому никогда не будет известно, что существовало мое «я». Обидно!

Отец легкомысленно сказал, когда Нина с ним стала советоваться насчет смерти.

— Во-первых, при Советской власти средняя продолжительность жизни человека увеличилась почти вдвое, и это — большое достижение. Надо полагать, в этом направлении мы и дальше будем развивать наши успехи. Что же касается персонального бессмертия, то кто тебе запрещает, пожалуйста. В любой области гении обеспечены у нас бессмертием. Только надо постараться быть гением, вот и все! В этом деле существует полная ясность.

— А если я не гений?

— Ну тогда отсутствуешь, как тебе законом природы положено, и все.

— И тебе меня нисколько не жалко, что я могу умереть бесследно для людей?

— Жалко, — сказал отец. — Но ты не теряйся. Человек чего сильно захочет, он достигнет и оставит по себе след.

— А ты боишься умереть? Только не от чего-нибудь, а вообще?

— А что тут бояться, — сказал бодро папа, — обмен веществ. Но материя вечна и бесконечна. А раз я материя, значит, еще пофункционируем химически или физически, поскольку материя.

— А твое сознание?

— Даром не пропадет, — сказал папа самоуверенно и, подмигнув, добавил: — Другой какой-нибудь за меня тип сознавать будет. Но полагаю, на более высоком уровне, соответственно эпохе.

— А на фронте люди сознательно шли на смерть? Или, может, от отчаяния, что другого выхода нет?

— Почему же, всегда можно было отлежаться в щели, сдесертировать или в плен сдаться. Были и такие сволочи.

— Значит, из боязни стать сволочью шли на смерть?

Лицо у папы стало суровым, строгим. Он сказал:

— А ты что думаешь, «я» — это шуточки? Оно одно на

всю жизнь. Испакостишь, а потом как с ним жить? Нельзя жить, вот какая штука это «я» у человека!..

— А как ты думаешь, мое «я» повторимое или неповторимое?

Папа задумался и сказал:

— Вообще есть такое реакционное, идеалистическое учение о вечном возвращении, его древние греки выдумали. Но это чепуха. Ленин правильно говорил, что развитие происходит по спирали, а не по кругу. Значит, каждое поколение людей обязано стать лучше предыдущих. Вот и надо подтягиваться к уровню будущих граждан...

Папа всегда говорит так, будто все ему известно, и никаких особых тайн нет, и все на свете очень просто.

Но вот недавно, когда Нина одевалась, а папа вошел в комнату, она смутилась, схватила в комок платье и прижала к себе.

Папа спросил удивленно:

— Ты что?

Потом Нина услышала, как папа, смеясь, сказал маме:

— Нинок наша того, уже в девицу оформляется, вот время летит!

Спустя неделю, когда мамы не было дома, папа спросил Нину почему-то робко:

— Ты как, по биологии ничего учишься? А человека вы проходили?

— Нет, не проходили.

Тогда он сказал жалобно:

— Мать считает, что нам нужно с тобой поговорить. Как ты полагаешь, нужно нам с тобой поговорить?

— О чем?

— Ну, вообще, об этом самом...— сказал папа.— О физиологии, что ли.— И потупился.

А Нина почему-то стала злой и спросила вызывающе:

— Ты что? Пробел в образовании почувствовал, с моей помощью решил подковаться?

Папа поднял лицо с несчастным выражением, взглянул на нее умоляюще и сказал:

— Я мальчишкой, когда про это узнал, очень мучился...

И так Нине его стало жалко, и так она сильно поняла, какой он удивительно хороший, и ей стало в душе так хорошо и чисто. Нина обняла папу и стала плакать, и все в ней дрожало. А папа говорил, что переходный возраст — самая дурацкая пора, от него в голову лезут всякие глупости, и надо в это время заниматься спортом, читать классиков и помнить, что человек, в сущности, хорошо организо-

ванная материя, и нужно только помогать ей все время правильно организовываться в тебе...

Мама моложе папы, но почему-то она кажется Нине старше папы и более воспитанной, чем папа, и держится она с большим достоинством, чем папа. Она работает техником-конструктором на заводе. Когда папа употребляет в разговоре такие слова, как «задница», мама страшно возмущается. Но когда в зарубежном фильме показывают пошлые кадры, возмущается папа и говорит:

— Вот гадость!

А мама возражает:

— Ничего особенного. Это же буржуазная действительность.

На работу мама ходит в цигейковой шубке и в такой же шапочке. И перед уходом на работу тщательно причесывается и красит губы. Папа ходит на работу во флотском бушлате, в сапогах, в замасленном берете, который натягивает до самых ушей.

Когда после работы они идут рядом по улице, никогда не подумаешь, что это муж и жена. Мама стройная, чистенькая, ступает легко и свободно. Папа шаркает сапогами, лицо в пятнах ржавчины или солярки, и руки тоже темные, без перчаток. Но лицо у мамы усталое, тусклое. А у папы блестит, возбужденное, веселое, и он громко рассказывает, что у них там интересного было в эту смену. И можно даже подумать, что он идет не с работы, а на работу, такой он оживленный и бодрый.

Но вот что смешно: мама гордая, но если встретится с кем-нибудь из начальников конструкторского бюро, она заранее улыбается. А папа, когда встречается на улице даже с самыми большими начальниками, серьезно, с достоинством здоровается. Получку папа отдает маме. И у него никогда нет денег. И если ему понадобятся деньги, он выпрашивает их у мамы.

Мама не хотела купить Нине такую же цигейковую шубку, как у нее. Папа сказал:

— И не надо, без тебя обойдемся.

В течение трех месяцев ремонтировал по вечерам милицейский катер. А потом привел Нину в комиссионный магазин и купил там заграничную шубу с капюшоном.

Папа легко дает знакомым деньги, а потом забывает спрашивать их обратно или стесняется спрашивать. Но ужасно бережет вещи. Когда Нина встала ногами на стул и поцарапала сиденье, он очень разозлился, кричал на нее, купил в магазине хозяйственных товаров бутылку с лаком и приказал

ей замазать царапины так, чтобы и следа не было видно.

Папин отец, Алексей Флегонтович, такой сухонький, маленький старичок, очень самостоятельный и самолюбивый, обращается с папой, как с мальчишкой.

— Ну, как дела, Степка? — говорит он отцу. — Все вкалываешь?

— Вкалываю, — говорит папа, и лицо у него при деде всегда заискивающее. Такое же заискивающее, как у деда, когда он разговаривает с мамой. Он считает, что мама выше папы по своему положению, так как она окончила техникум.

К маме он обращается по имени и отчеству и всегда приносит ей какой-нибудь подарок — одеколон, пудру или брошку — и каждый раз говорит торжественно-витиевато:

— Для подчеркивания вашей красоты, Алиса Петровна. — И спрашивает: — Ну, как мой Степка, ничего? — И советует: — Вы его в руках держите. Я его знаете как воспитывал, вот! — И показывает маме фиолетовый кулак, костистый, очень большой для такого старикашки.

— Ты папу бил? Да? — спрашивает Нина возмущенно.

Дед задирает пальцем вверх бурые усы и произносит высокомерно:

— И еще как!

У деда облупленный, потертый, старинный, без ленточки орден Красного Знамени.

Дед кладет Нине на плечо тяжелую, с утолщенными суставами на пальцах руку и произносит мечтательно:

— А я, знаешь, Нинок, во время гражданской войны шустрым парнишкой был. Послали меня чекистским агентом в Крым — в тыл Врангелю. Мундир офицерский, сапоги хромовые, посередине головы пробор. А природа как на картинке. Очень приятное место!

— Там же тебя чуть не казнили!

— Ну и что? — удивляется дед. — Я же сообразил, когда вешали, прижал подбородок к груди, ну и окончательно не задохся. Среди конвойных имелись переубежденные, они меня аккуратно, как труп, сняли и доставили на телеге к фельдшернице. Оказалась такая симпатичная крымчаночка... — Дед озорно подмигнул и похвастал: — Хоть второй раз уже за нее в петлю, такой оказалась сочувствующей!..

— И тебе не стыдно, а еще старый большевик!

— Здравсте! — сказал с изумлением дед. — Да что я, всегда был старым? И в партии я только с двадцатого года.

Дед задумался, потом произнес задушевно:

— Эх, Нинок, не знаешь ты, как партия с такими, как я, типами мучилась, чтобы в настоящих коммунистов оформить! — Кивнув на папу, дед вдруг заявил ехидно: — Это вот Степке все — пожалуйста... Целая эпоха социализма позади, мировой опыт, живи как по шпаргалке.

— Неправильно! — сердито сказал папа. — Неправильно ты говоришь...

— Хо, хо, хо, распетушился! — И, подмигнув, дед заговорщически прошептал: — Это я для чего твоего отца шпаргалкой пронзил? На одних харчах прошлого не проживешь. Каждое время свою историческую целину поднимает. И на ней новый человек растет. Вот вроде тебя, хоть ты еще и не человек... Но должна быть человеком...

Нине, конечно, неприятно, что дед не считает ее еще человеком. Но она хочет быть настоящим человеком и все время думает, как им стать. И когда читает книги, примеряет на себе образы героев, которые ей нравятся. Иногда Нине кажется, что она могла бы совершить такие хорошие поступки, которые совершали они, и Нина пробует в своей обыкновенной жизни сделать что-нибудь необыкновенно хорошее, но у нее не получается. Почему?

Вот именно, почему? И она думает, думает...

Нина слышит, как дед громко и сердито кричит отцу:

— Это для меня капитализм был целой эпохой! А для вас он что? Укороченная нами эпошка. Я социализм по фантазии представлял, подковывался только на митингах. Мой отец царя чтил, в бога верил. А твой отец кто? То-то же! Значит, с Нинки какой спрос? Тройной! А вы ее в вате воспитываете!..

Нина в заговоре с дедом: это он обещал уговорить папу отпустить ее в Сибирь на молодежную стройку. Она хочет испытать себя там, человек она или не человек. Но ей так жалко папу, маму и саму себя тоже жалко. Нине ведь так хорошо дома, со всеми вместе. Но она не хочет жить с душевными удобствами, не хочет... И это — противоречие. И она мучается...

А дед кричит теперь уже на маму:

— Я от вас, Алиса Петровна, если уж по-честному, паренька ожидал, а вы девчонку подсунули! Но я с таким фактом считаться не желаю. Она для меня все равно человек, и уж вы извините, но мы со Степаном ее будем воспитывать не по вашему личному образцу, а по нашему.

Мама произносит с холодным достоинством:

— Нина должна получить высшее образование. В отличие от вас с вашим сыном.

Дед возмущенно натягивает кепку глубоко, до самых ушей.

— Ну вас! Большие моей ноги у вас здесь не будет!

— Подождите! — повелительно говорит мама с какой-то странной, коварно-вежливой улыбкой. — Но я с вами совершенно согласна. Нина поедет на строительство, только вместе со мной.

Папа стоит бледный.

Дед снова садится на стул, срывает кепку, шлепает себя ею по колену и вдруг восторженно заявляет:

— Уела! Вот характер! Это мамаша, я понимаю, железо. Прижала. Ультиматумом Керзона! — И вдруг яростно спросил: — Это что же, по-вашему, можно так девочку воспитывать, чтобы ее личность личности отца противопоставлять? Ай-я-яй, а еще техник-конструктор! И такая невежественность.

— Послушайте, — закричала Нина, — послушайте!

— Ну, — спросил строго дед, — в чем дело?

— Поймите меня, — просит Нина деда, папу, маму, — поймите меня! Мне просто совестно, что мне так хорошо, а я ничего хорошего для этого еще не сделала. А я хочу делать, хочу, очень хочу. Хочу, чтобы вы все убедились, что я могу быть хорошей...

— Ну все, — сокрушенно сказал дед, — разволновали ребенка.

— Она не ребенок, — сказала мама.

А папа ничего не сказал, он только смотрел на Нину, так смотрел, что казалось, он уже видит ее такой, какой он хочет, чтобы она была, и какой она должна быть... и бодряще подмигивает ей так, словно Нина ему не дочь, а закадычный приятель...

ОБЫКНОВЕННЫЙ РЕИС

Все заморожено жгучей стужей, а солнце светоносное, как в Африке. Гигантская река окаменела взъерошенным торосистым льдом и блещет так, что, кажется, можно слышать сухой шелест ее пронзительного излучения. Тайга распростерлась сине-сизым материком. Прозрачное, сквозное небо как бы распахнулось настезь.

И безмолвие такое, какое, верно, существует только в космосе. Вдоль глубокой пади, на дне которой стоят огромные высотные лиственницы, ползет тракторный тягач с санным прицепом. Прицеп нагружен мешками с цементом, затянут новеньким брезентом. Трактор ломает твердую, как фаянс, плиту наста и оставляет за собой след, подобный траншею.

Лицо водителя тягача украшают темные очки в квадратной модной оправе. В кабине тепло. Полушубок и ушанка водителя висят на алюминиевом крючке, вделанном в боковую стенку кабины; здесь же, в железных держакках большой красный термос, похожий на огнетушитель.

На задней стенке, под стеклом, обложка журнала «Огонек», на которой изображен абсолютный чемпион мира Юрий Власов, весь в доспехах могучей мускулатуры.

Водитель тягача Сергей Лютиков на фоне портрета Юрия Власова выглядит заморышем. Он узкоплеч. Стриженные сжиком светлые волосы топорщатся, на сутулой спине торчат лопатки. Одет он презрительно к Северу: байковая ковбойка с расстегнутым воротом, хлопчатобумажные брюки-снеговка на широких матерчатых подтяжках, туристские тупоносые толстокожие ботинки, белые шерстяные носки, подвернутые бубликами. Щеки Лютикова в так называемой «шкиперской» бородке — нечто вроде войлочной рамки, в которую вставлена юная

физиономия с дерзкими, прозрачными, как у кошки, глазами.

Несмотря на молодость, Лютиков уже механик автобазы. На Севере работает третий год. Самые ответственные рейсы поручаются ему. Держится солидно. Полон сознания собственного достоинства, женат. Жена — лаборантка по бетону. Высокая красивая грузинка со страстными, как два черных солнца, глазами. Чем пленил ее Лютиков — непонятно. Когда Тамара Гоцеридзе по окончании техникума приехала на строительную площадку в Заполярье и безуспешно пыталась растопить печь в бараке-лаборатории, а слезы замерзали на ее смуглом лице, в барак вошел Лютиков и сказал:

— А ну пошли.

Он привел Тамару к себе в балок, объявил:

— Вот тебе жилплощадь.

— А как же ты?

— В гараже попочую.

— Нет, так я не согласна, — заявила гордо Тамара. — В конце концов мы с тобой не только мужчина и женщина, нужно быть выше этого... — Произнесла жалобно: — Но только все же лучше, если бы была ширма.

Вечером Лютиков привез на самосвале сооружение из досок на железных амбарных петлях.

Договорились жилище убирать по очереди. Но Тамаре всегда было некогда. Лютиков обвинил ее в барстве.

Тамара возмутилась:

— В Грузии мужчины всегда ведут себя как рыцари перед женщинами. — Похвасталась: — Это наша отличительная национальная черта. Вот если бы я была твоей женой, тогда другое дело, тогда пожалуйста...

— А я бы, например, на тебе никогда не женился, — сердито заявил Лютиков.

— Это почему же? — запальчиво осведомилась Тамара. — Что я, некрасивая? Да, некрасивая?

— Даже чересчур, — осуждающе сказал Лютиков. — Я даже думал, таких красивых не бывает.

— А вот бывают! — сказала Тамара и торжествующе посмотрела на него в упор своими двумя черными солнцами.

Лютиков сконфуженно зажмурился.

В тундре терпели бедствие геологи.

Лютиков получил приказ — выехать на розыски. Он вернулся через две недели. Тракторный тягач выглядел окаменевшей глыбой, сплавленной из льда и грязи. Одеж-

да Лютикова обледенела черной скорлупой. Машина проваливалась в трясины, и Лютиков выдирал ее из хляби. Рубил деревья, гатил болота, подкатывал под гусеницы валуны — и все один. Один, потому что четверо геологов, обессиленные скитанием и голодом, лежали в балке, прицепленном к тягачу. Геологов отнесли в санчасть, а Лютикова забрала Тамара. Она бесцеремонно содрала с него обледеневшую одежду, утешительно объявив, что он сейчас похож на рыцаря, закованного в железный панцирь. Поливая его горячей водой, она гортанно кричала, что ничего не видит.

— В конце концов я могла быть медиком, — утверждала Тамара. — Я пошла в строительный, потому что недобра- ла очков на медицинский.

Достоинство Лютикова было уязвлено этой материн- ской заботой.

На рассвете он исчез из балка и больше в нем не по- являлся, переселившись жить в автобазу.

Однажды Тамара остановила тягач, который вел Лю- тиков, и попросила подвезти ее. Она спросила осужда- юще:

— Ты что, забыл меня и никогда обо мне не дума- ешь?

— Нет, думаю, — честно сознался Лютиков.

— И много ты обо мне думаешь? — сурово допрашива- ла Тамара.

— Теперь много, — уныло сказал Лютиков.

— И во время работы?

— На работе тоже.

— Значит, ты в меня влюблен, — решительно объявила Тамара. И, не колеблясь, повторила: — Конечно, влюб- лен! — Возмущенно пожала плечами: — Значит, ты глу- пый! Только глупый человек может поставить себя в такое положение, когда о его чувствах вынуждена говорить женщина.

— Значит, глупый, — покорно согласился Лютиков.

— Значит, я сделала глупость, что влюбилась в тебя, — со вздохом произнесла Тамара. И тут же разгневанно пообещала: — Но запомни, на всю нашу жизнь запомни: я тебе никогда не забуду, как ты заставил меня унижаться, признаться первой. Это же позор для женщины!

— Но я же первый сказал...

— Что ты сказал? Ленетал, когда я тебя допрашива- ла. — Потребовала раздраженно: — Нет, ты мне теперь скажи, где моя гордость? Я же была такая гордая. — Пообе-

щала мстительно: — Но ты еще узнаешь, какая я невыносимо гордая!

И они поженились. Тамара выполнила свое мстительное обещание. И хотя она на людях разрешала ему держать себя с ней с полным мужским превосходством, зато дома все хозяйственные заботы легли на плечи Лютикова. Он убирал, готовил обед и даже стирал белье. Но по всей этой хозяйственной части у него был накоплен большой предварительный опыт: Лютикову было восемь лет, когда его мать притащила на себе сначала одного раненого солдата, а потом другого и спрятала их в подполье.

Мать застрелил пьяный полицай. Лютиков один выживал и кормил раненых солдат, пока они не поправились. Вместе с ними ушел в партизанский отряд. На самолете его отправили в тыл, в детский дом. Эшелон, в котором вскоре эвакуировали обитателей детского дома, разбомбили в пути. Лютиков собрал оставшихся живыми двенадцать ребят и вел их до Москвы. С интернатом он уехал в Сибирь.

Учился в ремесленном, работал на заводе, стоя у станка на ящичном постаменте. Поступил на курсы механиков-водителей. Бывший танкист, начальник курсов, хотел усыновить Лютикова. Но Лютиков сказал: чего меня сыновить, я сам кого хочешь усыновлю со своей квалификацией...

Он завербовался работать на Севере, где своим цепким бесстрашным умением жить и азартно трудиться в любых условиях обрел прочное уважение даже среди тех, кто утратил в себе чувство уважения к людям.

Среди водителей заполярной автобазы были всякие личности, были и такие, кто первоначально попал на Север не по собственной инициативе.

Руководить такими людьми — не самая лучшая должность на земле. Но Лютиков пробил себе путь в сердце и таких людей. Пробил с помощью аварийно-ремонтной летучки, оборудованной на тракторном тягаче. Он считал эту летучку как бы своей персональной машиной и никому не уступал права ею пользоваться. Если и не все водители автобазы были обязаны Лютикову спасением жизни, то, во всяком случае, каждый из них был благодарен ему за самоотверженную выручку из безвыходного положения.

Сколько раз в обледеневшей пустыне тундры, во время бешеного прибоя пурги, Лютиков разыскивал одиноко «загорающих» водителей, спаливших всю деревянную обшив-

ку с машины, скорчившихся у баранок, с уже не таявшей на лице ледяной пылью.

Перетащив одеревеневшего до полного оцепенения шофера в теплую кабину летучки, оставшись один на смертельно иссушающей все живое пятидесятиградусной стуже, натянув на лицо ватную маску, Лютиков деловито, неторопливо ремонтировал поврежденную машину, позволяя себе только изредка обогреть опухшие растрескавшиеся руки в чадном пламени керосина, застывающего в такую лютую стужу, как студень.

Потом он объяснял шоферу:

— Главное, не надо на морозе зря суетиться, калории расходовать. Будь хладнокровным — и тогда порядок.

— Организм у тебя особенный, что ли? — с завистью спрашивал шофер. — Не зябкий.

— Организм у меня самый обыкновенный. Но он от головы зависимый. Не позволяю себе думать, что застываю. Вот и не застыл ни разу.

— Ты что, от должности стал такой сознательный? — иронически осведомлялся водитель.

— И от должности тоже, — простодушно соглашался Лютиков. — Нравится быть начальством. Вот я и тянусь.

Накауне этого рейса Лютиков пришел домой поздно ночью. Он сам готовил машину в дальнюю поездку. Тамара спала, и на лице ее теплилась улыбка: таинственная, нежная, чуть высокомерная, блаженная улыбка, которую с таким благоговением запечатлевали на устах мадонн великие мастера.

Тамара спала, а он, вытянувшись рядом с ней, не спал и терзался сознанием своей вины перед ней. Одутловатое лицо Тамары было в желтых ржавых пятнах, а губы ее, прежде такие пещные, набрякли, как опухшие раны. Она доверчиво прижималась к нему горячим, кругло торчащим животом. А он испытывал только чувство трепетного страха и ужаса перед тем, что так беспощадно изуродовало его жену. Он даже чувствовал себя убийцей Тамары. И он может стать ее убийцей, если Тамара погибнет в родах.

И когда он взволнованно поведал ей о своих переживаниях и скорбно попросил прощения, Тамара, снисходительно выслушав, произнесла с горделивым превосходством:

— Ох, и глупый ты у меня! Я же просто сейчас счастливая. — И самоуверенно пообещала: — А вот скоро нас будет трое, и я стану совсем счастливой.

Лютикова поражало то, что Тамара, совсем недавно такая женственно застенчивая, теперь, казалось ему, бесстыдно, без тени стеснения говорит о своей беременности с посторонними.

Она была полна гордости своим материнством. И казалось, хвастается им. Раньше она терпеть не могла ходить под руку, а теперь всегда ходила с ним под руку, важно выпятив живот. Недавно в клубе она упорно дожидалась, пока все усядутся в зрительном зале, а потом, только после третьего звонка, торжественно, неторопливо прошествовала через весь зал, тяжело опираясь на руку Лютикова, и не проходила на свое место до тех пор, пока весь ряд не встал, почтительно пропуская ее, и она снисходительно кивала знакомым, сохраняя на лице выражение какого-то особого достоинства.

Потом в фойе, когда седовласый начальник строительства поспешно принес ей стул, Тамара небрежным кивком головы поблагодарила его, усевшись, осведомилась у начальника строительства, есть ли у него дети, и стала высокомерно излагать свои взгляды на принципы воспитания детей, утверждая, будто все родители страдают излишним самомнением и потому не проявляют достаточной чуткости к психологии ребенка.

И начальник строительства виновато признался, что действительно он так всегда бывал занят, что не имел возможности глубоко проникнуть в психологию своих детей и они как-то неожиданно для него стали взрослыми. Теперь он бы мог, пожалуй, исправить свои ошибки на внуках, но по-прежнему перегружен работой и опасается, как бы его внуки тоже неожиданно не стали взрослыми.

— И это нехорошо с вашей стороны, — осуждающе сказала Тамара.

— Совершенно верно, нехорошо, — сокрушенно согласился начальник строительства.

Никогда Тамара так придиричиво и нетерпимо не относилась к каждому слову и поступку Лютикова, как теперь.

— Ну что ты от меня хочешь, что придираешься? — жалобно спрашивал Лютиков. — Я такой, какой есть, и лучшим не буду.

— Нет, будешь! — жестко произнесла Тамара. — Обязан быть лучше, раз ты отец и будешь оказывать влияние на ребенка.

— А ты что, идеал, да?

— Мать может быть какой угодно, — хладнокровно парировала Тамара. — Достаточно, что она мать. Но отец — глава семьи...

— У тебя отсталые представления о семье.

— Это общечеловеческий принцип.

— А я по-советски считаю: кто из нас получше, тот ему будет главный.

— Я знаю, что я тебя получше, — гневно сказала Тамара, — но главным будешь ты. И не смей увиливать от ответственности.

Неожиданно Лютиков получил письмо из строительного института с извещением, что на основании его заявления и вступительной работы он допущен к экзаменам на заочное.

— Но я же никакого заявления не писал! — удивился Лютиков. — Это же недоразумение!

— Это я писала, — сказала Тамара. И объявила: — Я вовсе не желаю, чтобы у моего ребенка отец не имел высшего образования. Скажи, — спрашивала нежно Тамара, — ты уже очень любишь нашего маленького?

— Я тебя люблю, — горячо сознался Лютиков. — А его просто боюсь, пока его нет.

— А я его уже больше, чем тебя, люблю.

— Что ж, я, выходит, буду третий в доме?

— Конечно!

И в эту ночь перед рейсом Лютиков почти не спал, страхась за Тамару, и все время вжимался в стену, к краю кровати, боясь неловким движением толкнуть жену. Кто-то сказал ему, что родимые пятна возникают на теле младенца даже от испуганного пробуждения матери.

На рассвете Лютиков бесшумно выполз из-под одеяла. Захватив одежду, оделся в кухне. Написал крупными буквами на листке бумаги: «Люблю обоих изо всех сил». Поставил подпись. Положил бумагу на крышку кастрюли. И ушел в мутный морозный непроглядный туман, в автобазу. Он подъехал на тягаче к дому приезжих, где его уже ждал Нестор Фомич Полухин — знаменитый по всему Северу бригадир бетонщиков.

Плотный, плечистый, с пожизненно властным лицом, которое никогда не покидает начальственное выражение, Полухин имел еще довоенное звание заслуженного строителя Башкирской республики. Был награжден на фронте тремя орденами Славы и множеством медалей, а за участие в строительстве Волжской ГЭС — орденом Ленина.

Полухин называл себя не бетонщиком, а мастером по цементации. Он — специалист по починке скальных грунтов, которые служат основанием для различных сооружений.

— Меня министры и те трепещут, — аттестовал себя Полухин. — А не то что обыкновенные руководители. Не дам абсолютную герметичность — и сядет все сооружение набекрень. Для всех граждан вода — это вода. А для меня она химический раствор. Она, сволочь, может сквозь гранитную плиту, как сквозь тую ваты, фильтроваться. Есть такой академик Капица, сверхтекучестью вещества занимается. Так он даже сквозь металл жидкость под давлением просачивает. Добился эффектика! А моя стезя — с такими эффектиками в обратном направлении бороться — на непроницаемость. Дать такой монолит, чтобы на него чего хочешь ставь, любой памятник эпохи, гидростанцию, завод, башню телевизионную. Я за свои постаменты перед всеми будущими временами отвечаю. И всегда сознаю, что отвечаю. Поэтому тираню беспощадно руководителей, чтобы у меня всегда материал был высшего назначения, выше всяких возможных ГОСТов.

Скальные днища котлованов Полухин отмывает сначала с мылом, надраивает щетками, продувает из шланга компрессора, шприцует трещины цементным раствором.

Не так давно с невероятным трудом Нестор Фомич закончил заочное отделение строительного института. Но то, что у него звание инженера, скрывает. С одной стороны, из самолюбия, чтобы не считаться молодым инженером. С другой стороны, для того, чтоб козырять перед молодыми инженерами, будто он рабочий, а обладает инженерными знаниями не меньше их.

Он любит строить из себя простачка в разговорах. Этакого сметливого мужичка-самородка.

Полухин депутат областного Совета.

Выступив на очередной сессии с речью, он сказал:

— Умственные условия нашей эпохи дают возможность каждому человеку развернуть свои способности на полную железку. Обставаемся мы индустрией по последнему слову науки и техники. Нигде нет таких скоростных биографий, как у нас здесь, в Сибири. Приезжает мерзляк из вуза, а через несколько лет он командир производства, гонит по валу продукции на миллионы рублей — личность!

А те наши хозяйственники, которые говорят, что им

кадров не хватает, на самом деле показывают, что им ума не хватает молодежь увлечь. Надо широковещательно публиковать в газетах скоростные биографии тех, которые у нас стали личностями. Публиковать в качестве примера и положительного опыта. Молодежь любит высокие образцы. При этом надо поувлекательнее разъяснять всякие трудности. Молодежь любит трудности. Хотя трудности вовсе ни к чему. И напирать нам надо не на то, что мы строим гидростанцию в условиях самых низких температур, а на то, что строим с применением самой высокой техники.

А теперь я поговорю не о трудностях, а о глупостях, их производящих...

И Полухин сурово отчитал руководителей строек за промахи и ошибки, забыв при этом, что он якобы человек, который только нупом понимает инженерное творчество...

Полухин был одет в волосатый, могучий, теплый, как печь, тулуп с боярским воротником в целую овчину. Забравшись в кабину тягача, он заметил Лютикову:

— Однако же потопил помещение. Не жалеешь горячее. — Протер боковое стекло, поглядел на белый пожар северного сияния в небе. Произнес глубокомысленно: — Светит, а отчего такое сияние — наука еще конкретно не определила. — Приказал: — Давай, поехали...

Спустя некоторое время спросил недовольно Лютикова:

— А ты чего со мной не разговариваешь? Или у тебя одна культурная потребность — кино?

— Правильно, — согласился Лютиков, — кино.

— Ну и зря, — сказал Полухин. — Человек растет через общение с другим человеком.

— А я уже вырос.

— Есть люди, которые по размеру костюма свой рост определяют.

— Вот я из таких, — сказал Лютиков. — Сорок восьмой мой номер.

— Обиделся? — озабоченно спросил Полухин.

— Нет. Дорога не для трепа — увалы.

— Ну, тогда молчу, — согласился Полухин. Через некоторое время спросил: — А что, ежели я на часок сомкну вежды?

— Валяйте, — сказал Лютиков.

Полухин отвалился на спинку сиденья, выпрямив ноги в огромных белых валенках. Прикрыл дряблые напухшие

веки и, мягко распустив лицо, задремал. Сразу же лицо его утратило властное выражение и стало по-стариковски слабым, как бы беспомощно-добрым.

И Лютикову стало неприятно оттого, что он так резко отвечал Полухину. Но он с самого начала был раздражен на Полухина за то, что тот сказал вчера начальнику автобазы:

— Вы что же мне парнишку на такой дальний рейс подсунули? Солиднее никого не нашли?

Начальник автобазы, хотя и дал самую лучшую характеристику Лютикову, все-таки заметил:

— А вам, по существу, Нестор Фомич, ни к чему ехать. Могли бы и кладовщика послать.

На что Полухин ответил:

— Я человек доверчивый, не думаю про каждого, что он жулик. Но попадаются на моем пути реликвии прошлого. А у них особых примет нет, тоже на людей похожи...

Полухин спал почти весь день пути и только на ухабах, сползая на плечо Лютикова, не проснувшись, бормотал: «Извините». А Лютиков отодвигал плечом тяжелое тело в гигантском жарком тулупе.

Ночевали на заимке. И когда небо чуть окрасилось прозеленью, Полухин разбудил Лютикова. Полухин успел побриться, окропил себя одеколоном. Был бодр, свеж и полон энергии. Он поджарил на щепках яичницу, предложил водителю:

— Питайся.

— А вы?

— А я лучок с хлебом пожевал,— весело ответил Полухин.— От яичницы воздерживаюсь — холестерин. В моем возрасте о личном бессмертии полагается беспокоиться. А лучок — он витамины, слезу прошибает, дыханию содействует. На массах я лук не ем. Некультурно. А вот в командировках приемлю.

Тундра блестела белой глазурью. Легкая снежная ниль искрилась в чистом сухом воздухе. И весь следующий день пути, как и первый, был не очень утомительный. Лютиков решил не останавливаться больше на ночлег и за полночи добрался до перевалочного склада, расположенного на берегу реки.

Руки, ноги, спина Лютикова болели, будто он таскал на себе все эти дни непосильную тяжесть, и, когда спустился с тягача на землю, пошатнулся, потому что испытывал то, что испытывает человек после длительной морской качки:

тягач качало в пути, как качает утлую лодку на морской волне.

Несмотря на усталость, он объявил бодро:

— Ну, я на часок зажмурюсь.

Он проспал три часа и, когда вышел на улицу, увидел, что санный прицеп пуст.

На перевалочном складе, где Полухин должен был получить по наряду цемент особо высокой марки, не оказалось погрузочных средств и даже людей, которые смогли бы произвести погрузку вручную.

Заведующий складом сказал брезгливо:

— Разве я склад? Свалка! Шел караван с последней навигацией, а в низовье лед встал. Выволокли всё на сушу. Но разве это суша? В такой топи доисторические мамонты гибли, как кролики. А я, собственно, кто? Товаровед. И вот назначили.

— У тебя, друг, все-таки сан заведующего, ты и соображай, — сказал Полухин.

— Нет у меня рабсилы! Нет! — И завскладом развел руками, выражая этим жестом полную безысходность.

— А если к массам обратиться?

— А где тут массы? Нет тут масс. Население. Три рыбацких избы. Мужики тайговать ушли. Одни бабы. Никаких мобилизаций не признают. Материальной заинтересованности тоже. С рыбы и песцов народ очень обеспеченный. У них только в одном случае общественный инстинкт проявляется: если с кем-нибудь беда. А так не расшевелишь, нет культурных навыков должностных лиц слушаться. За всякий пустяк кланяться приходится. Как все равно при первобытном коммунизме: поклонись — сделают, не поклонись — не сделают. Я тут с ними всю свою гордость потерял. По своим масштабам мой склад на данной местности, по существу, главный очаг дальнейшего развития. Может, кладем основание будущему райцентру, а они не ценят.

— Ты не части, — брезгливо попросил Полухин, — засыпал словами. Дай разберусь. Так кланяться надо, говоришь?

— Именно кланяться, — подтвердил заведующий.

— Ну что ж, это можно, — степенно произнес Полухин.

Скинул на руки завскладом тулуп. Оказался в ладно сшитом драповом пальто. Приподнял согнутым пальцем нависшие над губой усы и неторопливо, важно направился к рыбацким избам. О чем он там говорил с женщинами —

неизвестно. Но скоро вернулся на склад в сопровождении рыбачек. Произнес, обращаясь ко всем:

— Ну так, гражданочки, в наших руках стройка, быть или не быть. А без цемента нам гроб без музыки.

— Ты не канючь,— прикрикнула на Полухина пожилая женщина.— Хватит канючить, говори, откуда и куда таскать. А то у нас и без тебя делов хватает.— И, усмехнувшись, добавила: — Мы для смеха про стройку слушали, будто не знаем. Что у нас, радио нет?

Молча, споро и быстро рыбачки грузили мешки в санный прицеп.

Полухин и завскладом с багровыми натужливыми лицами тоже таскали мешки.

— А вы что же, молодой человек? — спросил Полухин Лютикова.

Лютиков сказал:

— А мне нельзя. У меня на каждом рычаге нагрузка в тридцать килограммов. Мне обратно машину еще вести.

Полухин промолчал, но так осуждающе взглянул на Лютикова, что тому стало от этого взгляда обидно и горько. Но он удержался, чтобы не выказывать себя здесь с лучшей стороны. Пусть думают о нем плохо. Но ведь машину вести ему! И он не имеет права уставать здесь, чтобы потом не иметь запаса сил. Без такого запаса сил, как и без запасных частей, нельзя уходить в дальние рейсы на Севере.

Кроме того, Лютиков безразлично относился к ручному труду. Такой труд он считал как бы изменой эпохе торжествующей техники. И его самолюбие механика страдало всякий раз, когда он не мог помочь людям техникой. Вот когда после многодневной пурги рабочие строительства вышли на борьбу со снежным заносом не с топорами, как было прежде, а с бензомоторными пилами и прорезали в плотной, как песчаник, многометровой снежной толще дорогу, Лютиков двое суток пропадал на авральных работах и наслаждался гордостью за технику, нашедшую себе новое применение. Так же было, когда в прошлом году внезапным наводком сорвало баржу, груженную арматурным железом, и она затонула с пробитым о подводную скалу днищем. Вызвали вертолет. Пилот обнаружил баржу на небольшой глубине. Лютиков вызвался спуститься на баржу в легком водолазном костюме. Он обвязывал пучки арматурного железа тросом, спущенным с вертолета, и вертолет переносил их на берег.

— Ты же, Лютиков, тысячу тонн железа один поднял, почище Юрия Власова, — шутили потом на автобазе. — А ну дай пощупать бицепсы.

— Мускулатура тут ни при чем, — уклонялся Лютиков, — техника решает...

По наклонно положенным доскам Лютиков закатил на санный прицеп две мятых бочки с соляркой, сменил в моторе масло. Принес охапку дров, растыкал поленья между мешками с цементом. Мало ли что может случиться в пути! Разве у паяльной лампы обогреться так, как у костра? В тундре дров не достанешь. Одни мелкие, как кустарник, скорченные березки, корни которых растут не вглубь, авширь — вечная мерзлота не пускает дальше. Если вывернешь из торфяной почвы, топорщатся корни на манер прутьев зонтика.

Лютиков включил мотор и, склонив голову, стал слушать его мерное дыхание. Потом он открыл ящик с запасными деталями, осмотрел, что там было. Положил в кабину трак и пальцы к нему. В такую, как сегодня, стужу не исключено, что какой-нибудь трак лопнет в пути. При низких температурах металл становится хрупким. И поэтому нельзя давать технике долго застаиваться, а то сдает у нее молекулярное строение, могут образоваться тонкие трещины. Отцепил тягач от санного прицепа и стал медленно гонять машину вокруг склада, высунувшись в открытую дверцу кабины. Прислушивался, не бренчат ли катки. И когда вернулся, санный прицеп был уже нагружен и аккуратно обтянут новеньким брезентом.

Полухин с багровым счастливым лицом, сияя маслянистым носом в мраморных синих и розовых прожилках, в распахнутом тулупе гонялся за врасынную разбегавшимися от него рыбачками и с хохотом кричал:

— Я же старый, дряхлый! Я вас как дед желаю обლობызать. А ну, внуки, кидайтесь ко мне, пока я такой добрый.

Но без помощи женщин он никак не мог самостоятельно забраться в кабину тягача. Протянув сановито руку за складом, Полухин спросил:

— Так, говоришь, честность тебя заела? — Подмигнул. — Но ежели судить по твоей комплекции, нет у нее на тебя аппетита.

Рыбачки, окружив машину, махали Полухину рукой и приглашали его приехать отведать ухи.

А с Лютиковым никто не прощался, будто его здесь и не было.

— Хороший народ, теплый,— сказал Полухин и добавил значительно: — Общественный.

— А вы надрались.

— А тебе завидно?

— Хорош депутат...

— Слушай, парень,— сурово сказал Полухин.— То, что спиртное мне противопоказано, это я и без тебя знаю. Сердце. Вот оно.— Положив на грудь толстую сизую ладонь, Полухин озабоченно прислушался.— Болит, понимаешь. Но это не от вина. От мешков с цементом.— Произнес грустно: — Я на такую тяжесть уже не способный.

— Чего же тогда на пенсию не уходите?

— Один на один со старостью своей остаться? Не желаю! А потом техника. Техника растяжку рабочего возраста человеку обеспечивает. Ум требуется — это да. А я еще не какой-нибудь инвалид умственного труда. У меня шарики крутятся. Дозатор-автомат кто смонтировал? То-то же.— Отвалившись на спинку сиденья, Полухин сказал: — Вот мечтаю я о цемент-пушке для туннельных работ, и чтоб она не давала большого отскока материала от поверхности, а то все они недостаточно экономичны.

— А другой мечты у вас нет?

Полухин пытливо посмотрел в лицо водителя, спросил:

— Может, ты про свою мечту сначала скажешь?

Лютиков ничего не ответил.

Полухин, заглядывая в зеркало, вмонтированное у переднего стекла кабины, повернул его, чтобы было лучше себя видеть, помял щеки пальцами, объявил со вздохом:

— Вот гляжу я на свой портрет — мужик видный, а женщины стариком обзывают. А чем я старик? То, что плешивый? Так плешь — не увечье. Я ей еще в молодости обзавелся, волос, видать, полез оттого, что я любитель мехового головного убора. В помещении и то не всегда снимал, в бараке в шапке спал, чтобы башку не студить.

— Вы женаты?

— Уколот! — ухмыльнулся Полухин.— Это ты меня за рыбачек пронзил? Так я для чего развязным был — для их же веселья.— Произнес грустно: — На самом-то деле я на женщин застенчивый, уважаю я их. Женился я при полном возрасте, на фронте. Вадовская регулировщица была. И нашим же танком ее на дороге сбили. Завернули в плащ-

палатку чего от нее осталось и похоронили в Цвикау. На этом вся моя женатая жизнь и кончилась.

— А почему потом не женились?

— Так как же я могу? — испуганно спросил Полухин. — Ежели я до сих пор ее всю помню. Это же некрасиво получится. — Опустил голову, произнес глухо: — У ней, понимаешь, глаза такие хорошие были, я всегда думал, что, когда она такими глазами глядит, все ей видится хорошим, чистым, и я, значит, тоже...

— У моей жены глаза тоже что-то особенное, — сказал Лютиков.

— Глаза у человека — это и есть удостоверение его личности, — сказал Полухин. — Словами врать — получается, а глазами невозможно. Это факт.

— А мы маленького ждем, — объявил Лютиков и сконфуженно ухмыльнулся.

— Ну!.. — обрадовался Полухин. — И скоро?

— Да вот, может без меня получится.

— Так ты, выходит, потому такой нервный?

— Ну, все-таки, знаете, у ней еще опыта нет, — смятенно сказал Лютиков.

— Чего же ты молчал? — рассердился Полухин.

— А чего говорить, когда рейс.

— Так слушай меня! — приказал Полухин. — Ночлежки в пути ликвидирую. Будем по очереди машину вести. В МТС я на тракторе работал. — Оглянулся, спросил: — Чего у тебя там, в термосе?

— Чай.

— Так я побольше его выдую, чтобы окончательно отрезветь, прикурну маленько и тогда сменю. — Успокоил: — Я мужик способный, ты не сомневайся. А если насчет законности — я же депутат, приказываю тебе — и точка...

Держа между ладонями пластмассовый стаканчик, Полухин прихлебывал чай и возбужденно рассуждал:

— Земля, тебе ведомо, была спервоначалу холодным телом... — Заглянул в окно, на искрящуюся стужей тундру, объявил: — Примерно так же от холода застывая и только впоследствии стала разогреваться из-за распада радиоактивных элементов.

— А почему тогда здесь у нас, на Крайнем Севере, находят следы растений и животных, встречающихся только в тропиках?

Полухин ошеломленно поднял кустистые брови, шумно задышал, потом расхохотался, заявил восторженно:

— Это ты поддел! Не меня — ученого, у которого я это вычитал. Ну, Лютиков, башка!..

Но Лютиков только кротко улыбнулся и жалобно попросил:

— Нестор Фомич, вы же обещали...

— Что такое?

— Поспать.

— Это точно, — согласился Полухин. — Взял такое обязательство.

Навинтив пластмассовый стаканчик обратно на термос, Полухин завернулся получше в огромные меховые полы тулупа и почти тотчас заснул. На лице его долго еще оставалась озорная ухмылка. Но потом лицо размякло, распустилось и стало дряблым, невыразительным, нижняя губа слабо отвисла.

Наст скрипел под гусеницами тягача, трещал, лопался, и длинные трещины расплзались по ледяной поверхности, как по разбитому стеклу. Сначала медленно, исподволь, вкрадчиво подула поземка, марлевые снежные полосы низко волоклись по земле и песчано шуршали. Но ветер набирал силу и скоро стал дуть яростно. Началась пурга, снежная буря. Тягач шел сквозь белопыльную бурю, и снежные волны хлестали в переднее стекло, как белая пена. Белая пурга переросла в черную пургу. Ветер выдул снег, поднял его и теперь с мощью монитора вздымал земляной покров тундры, и черные, непроницаемые вихри застлали все пространство как бы черным ревушим дымом. Проектор, установленный на тягаче, потускнел, ослеп, залепленный черным снегом.

Лютиков не сбавил скорость, хотя и вел машину вслепую, ориентируясь на компас и часы. Он знал, что с этой скоростью он пройдет знакомое плоское пространство тундры за семь часов, а дальше начинаются увалы и потом снова тундра, но уже заболоченная, с множеством прочно застывших до самого дна озер.

Проснулся Полухин. Потребовал уступить водительское место.

Лютиков сказал:

— Нельзя вам, видимости нет.

Полухин заявил:

— А на черта мне видимость? Я на пейзажи не реагирую. Надоели мне тутошные пейзажи. А компас я не хуже тебя понимаю. Солдатом в разведке им пользовался, и он меня не подводил. Я его тоже.

Полухин пролез на водительское место, сильно прижав

при этом Лютикова к щитку толстым овальным брюхом. Распахнул тулуп, поставил ноги на педали, положил руки на рычаги. Некоторое время Лютиков беспокойно следил, как Полухин ведет машину. Убедился, что справляется. Склонился на сиденье, скорчился и уснул.

Проснулся он мгновенно оттого, что машина остановилась. Полухин признался виновато:

— Сомлел, понимаешь, с непривычки. — Жадно отхлебнул чай. Потер грудь, пожаловался: — Сердце, гадюка, давит. — И, отвалившись на сиденье, закрыл глаза. Дряблые веки его пульсировали.

Взглянув на часы, Лютиков удивился. Оказывается, Полухин вел машину больше пяти часов!

Скоро начались увалы, здесь не так сильно бушевала пурга, но одолевать подъемы, а самое главное — спускаться с них с груженым прицепом — на это понадобилось все виртуозное мастерство Лютикова. Были минуты, когда тягач, как металлическая мертвая глыба, скользя, полз, грозя косо занестись поперек склона и перекувырнуться.

Работая рычагами, обливаясь потом, Лютиков приоткрыл дверцу со стороны, где, сидя, спал Полухин. Это для того, чтобы в случае чего успеть вытолкнуть Полухина из гибельно крепящейся машины.

Когда Лютиков высунулся, приоткрыв дверцу со своей стороны, потное лицо его мгновенно обросло тончайшими ледяными чешуйками.

Кончились увалы, и снова началась тундра. Замороженные до дна озера скрипели под тягачом, стальные плахи траков-гусениц глухо стучали по этим огромным ледяным слиткам. Пурга дула в борт машины, и тончайшая снежная пыль пробивалась в кабину так же, как пробивается тонкий песок жаркой пустыни в наглухо заделанные кабины вездеходов.

Проснулся Полухин, пожаловался:

— Однако, зазяб маленько ногами. А ведь две пары носков из собачьей шерсти насадил, старушка одна связала жалостливая. — Спросил: — Может, закусим? В брюхе вакуум намечается. — Разорвал на большие куски тушку копченой утки, объявил: — От такой жирной пищи я себе только могилу зубами копаю — склероз. — Сообщил гордо: — Бетон тоже от него хворает. Проникает вода и откладывает соли в бетонных порах. — Откровенно похвастался: — Но я одну штуку придумал — опалубку из прессованных торфяных плит, чтобы капилляр-

ный подсос уменьшить. Обеспечиваю этим ему бессмертие.

Машину сильно бросало на мелких валунах. Полухин сказал с неудовольствием:

— Летом я гидротранспорт предпочитаю. Только вот мошкара и комары докучают. Прощлое лето они из меня не меньше ведра крови высосали. И, заметь, кусают только самки комаров, а сам комар — мужик кроткий. — Произнес мечтательно: — Я у фашистского летчика комбинезон с электроподогревом видел. Вот бы сейчас нам с тобой такую технику!

— Что же вы себе такой комбинезончик на память не взяли? — насмешливо спросил Лютиков. — Пригодился бы.

— Так я его просил, фашиста, сдайся добром, — просто-душно сказал Полухин. — Не пожелал, все отстреливался. Пришлось успокоить.

— Где же вы с ним встретились?

— На аэродроме ихнем, когда десантом обрушились.

— Вы что же, и парашютистом были?

— Довелось.

— Как вас парашют только выдерживал?

— Чудак! — улыбнулся Полухин. — Да разве я всегда такой, как сейчас, солидный был? Гимнастерку носил тридцать восьмой размер, а теперь сорок шестой шею давит... — И вдруг лицо Полухина приняло надменное выражение. Заявил властно: — Однако хватит трепаться, мой черед машину вести. — Положив пухлые руки в крупных ярких рыжих веспушках на рычаги, сказал сердито: — Я своей продолжительной жизнью очень доволен и меняться, к примеру, с тобой возрастом не стал бы.

Машина гулко брнчала гусеницами по тверди сплава льда и камня. Полозья санного прицепа визжали.

Ночью машину вел Лютиков. Да и была это вовсе не ночь, а просто пасмурный день, без теней, без солнца, и небо само светилось, печально-пустое. И все было белым, безмолвным, мертвым. И Лютиков думал о том, что вот современные радиотелескопы ловят волны, возникшие тогда, когда Земли еще не существовало. Эти волны идут со скоростью триста тысяч километров в секунду, но чтобы они пришли на Землю из Галактики — для этого нужно почти десять миллиардов лет. И эти старые радиоволны ловят сейчас наши люди, но прочесть их еще не могут, а придет время, и люди прочтут их.

А пока у вселенной свои великие тайны, не познанные человеком. Но у него, у Лютикова, есть нечто более важное и нужное ему, чем эта таинственная жизнь вселенной, и зря он так сердится на Тамару, когда она, выпимая из своих черных, смолистых, гибких волос шпильки, каждый раз кладет шпильки в пепельницу. Вот он обиделся на Тамару, когда она сказала, что больше любит будущего маленького, чем Лютикова. А все существо Лютикова сейчас трепетно замирало от жадной, нетерпеливой любви к тому, чего еще не было, но что уже существовало в Тамаре как бы продолжением существования его самого, и эту продолженность его жизни в другом даровала ему его жена. И Лютиков гнал тягач, повинаясь своему нетерпению, работая рычагами и педалями с той непринужденной грацией, которая приходит к человеку, когда он всем своим существом как бы сливается с машиной.

Небо стала подслащивать розовая заря. Нестерпимой белизной разблесталась снежная скорлупа Заполярья. Она хрустела под железом, трещала и лопалась. И сверкающая белыми искрами снежная пыль вихрилась и потом долго висела длинным следом в воздухе.

Лютиков вывел машину с пологого берега на лед реки. На продутой ветрами глади гусеницы буксовали, и машину заносило. Пришлось сбавить скорость, объезжать утесы торосистого, ослепительно сверкающего льда. И уже близок был противоположный берег, когда Лютиков сначала услышал глухой гул, быстро перешедший в пронзительно тонкий лопающийся звук, потом ощутил как бы колыхание всего ледяного пространства... Что-то легко опустилось под ним. Стекланный звон возрастал, перерождаясь в грозный треск. Еще не давая себе полного отчета в случившемся, Лютиков распахнул дверцу и сильным движением плеча вытолкнул из кабины Полухина. Дав газ, включил скорость и в треске и грохоте льда помчал машину. Серая вода хлынула в кабину, но машина, вынырнув, вползла на берег и стала.

Лютиков ударился головой о стекло и снова, теперь коротко, услышал ледяной треск и звон. И все потемнело.

— Вот, брат, чуть было мы с тобой на тот свет не перебазировались, — сказал Полухин, обвязывая голову Лютикова. И похвалил: — Это ты правильно меня из кабины выкинул. Сработала, значит, у тебя психическая меха-

ника. Облегчил машину.— Сообщил самодовольно: — Но я тебе тоже облегчение сделал, посодействовал.— И, показав на одиноко стоящий на льду санный прицеп, гордо объявил: — Успел я, значит, его отцепить. А то бы с таким грузом не выдраться, потонул бы ты, как тот топор, вместе с тягачом.

— Что же ты понаделал? — гневно спросил Лютиков.— Кто тебя просил так паниковать? Сгубил груз!

— Это ты меня неискренне оскорбляешь. Неискренне...— благодушно сказал Полухин.

— Побоялся, что вместе с прицепом под воду уйдешь, и все. И нечего будет потом хоронить с музыкой!

— Ну, как мне моим прахом распоряжаться, это я без тебя решу. С музыкой там или без музыки, — огрызнулся Полухин.— Теперь словами только делу служить нужно, кончать надо с переживаниями. Это я тебе пока дружески говорю.

— А как прицеп теперь вытащить? Льдина под ним и так, видал, грузнет. Вот-вот потонет.

— Наблюдаю,— холодно сказал Полухин.— Наблюдаю и думаю...

Красное, без лучей солнце тяжело повисло на краю горизонта. Воздух космической чистоты источал едкую, как соляная кислота, стужу.

Полухин сказал:

— Ты, я видел, дровишек без паряда нахватал с перевалочного склада. Надо их с прицепа забрать. Костришко развернем. Для веселья.— Произнес иронически: — А то я человек к скорби непривычный.— Задумался: — Лед мы, значит, чинить не будем, не наша забота его чинить. А вот титулами стивидоров я тебя и себя облакаю.

— А чего нам грузить — друг дружку, что ли?

— Мешочки с цементом,— ласково сказал Полухин.— Перетаскаем мешки на берег, потом пустой прицеп подтянем к берегу и снова в путь, только всего и делов.— Улыбнулся: — А ты что ж думал? Если я не сложил тут свою плешистую голову, так она у меня не работает? Работает как руководящий центр.

Полухин скинул тулуп с мокрыми полами на землю, поглядел на валенки, сказал осуждающе:

— Гигроскопическая вещь. Но я ее приспособлю. А то вода — штука мокрая.— Вошел на лед и быстро окунул в воду сначала одну ногу, потом другую. Объявил: — Видал охотничий способ — промокнуть не промокнешь, а сверху их льдом прихватит. Теперь воду не пропустят.

Сухие, выходит, ноги у меня будут. Такая им, значит, радость выпадает.

До самой ночи они перетаскивали мешки с цементом на берег. Потом приволокли прицеп. Но загрузить его уже не было сил. Полухин лежал у костра на разостланном брезенте. Глаза его болезненно блестели, словно обернутые в целлофановую пленку. И скорее по долгу ободрить Лютикова, чем от желания говорить, бормотал:

— Хоть я и отягчен брюхом и опечален плешью, а смотри, какой еще износоустойчивый. Живу! Живу на одной скрытой нервной мощности, от приятных переживаний, что не утоп.

Лютиков с брезгливым выражением слушал Полухина, копаясь в моторе, обогревая изредка руки под мышками.

Паяльная лампа стояла под картером тягача, разогревая застывшее масло. На костре висело ведро с водой для заправки радиатора. Лицо Лютикова было в синих пятнах озноба. Тигач выглядел как ледяная глыба. Потом они складывали мешки на прицеп. Каждый мешок подымали вдвоем, потому что не было сил.

На Лютикове валенки Полухина. Свои ноги Полухин обмотал изрезанной плащ-палаткой.

Часто они падали вместе с мешками на прицеп и с трудом подымались. Кровавая руки, вырубил лед из ходовых частей тягача.

И снова тронулся в путь тягач с прицепом в светлых сумерках полярной ночи, без теней, без звезд, пробивая себе траншею в белом сухом снегу, сам схожий с обломком от ледяного утеса.

И когда наконец показалась ажурная, высокомерная, чопорная радиомачта поселка, Полухин провел ладонью по обвисшему лицу, сказал озабоченно:

— Однако, оброс! А волос у меня некрасивый, рыжий и жесткошерстный. — Вытащил из сумки механическую бритву «Спутник» и начал закручивать пружину. Но вдруг отказался от своего намерения бриться. Протянув бритву Лютикову, сказал: — А чего мне, собственно, парадить? Не для кого.

Усевшись на место водителя, Полухин, шурясь на невыносимый блеск снежной равнины, задумчиво улыбался, потом сказал робко:

— А ведь имел и я счастье выше тмени. Еду, бывало, по Ваду на санитарной, а она стоит с флажками, как с крылышками, и машет ими. Воевал я, знаешь, не аккуратно.

Часто подшибали. И вот увижу ее — и сразу ничего не больно. Упрусь локтем о подвесную койку, гляну в стекло на нее и ко всем офицерам ее ревную, которые свободно по фронтовым дорогам ездят и могут где хотят остановку сделать и по собственному желанию у любой регулировщицы про дорогу спросить. — Зажмурился. — Вот всю ее я на всю свою жизнь насквозь помню...

Когда подъехали к складу, лицо Полухина вновь обрело властное, надменное выражение, набрякло сизой кровью. Он силно крикнул завскладом:

— Давай моториста с автопогрузчиком! Живо! И чтоб все аккуратно. Если хоть один мешок порвете, башку оторву. — Бодро выскочил на землю, но пошатнулся, прислонился спиной к тягачу, спросил: — Закурить найдется? — Затягиваясь со слезой наслаждения, сказал громко: — А то после смерти не покуришь! — Протянул рыхлую руку Лютикову, произнес задумчиво и нежно: — Спасибо, Сережа. Прокатил ты меня очень даже хорошо. — И ушел в склад, чтобы осмотреть помещение, где будет храниться его цемент особо высокой марки.

Лютиков вошел к себе в дом. В комнате горел свет, хотя на улице стоял полярный день.

Тамара сидела в шубе возле стола, на котором стояли будильник и зеркало. И она смотрела не то на будильник, не то в зеркало с отчаянным выражением. Глаза ее запали. На лице сильнее обозначились уродливые ржавые пятна. Повернувшись, сверкнув огромными, пылающими черными глазами, она спросила:

— Явился? Явился, да? — И, уронив голову себе на руки, вдруг заплакала.

Лютиков опасливо покосился на живот Тамары. Нет, все благополучно, торчит. Значит, еще ничего не было.

Тамара вскочила, подошла вплотную, положила голову ему на грудь, а руки на плечи. Замерла. Потом спросила жалобно:

— Я стала очень некрасивая, да? Очень? И ты теперь меня меньше любишь? Да?

Лютиков пролепетал растерянно, счастливым голосом:

— Я же весь холодный. А ты жмешься. Так простудить его можно. И родишь простуженного!

Тамара, отстранившись, пытливо посмотрела на Лютикова:

— Ты почему бритый? Почему?

— Да я же для тебя! Уже у самого поселка брился, — оправдывался Лютиков, сейчас больше всего на свете гор-

дьясь тем, что Тамара так недоверчиво, ревниво смотрит на него. И он бережно поцеловал ее в дрожащие, опухшие губы, в сухие, некрасиво растрепанные волосы и в мокрые глаза, сияющие как черные солнца...

В космическом гигантском небе, висящем над ледяным мертвым пространством тундры, возникали таинственные всплески северного сияния. Возникали и гасли и снова возникали. А по бесконечному пространству тундры тянулась зубчатая борозда следа от стальных плах гусениц тягача. И белые, плоские, сухие струи поземки уже начали замечать этот след, и очень скоро он исчезнет навсегда, даже из памяти тех, кто его проложил. Ибо это был всего-навсего след самого обыкновенного рейса. А кто их здесь запоминает на всю жизнь, такие рейсы? Пожалуй, никто.

БУХТА ПОЛЯРНАЯ

Близится пора полярной ночи.

Утренний рассвет приходит все медленнее. Слабый, серый, в знобящем, сыром тумане.

Над бухтой висят дряблые лиловые тучи, источающие холод, и волны цвета рыбьего мяса с сочным чмоканьем шлепаются о прибрежные бурые валуны.

В расщелинах черно-базальтовых скал лежит грязный, вековечно не тающий снег.

Метрах в двухстах от берега, у дощатого плота-причала, сколоченного в виде буквы «М», вместе с причалом на волнах колышется гидросамолет, и стая сизых чаек с тоскующими воплями кружит над крылатой машиной, будто взывая к отлету. Глухо бухает о привальные брусья пристани катер, обвешанный с обоих бортов старыми автомобильными покрышками. Очевидно, это суденышко «видало виды». Корпус изборозжен глубокими продольными ржавыми вмятинами, покрыт клепаными заплатами, следами ударов плавучих льдин.

На корме катера, где елозит сварными звеньями якорная цепь, стоят на холодном мокром ветру двое: врач районной больницы Ольга Петровна Лунева и учитель из островного населенного пункта Порт-Долгий Михаил Мокеевич Глухов.

Засунув руки в карманы длинного драпового пальто с высокими поднятыми ватой плечами, учитель брезгливо смотрит на прыгающий в волнах гидросамолет. Под новой пыжиковой шапкой лицо его выглядит особенно костлявым.

Лунева, в розовом прозрачном пластиковом плаще, надетом поверх мехового жакета, одну руку держит в кармане пальто учителя, где жадно сжимает своей горячей рукой его холодную, вялую, а другой — свободной — беспрестанно нервно поправляет фетровую шляпку с матерча-

тыми цветами, от которой она давно отвыкла, но почему-то решила надеть именно сегодня.

Как всегда, лицо ее замкнуто привычно властным выражением, призванным внушать даже самым тяжелым больным твердую надежду на неперемное исцеление. Конечно, если больные будут выполнять все наставления доктора.

С пристани на борт катера мягко спрыгнул в рыжих унтах командир гидросамолета. Пройдя на корму, доложил Луневой, которую считал более значительной персоной, чем учителя, о готовности к отлету.

Лунева строго заметила:

— На час уже запаздываете!

— Ольга Петровна! — взмолился летчик. — Я же погоду караулил. Сами же велели не допускать болтанки.

Лунева милостиво кивнула и, обернувшись к рулевому, приказала:

— Давайте!

Катер, трепыхаясь на упругих, словно резиновых волнах, шлепая тупым, во многих местах расщепленным форштевнем, заковылял к плавучему плоту-причалу. Летчик, поняв, что он тут на корме лишний, ушел в будку рулевого.

Лунева снова сунула руку в карман пальто Глухова и сжала там его вялую руку своими горячими пальцами. Лицо ее, со строгими, правильными чертами и, очевидно, от этой правильности лишенное мягкой женственности, оставалось по-прежнему холодно-спокойным. И только горестно впавшие, темно-серые, мерцающие глаза под припухшими веками выдавали душевное страдание.

Катер пришвартовался к плоту-причалу. Летчик сошел первым, подтянулся на руках в кабину самолета, спустил лесенку.

Глухов с чемоданом встал на поплавки гидросамолета, жалобно улыбнулся и протянул руку для прощания. Но Ольга Петровна вдруг решительно, почти злобно отбросила его руку и, обняв его тощую, длинную шею, забинтованную шелковым кашне, прижалась лицом к пахнущему затхлостью пальто, коротко всхлипнув, замерла.

Потом потерлась лицом о пальто, возможно, для того, чтобы вытереть слезы, отступила, озабоченно похлопала себя по карманам, достала пачку сигарет, закурила.

Глухов сделал движение тоже взять сигарету. Лунева отстранилась, произнесла докторским тоном:

— Табак тебе противопоказан, — и, смягчаясь, добавила: — Ты же дал слово. — И протянула руку для прощания.

Глухов робко сжал ее пальцы, медля отпустить, притянул к лицу, зажмурился, вдыхая лекарственный запах этой маленькой жесткой руки с глянцевиной сухой кожей от застарелых ожогов антисептикой.

— Ну, все! — сказала Лунева.

— Все, — подавленно произнес учитель. — Все. — И, влоча за собой чемодан, поднялся по лесенке в кабину.

— Будьте уверены! — сказал летчик и с силой захлопнул дверцу люка.

При этом звуке захлопнувшейся металлической двери Ольга Петровна пошатнулась, будто ее тяжело ударило в грудь упругим толчком воздуха. Она шла по плоту со стиснутыми веками, и, если бы рулевой катера, прыгнув на плот, не подхватил ее, она спокойно шагнула бы с края плота в воду.

Обессиленная, осунувшаяся, она сидела на чугунном кнехте, не замечая ни водяной пыли, ни брызг. Мокрая черная якорная цепь с жалобным лязгом ворочалась у ее ног.

Гидросамолет сделал над катером прощальный кизкий круг. Но Ольга Петровна не поднялась с кнехта, не помахала прощально рукой. Она беспрестанно курила, прикуривая одну сигарету от другой, стряхивала пепел в ладонь и тупо смотрела, как столбики пепла растворяются в открытой мокрой ладони.

Рулевой катера, который знал и Луневу и Глухова, сейчас с таким напряженным выражением на лице крутил маленький медный штурвал, словно ему приходилось ворочать непосильную тяжесть.

Скалистый берег то поднимался, то опускался, и когда скрывался из виду, казалось, что нет ничего на свете, кроме серого погасшего неба и бегущей бесчисленной толпы серых грузных волн.

О студентке Ольге Луневой говорили, что она так же неоригинально красива, как Венера, только ростом не вышла, а принципиальность ее столь же твердокаменная, как и материал, из которого сработан ее античный прототип.

С третьего курса, когда началась война, Лунева ушла на фронт медсестрой.

В сорок третьем была тяжело ранена. Трижды мучительно оперировали ее в армейском госпитале, спасли

жизнь, но даровать жизнь другому существу она теперь не могла.

В госпитале лежал полковник Гусев. Этот сильный, властный человек, отчаянно храбрый на фронте, после ампутации ног решил, что погиб для жизни.

Пожалуй, только из одного упрямого чувства вернуть ему утраченную веру в жизнь Ольга сблизилась с полковником. Полковник попросил ее стать его женой. Ольга снова поступила в медицинский институт, но все силы тратила на уход за мужем-инвалидом. Полковник стал требователен, капризен. Он привык к тому, что даже на фронте был избавлен от всех бытовых забот.

Еще до войны он бросил жену, от которой у него были сын и дочь, почти сверстники Ольги. Но теперь бывшая жена и взрослые дети стали навещать полковника. К Ольге они относились подчеркнуто вежливо.

Полковник овладел протезами и стал снова рослым, видным мужчиной. Бывшая жена навещала его все чаще и чаще, выбирая для этого время, когда Ольга находилась в институте. И вот однажды полковник сказал Луневой, жалобно усмехаясь:

— Ну вот что! Мы с тобой ребята фронтовые, смелые, потому говорю начистоту. Жинка меня реабилитировала. Семья есть семья. А с тобой давай заключим мирный договор. — Потом произнес сипло: — Может, ты меня подлым считаешь? Так знай: струсил я. Безногим без настоящей семьи жить струсил. Поняла?..

И единственно, о чем с судорожным негодованием долго горько вспоминала Лунева, так это о том, как она в порыве великодушного милосердия однажды сказала полковнику, что считает себя тоже калекой, потому что после ранения не может иметь детей. Это признание Ольги ободрило полковника. И он сказал:

— Ну, значит, мы с тобой пара!

Тогда она простила Гусеву, зная о его тоскливой боязни одиночества. Но себя за это сокровенное признание простить не могла.

Когда она лежала, истекая кровью, на снегу, она не боялась смерти, она боялась только одного: если она умрет, то замерзнет до смерти обеспамятевший раненый, которого она тащила на волокуше...

Нет, она не калека, она возвращала жизнь людям на фронте. И как она посмела назвать себя калекой!

Еще сотни три лет назад пространствлюбивые и смелые русские люди пришли в заполярную бухту на па-

русских карбасах и осели там на каменном берегу, занимаясь летом рыбной ловлей, а зимой — пушным промыслом. В годы Советской власти здесь поставили рыбозавод, построили порт. Вот сюда, в медпункт, после окончания института и получила назначение Ольга Петровна Лунева. В первые же дни она горько столкнулась с председателем райисполкома — человеком сверх меры самоуверенным и самовластным.

— Вы кто такая? — осведомился председатель, когда Лунева пришла просить транспортные средства, чтобы ехать к роженице.

— А вы? — спросила Ольга Петровна.

Лунева добыла лошадь, запряженную в сани, хотя снега не было. Стояла чистая, сухая, студеной погода. Низкорослые лиственницы пылали ярко-оранжевой хвоей. Но когда Лунева выехала за пределы поселка, подул сильный ветер с океана, посыпался жесткий, как стеклянная пыль, снег. Луневой было приятно, что идет снег: значит, лошади не так тяжело будет тащить сани.

В оленеводческое становище она опоздала. Ребенка принял зоотехник. На обратном пути началась пурга. Даже в меховой куртке ей было невыносимо холодно. Лошадь кашляла и спотыкалась. В белых гудящих сумерках ничего не было видно. Лунева бросила вожжи, доверившись лошади, и та привезла ее, но не в поселок, а к брошенной зимовке. Лунева растопила печь, переночевала. А когда утром вышла из зимовки, лошадь, мертвая, висела в оглоблях.

Через несколько дней Луневу вызвали в райисполком.

Председатель встретил ее, оживленно потирая руки.

— Так-с, — сказал он, — приветствуем. — Надавил кнопку звонка, приказал секретарше: — Попросите сюда товарища Бобрикова. — Любезно предложил Луневой: — Водичка вот, в графине. — Пододвинул пачку папирос: — Закуривайте, табачок, знаете ли, успокаивает.

И когда в кабинет вошел белобрысый молодой человек в байковом лыжном костюме и спросил неприязненно: «Ну, чего вам еще?» — председатель многозначительно кивнул на Луневу и почему-то на цыпочках вышел из кабинета.

Товарищ Бобриков дождался, пока председатель закроет за собой дверь, и вдруг, улыбнувшись, сказал Луневой:

— А вы молодец! Здорово его на место поставили, хотя по-настоящему нет ему вообще места.

Лунева вдруг разрыдалась.

— Вы что? — спросил уполномоченный.

— Коня жалко!

— Коня! А надо было сообразить, для чего деревянный гребень на передке привязан. Вычесали бы куржак, который всю шерсть забил, вот и не простудили бы коня. И он бы не помер.

— Что же теперь со мной будет?

Бобриков посоветовал:

— В следующий раз вычесывайте, и все. Только рекомендую лучше на собаках и оленях передвигаться. Лошадь здесь — животное исключительно редкое, можно прямо сказать, экзотическое.

В дверь заглянул председатель.

— Разрешите?

— Нет, не разрешаю! — резко сказал Бобриков и застенчиво попросил Ольгу Петровну: — Вот, будьте любезны, посоветуйте. Курить мне очень желательно бросить...

В райкоме партии Лунева выложила свои требования в такой категорической форме, что на нее обиделись.

— Ты что, — сказал секретарь, — считаешь, средства только на твой медункт надо бросать? Сразу на десять коек! Да что у нас тут, эпидемия? Здесь народ крепкий в силу здорового климата. И от низких температур никаких бактерий, никакой заразы. Да если командировочные узнают, что у тебя столько коек пустует, от них не отобьешься! Гостиницы у нас нет.

— Ну, а белила?

— Белила только на местный флот, охру можно.

— Во-первых, белый цвет гигиеничный, а во-вторых, желтый подавляюще действует на психику, — не отступала Лунева.

— Да ладно, чего там! Все достанем, выьем. Это я тебя для знакомства испытывал, какой ты человек у нас — постоянный или временный.

Прошли годы. В поселке построили больницу. Лунева обрела известность. Она давно уже привыкла без каюра ездить в дальние зимовки на оленьих и собачьих упряжках, на катере в штормовую погоду к рыбакам.

Ощущение полноты жизни пришло к ней в ту пору, когда молодость уже миновала. Живя на людях, отдавая себя служению людям, она уже не мучила себя горькой тоской о том, что не может дать жизнь другому существу.

Года три назад на попутной зверобойной шхуне Ольга Петровна впервые побывала на острове, чтобы провести там

диспансеризацию населения рыбацкого поселка Порт-Долгий.

Обследование она вела в горнице председателя рыбоколхоза, стены которой увешала медицинскими плакатами.

И вот перед ней стоял полуголый долговязый, усмехающийся человек с патлатой бородой, свидетельствующей о том, что владелец носит ее скорее от пренебрежения к своей внешности, чем от желания походить на матерого рыбака.

Это и был местный учитель Михаил Мокеевич Глухов.

— Ну что же,— сказала Ольга Петровна, склоняясь над умывальником,— нехорошие у вас шумки, сердце лежачес.

— Это оно у меня просто отдыхает.

Лунева, не поднимая глаз, продолжала:

— Ранение в легких...

— Повезло,— перебил учитель.— Если б фриц взял чуть пониже, капут!

— Ревматизм может вам дать осложнение на сердце.

— Смотреть на вас, доктор,— одно наслаждение, а вот слушать...— И Глухов сокрушенно развел руками.

— Вы семейный?

— Увы, индивидуалист. Но еще окончательно не потерявший надежды.

— Ну-с,— сказала Ольга Петровна и равнодушно-просительно посмотрела на Глухова.

— Пора освободить помещение! Понятно. Но вот людей вы осматриваете. А остров?

— Что остров? — спросила Лунева.— Ах да, конечно, если будет время.

Поздно ночью Лунева закончила прием и вышла. На крыльце на верхней ступени сидел учитель, поставив длинные ноги в броднях на нижнюю ступень.

— Ну,— сказал он, вставая,— пошли остров осматривать. Вы же обещали!

Стояла солнечная полярная ночь. Было мягко и тихо. Светоносное небо и море изливали медленно трепещущее голубое марево. Пахло водорослями и еще дымом коптильни.

И неожиданно Ольга Петровна ощутила счастье, как прикосновение чего-то милого, живого. И это было вовсе не оттого, что долговязый и чем-то все-таки приятно неленый человек так восторженно, молитвенно смотрит на нее. Просто она почувствовала счастье, как чувствовала его

в детстве, в какие-то забытые сейчас мгновения. И вот оно пришло, это мгновение удивительного в своей беспричинности ощущения счастья. И она легко, казалось самой себе, «воздушно», шла вслед за Глуховым по мшистым камням туда, где остров нависал над заливом угрюмой отвесной стеной. Стеной вечного льда, сплавленного с валунами и галькой.

И, словно осененная каким-то особым прозрением, она увидела красоту этого мира, прекрасного и мощного, как вселенная.

Глухов сорвал цветок касатки — полярной орхидеи — и подал его Луневой. Она поднесла цветок к лицу, зажмурилась и вскрикнула с отчаянием:

— Но он же не пахнет!

— А зачем ему пахнуть? — спросил учитель. — Природа умная. Раз пчел нет в наличии, зачем цветку зря пахнуть? Привлечь тут некого.

— А меня?

Но Глухов деликатно сделал вид, будто не понял ее.

— Здесь, в вечной мерзлоте, — сообщил Глухов, — можно обнаружить останки мамонтов. Просто бесценная кладовая для палеонтологов. — Заявил мечтательно: — Музеишко бы закатить! Я уже давно на один амбар целюсь.

Потом они осматривали русло древнего, исчезнувшего ледника — каменную мертвую реку из гигантских, кругло обточенных валунов.

Ольга Петровна захотела перейти эту мертвую каменную реку. И, колеблясь и шатаясь, держась за руку Глухова, шагала по валунам, а Глухов снизу заглядывал ей в лицо блаженными смеющимися глазами.

На самоходной барже, загруженной уловом, Ольга Петровна уехала обратно на материк. Учитель в броднях долго шел по воде и махал ей вслед рукой.

На Севере особенно душевно почитают людей знающих, образованных. И хотя Глухов был человек со странностями, его не только глубоко уважали, но даже гордились его странностями.

С учениками Михаил Мокеевич держал себя не как начальник, а как приятель. На все лето он отправлялся со старшеклассниками на тоню, жил в землянке, ловил рыбу. Зимой кочевал по избам учеников, охотно помогая родителям по хозяйству. А свой дом давно превратил в хранилище всяких этнографических редкостей.

Прежде чем поставить отметки за четверть, обсуждал вместе со всем классом, достоин ученик такой-то оценки или недостойн.

Будучи членом поселкового Совета, прежде чем выступить на заседании, советовался со своими учениками, а потом заявлял:

— Мы считаем...

— А кто это мы?

— Мы — школа, — твердо произносил учитель.

И если его предложение не принимали, он осуществлял его часто сам, с ребятами.

Так, они накосили тралом со дна бухты пять тысяч тонн водорослей и доказали, что это отличные питательные корма. Сложили на вершине острова остроконечную пирамиду из валунов и на каждом камне написали суриком имена тех жителей, какие погибли на фронте в годы войны и списки которых все никак не решался утвердить местный райвоенкомат.

Но вот любопытно: все, кто окончил при Глухове школу, став взрослыми, а некоторые и заняв значительные должности, убеждались в том, что Глухов знал их лучше, чем они знали себя, и дал им понятия о жизни бóльшие, чем могли дать учебники.

Увлекательнее всего Глухов умел рассказывать о жизни великих людей. Он произносил восторженно:

— Вот видите, какими мы можем быть человечинцами и что можем сделать, если только сильно захотим!

Но сам Глухов не старался, да, возможно, и не хотел стать заметной фигурой, хотя бы в районном масштабе. Он очень редко выезжал с острова. И если теперь зачастил на материк, то совсем по иным причинам.

Лунева не могла отказать учителю в курсе инъекций витаминных препаратов, хотя и знала, что он не верит в их пользу. Цитируя Гиппократ, учитель произносил:

— Медицина часто утешает, иногда облегчает, редко исцеляет.

И уныло жаловался Ольге Петровне:

— Если я перед вами теперь каждый раз теряю свою гвардейскую гордость, то только потому, чтобы внушить вам, что вы мне нравитесь.

— А ну повернитесь! — командовала Ольга Петровна, нацеливаясь шприцем.

Учитель морщился:

— Вы меня ставите в совершенно невозможное положение для того, чтобы я мог высказаться.

Но курс лечения закончился, а Глухов не прекратил путешествий на материк.

Летом с субботы на воскресенье он приплывал на заводе с кормовым мотором. На пустынном берегу с черными оскаленными скалами часто подолгу стояла Ольга Петровна, с тоской разглядывая каждую волну, выплескивавшую на берег тяжелое, мокрое тряпье водорослей. Но когда показывалась трепыхающаяся на волнах лодка, она поспешно уходила.

Причалив, Глухов собирал сухой, легкий, как пробка, плавник, разжигал мохнатый костер, сушил одежду и отправлялся в поселок. Бывало и так: он не находил Ольги Петровны. Получив вызов, она выезжала к больному.

Но как радовался учитель, когда Лунева соглашалась, чтобы он сопровождал ее в дальнее становище!

— Вы знаете, — говорил он восторженно, — я уже перековался и верю в медицину! Вы заметили, как я ловко помогал, когда вы вскрывали фурункул на шее старика? Еще немного — и я стану Бурденко.

Однажды с субботы на воскресенье разразился сильный шторм. Волны выбрасывались на берег, как жирные, огромные звери. Ольга Петровна не выдержала, побежала к причалу спасательного катера. Но катера у причала не было. Вахтенный матрос, махнув рукой на море, сказал:

— А уже давно вышли шарить с прожектором. — И деловито посоветовал: — Да вы не тревожьтесь: Михаил Мокевич — морская душа. Его не утопит.

И когда учитель, мокрый как утопленник, пришел в райком, где в этот вечер дежурила Лунева, и сказал, улыбаясь, обычное: «Здрасте!» — Ольга Петровна сухо произнесла:

— Вот что, уважаемый Михаил Мокеевич! Вы сами знаете, как педагог должен дорожить своим общественным престижем, и врач, конечно, тоже. А что о нас могут подумать?

— Да поймите, я люблю вас...

Глухов положил руки на плечи Луневой, приблизил свое горячее лицо к ее холодному. Но Ольга Петровна отстранилась...

А потом, несколько месяцев спустя, в полярную ночь, полнолуние, когда силой лунного притяжения гигантская вспученная волна начала гулко ломать ледяную крышу бухты, сокрушая ее, Ольга Петровна пошла по лопающемуся ледяному полю навстречу Глухову. И когда из-за

ледяных скал торосов выскочила мокрая собачья упряжка с лежащим на обледеневших нартах учителем, Ольга Петровна бросилась к нему, целовала его страшное, будто с ободранной кожей лицо, обожженное стужей и ветром. Но, овладев собой, поспешно объявила:

— Пошла пройтись, и вдруг лед трескается, я испугалась, побежала, а тут вы. Ну я и потеряла голову...

Учитель, отбросив капюшон малицы, смятенно и глупо бормотал:

— А я, знаете вот, побрился. Но без бороды чувствую себя пеловко, будто без штанов.

— Но ради чего вы это сделали? Вам в бороде теплее! — воскликнула Ольга Петровна.

— Ради красоты, — сказал учитель и пожаловался: — Как взглянул потом на свою голую рожу — ужас! Все равно как тушка ошипанного гуся.

Они шли к берегу, держась за нарты, по ледяному полю, гудящему, словно горный обвал, и им не приходило в голову, что они могут погибнуть. И только упряжные псы выли и визжали от страха, сиюсь скорее достигнуть спасительной суши. Полная луна изливала океан сильного сияния. Весь поселок утопал в нестерпимом снежном блеске.

Как-то Ольга Петровна спросила Глухова:

— Скажите, Михаил Мокеевич, вы стали педагогом по призыванию к этого рода деятельности или просто потому, что любите детей?

Глухов сказал:

— Если по-честному, пожалуйста. Люблю их, чертей полосатых, и все.

Лунева потупилась, потом сказала вызывающе:

— А я бы не хотела иметь ребенка.

— Ну что вы, Ольга Петровна! — укоризненно сказал учитель. — Зачем про себя такую неправду говорить!

Лунева пожала плечами и осведомилась беспечным тоном:

— Вы охотник, объясните, почему весной гагары выглядят такими жалкими?

— Не все, только самцы. Из них супруги пух выщипывают для утепления гнезда.

— Какие жестокие!

— А что, правильно! — одобрительно сказал Глухов. — Птенцы не зябнут. — И шутливо заметил: — Я бы лично не возражал против такой операции.

— Ну еще бы! — сказала Лунева. — Из вас получится образцовый отец. — И долго молчала, стиснув губы так, что они стали совсем белыми.

Осенью в островной поселок Порт-Долгий доставили большой плот для строительства нового школьного здания. Внезапно разразилась снежная буря. Учитель вместе с рыбаками багром откатывал бревна на берег. Большая волна вознесла бревно и торцом ударила учителя в грудь. На паруснике доставили его в материковую больницу.

Поправлялся он медленно и трудно: после двустороннего воспаления легких начался туберкулезный процесс.

И когда он смог подыматься на ноги, Лунева сказала:

— Ну вот, согласно медицинскому заключению, предстоит длительное лечение в условиях благоприятного климата.

Глухов порвал бумажку медицинского заключения и выбросил клочки в форточку больничного окна.

— Это не поможет, Миша, — сказала Лунева.

— Поможет, — сказал Глухов.

На заседании бюро парткома был зачитан проект решения об освобождении учителя М. М. Глухова от занимаемой должности по состоянию здоровья с переводом на новое место работы — в город Нальчик.

Инструктор Васильев, новый человек на Севере, стал возражать, утверждая, что нельзя так легко расставаться с ценными кадрами и лучше сформулировать так: «Предоставить длительный отпуск с обеспечением путевки в санаторий».

В скрипучих словах Луневой: «Я так считаю», «Я это глубоко, всесторонне продумала» — он не увидел ничего иного, кроме врачебной амбиции. И был обижен и сильно удивлен, когда первый секретарь сказал совершенно не по существу, но остальные члены бюро его как-то по-особенному поняли и одобрили.

— Я так полагаю, — сказал первый секретарь, — в этом вопросе для нас и для товарища Глухова Ольга Петровна — высший авторитет. — Налил из графина воды, выпил полный стакан, произнес задумчиво: — Бывают, конечно, такие случаи, когда человека лучше лечить не лекарствами, а большой радостью.

— Я все и даже это продумала, — тихо сказала Ольга Петровна и, обедая присутствующих грустным взглядом, попросила: — Поймите же меня, товарищи...

В портовой столовой местные руководители устроили Михаилу Мокеевичу торжественные проводы. Лунева впервые на людях сидела рядом с Глуховым, нежно и скорбно заглядывала в его угрюмое лицо.

И впервые за все эти годы она, не таясь от людей, шла после проводов под руку с Глуховым, ведя его открыто к себе в дом с решительным, гордым и нежным лицом.

А наутро они вместе пошли на пристань, где стоял катер и где метрах в двухстах от берега у плота-причала мотался на волнах крохотный гидросамолет и над ним кружились с воплями чайки.

Никто не пришел на причал проводить учителя, потому что никто не хотел лишать этих двух людей тех последних минут прощания, которые принадлежали только им. И даже в этот день Лунева не отменила приема больных, и лицо ее, как всегда, сохраняло властное, самоуверенное выражение, долженствующее внушать больному твердую веру во все то, что говорит ему доктор.

Над гигантским бурым пространством тундры летел крохотный гидросамолет. Прорываясь сквозь сырую облачность, машина потела, а когда набирала высоту, обледенела и тяжелела. Глухов сидел рядом с пилотом на свободном правом кресле, видел под собой пропасть и на дне ее землю, и бесчисленные озера блестели на ней, как лунные диски...

ДЕРЕВО ЖИЗНИ

Самолет совершил посадку в таежном поселке на окраине, которая считалась аэродромом. Вздывая вихрь песчаной пыли, подрулил к избе с вывеской «Аэропорт».

Второй пилот покинул рубку, открыл овальный люк, опустил железную лесенку и объявил:

— Кто по линии нефти и газа, пересадка на вертолеты. Гидропорт, полкилометра до реки. — Помедлил, деловито посоветовал: — В населенном пункте имеются продмаг, промтоварный — ориентируйтесь на каланчу, там же баня. — Задумался, произнес виновато: — Только извините, не знаю, какой сегодня день, мужской или женский. — Бодро пожелал: — Счастливо оставаться, товарищи!

Белый горячий песок. Блеклое теплое небо. Смолистый, терпкий запах леса. И жара такая, что даже в тени душно, как в бане. Вот так Сибирь!

Толпа пассажиров распалась. Одни уселись на завалянке аэропорта ждать вертолета, другие, навьюченные рюкзаками и чемодапами, зашагали по высокому дощатому тротуару, совсем недавно сколоченному.

Древний рыбачий поселок тянется двумя серыми улицами к реке. Дома срублены из толстых бревен. Окна квадратные, маленькие, точно прищуренные от солнца. На козлах сохнут капроновые сети. У ворот лежат перевернутые вверх дном «душегубки», выдолбленные из цельного ствола дерева.

Высокие, объемом в избу, поленицы дров возвышаются над такими же высокими заборами.

Она сказала:

— Вот видишь, сколько дров. Значит, зимой здесь ужасные холода.

Он предложил:

— Тогда зайдем в промтоварный и купим тебе валенки.

— А почему не тебе?

— Я предпочел бы сейчас тапочки.

— Я тоже.

— Тогда идем прямо в гидропорт.

— Гидропорт? — переспросила она. — Гидропорт? А почему просто и честно не сказать: на берег речки? — Пожала плечами: — Изба-аэровокзал. Просто как в сказке.

— Во-первых, это тебе не речка, а одна из величайших рек мира.

— Ах, извините! — насмешливо-жеманно произнесла она. — Я забыла, вы знаете географию, и, очевидно, эта геологиня в самолете была в восторге от ваших познаний!

— В восторге была ты от пилота, когда он пригласил тебя в рубку любоваться пейзажем.

— Еще бы! — гордо призналась она. — Пригласили меня, а вовсе не твою геологиню.

Он остановился, пытливо посмотрел ей в лицо, худенькое, смуглое, с длинными несмеющимися глазами и от усталости запавшими висками. Сказал:

— А знаешь, мы молодцы. Говорим о чем попало, будто ничего такого не случилось.

— Молодец я, — строго напомнила она. — Это я говорю о чем попало.

— Правильно, — согласился он. — Ты у меня надежный товарищ. — Поставил чемодан на плечо и упрямо зашагал по шатким доскам тротуара — высокий, плечистый, в распахнутой куртке, под которой виднелась матросская полосатая тельняшка.

Они увидели реку. Огромную. Всю в сером металлическом блеске. В упругом сверкающем воздухе колыхались на кривых крыльях чайки. Песчаный берег был усыпан перламутровыми блестками рыбьей чешуи, истоптан звездными оттисками птичьих следов.

Девушка сбросила, нога об ногу, пыльные тяжелые полуботинки и побежала босая по белому мягкому песку. Она воскликнула восторженно:

— Здесь как на море!

— Ну вот, — сказал он, — сначала обозвала речкой, а теперь величаешь морем.

Она боязливо потрогала воду голой ногой, пожаловалась:

— Ой, какая холодная! — Подняла подол юбки и стала бродить по воде, вздернув от озноба худенькие плечи.

Он крикнул сердито:

— А ну, выходи. Простудишься!

Она покорно послушалась, полулегла спиной ему на грудь, стала обуваться, будто не замечая, что он ее обнял, спросила:

— Так как называется наш поселок?

— Сургут!

— Нет, по-новому?

— Нефтеюганск.

— А почему не Нефтегигантск? Нефтегигантск лучше.

— Неплохо, но вроде похвальбы получается.

— А кто сам хвастал: «Величайшее в мире месторождение»?!

— Если хочешь знать...

— Я хочу сейчас знать только одно, — перебила девушка, — скоро мы будем наконец дома или нет?

— Видишь ли, — сказал он робко, — возможно, дома у нас сразу не будет, но отдельная палатка или балок обязательно.

— Хорош Нефтегигантск, когда в нем семейным людям жить негде.

— Какие же мы семейные, если еще нет ребенка?

— А ты хотел, чтобы я его сюда сразу притащила?!

— Но у нас его нет!

— Допустим, он есть, и чтобы я рисковала... Никогда!

— Но зачем выдумывать?

— А я люблю выдумывать.

Он сказал примирительно:

— Сегодня Нефтеюганск — пока еще поселок. Но в ближайшее время он будет городом со всеми коммунальными удобствами. На базе местного газа — центральное отопление, теплицы и даже оранжереи.

— Благодарю вас, товарищ лектор.

— Да что я — вру? — рассердился юноша.

Девушка вздохнула:

— Я просто очень устала и дразнила тебя, чтобы стало весело, а ты меня не понимаешь.

— Значит, глупый.

— Вовсе ты не глупый. Просто мы оба еще не отглупели от счастья, что сейчас мы вместе.

— Ты все здорово про нас понимаешь, — одобрил он.

— Странно, — произнесла она задумчиво, — зачем это мне было нужно — свою кубанскую нефть менять на вашу сибирскую?

— Опять? — спросил он жалобно.

— Опять, — сказала она насмешливо. — Наша кубанская пахнет яблоками.

— Одеколоном она пахнет, вот чем.

Они шли по мокрым, скользким, чавкающим бревнам плота, балансируя, как канатоходцы.

На плоту, опустившемся под тяжестью грузов, у мохнатого костра, возвышавшегося на земляной куче, сидели нефтяники, ожидающие одни — гидросамолета, другие — катера. Юноша и девушка присели на ящики.

По плоту бродили лохматые огромные псы с тунными львиными мордами.

— Это лайки? — спросила девушка. — И на них здесь ездят, как на лошадях?

— Правильно, — ответил рассеянно юноша, — как на лошадях. — И вдруг поспешно вскочил, вытянулся, улыбаясь застенчиво и восторженно. — Здравствуйте, — сказал он. — Здравствуйте, Махмуд Мухтарович!

— Привет, — откликнулся человек в широком брезентовом балахоне и в старой фетровой шляпе с откинутым на спину черным накомарником. Протянул руку, спросил пытливо, взглянув на девушку: — Она?

Юноша кивнул.

Человек представился девушке:

— Махмуд Агабеков. Бывший, так сказать, шеф вашего супруга. — Оглянулся на юношу, произнес одобрительно: — Понимаю. — Спросил: — Мою квартиру знаешь? Теперь твоя. Семейный товарищ, ничего не подделает.

Девушка всполошилась:

— Ну что вы, нам вовсе не надо.

— Надо, — твердо сказал Агабеков. — Вам надо, а мне не надо. Разведчику квартира — это все равно что орлу куриный насест. А ему надо. — Спросил юношу: — Значит, перешел в эксплуатационники?

Юноша пожал плечами, покосился на девушку, произнес вполголоса, виновато:

— Махмуд Мухтарович, вы же сами понимаете...

— Понимаю, — сказал Агабеков, — и поздравляю. Считай, шампанское за мной. — Спросил девушку: — Ваше имя?

— Лена.

— Просто замечательное имя! — И, снова обратившись к юноше, сказал: — Значит, местный житель будешь? Ай, ай, как хорошо! В кино ходить будешь. Спортом заниматься будешь. А я не такой красивый, как ты, всю жизнь холостым буду, всю жизнь разведчиком. — Сощурясь, спросил: — Ты что думаешь, только некрасивые и холостые могут быть разведчиками? А может, это не совсем так?

Гидросамолет низко, как утка, летел над рекой. Сел на воду и в облаке водяной радужной пыли подошел к плоту.

— Ну, я побежал, — сказал Агабеков. — Так шампанское за мной!

— А где вы сейчас, Махмуд Мухтарович? — быстро спросил юноша.

— На север пошли, — прыгая с бревна на бревно, отозвался Агабеков. — Тот самый, знаешь, купол нащупали, мировые залежи! — Остановился, балансируя на бревне, произнес яростно: — Вот клянусь чем хочешь, почище Кувейта! — Вскочил на поплавок гидросамолета и, подымаясь по лесенке, крикнул кому-то на плоту: — Неси резиновую лодку, а то там пешком не походишь, поги вместе с головой промочить можно!

— Это тот самый Агабеков? — спросила девушка. — И он обиделся?

— Ну, не очень, — проямлил юноша. — В его бригаду любой буровик из-за одной чести пойдет. Агабековцев вся Сибирь знает.

— А тебя?

— Что меня?

— А тебя знают?

— В новой бригаде? Откуда же — там эксплуатационники. А я разведчик.

— Был, — резко сказала она.

— Ну был, — уныло согласился юноша и, словно оправдываясь, неловко похвастал: — Теперь мой заработок не сравнишь. Платят с метра проходки. А в разведке ни метража, ни быта.

Девушка встала, подошла к упряжной собаке и, зажмурясь, погладила ее.

— Осторожней, укусит, — предупредил юноша.

— А я вовсе не нуждаюсь в том, чтобы ты меня здесь опекал, — злым голосом произнесла девушка. — И на Кубани, если уж на то пошло, я на нефтеразведке работала.

— Сравнила Кубань с Сибирью!

— Ах, так! — Девушка решительными шагами подошла к сидевшим у костра, спросила высоким срывающимся голосом: — Товарищи, кто тут из геологоразведки?

Встали сразу двое.

— Имеются такие в наличии, — сказал толстый, коренастый, с портфелем, из которого торчал ствол разобранного охотничьего ружья.

Девушка сбросила рюкзак и, торопливо роясь в нем, попросила:

— Одну минутку, у меня справка из Краснодарнефтегаза и характеристика...

— Гражданка, — умоляюще произнес коренастый, — зачем этот бюрократизм? Все понятно! — И, проведя ребром толстой ладони себе по горлу, объявил: — Нам люди во как нужны! Да будьте любезны. Сейчас катерок подадут. И в мгновение ока — умопомрачительные нефтяные залежи...

Юноша молча подошел к девушке, властно взял у нее рюкзак, забросил за спину. Девушка вертелась вокруг, пытаясь отнять рюкзак. Он взял ее за руку и с силой повлек к гидросамолету, в котором скрылся Агабеков. По мере того как они приближались к гидросамолету, лицо девушки приобретало торжествующее, даже высокомерное выражение.

Они поднялись в кабину, и почти тотчас же за ними захлопнулся люк.

Пропеллер медленно, словно нехотя, качнулся, сделав несколько кругов, потом вдруг растворился в прозрачном радужном нимбе. Гидросамолет развернулся, побежал по воде и, оторвавшись, взмыл в огромное небо с одинокими, багровыми от заходящего солнца облаками.

Оставшиеся на плоту люди переговаривались.

Один сказал:

— Вот они какие, нынешние! Небось вчера только из загса, а уже цапаются.

Другой сказал:

— И вовсе не цапаются, а просто желают выше самих себя быть.

Коренастый печально дунул в ствол ружья, прислушался, потом заявил:

— Интересуюсь, чем это Агабеков к себе молодежь притягивает? Золотая звездочка и у меня есть. А вот не сумел себя сразу героем подать и упустил кадр.

Подожел катер, с борта спустили трап на плот. Люди поднимались по трапу и, вместо того чтобы смотреть под ноги, смотрели в небо, в ту сторону, где скрылся крохотный гидросамолет. И непонятно было, о чем они сожалели, — о том, что вместо авиации вынуждены пользоваться гидро-транспортом, или о том, что были уже не первой молодости, и каждый из них вспоминал себя прежнего, свою юность...

Река мчалась сверкающей водяной лавиной. А с высоты она, верно, выглядела, как гигантское ветвистое голубое дерево, глубоко вдавленное в планету. Прекрасное, живое дерево жизни.

ДУША СОЛДАТА

Теплоход отвалил от стенки речного вокзала в двадцать один час. Каких-нибудь сорок минут длилась еще суматоха среди пассажиров, осваивающих свои места, а потом наступила благодатная тишина.

Упругие, мерные толчки дизелей, плеск воды, небо в звездах и огромное глянцевитое тело реки, торжественная мощь водного пространства... Нигде так хорошо не думается человеку, как в пути.

На корме безветренно, пахнет мокрым железом. Скрученные винтами струи реки разбегаются двумя раскосыми грядами.

Облокотившись о фальшборт, я смотрел в клокочущую воду, на чернобашенную стену тайги.

В темной дали настойчиво вспыхивал и гас огонек. Вглядываясь, я понял, что это повелительные световые сигналы морзянки. Дизеля теплохода, вняв сигналам, чуть слышно топтались, только чтобы удержать судно на фарватере.

Скоро нас нагнал лоснящийся лаком катер с такими грациозными обводами корпуса, что можно было подумать: его сработал скрипичный мастер.

С теплохода сбросили штурмтрап и осветили прожектором. С катера по висящему трапу на высокий борт теплохода подымалась женщина. Запрокинутое лицо ее с застенчивой и доверчивой улыбкой, невесть кому предназначенной, выхваченное светом из мрака, как бы висело над водой. И когда женщина ступила на палубу, и когда первый помощник капитана проводил ее в каюту, и когда убрали штурмтрап и погас прожектор на мостике, и когда теплоход снова начал испарывать холодный глянец реки, — неотступно во мраке передо мной висело освещенное, запрокинутое лицо этой женщины...

Однажды я получил совет: если вы приходите в картинную галерею, где собрано множество великих произведений

искусства, знайте — надо смотреть отрешенно только на одно из них, а потом уйти, пренебрегая остальными. Только тогда сила впечатления может быть полной. И хотите вы этого или нет, но получите почти пожизненный оттиск в памяти...

Возможно, нечто подобное произошло со мной сейчас.

Я перешел с нижней палубы на верхнюю и ходил там как бы вокруг белого мчащегося здания.

На берегах вздымалась сине-сизая громада тайги. В промоинах туч выскальзывала белая расплющенная луна.

Енисей в чешуйчатых блестках лился по округлому скату планеты в океан. А передо мной настойчиво продолжало висеть запрокинутое, озаренное лицо женщины с ласковой доверчивой улыбкой, невесть кому предназначенной...

Днем теплоход ничем не отличался от обычной гостиницы областного масштаба. В ресторане плотно и солидно засели зажиточные полярники в полосатых пижамах. В салоне «забивали козла», слушали радио, читали книги из судовой библиотеки. Нижнепалубные соорудили из чемоданов и тюков нечто вроде баррикады и расположились за ней по-домашнему.

Почти все пассажиры знали друг друга. Теплоход этим рейсом завершал навигацию. На нем плыли жители Заполярья, возвращавшиеся из отпусков. За кормой в тугих воздушных потоках парили чайки на крыльях, изогнутых, словно по законам аэродинамики. Очевидно, эта птичья стая считала теплоход закрепленным за собой.

Еще в Красноярском порту я заметил, как пернатая эскадрилья дружно отгоняла от судна всех других птиц, прилетающих со стороны. Когда кок в белом колпаке выходил на палубу, чайки требовательно и нагло кричали, если у него в руках не оказывалось ведра с отбросами из камбуза. И повар отмахивался от птиц, как от собачьей своры, и ругался с птицами, как с собаками.

Здесь, на корме, я увидел пассажирку, принятую ночью с катера на теплоход. С мальчишеским азартом она бросала хлеб чайкам.

Элегантный костюм заграничного покроя, лаковые туфли с прямоугольно срезанными носами, через плечо узкоплеченная кинокамера. Иностранка! Теперь понятно, почему ее столь эффектно доставили сюда на сверкающем катере начальника пароходства. Но белесое в нежном

округлом овале лицо, длинные, зеленоватые, застенчивые глаза, ясный, открытый лоб, стянутые на затылке в тяжелый узел, отливающие рыжиной волосы — во всем этом теплилось нечто столь характерное для русской северянки, что я сильно усомнился в своем первоначальном предположении.

В Туруханске на теплоход села семья ненцев со сворой могучих упряжных собак с белыми лютыми глазами.

Собаки расположились на корме. С тех пор пассажиры прекратили прогулки туда. Только одна эта женщина по-прежнему бесстрашно приходила на корму и кормила чаек. Собачья свора внимательно следила за каждым ее движением.

Губы псов нервически вздрагивали, когда женщина, гибко откидываясь, высоко швыряла куски хлеба навстречу прицельно точному броску птиц.

Уходя, она повелительно расталкивала собак, и лицо ее при этом обретало сурово-жесткое выражение. И псы покорно расступались.

Кончилась тайга, земля обнажилась бурой пустыней тундры. Река лилась могучая, пронзительно светоносная, и она одна властвовала здесь, в неподвижном пространстве, как живое повелительно властвует над мертвым. Мы миновали древнее селение Караул, где некогда по указу Петра твердо встали русские люди на охрану устья Енисея от вторжения иноземных кораблей.

Река перестала уже быть рекой. Исчезли берега. В безбрежной шири катились массивные, сработанные в море волны. Теплоход качало. Волны били в борта, достигая брызгами верхних палуб. Низкие сизые облака плыли по воде, словно снежные рыхлые кучи. Нерпы высовывали из воды шарообразные глянцевиные головы и детскими круглыми глазами смотрели на корабль.

Река шаталась, столкнувшись с тяжелой водой океана, и земля, казалось, шатается, и теплоход с сочным чавканьем кладет с борта на борт.

Северный ветер, свежее пахнущий стужей, на лету замораживал брызги воды в ледяную крупу. И небо было космически гигантским над этой плоской ширью земного пространства. Оно обнимало собой все, будто вознесенная ввысь океанская бездна.

Полярники, которым еще предстояло переместиться с Диксона на плавучее ледяное темя земного шара, с равнодушием взирали на этот, с их точки зрения, еще «южный» пейзаж Заполярья и упорно бродили по палубам в сандале-

тах, в пижамах и тибетейках, словно кичась этими своими курортными мундирами Кавказа и Крыма.

Пассажирка по-прежнему предпочитала одиночество на нижней палубе теплохода, где из-за тяжелого студеного ветра и ледяных брызг всегда было безлюдно, и небо было черное, как земля, и вода черная, как небо, где визжали кошачьими голосами чайки, плавая в воздушных потоках на сгорбленных крыльях.

Я просил боцмана, если будет остановка у какой-нибудь зимовки, прихватить меня на берег.

И вот мне сказали, чтобы я поторопился. Металлическая шлюпка качалась на волнах и брякала от ударов, как железная бочка. У руля сидел боцман, на веслах — матрос, а рядом с боцманом — пассажирка.

Река, мускулистая, билась с морем, вздуваясь огромными буграми. Мощным течением шлюпку сносило на подводную каменную грядку, где река порожиисто подымалась и ревела. Матрос выгребал изо всех сил. Но узкая каменная гряда неотвратно приближалась.

Стремнина реки выпукло выгибалась на косе и гибельно гудела.

Боцман придвинул единственный спасательный круг к ногам женщины. Я стал разуваться. На лице матроса выступили крупные капли пота.

И вдруг пассажирка повелительно крикнула:

— Выходи на струю, она сама вынесет!

Боцман покорно внял ее команде, и верно, подхваченная струей течения шлюпка благополучно пронеслась мимо гряды, и скоро мы вошли в бухту и причалили к берегу. Разноцветные лишайники, мокрая крупная галька, обледеневшие впадины, заполненные желтой прозрачной водой, огромные черные валуны и между ними — сложенная из тяжелых древних бурых бревен изба с плоской обложенной торфом кровлей.

Я направился было к избе, но боцман, низкорослый, курчавый, на кривых ногах, в сверкающих резиновых сапогах, до этого столь предупредительный, сказал вдруг неприязненно:

— Вы погодите лезть не спрашивая! Хозяйка есть, — и кивнул на женщину. Потом, словно извиняясь, предложил: — Вы желали по тундре погулять? Так вот она вам, пожалуйста, тундра, сколько угодно.

Казалось, что все здесь было некогда расплющено давлением какого-то гигантского пресса. Плоские мхи, плоская растительность, распластанные кустарники, глу-

боко вдавленные в почву черные валуны. Из впадин с прозрачной водой торчат толстые желтые плиты вечного льда. Во мхах сочатся сверкающие ручьи. Бесчисленные озера отражают в небо трепетные столбы пронзительного света. А там, где тундра смыкается с горизонтом, катятся легкими шарами облака, пропитанные белым сиянием. Тяжелая водяная громада Енисея неслась по этой земле к океану упорно и стремительно.

Подошел боцман, шурша сапогами по гальке, и сказал решительно:

— Однако, время стоянки на исходе. Пора!

Мы вошли в избу. В сумрачном свете тусклых маленьких оконцев внутренность зимовки выглядела как пещерное обиталище. Черная законченная печь, сложенная из валунов. На веревках развешаны сырые олени шкуры. В большой кадке киснут крупно нарубленные куски рыбы — подкормка для песцов. В цинковом ящике из-под винтовочных патронов — махорка. Под потолком на деревянных крюках тюки пушнины. В кастрюле, стоящей на радиоприемнике, пачки денег, перевязанные капроновой леской.

Нары завалены шкурами, вместо подушки мешок, набитый гусиным пухом. В изголовье висят карабин и тулка. В избе жарко от растопленной печи и душно от пара из чугунного котла, вмазанного в валуны.

Наша пассажирка, в майке, в лыжных штанах и резиновых сапогах с низко отвернутыми голенищами, стояла, склонившись над деревянной колодой, и стирала. Улыбнувшись, она сказала:

— Отец омулей наловил. — Смахнув с лица влажные волосы, добавила: — А я коньяк привезла. Армянский.

Боцман мужественно заявил:

— В служебное время не принимаю. — Внимательно огляделся, заметил на окнах шелковые занавески, коврик на земляном полу возле нар, зеркало и дамские туалетные мелочи, разложенные на бочке из-под керосина. Вдохнул, произнес полувопросительно: — Значит, счастливо вам оставаться?

— Значит, так, — сказала женщина и протянула тонкую обнаженную руку.

— Может, чего-нибудь вам все-таки надо? — спросил боцман.

— Нет, спасибо, — сказала женщина.

Накинув на плечи отцовскую меховую куртку, она проводила нас на берег.

Подтянув голенища сапог, вошла в воду и помогла оттолкнуть шлюпку с мелководья.

Тяжелый сизый туман вздымался над водой. Мы плыли в этом тумане, и было такое ощущение, словно висим над бездной. Я спросил невидимого в дыме тумана боцмана:

— А все-таки почему она там осталась?..

— Тихо там! — приказал боцман. Я понял, что он прислушивается к глухим гудкам теплохода. Глухие, ватные сигналы его были для нас звуковой питью, по которой мы тянулись в белом мраке еще очень долго.

Нас подняли на таях прямо в шлюпке на борт теплохода, и мы сошли на палубу, освещенную, как центральная улица большого города. Боцман закрепил шлюпку, затянул брезентом и спросил, будто сейчас впервые увидел меня:

— Так вам чего еще, гражданин?

Я повторил слова, сказанные в шлюпке.

Боцман ответил хмуро и официально:

— Пассажирка вышла на берег согласно взятого билета. — Но потом, смилостивившись, добавил: — Ну, уж если так хотите знать, эта гражданка приходится приемной дочерью местному зимовщику Флегонту.

История обыкновенная: нашел солдат в бывшем населенном пункте младенца, отвез его в тыл и сдал на эвакуацию. Младенца оформили на его фамилию. Кончилась война. У Флегонта полный комплект орденов, а специальность — разнорабочий. Подался на Север. В изыскательскую экспедицию нанялся, на зверобойной шхуне ходил, в Норильске шахтером работал. Семейей не обзавелся. Холостяком, палегке жил. И вдруг — бац. Извещение. Сюрприз. Мол, найдена ваша дочь. Какая еще у меня дочь? Нет у меня никакой дочери. Ему старинную справку с эвакуопункта. Вспомнил тот факт. Ладно, говорит, если родители не обнаружены, пускай мою фамилию таскает. А я, говорит, с испугу сначала подумал: какая-нибудь гражданка алименты пришить хочет. На всякий случай адресок «дочери» взял и вдруг ни с того ни с сего с первой полочки денежный перевод отослал, вроде просто так. Ну, а потом зачастил, вошло у него в привычку, что ли, или понравилось думать, будто у него дочь есть.

Взял охотничий участок в пятьдесят километров в округе и — на зимовку, промыслом в одиночку занимается.

Собак упряжных и тех поморил, всю подкормку на песцов тратил.

Зато за сезон брал крупно, как никто. И все тысячи этой самой своей дочери отсылал, как все равно тот король

у Шекспира, который все своим дочерям роздал, а себе ничего не оставил.

А дочь что же? Вуз аккуратно окончила. Взяли ее в Новосибирский филиал Академии наук, ученое звание дали. И хотя Флегонт давно объявил, что он вовсе ей не отец, она вот уже сколько лет к нему сюда на зимовку гостить приезжает, все равно как к отцу родному.

А Флегонту и радостно и совестно.

Совестно потому, что будь она его родная дочь, он бы самолично такую складную не воспитал. Пробовал он ее от себя отвадить. Она к нему на зимовку, а он в тундру. Но она его переупрямила. Его нет, а она одна без него на зимовке управляется...

Боцман закурил, помолчал, потом произнес задумчиво:

— Вот, значит, какие фортеля над людьми жизнь выкидывает. Но ничего, справляются... — Вздохнул, и, сутуля тяжелые плечи, побрел на корму, где шла приборка.

Сильный ветер с океана растолкал рыхлые горы тумана, открылась вода с осколками льдин, на льдины садились чайки и отдыхали.

Океанские волны пытались заткнуть горловину реки гигантскими льдинами. Началась пурга. Теплоход пробирался между льдами, освещая себе путь стеклянными столбами света прожекторов. Матросы отталкивали напирающие льдины от бортов теплохода баграми. Пассажиры-полярники привычно и опытно помогали матросам.

А потом мы снова вышли на чистую воду, и безбрежное пространство породило ощущение грусти и одиночества.

Стая чаек вновь парила за кормой, и стоило появиться на корме человеческой фигуре, как птицы дружно планировали на нее, но негодуя бросались в стороны и опять сбивались в стаю, возмущенно взвизгивая. И мне казалось, что птицы ждут появления на корме той женщины, которой уже не было на теплоходе, но облик которой еще оставался в памяти наших крылатых спутников.

ДВЕ ЖИЗНИ

По берегу, искалеченному миновавшим половодьем, бредет человек, склонившись так низко, будто несет на себе безмерную тяжесть.

Всёсенняя промозглая мгла сочится сыростью, все в белых сумерках тумана. Туман пористо изъел снег, грязно усыпанный черной хвоей.

Тайга мокрая, словно дно только что схлынувшего океана. С ветвей капает талый снег.

Человек ступает мягко. Ноги толсто обмотаны овчиной. Полушубок коротко обрезан. Его полы пошли на эту обувку.

Человек смотрит подслеповато. На разбитом лице очки с одним стеклом. Дужки очков стянуты на затылке веревочкой.

Человек шагает размеренной, неторопливой поступью и так вдумчиво переставляет ноги, будто спешить ему некуда. За плечами вещевой мешок. Непомерная тяжесть мешка клонит путника к земле. Лицо обросло редкой, не теплой бородой. Голова закутана полотенцем.

Человек завидует скорости бега реки. Река легко, прытко мчится сквозь тайгу, тундру, болотные топи к океану. Но человеку не по пути с рекой. Он идет на юг, навстречу ее течению. Если река делает большую излучину, он срезает путь и пробирается тайгой, в теснине деревьев, где от лежалого плотного снега студено, как в леднике.

Через строго определенные промежутки пути, повинувшись расчетливому режиму, человек отдыхает. Выбрав место посуше, ложится: тяжелые, в разбухшей овчине ноги кладет повыше, на пружинистые ветви тальника.

Отдыхая, он склоняет голову на руку, ухом к часам, и слушает время с блаженной улыбкой, как музыку. Он пытается доказать самому себе, что сознание послушно ему. И он заставляет себя относиться к боли как к разум-

ным сигналам измученного тела. И, снисходительно внимая этим сигналам, будто сильный уступая слабому, терпеливо ждет, пока эти мучительные сигналы не стихнут. Тогда он приказывает себе встать. Подымается тяжело, медленно, как загнанное животное, и понуждает себя снова идти, вдумываясь в каждый свой шаг.

У него хватает силы воли иронически усмехаться, когда тяжесть рюкзака заносит его в сторону от тропы.

— Сдаёт вестибулярный аппаратик, — думает он вслух и наставительно заключает: — Но человек обязан быть человеком при всех обстоятельствах. Понятно? — строго спрашивает он себя и подтверждает послушно: — Понятно!

В середине дня небо разбухло сырыми тушами туч. Начал падать дряблый влажный снег с дождем. Человек промок, озяб. В овчине ноги скользили.

Чтобы не так сильно страдать от холода, он принудил себя вспоминать неугасимый зной, пылающий над степью, и ветер, как дыхание огня. Иссохшая трава пахнет пылью и медью. В балках, на месте водоемов, лежат в белой солончаковой сыпи растрескавшиеся плиты черного, твердо-го, как камень, ила.

На крыльце конторы совхоза сидят на пыльных своих хвостах две тощие овчарки, раскрыв горячие пасти, вывалив тяжелые языки, часто и шумно дыша. На загнанном коне, в пыльном вихре, прискакал к конторе отец. Выпростав руками ноги из стремян, сполз на землю, скрипя протезами, поднялся на крыльцо. Здесь его ждал уполномоченный — человек с неподвижным, грузным лицом.

— Тебе кто позволил все совхозные трактора на канал бросить?

— Я сам себе позволил, — сказал отец и с веселой злостью объявил: — Желаю, как бог, самолично микроклимат наладить...

— За самоуправство партбилеты кладут!

— Партдокумент что удостоверяет? — сощурясь, осведомился отец. — Что я коммунист? Да? А какой я, к черту, коммунист буду, если вот спалит все засуха!..

Багровое солнце висит неостывающим круглым слитком над жгучей сухой степью. Отец стоит на земляной насыпи строящегося канала. Говорит с обожанием:

— Наловчился народишко за войну противотанковые рвы копать. Вот такой ровик мне на своей «тридцатьчетверке», пожалуй, было не одолеть. А какая машина роскош-

ная — вездеход! — И, лихо съехав на спине с насыпи, пошел, скрипя протезами, по дну канала.

А он остался один на насыпи и смотрел с щемящей завистливой гордостью на статную спину отца в белесо вылинявшей гимнастерке.

В сизых мокрых сумерках, воняющих гнилью и плесенью, исполосованных падающим влажным снегом, стоят черными изваяниями лиственницы. Человек медленно поднимается по склону таежного увала, усыпанного ветхим каменным щебнем. Тугие удары сердца отдаются в висках. Горло стискивает удушье. Он чувствует, как от этого удушья упруго выпучиваются глаза.

Он прочел где-то о том, что в течение человеческой жизни сердечная мышца совершает около четырех миллиардов очень энергичных сокращений.

Сколько таких энергичных сокращений совершило его сердце? Миллиард? Полтора миллиарда, не больше. И он повелевает себе упорно карабкаться по склону увала. Почти ослепнув от горячей тяжести прилившей к голове крови, открытым ртом судорожно глотает воздух, борясь с удушьем, и упрямо ползет к вершине. Он дал себе слово только там отпустить себя на отдых. И он достиг вершины.

Сознание медленно возвращалось к нему. И он медленно увидел с высоты обломанной каменной кручи блистающую внизу огромную реку, покрытую скользкими волнами. Он стоял над этой рекой.

Когда грязная пенистая вода впервые хлынула по пробитому в иссохшей земле руслу канала, отец примчался в таратайке, впопыхах не успев надеть протезы.

Опираясь о землю ладонями, выбрасывая между рук туловище, отец забрался на насыпь, где столпились люди. Отец стоял чурбачком, ростом в полчеловека, но когда люди оборачивались и почтительно и благодарно смотрели на него, казалось, он выше их.

Секретарь обкома подошел к отцу, деловито пожал руку и, наклонившись, что-то сказал. Отец развел широкие размашистые плечи и заявил громко, самоуверенно:

— А я и не сомневался, что всё в срок сделаем. Как партия велит. — Слез с насыпи. Стал в воде, крикнул: — Хороша водица, сладка, как волжская.

Вслед за отцом люди полезли в воду канала, и над жаркой степью в трепетном мареве накаленного воздуха зазвучали радостные голоса.

В тайге так беззвучно, что можно слушать шорох падающей снежной крупы.

На этом, как и на каждом, привале человек методично, неторопливо повторил одно и то же: из стреляного патрона, заткнутого пробкой, вынул спичку, внимательно осмотрел, взял щепотью у самой головки, шаркнул о кусок спичечного коробка, хранимого в другой стреляной гильзе. От горящей спички, укрытой в ладонях, сложенных ковшиком, поджег берестовый лоскут, бережно подложил сухой мох, тонкие ветви и начал тщательно выращивать из маленьких слабых лепестков пламени сильный огонь большого костра. Подвесил армейский котелок с водой и, когда вода согрелась, смотал с ног раскисшую овчину, близоруко наклонившись, осмотрел кровоточащие ступни, снял с костра котелок и осторожно вымыл ноги теплой водой. Лег на спину, подняв ноги над костром, — не то сушил их, не то коптил.

Размяв залубеневшую овчину, аккуратно, бережно и нежно, как величайшие драгоценности, завернул в нее ноги. К этому времени закипела вода в котелке, куда он набросал зеленую хвою. Он долго и упорно пил этот горький навар, и от слабости лицо его мгновенно покрылось крупными увесистыми каплями пота, а глаза пьяно залоснились.

Вынув блокнот, задумался, и только теперь лицо его приняло напряженно-плаксивое выражение. Он старался найти самые короткие, самые точные слова для записи в дневник. Он перебарывал себя, чтобы не писать о самом себе, чтобы удержаться от соблазна трагических слов, чтобы удержаться в границах безличного стиля служебного донесения. Потом он вывалил из вещевого мешка образцы пород; каждый из них был завернут в отдельную бумажку, с описанием места, где образец найден.

Взяв молоток, он стал разбивать камни, выбирая обломки поменьше, снова заворачивал их в бумагу и укладывал обратно в рюкзак. На каждом привале он оставлял кучи таких обломков, чтобы облегчить ношу.

Первые дни он нес в рюкзаке и книги. Во время привала читал, а на следующем привале выдирал прочитанные страницы для растопки костра. И пока с ним были книги, он не испытывал чувства одиночества.

— Книги, они как люди, — наставлял отец. — Чем больше их знаешь, тем крепче себя в жизни чувствуешь. — Задумался, произнес насмешливо: — Получил

на днях бумагу на свое одно предложение. Пишут — не возражаем в пределах разумного. А разве у разума есть пределы?..

Серая мгла окутала все грязной завесой. И только огонь костра мужественно боролся с угрюмой тьмой.

Человек наломал веток, разгреб костер и улегся на нагретую землю. Вспомнил от кого-то услышанное: «Сны видеть утомительно, а значит, не полезно». И уснул с ощущением бесконечного падения в какую-то черную мягкую бездну.

Просочился белый знобящий рассвет. Река дымилась, сгустки тумана висели на черных ветвях лиственниц.

Человек с трудом перевалился на живот, оперся руками, встал на четвереньки, выпрямился. Самое мучительное — взвалить на спину скалистую тяжесть рюкзака.

Спускаться с увала было легче, чем одолевать подъем. Он вынул кусок сахара, положил в рот. Но слюны не было, сахар не таял. Он долго перекавывал его во рту, как камушек, потом разгрыз и проглотил, не ощутив вкуса.

И снова брел по берегу, волоча ноги, словно мешки, набитые железными опилками.

В обнажившемся береговом урезе, в каменной подводной щели, в прозрачной глыбе воды он увидел серые длинные тени рыб.

Сбросив рюкзак, вывалил из него всё, с пустым мешком крадучись вошел в воду, предвкушая сытость от голубого сочного рыбьего мяса. Он гонялся за рыбами, не ощущая леденящего холода воды. Уже живое билось в мешке, когда руки его вдруг наткнулись на выпирающую со дна шероховатую сизую каменистую гребенку в серебристых блестках, обозначившую выход рудного тела. Он жадно, недоверчиво ощупывал эту гребенчатую твердь. Близоруко склонился, словно нюхая ее, касаясь лицом воды. Он пытался отломить кусок от чугунно-твердого пласта, царапал ногтями, ошеломленный, ошалевший от своей находки. Потом бросился на берег, боязливо оглядываясь на каменный гребень, будто тот мог ускользнуть, как рыба. Схватил молоток, кинулся в воду и начал отбивать от слоистой подводной скалы куски. Он бросал эти свинцово-тяжелые куски на берег, провожая каждый испуганным взглядом. Потом, сидя на берегу, с блаженной улыбкой перебирал увесистые обломки, подбрасывал на ладони, наслаждался их металлической тяжестью. О мешке он вспомнил только тогда, когда

решил наконец уложить в него свою драгоценную каменную находку.

Он вытащил мешок из воды, встряхнул, выронил рыбу, не замечая этого, бережно уложил на дно мешка обломки рудной гребенки, сверху — прежние образцы пород, завязал мешок, взвалил на плечи. И только теперь вспомнил о рыбе. И только теперь, придавленный новой тяжестью в мешке, почувствовал, как он болен и слаб от голода, как смертельная стужа мокрой одежды мучительно сжимает сердце.

Он тоскливо поглядел на каменную впадину в береговом урезе. Но во взбаламученной воде больше не увидел легких длинных теней рыб. Поколебался, потом решительно достал из плоской жестянки последние два куска сахара, положил сахар в рот, зачерпнул горстью воду, запил. И, шатаясь под новой тяжестью, упрямо зашагал по изглоданной рекой гальке, с болью ощущая, как эти округлые камни вдавливаются в ступни.

Однажды он сказал отцу о том, что человек состоит примерно из тридцати литров воды, нескольких килограммов соединений углерода и небольшого количества минеральных веществ.

— И больше ничего? — спросил отец.

— Так получается, если разложить.

— Человек по-настоящему состоит из всего того, что он при жизни своей сделал, — сурово сказал отец. И вдруг громко расхохотался.

— Напрасно смеешься, — сказал он обидчиво отцу.

— Не над тобой, — успокоил отец. — Это я одного веселого покойника вспомнил. У него на могиле надпись имелась: «Здесь лежу я. Читаешь ты. Лежал бы ты — читал бы я». — И отец похвалил покойника: — Вот это человек! Самую смерть перенахалил. Крепкий, видать, паренек был.

А если он не дойдет, перестанет жить, будет валяться мягкой емкостью тридцати литров воды, стольких-то там килограммов соединений углерода и граммов минеральных веществ? Что тогда скажут о нем?

Началось все так обыденно, просто.

Плыли по большой сибирской реке два инженера металлургического заполярного комбината. Один постарше, с холодными седыми волосами, другой помоложе, в лыжном костюме. И вдруг катер с ходу налетел на пес-

чаную отмель, которой раньше не было на фарватере. И пока сконфуженный моторист пытался багром столкнуть катер с мели, пожилой инженер подшучивал над мотористом:

— Ты, капитан, газеты не читаешь, вот и соврала твоя лодия. Перекрыли гидростроители речушку очередной плотиной, между прочим величайшей в мире. Вот водичка временно и упала. А ты покрыл себя позором. — Обернувшись к молодому спутнику, старый инженер брюзгливо заметил: — Надо полагать, в связи с этим обстоятельством береговые урезы обнажат выходы коренных пород, сокрытые до сего от глаз. Но наши геологические лопухи, пока дождутся соответствующих указаний сверху, упустят момент безвозвратно.

Этот пожилой инженер слыл острословом, сочинителем скептических афоризмов, например: «На Севере человеку нужен не столько ум, сколько хорошее здоровье», «Гнус полезен, ибо от его укусов человек испытывает прилив энергии», «Молодость хороша тем, что она служит оправданием совершенных ошибок», «Мечта полярника: пищеблок, торговая точка, санузел».

Глядя на опавшую воду реки, инженер философствовал:

— Жизнь, батенька, зародилась уже три миллиарда лет назад, в зловонном теплом океане, залившем всю тогда юную Землю, и одноклеточные этакие бактерии стали обладателями чувства раздражимости. Оно и стало сущностью дальнейшего развития...

— Ну хватит вам.

— Ого, — радостно воскликнул пожилой инженер, — значит, оно и вам не чуждо?

Катер снялся с мели.

Молодой инженер попросил моториста:

— Пожалуйста, причальте к берегу.

— Что, кишечник? — осведомился пожилой инженер.

Молодой инженер молча укладывал в рюкзак консервы, концентраты в целлофановой обертке, походное снаряжение.

— Валерий Захарович, — сказал молодой инженер. — Вы знаете, у меня все равно отпуск. Так я сойду здесь.

Катер заскрежетал днищем о береговую отмель.

— Это же глупо, — сказал пожилой инженер. — Современная геология чужда кладоискательских методов. И в конце концов не воображайте о себе много. Вы что, умнее государственных учреждений, которые планируют ком-

плексно все мероприятия, связанные с такими событиями, как перекрытие величайшей реки?

— Но вы же сами говорили...

— В порядке трепя,— парировал пожилой инженер.— Умственная гимнастика. И ничего больше.

— Я понимаю, вы шутник,— согласился молодой инженер.— Ну, а вдруг правда упустят момент? А я пройду и, что смогу, засеку на маршрутке. Ну, как турист, что ли...

— Через два дня вы приплететесь обратно, голодный, холодный и гриппозный.

— Возможно.

— Я еще раз решительно предупреждаю...

Моторист снял с себя полушубок, пропитанный солярой, и, подав молодому инженеру, сказал одобрительно:

— Это ты правильно решил, хоть и рискованно...

Молодой инженер надел полушубок моториста, закинул за плечи туго набитый рюкзак, попрыгал, чтобы рюкзак поудобней лег на спине, и пошел вверх по берегу, бодро стуча туристскими, с двойными подошвами, ботинками о галечную россыпь.

Скоро он перестал слышать звук мотора катера.

С каждым дневным переходом рюкзак его тяжелел образцами выходов коренных пород. И с каждым дневным переходом он убеждался в том, что взялся за непосильное.

Не раз, находя на берегу выброшенные течением бревна, он боролся с желанием сплотить их в салик, чтобы вернуться на нем в портовый затон, откуда шла железнодорожная ветка на комбинат. Но он мужественно перешагивал через эти бревна и шел дальше, навстречу течению реки.

Он шел в трупцах таежного бурелома. Черными расквашенными болотами, где на выпученных кочках кустились чахлые стволы берез, сверкая глянцевиной белизной стволов.

Часто он засыпал стоя, опершись рюкзаком о ствол дерева, не решался лечь на землю, не надеясь на то, что хватит сил потом подняться. Лицо его ссохлось, щеки запали, нижние веки отвисли. Видел он все как в кровавом тумане. Чтобы перебороть боль голода, часто пил воду, и в животе булькало. Но когда он уличил себя в том, что ползет на четвереньках, вознегодовал. Ударил себя кулаком по лицу, заставил подняться. Несколько раз он пытался узнать время, подолгу смотрел на циферблат, но так и не мог сообразить, который час.

А вот отец, когда умирал от разорванного инфарктом сердца, пытался шутить слабым шепотом, чтобы своим бесстрашием внушить бодрость сыну.

— Мне бы протезик пластмассовый с двумя поршнями,— шепотом бормотал отец, скашивая на грудь прозрачные глаза.— Но, видать, торговая сеть у нас слабая, не держит такого товара.— Потом он произнес с внезапной твердостью: — Ну ступай. И не помни меня такого. Ты меня другим помни, когда я за канал дрался. Таким...

Отец лежал маленький, короткий, с запавшими висками. А потом положили его в огромный красный гроб и повезли на мощном гусеничном тракторе. Казалось, хоронят великана. И люди говорили о нем как о великане, который будто бы сам построил в стены канал и облицовал бетонными плитами.

А сын этого «великана» плелся сейчас согбенно по берегу реки, и скалистая тяжесть рюкзака, наполненного обломками, давила его к земле.

И когда его нагнал катер, и когда с катера на берег сошли люди, он видел катер, видел людей, сошедших на берег, но не остановился, а продолжал упорно брести вперед. Движением он поддерживал себя, а если б остановился, то упал.

Он не смог улыбнуться людям, его исхудалое лицо как бы присохло к костям черепа. Спросил, который час. Ему сказали.

— А у меня? — и протянул тощую руку, на которой свободно болтался ремешок с часами.

— Столько же.

— Значит, все правильно. Значит, я не забыл, заводил часы, и они тоже шли. — И он поднес к уху руку с часами и стал слушать время. Лицо его приняло сонное счастливое выражение.

Его внесли на катер и положили в каюте на койку моториста.

Катер прытко мчался вниз по течению, с шуршанием вспарывая воду. Скомканные белые облака плыли в небе. Черные жилистые лиственницы стояли на вершинах утесов со скалисто сломанными серыми стенами, обнажавшими плиты древних земных пород. Река лилась огромная, сильная, сумрачного цвета.

А в каюте катера, скорчившись, спал изможденный человек, жадно прижав к животу рюкзак, набитый тяжелыми каменными холодными обломками.

И снилась ему горячая, пыльная сухая степь, и он бесконечно идет по тусклой, горячей, терпко пахнущей полыни с удочкой на плече. И вдруг навстречу отец на коне:

— Куда?

— Рыбачить.

— Где?

— А на канале.

— Так его нет.

— А ты сказал — будет!

Отец склонился с седла, поднял, посадил на коня. И они скачут по степи в вихре пыли. А канала все нет и нет, и только бурая знойная степь, ее сухая горячая пустыня. Дыханием огня жжет ветер этой пустыни. А они все скачут и скачут туда, где кончается земля и начинается небо — прохладное и чистое, как речная вода...

Моторист сидит у штурвала и, не моргая, как птица в полете, смотрит на речное пространство. Не оборачиваясь, он пронзносит:

— А биография у моего полушубка теперь подходящая, музейная вещь. Я так полагаю...

Пятнистая луна взошла на небо.

Река блистала.

1964

О ХЛЕБЕ

В Будапеште в Доме культуры машиностроительного завода «Ганс Мавек» проходил литературный вечер советских и венгерских писателей.

Вечер спланирован из двух отделений: в первом выступления писателей, во втором — читателей.

Когда председатель, предоставляя слово, называл имя советского или венгерского писателя, по одобрителюму оживлению в зале можно было заключить, что произведения этих писателей здесь известны, и это радовало советских литераторов: ведь нет большей радости, чем радость встречи за рубежом с людьми, которые знают твои книги.

Поэты читали стихи, прозаики — отрывки из своих сочинений... Словом, первое отделение прошло хорошо, или, как принято говорить, в теплой и дружеской атмосфере.

Что же касается второго отделения, то тут надо прямо сказать: социалистическая мировая система породила широко распространенный тип активных читателей, столь солидарных в своих требованиях к литературе, что писателям социалистического мира для отражения таких атак необходима силоченность. К тому же читателей на земле больше, чем писателей, все писатели более или менее разные, а требования, которые к ним предъявляют и в Москве, и в других столицах социалистических стран, в сущности, одни и те же. И никуда от этих требований не денешься, не уедешь.

Хотя рабочие завода вежливо упрекали только своих венгерских писателей в том, что еще мало написано книг, где был бы запечатлен замечательный образ современного героя, мы, советские литераторы, в полную меру у себя дома были внушительно наслышаны об этом же на русском языке и в данный момент искренне пережи-

вали то же, что испытывали наши венгерские братья по перу.

Конечно, мы, литераторы, ответственны за состояние дела познания духовного мира человека. Но человеческая душа — это вам не космос, даже самая совершенная ракетная техника для проникновения в нее бессильна.

И тут на помощь писателям пришел председатель нашего литературного вечера, он встал и сказал с добродушным коварством:

— Мы здесь собрались люди одного коллектива, мы много лет проработали вместе. Хорошо знаем друг друга. Но кого из находящихся здесь мы назвали б героем, которому следует во всем подражать, и кого, следуя нашей рекомендации, писатель мог бы избрать героем произведения? Ну, пожалуйста, называйте!

Выждав, когда утихло веселое смятение в зале, председатель объявил поучительно:

— Вот видите, как непросто. А писателю еще труднее. Он один выбирает и один берет на себя всю ответственность, так сказать, перед всем человечеством за своего избранника, а мы колеблемся ему посоветовать...

И случилось так, что этот лукавый вызов как бы вдруг придвинул аудиторию к сцене, где сидели писатели, и вечер принял характер обоюдной беседы, которая бывает только в добром доме, где хозяевами становятся все присутствующие...

Говорили много и, пожалуй, обо всем на свете: говорили о том, что литература служит тончайшим передатчиком опыта одного народа другому, о том, как важно сейчас, в новую, счастливую пору строительства нового мира на земле, взаимно обогащать души наших народов. Говорили о том, что искусство должно приносить наслаждение человеку.

И уже луна вскарабкалась над холмами Буды, и на равнине Пешта гасли огни, и все тише становился шум улицы за окнами Дома культуры. Было далеко за полночь. А советским литераторам предстояло на рассвете в ракетном туловище ТУ покинуть Венгрию.

Движимые заботой о нашем отдыхе перед полетом, друзья уже неоднократно прощались с нами, но снова вспыхивал огонек вопроса и снова разгорался костер беседы, и никто не хотел покинуть его первым.

Я замешкался и отстал от своих товарищей. Они уехали,

не дождавшись меня. Собрался идти до гостиницы один, но меня вызвался проводить рабочий завода.

Я заметил этого человека уже давно по тому напряженному вниманию, с каким слушал он наши выступления. По выражению его лица я понял, что он знает русский язык, ибо тогда, когда начинал говорить переводчик, лицо его как бы отдыхало.

Я люблю Будапешт. Этот гордый, красивый город удивительно гармонично вписался в окружающую его природу. Он благоухает цветниками нагорной Буды, сверкает текучим лезвием Дуная, мосты его подобны грациозным аркам, а на горе Геллерта, отовсюду видимой, будто воздушно реет изваяние в память погибших советских воинов-героев. И ко мне приходило далекое время, когда на высотах Буды шли тяжелые бои, и сердце мое жгли слова, не написанные о тех днях. И так же жгучи были мысли о сегодняшнем вечере в Доме культуры завода, как неотразимы и справедливы были ожидания людей, которым книги должны раскрыть сверкающую правду о новом человеке нового мира на земле. Мира, добытого безмерным подвигом всего народа.

Мы шли по смолкшим улицам Будапешта, и огни Буды были как созвездие в темном небе.

Я спросил своего спутника:

— Где вы изучили русский язык?

Он сказал смущенно:

— О, я не знаю хорошо. Знает хорошо мой отец. Научил меня совсем немного.

— А ваш отец?

— Он был военнопленным в первую мировую войну. На Урале рубил лес и возил. Он столяр. Но это ничего — раз пленный солдат, надо работать. В тысяча девятьсот семнадцатом году стал большевиком, организовал отряд Красной гвардии, воевал. Уехал в Москву, в школу красных офицеров. Потом был в охране Ленина. Отец до сих пор сильно мучается оттого, что его не было рядом с Лениным на заводе Михельсона. Он бы тогда закрыл Ленина собой, как полагалось это в минуты опасности делать тем людям, кому было поручено охранять Ленина. Но Ленин уехал без охраны. И когда Ленина ранили, отцу приказали охранять дом, где лежал Ленин. Но когда приходила смена, отец оставался еще и снова охранял Ленина. Когда Ленин выздоровел, отец находился в охране. И товарищ Ленин сказал отцу:

— Это нехорошо так много не спать.

Но отец сказал, что он не понимает по-русски, хотя он уже неплохо понимал по-русски. Отец у меня хитрый, упрямый мадьяр.

Ленин стал посылать отца курьером. И когда однажды послал в Петроград, вместе с пакетом Ленин дал ему завернутый в газету свой хлебный паек. Ленин сказал:

— Возьмите хлеб с собой, в Петрограде голод, и надо там кушать свой хлеб из Москвы.

Отец очень не хотел брать хлеб Ленина. Но Ленин сказал, что это приказ, и тогда отец взял хлеб.

В Петрограде, куда отец отвез пакет, он показывал людям хлебный паек Ленина. И потом, когда вернулся в Москву, показывал товарищам хлеб Ленина. И когда потом Ленин в тысяча девятьсот девятнадцатом году послал отца в Венгрию, где началась революция, отец повез этот хлеб Ленина в Венгрию, чтобы показать его венграм. Это было очень важно для революции.

Но наша революция потерпела поражение, и отец уехал в Россию. Он вернулся, когда уже умер Ленин. Люди ходили к отцу, чтобы слушать о том, как он встречался с Лениным. И отец рассказывал о Ленине. О том Ленине, какого знают все коммунисты.

Мы шли вдоль набережной Дуная, и белая испарина реки клубилась длинными сизыми облаками. Город погас. Казалось, это остановилось само время. Мой спутник произнес застенчиво:

— Теперь, когда вы знаете о моем отце, вы спросите, кто же его сын.

Началась вторая мировая война, мне было девятнадцать лет, и я убежал в Чехословакию, чтобы драться вместе с чехами против немцев. У меня не было иного выхода, потому что буржуазная Венгрия стала на сторону немцев.

Потом, когда немцы пошли на Чехословакию, я с группой военных курсантов и моим другом Ковачем пробрался в расположение немцев и заложил взрывчатку под их бункер. Была ночь, шел дождь. Мы по неопытности решили, что бикфордов шнур, который мы зажгли, погас от дождя. Я полез с Ковачем проверить, горит ли шнур, — и в это время бункер взорвался. Меня тяжело ранило. Слеп на один глаз. Два месяца пролежал в госпитале. Чехословакию захватили фашисты. Я вернулся на родину. Но власти узнали, что я служил в Чехословацкой армии, меня называли политически негодным и не давали работу. Потом взяли в гестапо. Пытали три с половиной месяца. Но

я человек и выдержал все. Потом нас, пятьдесят два заключенных, отвезли на берег Дуная и стали расстреливать. Я прыгнул в воду и долго был под водой... Убежал, партизанил в Словакии.

Потом стало все хорошо, пришла Советская Армия. Я поступил слесарем на наш завод. Но ранение меня мучило. Профсоюз посылал лечиться. Я много лечился. И мне стало лучше. Но только я не смог больше работать слесарем. Мне помогли стать ревизором технического контроля. И все теперь совсем хорошо. У меня хорошая жена, хороший сын, хорошая квартира, и мы живем хорошо.

Только мой отец говорит моему сыну, что это еще не самая хорошая жизнь, а самая хорошая будет при коммунизме. Старик говорит правду.

Он живет в Дебрецене. Там его все знают. Спросите — где живет Янош Гайду? И вас любой проведет. А мое имя — Золтан Гайду. Извините! Я вам не представился...

Слабый рассвет простирал свои прозрачные полотнища над долиной Пешта. Дунай, впитывая цвета неба, стал голубым, и на воды его легли зыбкие отражения зданий. Город просыпался. Мы стояли уже у входа в гостиницу.

— Спасибо вам, товарищ Золтан Гайду.

— Извините меня за длинный разговор, — сказал Золтан Гайду. — Моему отцу будет приятно, когда я ему расскажу, что долго гулял с русским товарищем. У отца много советских книг про гражданскую войну. Но он хочет знать, какая Советская страна сегодня, когда все стало так, как хотел Ленин. И я ищу для него эти книги. И на литературный вечер пошел для того, чтобы узнать про такие книги. Ну, до свидания... Счастья вам в пути!

Я заколебался...

— Послушайте, одну минутку, — остановил я Гайду, спросил его: — А что стало потом с тем хлебом, который дал вашему отцу Ленин?

Золтан Гайду потупился, потом произнес с извиняющейся улыбкой:

— Когда отец уезжал из России, ему в мешок, где лежал хлеб Ленина, русские солдаты насыпали свои сухари: чтобы отцу было что кушать в дороге. Куски были такими же сухими, маленькими, каким стал хлеб Ленина. Но это ничего, венгры видели этот черный сухой хлеб, который ел ваш народ и ел Ленин. А какой хлеб был Ленина и какой солдатский — отец отличить уже не мог.

И пожалуй, это было особенно важно понять и венграм, что нет различия в хлебе народа и хлебе Ленина. Это был хлеб русской революции. Тяжелый, трудный хлеб. И пусть все люди на земле помнят об этом хлебе сегодня.

— Да, пусть помнят.

Я пожал руку Золтану Гайду и долго смотрел ему вслед... Высокому, статному, широкоплечему, с чуть шатающейся походкой оттого, что один глаз его был поражен ранением.

Сколько хороших людей живет на свете, и как внезапно бывают встречи с ними, и жаль, когда расстаешься так неутоленно, поспешно...

ЖАРКИЙ ИЮньСКИЙ ДЕНЬ

Таня стояла в кузове мчавшегося грузовика, широко, как моряк, расставив ноги. Горячая крыша кабины обжигала руки. Ветер давил плечи, отгибал голову. Выпавшие из-под косынки волосы секли лоб, щеки. Будто в широкоэкрашном кино, необъятно, стремительно степь распахи-валась перед Таней, головокружительно вращаясь всей безмерностью своего пространства, чтобы Таня могла рас-смотреть ее со всех сторон.

Проселочная дорога, опухшая серой пылью, судорожно вихляла.

Дощатый пол грузовика, как палуба корабля, то уходил вниз, то трамплином подбрасывал вверх.

Мгновениями, при самых сильных толчках, Тане каза-лось, что она невесомо повисает в воздухе и достаточно в эти мгновения отнять от крыши кабины руки, как ее, невесомую, в упругом воздушном потоке легко вынесет из грузовика и мягко опустит в пружинную густоту хле-бов, выстроившихся желтой отвесной стеной по краям дороги.

Бледная медь пшеницы, зеленые остроконечные скалы пирамидальных тополей, степенные округлые курганы, строгие, сухощавые домики с цветниками в палисадни-ках — все это, залитое сверкающим воздухом, вызывало у Тани умиление. Даже бурая густая пыль, вздымаемая грузовиком, выглядела симпатичной. Курчавым, живым, теплым облаком пыль мчалась вслед за машиной, будто какое-то огромное дружелюбное взлохмаченное суще-ство.

Когда Таня глядела только в небо, в томящую снежную бездну его, все замирало в ней от неистовой нежности ко всему на свете.

Степь сухая, жаркая. Стекло-волокнистые нити зноя трепещут в воздухе. Равнина желтых хлебов беспре-

дельна, безлюдна, как гигантская пустыня. Она даже страшна своей бесконечностью, сухим жаром, как пустыня Сахара. Можно идти, идти много-много дней и не встретить здесь человека и даже, обессилев от усталости, можно запутаться в этих хлебных джунглях...

Как это интересно! Захочешь — можешь ужасаться! Или вообразишь, что ты прибыла в спутнике на какую-то планету и едешь по ней на атомном вездеходе в разведку, в неизвестное...

Грузовик внезапно остановился. Шофер Аркаша объявил:

— Женщинам — налево, мужчинам — направо!

Полезащитная лесная полоса, прохладная, тенистая, пересекала степь. Таня собрала букет колокольчиков и, когда садилась обратно в машину, подала Аркаше. Аркаша смутился:

— Ну вот еще, очень надо.

— Бери, бери! — потребовала Таня и объяснила: — Это тебе за то, что ты такой вежливый.

Аркаша худенький, малорослый, лилово-сизый от загара. На нем матросская полосатая грязная тельняшка, длинные, чуть не до колен, трусы и сапоги с широкими кирзовыми голенищами. Голова обвязана красной косынкой. На открытой груди черные потные волосы. Голые руки — тонкие, как у девчонки, только кисти рук мужские, широкие, с узластыми сильными пальцами. Он некрасивый, Аркаша. И только большие навывкате коричневые глаза с женскими ресницами печально нежны, когда он, сидя за рулем, поет грустные песни.

Аркаша растерянно, неловко держал букет. Глаза жалобно, влажно блеснули. Но вдруг тощее лицо его приняло жесткое, недоверчивое выражение. Он спросил грубым голосом:

— Тебе что, хочется в кабине сидеть?

Поставив на подножку ногу, он обмел букетом сапог, произнес, не оборачиваясь:

— Так бы прямо и сказала. — Обметая другой сапог, заявил презрительно: — Эх ты, человек с подходцем!

Войдя в кабину, он с силой захлопнул дверцу, высулся, крикнул:

— Эй, девчата, по коням!

Таня снова стояла в кузове грузовика, широко расставив ноги, опираясь ладонями о горячую крышу кабины. И хотя степь была все такой же яркой и новой, как прежде, и так же, как и раньше, светносно сверкало небо, к Тане

больше не возвращалось сладостное воздушное ощущение невесомости, восторженное праздничное умиление собой, нежное, упоительное осязание счастья.

Крыша кабины нестерпимо жгла руки. При толчках Таня больно шлепалась животом о выпуклую стену. Сухая, едкая пыль запорашивала лицо. И от этой всепроникающей пыли зудело тело, шершаво, противно, и хотелось только одного: скорее доехать, помыться, надеть чистое и отдохнуть.

Ведь только сегодня ее бригада закончила изоляцию дюкера для перехода через реку Тьму.

В душевой, за камышовым заборчиком, девушки с облегчением сбрасывали заскорузлые от битума, тяжелые, горячие, потные спсцовки и отмывали под струями воды самодельную мазь из вазелина с зубным порошком, которой они густо покрывали лицо, защищаясь от палящего солнца.

Чистенькие, свежие, в легких платьях, они пришли в столовую, и туда же ввалился горячий, пыльный, кисло пахнувший бензином Аркаша. Застенчиво моргая воспаленными солнцем и пылью глазами, он сказал сипло, обращаясь ко всем сразу:

— Я, товарищи девчата, с донского перехода. Выручайте, пожалуйста. До срока трубу сварили. Хотим протащить дюкер в воскресенье. А он еще без изоляции...

Вспомнив, что он в трусах, Аркаша застыдился, придвинулся вплотную к столу.

— А ты кто?

Аркаша, прикоснувшись рукой ко лбу, куда он сдвинул тусклые от пыли защитные очки, простодушно объяснил:

— Видите: шофер.

— А мы думали, начальник. Что ж ты никого из начальников не привез нас просить? Мы ведь только начальства слушаемся.

— Руководство не может вам велеть. По графику вы на нашем переходе в среду. Мы вас по-комсомольски просим. От лица молодежи нашего участка.

Алевтина Казакова, пристально глядя в лицо Аркаши, спросила насмешливо:

— А ты там у вас самый наипредставительный?

Белокурая, голубоглазая, красивая, уверенно убежденная в своей красоте, Алевтина победоносно улыбалась. Воспаленная, вздутая полоса вдоль щеки, след от недавнего ожога битумом, еще сильнее подчеркивала нежную припухлость ее капризно изогнутых губ. Повернувшись на

табуретке, озорно вытянув белую до голубизны ногу, приподняв краешек платья, показывая на пузырьки ожога, она спросила певуче, играя своим сильным голосом:

— Что ж, я такая пятнистая, жареная к вам и поеду? Может, мне нужно в скорой помощи ехать, а ты за мной на грузовике прикатил.

Щупленький Аркаша с тощим, костлявым лицом, окрыленным широкими тонкими ушами, выглядел по сравнению с Алевтиной жалким, смешным. Но он не потерял самообладания, этот маленький шофер, весь прожженный солнцем. Глядя с презрением и ненавистью на бледно-голубую ногу Алевтины, он сказал мстительно, сквозь зубы:

— Если бы моя сестра так показала свою ляжку мужчине, я бы ее никогда больше не назвал своей сестрой!

Лицо Алевтины стало некрасиво багровым, она испуганно подогнула под табуретку ноги, вся сжалась, и на глазах появились слезы.

— Я извиняюсь, — сипло произнес Аркаша, — но я так думаю.

И уже не было ничего смешного в его голых шершавых коленках, торчащих из кирзовых голенищ, и в большом кармане, нашитом сзади на трусы, из которого свисала пакля.

Поняв по наступившей тишине, что он вышел победителем, Аркаша с мужской снисходительной улыбкой сказал:

— Так вы, девчата, промитингуйте меж собой, а я покурю на ступеньках.

И он вышел, бережно закрыв за собой дощатую дверь.

Таня вскочила и произнесла срывающимся голосом:

— Девушки, я считаю, что Алевтина...

Но Алевтина не дала ей договорить. Пылающая, багровая, она стукнула полной белой рукой по столу и, не обращая внимания на то, что сидро из упавшей бутылки льется на платье, заговорила неожиданно спокойно и насмешливо:

— Я-то поеду на новый переход, сегодня же поеду, и девчата поедут. А вот ты со своей путебочкой на курсы радиографисток сегодня в другую сторону укаатишь. Так что не тебе меня поучать поведению. — Наклонясь, она спросила: — Ведь не откажешься от путебочки, не бросишь и с нами на новый переход не поедешь, так нечего и хорохориться!..

Таня ощутила на себе испытующие взгляды. Она с ужасом поняла, что сейчас сделает что-то непоправимое, разрушительное, чего нельзя делать, но остановиться уже не могла. Было что-то сильнее ее самой, чему она не могла, не хотела противиться ради мгновенного торжества сейчас над Алевтиной. Таня медленно взяла сумочку, вытряхнула содержимое на стол и, скомкав гладко сложенную путевку на курсы, стала рвать ее со сладострастным усердием. Таня нашла в себе силы как можно равнодушнее спросить Алевтину, глядящую на нее с укором и состраданием:

— Надеюсь, теперь все ясно и вопросов не будет?

Она смела клочки со стола на пол небрежным движением руки.

Когда Аркаша снова вошел в столовую, он застал следующую сцену. Девушки, суетясь, разглаживали холодным утюгом смятые клочки путевки, бережно наклеивая их мозаикой на чистый лист бумаги. Алевтина и Таня рыдали. А Клаша Заболотная, держа в руке вынутый из холодильника брусок льда, растерянно уговаривала:

— Ну, дайте я вам льду на сердце положу. Нельзя же так расстраивать и себя и людей!

...На трассе строительства магистрального газопровода все работы по зачистке и изоляции труб производят специальные машины. Огромными хомутами они обнимают трубопровод. На верху этих хомутов, на железных сиденьях, под брезентовым тентом восседают машинисты, положив руки на рычаг, и с властной бессуетностью управляют этими великолепными самодвижущимися агрегатами.

Хотя эти механизмы-полуавтоматы появились совсем недавно, машинисты их с таким самодовольным высокомерием безмятежно восседают за рычагами, будто они сами никогда не были разнорабочими и не они прокладывали всего несколько лет назад первую в стране газовую магистраль, чуть ли не кирпичами защищали трубы и так же вручную покрывали их изоляцией.

У строителей магистрального газопровода существует много специальностей и своя внутренняя терминология.

Бульдозеристы и экскаваторщики — это «землерои». Радиографы — «светилы»; «линейщики» — монтажники, сварщики поворотных полуавтоматов, а также машинисты механизмов и агрегатов, работающих на трассе. И хотя на специализированном участке подводно-технических работ действуют сварщики-потолочники, машинисты, трубоукладчики, трактористы и еще множество людей явно сухо-

путных почтенных профессий, они предпочитают, чтобы их всех именовали одинаково: «подводники».

Конечно, водолазы, важные и ответственные персоны, от которых зависит очень многое при сооружении водных переходов, могли бы возразить против такого широкого применения слова «подводник». Но водолазы не возражали. Почему?

Да потому, что нет более сложных, ответственных работ, чем сооружение подводных дюкеров, где все зависит от каждого. И нет ничего более волнующего, чем протаскивание готового дюкера через водный рубеж.

Не случайно же отпуски требуют, чтобы им за их счет телеграфом подробно сообщали, как все прошло. А самые азартные, прервав отпуск, приезжают на протаскивание, будучи не в силах в отдалении, в одиночестве, пережить исторический момент. Итак, с полным уважением, следуя не столько ведомственной классификации, сколько самой сути труда, мы называем всех товарищей, работающих на сооружениях водных переходов, так, как они любят себя называть и вполне достойны этого наименования, — подводниками.

Только на подводных переходах, где нужна особо надежная, усиленная, медицински тщательная изоляция дюкера, применяется еще ручной труд.

.

Бригада изолировщиков состояла всего из пяти девушек. Представители более могущественной части человечества со стыдливым упорством избегали этой отживающей профессии, обреченной на вымирание благодаря наличию в ней немеханизированного труда.

Когда дюкер сварен и бригада изолировщиц прибывает на водный переход, механики, машинисты, монтажники, водолазы встречают их заботливо и застенчиво. Чувство неловкости оттого, что девушкам предстоит совершить нелегкий немеханизированный труд, не покидает подводников.

Квадратный котел для варки битума, стоящий на полозьях из металлических балок, с вечера растапливают старыми автомобильными покрышками. Черный, едкий, жирный дым туго ползет из короткой трубы, и, если ветер слабый, дым рыхлой кучей валится на землю.

В железном корыте волокуши сложены обернутые в бумагу смолистые плитки. Нужно оборвать прилипшую бумагу. Но она так плотно пристает к слиткам! Приходится потом еще вычерпывать ее из котла проволочным сачком.

Расплавленный битум достигает температуры двухсот градусов. Брызги его огненно-жгучи. Девушки, несмотря на жару, в брезентовых тяжелых спецовках, в таких же рукавицах. Они плотно обвязывают голову и лицо платками, только для глаз оставляют щелки. На тех, кто работает с подветренной стороны, большие защитные очки.

Стальная труба дюкера приподнята на стреле трубоукладчика. На трубу обычно становится в резиновых цепких тапочках Алевтина. Озорная на язык, в работе она отличается точной, несуетливой продуманностью каждого движения. Плавным движением руки она перехватывает поданное ей ведро с расплавленным битумом и ровной глянцевиной плоской струей льет его на трубу.

Стоящие на земле по обе стороны трубы две девушки держат концы брезентового полотнища. И как только струя битума начинает течь по бокам трубы, сползая к днищу, девушки дергают полотнище каждая к себе снизу вверх, втирая битум в нижнюю часть трубы. Две другие носят ведра битума из котла, который тракторист волочит вдоль трубы по мере того, как она покрывается асфальтовой толщей битума. Каждый слой бинтуют гидроизоляцией, потом снова обливают битумом и уже по завершении изоляции бинтуют бумагой, чтобы от солнечного жара битум с верхней части трубы, расплавившись, не стекал вниз. Стоять на скользкой от смолистой жидкости трубе с ведром расплавленного битума — для этого нужно искусство канатоходца. Но ни Алевтина, ни девушки, которые ее сменяют, вовсе не считают это искусством.

...Люся Кошкарева говорит пренебрежительно:

— Мы, девчата, вроде маляров. Если нас даже вечером понохать, дегтем разит в окружности на пять метров. И никаким маникюром не скроешь, что под ногтями смола. Бензином моешь, а от него кожа шелушится и лак слезает. А говорят, женские руки должны красоту иметь, все равно как лицо. А оно здесь от жара сушится.

Алевтина сердито заметила:

— То-то ты платком так укуталась, боишься красоту повредить, чуть брызнет — шарахаешься.

— Тебе, Аля, с такой внешностью опасаться повреждений нечего, — миролюбиво произносит Кошкарева. — Твоя красота как архитектурное излишество.

Казакова пожала обнаженными полными плечами и сказала с внезапной ненавистью:

— Я бы эту свою красоту убила б, вот что!..

Перехватив ведро с битумом, склонившись, она стала лить мастерскую плоскую струю на поверхность трубы.

Сердце Алевтины замирало от горечи и отчаяния. Пройдет еще два-три месяца, и она вынуждена будет уйти со стройки. А когда спросят, кто отец ее ребенка, она скажет: «Я отец. Понятно? И отстаньте вы все от меня, отстаньте!..» И было ужасно мучительно не от стыда, черт с ним, со стыдом, а оттого, что ее маленький будущий человек когда-нибудь вдруг упрекнет мать за то, что она была не очень хорошим человеком, когда все люди вокруг нее были такими хорошими.

«Отчего, отчего же я такая плохая,— с отчаянием думала Алевтина,— самая разнесчастливая!..» Но по тому, с какой стойкой, небрежной уверенностью она сейчас работала на дюкере, никто бы не подумал, что эта девушка переживает самое тяжелое, что может пасть на долю одинокой женщины...

НА ОГОНЕК

Многоствольная громада тайги, где свободно льются в океан могущественные реки, где гниют в первобытной дикости непроходимые топи, — теперь богатейший нефтегазоносный район страны.

И сюда проложены воздушные трассы. Ползут вездеходные тягачи с оборудованием. И воды рек сопят под тяжестью судов и самоходных барж.

Множество механизированных строительных колонн тянут трубопроводы, укладывают дороги или, как вот эта мехколонна № 171, ставят на бесконечной просеке железобетонные мачты высоковольтной линии, чтобы залить светом новые города, которых еще тут нет, но которые будут.

На дне лесного ущелья просеки, где стоят уже смонтированные грациозные мачты, горит костер.

Костер горит кучно, послушно, словно под руководством опытного скитальца-охотника.

Но вокруг только одни девчата из мехколонны.

Они терпеливо ждут, пока вскипит чайник, подвешенный на железном арматурном прутке.

И хотя в каждом вагончике стоит газовая плитка, девчата предпочитают по вечерам костер, шутливо прозвав такие сборы «наш таежный огонек».

Пунцово-лиловое пламя ворочается в сучьях, освещая только крохотный островок, за которым непроглядная, слипшаяся мраком таежная чаща.

Девушки лежат возле костра, расстелив на земле стеганные чехлы от капотов ЗИЛов, и завороченно смотрят в огонь.

Вероника Кубарова лежит, опираясь подбородком о сложенные накрест руки. Платье на ней задралось, и статные ноги ее парафиново белеют в темноте. Ворох светло-желтых волос спадает на лицо, одаренное столь правильными

чертами, что владелицу его нельзя не считать самой обычной красавицей.

Она ленива, добродушна, привыкла к тому, чтобы люди почтительно восхищались ее внешностью. В свое время окончила техникум коммунального хозяйства. Работала механиком в прачечной. Ушла, объяснила: «Надоело твердить парням, что я не прачка у корыта. Там все механизировано, как на заводе».

Рядом с ней в лягушиной позе сидит тоненькая белесая Люба Любимова. Отец у нее — партийный работник. Из старых комсомольцев.

Есть две категории родителей. Одни считают долгом постоянно напоминать своим детям, что те не испытывают трудностей, которые испытали их родители в детстве. Другие, напротив, испытав в детстве все лишения и беды, теперь стараются делать все, чтобы их дети получили сполна и даже с излишком то, чего они сами были лишены.

Отец Любы принадлежит к родителям первой категории. Поэтому Люба через неделю после выпускного вечера в школе отважилась завербоваться на стройку и уехала, оставив отцу письмо, полное бодрости и энтузиазма.

Ольга Бескудинова, худенькая, темноглазая, — ветеран мехколонны. И давно уже могла стать бригадиром, если бы не бесшабашная развязность, с которой она держится с рабочими, и не та беспечная легкость, которая не однажды становилась предметом обсуждения на бюро комсомольской организации.

И даже сейчас, сидя у костра, Ольга озабоченно осматривает свое лицо в круглом маленьком зеркальце и, лизнув палец, приглаживает им и без того ровно, в ниточку, выщипанные брови.

Нюша Пеклевапова, широкоплечая, губастая, умело подкладывая сучья в костер, жмурясь от жаркого, близкого пламени, говорит озабоченно:

— У нас тут культурно-массовая работа не на высоте. Что получается? Каждый подвыходной все механики, машинисты, шоферы — на охоту, на рыбалку. Никакими мероприятиями их не удержишь. И остаемся мы, девчата, одни, неприкаянные. — Сдунула искру с руки, пояснила сердито: — Так можно до полного коммунизма в старых девах просидеть!

Вероника насмешливо осведомилась:

— А ты что, приехала замуж тут выйти?

— А я не отказываюсь, — кротко согласилась Пеклева-

нова. — Если коллектив хороший, дружный, в нем люди всегда счастье по этой линии найдут.

Подняв голову и глядя ввысь, где над костром роились, как розовые мотыльки, искры, произнесла мечтательно:

— Вот на целине когда я работала, товарищ Шмелев — директор, большой начальник, а соображал. Правильно, по-партийному о нас думал. Все понимал, не бюрократ, как здесь некоторые. Заметил, у Дуськи-учетчицы глаза от слез набухли, как вареники. Вызвал ее и тракториста, который к этим слезам причастен, и поговорил с ними официально у себя в кабинете. Потом их обоих на своей «Волге» в райцентр отвез. В загс, одним словом. И не получилось матери-одиночки, а семья получилась.

— Может, у тебя, Пеклевапова, у самой что случилось? — бросила Бескудинова. — Так ты прямо говори. Общественность вмешается.

— Ничего не случилось. И не будет никакого случая. Я девушка твердая. Я это только на всякий случай рассказала, как надо за свои кадры начальству бороться, для этого.

— А я, девчата, считаю, — сказала Бескудинова, — любовь только до замужества. А потом, если повезет, конечно, жена мужу — приятель, и только.

— Распущенная ты! — упрекнула Люба Любимова.

— Правильно, как тот цветок!

— А ты про стакан воды слышала? — строго осведомилась Пеклевапова. — Лектор объяснял. Есть такая идеология. Выпил, утер губы, пошел дальше.

— Ну и что?

— Как что! Так наилучший мимо пройдет. И остановиться не захочет.

— А где ты видела наилучших?

— Приходилось. Например, товарищ Шмелев.

— Вот ты бы ему про свою любовь и доложила.

— А у меня к нему не любовь — просто восторженное уважение, как к старшему товарищу.

— Да он тебя, наверное, не замечал.

— Неправда! Всегда приставал: «Учись, Пеклевапова, человеком будешь!»

— Теперь только на дипломах женятся.

— Ну чего ты, Ольга, алишься? — лениво, нараспев произнесла Вероника. — Если по-настоящему любят, всё забывают, даже что помнить следует.

— А ты молчи! — крикнула гневно Ольга. — Тебе о себе заботиться нечего. Чуть дольше в глаза посмотришь

любому, сразу дуреет, готов всю жизнь при тебе супругом служить.

— А мне такого не надо! — гордо сказала Кубарова. — Чтобы служил.

— Надо не надо, только все мужчины от такой красоты, как у тебя, глупеют, и все. Что, мы не видим?! Прораб Иван Васильевич, старый, плешивый, внуков до черта, а туда же! Накомарник с себя снял и тебе подарил.

— И правильно сделал, — рассудительно заметила Пеклевапова. — Меня гнус искушал, все равно физиономия та же остается, как и была. А если Вероничку обкусают, это же глядеть будет обидно, как они ее лицо испортят.

— Хороший ты человек, Ньюша, — сказала Люба и прижалась к ее вышуклому плечу. — Очень хороший!

— Ничего не хороший, — запротестовала Пеклевапова. — Недомерок, и все. Мою жизнь война сильно притормозила. Отец на фронте погиб, мать полицай зашиб. Кончилась война, пошла в домработницы к начальнику пристани, как при царском режиме все равно. Но он меня потом уборщицей на пароход выдвинул. Плавала матроской на сухогрузной барже. На песчаном карьере разнорабочей была. Мойщицей в гараже. На целине только и поднялась до настоящего уровня: сначала на трактористку, потом на механика вытянула. — Посжилась, сказала сконфуженно: — Я ведь, знаете, девчата, на целине даже в книгу знатных записана. Хлеба загорелись. А я в это время с трактором одна канителилась — приехала на летучке как дежурный механик, ну и отлаживала мотор. Вдруг вижу, пожар. Завела машину и пошла огонь давить. У меня отец, танкист, сгорел насовсем в машине. А я ничего, выжила. В больнице маленько пожалела, что все у меня обожглось, только лицо совсем оказалось неповрежденное, а то под это дело можно было попросить пластическую операцию сделать. Говорят, по заказу можно даже нос себе выправить, допустим, горбинку наладить.

— Да ты что? Сдурела, себе такое желать! — воскликнула Бескудинова и даже ладони прижала к своему лицу.

— Это я так, в шутку. — Пеклевапова конфузливо улыбнулась, потом сказала грустно: — Среди вас я самая пожилая — скоро двадцать пять стукнет. А я все в девчатах числюсь. Ну бывает, конечно, обидно. И скажу прямо. Вы за мной все знаете, я ни от какого самоотверженного труда не отказываюсь. И не потому, что самая сознательная. От самолюбия. Люблю в передовых покрасоваться. Такая у меня слабость. Ну и еще... Сказать только совестно. Хочется,

чтобы меня на этом какой-нибудь хороший человек приместил.

— Ты, Пеклеванова, и так заметная — бригадир. Да еще лучшей бригады.

— Да я совсем про другое, — уныло сказала Нюша. — Ну некрасивая я. Понятно? Вы все ничего. А Вероничка — даже просто волшебная красота, а я некрасивая. Значит, надо мне этот дефект другим чем-нибудь хорошим загладить. А может, я просто слишком много про любовь думаю. И на нее все подгоняю. — Обратилась к Бескудиновой: — А ты на меня, Олечка, не сердись. Я тебя шпыняю иногда. Не хочу, чтобы ты легкость какую допустила, ну насчет этого самого — стакана воды...

Тайга пахла нефтью и сухой хвоей. Костер угасал.

Обозначились толстые, как башни, стволы кедров.

И теперь только небо освещало просеку, рубчато истоптанную гусеничными тягачами.

Пеклеванова встрепенулась, сказала после долгого молчания:

— Только вы, девчата, не думайте. В общем-то я счастливая. Никогда не была с людьми посторонняя, и люди меня никогда ни в чем посторонней не считали. Значит, есть во мне душевность. Но, видать, одной дружественности человеку мало. Его всегда на что-то такое особенно хорошее тянет...

К костру подошел, с трудом волоча ноги, весь замызганный болотной грязью шофер Евстигнеев. Жмурясь на умирающий огонь костра, он попросил как-то слишком самоуничиженно:

— Нюша, будь другом! Подсоби машину толкнуть, лежневка развалилась. Завяз по самое брюхо!

— Сейчас, — поспешно вставая, сказала Пеклеванова. — За резиновыми сапожками в вагончик сбегая — и сейчас, мигом!

— А мы тебе что, не люди? — вызывающе спросила Ольга. — Поклонись покрепче, может, выручим.

Евстигнеев мельком взглянул на девушек. Вынул из костра уголек, прикурил от него, сказал пренебрежительно:

— С вами один только маршрут: на танцплощадку. А Нюша — это товарищ на все случаи жизни.

Пеклеванова выбежала из вагончика — в комбинезоне, в высоких резиновых сапогах до паха.

— Побежали скоренько, Коля! — сказала она. — А то я эти урманы знаю: засосет. Не откопаем.

Евстигнеев оглядел Ньюшу, ее выпуклую, ладную в этом одеянии фигурку, сказал заботливо:

— Ты бы, Ньюша, завела себе дамские брючки нерабочие и всегда в них ходила. Теперь это даже мода. И свитерок с узором. Уж очень у тебя все такое спортивное. А то ходишь в брезентовом балахоне, скрываешь наружность.

— Ладно, пошли. Подхалим!

— Да нет, это я так, — смутился Евстигнеев, — просто объективное наблюдение.

Ньюша и Евстигнеев скрылись в лесной чаще, и только слышен был шорох нижних ветвей деревьев, которые они разгребали руками, шагая напрямик к переправе. И в светлых, слабых сумерках куцей северной летней ночи были уже видны огромные фигуры деревьев, высоко вздымавшиеся над мелкой порослью. И каждое дерево обладало своей, только ему присущей внешностью, стойко обретенной в борьбе с буранами или засухой. Лишь те деревья, у которых корни лениво и беспечно расползались вширь, падали буреломом после вихревых ветров, предшествующих обычно смене погоды. А погода здесь менялась резко и часто. Впрочем, где она одна на все времена!..

СВИДАНИЕ

Он сидит на веранде кафе, в откровенной позе ожидания, весь подавшись вперед, напряженно сжимая подлокотники плетеного кресла.

Этой позой он похож на пилота, ведущего машину при плохой видимости на трудную посадку.

Сухое, жесткое лицо с немигающими, как у птицы, глазами усиливает такое сходство.

Он сидит неумоимо в такой позе уже давно, не ощущая ее напряженности, весь поглощенный ожиданием.

У него поджарая, юношеская фигура. Хотя резкие белые морщины у глаз и седина не свидетельствуют о молодости.

Он сидит у балюстрады спиной к жарко нагретой площади, где серой остроконечной скалой возвышается знаменитый собор, в каждой нише которого, словно отдыхающие верхолазы, стоят навывтяжку скульптурные изображения святых со смиренными лицами.

Здесь находится не менее знаменитый, чем этот собор, фонтан с грудой обнаженных могучих каменных тел, извлеченных гением, верившим в человека, каким был он сам.

Гибкие, скрученные, блестящие водяные стебли создали прозрачный, сверкающий купол над бассейном фонтана, выложенным разноцветной мозаикой, изображающей картины охоты на диких зверей, азартные, изящные, как спортивные игры.

И над всем этим висело морское небо, чистое, прозрачное, нежно осененное.

Орды туристов в нестрых распашонках и тугих шортах заполняли площадь, и она выглядела как пляж.

Богатые туристы приезжали в эту страну за ее великолепным солнцем. И не теряли времени, чтобы быстрее воспользоваться им. И чем бесцеремоннее была их одежда, тем независимее они себя держали.

Они вылезали из огромных, плоских, лоснящихся лаком машин, вылезали, предшествуемые тучными животами, выпиравшими из шорт. Или, наоборот, столь старчески тощие, что казалось, под ярко размалеванными распахнутыми слышно щелканье подагрических суставов и скрип сухой кожи, пупырчато обтягивающей эти узловатые суставы.

Их лица прикрывали, словно черные полумаски, очки-«консервы» в затейливых оправках.

Они, точно уличные торговцы, были обильно обвешаны кинокамерами и фотоаппаратами.

Они не хотели обременять свою память. Этот труд они перекладывали на оптическую технику. Они снисходительно позировали ей на фоне рекомендованных путеводителями объектов.

Величайшие творения человеческого гения служили для них фоном, на котором они победоносно запечатлялись, выставляя в улыбках свои великолепные искусственные зубы. И весь этот дивный, древний город был для них только ареной тех самых зрелищ, что предписывалось им увидеть путеводителями, и не более того.

Людей этого города они не замечали так же, как не замечали обслуживающий персонал отелей.

Среди иностранных туристов большинство было из Западной Германии, и среди них преобладали пожилые с неутраченной армейской выправкой. И лица их отличались особым высокомерием, которым они прикрывали изжогу своей памяти о том, что когда-то они были здесь властителями и пользовались всевозможными услугами города, не всегда даже вынимая для этого парабеллум из лакированной кобуры. А теперь за услуги приходится платить марками и пфеннигами, обмененными на местную валюту.

Они толпились на открытой веранде кафе шумной и развязной оравой, хотя каждый из них был достаточно осведомлен о всех правилах благоприличия и строго и чопорно следовал им у себя в Западной Германии.

Но вот любопытно! Хотя свободных столиков на веранде не было, никто из туристов не покушался присесть за тот, что занимал человек в столь энергичной и явной позе ожидания. По-видимому, в его фигуре и выражении лица было нечто, сразу внушавшее почтительность к его одиночеству.

Он был одет в черный костюм, тесно облежавший его жилистую фигуру.

Немигающий взгляд его был по-прежнему прицельно

и сосредоточенно устремлен к входу в кафе, увешанному разноцветными бисерными нитями.

И когда она торопливо вошла на веранду и остановилась, озираясь, он быстро встал, поднял руку и помахал ей.

Она увидела его и шла к нему, уже немолодая женщина, с усталым, но еще красивым лицом, с тревожным и вопро-сительным выражением.

— Узнаете? — спросил он.

— Ну, конечно! — сказала она.

— Ведь столько лет!

— Да, очень много, слишком много, — согласилась она и потребовала: — Ну, давайте же сядем. — Осведоми-лась: — Вы не сердитесь? Я заставила вас ждать...

Он покачал головой.

Взгляды их встретились.

И снова он, весь подавшись вперед, сжал подлокотник кресла так, что пальцы его побелели, а она, обессиленно откинувшись на спинку кресла, прикрывая глаза при-пухшими веками, произнесла беззащитно и жалобно:

— Вот видите, как я постарела.

Он опять покачал головой, глядя восторженно и нежно.

Опуская глаза, она сказала:

— Когда ты позвонил и я слышала твой голос, я не могла сразу ответить. — Погладила рукой в перчатке высо-кую шею, объяснила: — Тут что-то сжалось, и я не могла говорить.

— Я искал тебя, — сказал он робко.

— Давно?

— Сразу же, на второй день, как приехал.

— Это по-русски называется «сразу»?

— Я был на кладбище.

— Зачем?

— Я искал тебя там.

— Меня на кладбище?

— Я думал, тебя нет.

— То есть как это нет?!

— Ну, убили.

— Я тоже про тебя так думала, — произнесла она печально. — Ты сказал тогда, когда тебя повели из камеры на казнь: «Ну, пока, ребята!» — и помахал нам рукой так же, как сейчас, когда увидел меня. И я тебя сразу узнала, когда ты сделал рукой так. — Она повторила его недавний жест, заявила убежденно: — И я тебя помню такого на всю мою жизнь.

Он смутился:

— Мальчишеская выходка! Хотел только ободрить оставшихся товарищей.

— Уходя на смерть?

— Считал, повезло,— значит, не будут больше допрашивать,— сказал он уклончиво.

— А потом? Что было потом?

Лицо его приняло удрученное выражение.

— Меня отбили ваши люди из отряда «Свобода». Им нужен был пилот, и ради этого они организовали акцию — спасли меня, вместо того чтобы выждать и затем попытаться спасти вас всех. Они связали меня и увезли в горы.

— Связали? Зачем?

— Ну, я с ними был не согласен и поссорился.

— Представляю! — сказала она с улыбкой. — Строптивый русский показывает свой характер.

— Я же не мог согласиться с их операцией! — повторил он упрямо. — Но дело было сделано. Они приволокли в разобранном виде планер. Потом я собрал его и выкрасил в черный цвет.

— В черный цвет? — спросила она удивленно. — Это что, в память о погибших, в цвет траура?

— Да нет,— возразил он досадливо,— для маскировки. Я летал на нем по ночам и бомбил цели, которые мне назначали. — Пояснил вызывающе: — И это было почти безопасно для меня. Летал беззвучно, наблюдательные посты не обнаруживали заранее. Кроме того, огонь зениток рассчитан на упреждение, не соответствующее скорости планера. Словом, порхал по ночам, как летучая мышь.

— Ты был тем, кого прозвали черным ангелом! — сказала она восторженно.

Он усмехнулся:

— В вашей католической стране даже прозвища даются божественные. — Смягчась, вспомнил: — Хотя в отряде был один ваш священник, подходящий парень. Он всегда перед тем, как стрелять, надевал очки и поспешно целовал ладанку. Думаю, очки помогали ему больше, чем всевышний.

— Почему ты вспоминаешь об этом с такой обидой? Тебе было там плохо, в отряде? — спросила она заботливо.

— А потому,— сказал он сердито,— что после каждого удачного полета я клячил у партизан, чтобы они совершили нападение на тюрьму. Каждый раз клячил, зная, почему я клянчу, и зная всю опасность и почти безнадежность этой операции. После того как я зажег с воздуха

портовый склад горючего, который горел две недели, они уступили мне. Но среди тех, кого они спасли, тебя не было. На следующую ночь я бросил гранаты и противотанковые мины на здание гестапо, и меня сбил «мессер», когда я уже шел на посадку. — Добавил глухо: — Моника обещала мне узнать то место, где тебя похоронили.

— Моника? А при чем здесь Моника? — встрепенулась женщина, испытующе глядя в глаза собеседнику: — И часто ты с ней виделся?

— Нет, — сказал он, — я только один раз пришел на явку, когда снова смог ходить, и пришел только затем, чтобы узнать про тебя.

— А потом?

— Она мне сказала, что тебя нет.

— И что было дальше?

— Ничего. Оставался в вашем партизанском отряде. Открылась возможность перебраться к югославам, оттуда к своим. Довоевал в Германии. После войны работал испытателем. Теперь вот, — он развел руками, — перегнал к вам на авиационную международную выставку новую нашу машину, мной облетанную, и сегодня улетаю обратно домой. — Добавил опечаленно: — Пассажиром. Демонстрировать ее в воздухе будет другой, помоложе.

Она спросила сурово:

— Ты только теперь вспомнил или всегда думал обо мне?

Он криво усмехнулся:

— Понимаешь, даже позволил себе нарушить предписанную трассу, когда летел сюда. Свернул к святому Патрику, туда, где в ущелье была ваша база и куда ты привела меня, беглеца из концлагеря.

Она напომнила сурово:

— И где я любила тебя, ты это помнишь?

Он в замешательстве невпопад ответил:

— Ты стала теперь совсем хорошо говорить по-русски.

— Благодарю вас, — сказала она иронически, — мне это очень приятно слышать. Тем более что я преподаю русский язык в колледже.

— Но ты была пианисткой, и хотела стать знаменитой пианисткой, и так боялась всегда, что можешь получить ранение руки!

— Да, — сказала она, — хотела, очень хотела. — Спала перчатки и положила на стол руки с изуродованными пальцами. — Я хотела стать пианисткой, — гордо заявила она, — почти так же, как быть любимой тобой.

Он склонился лицом над ее расплуженными, искривленными пальцами, касаясь их губами. Потом выпрямился, сказал сипло:

— Гады!

Она радостно улыбунулась:

— Ты так часто говорил это слово! И ты всегда произносил его так же, как сейчас. Это смешно, но мне приятно снова слышать, как ты произносишь это слово. И когда гестаповцы ломали мне пальцы, я кричала это твоё слово, как заклятие, чтобы не сойти с ума. — Спихватилась: — Не слишком ли много я говорю о себе? — Деловито осведомилась: — Ты, конечно, женат и много детей?

— Да, — сказал он, — двое.

— У меня тоже есть одна девочка, — гордо объявила она, — и у нее русское имя — Григория. — Поспешно добавила: — Я, конечно, предупредила мужа, что это — русское мужское имя. Но он не возражал... — Спросила нарочито безразлично: — Твоя жена, наверное, и не знает, что есть такая Тереза?

— Я рассказал ей обо всем.

— Но я не столь откровенна, — сказала она вызывающе. — Мой муж любит меня, но не настолько, чтобы любить вместе со мной все, что у меня было в прошлом. — Натягивая медленно перчатки, она произнесла задумчиво: — Когда я шла сюда, я очень волновалась.

— А теперь?

Она подняла на него красивое усталое лицо, блестящее от крема, с сильно подведенными глазами, с сухими, блеклыми, ненакрашенными губами, и, поймав его жалостливый взгляд на своих губах, сказала резко:

— У меня теперь старушечья память, я помню отлично прошедшее, помню, что ты презирал женщин с намазанными губами. — Сощурилась: — Или это мне только так казалось? — Произнесла шепотом: — Я думала, мне хотелось так думать, что вдруг я и ты встретимся такими, какими мы были прежде. — Улыбунулась. — Я помню, как ты ужасно испугался, когда я пришла к тебе сама ночью. — Произнесла наставительно: — На Западе мы смотрим на это проще, чем вы, русские.

Он запротестовал:

— Вовсе я не испугался!.. Я думал, что не имею права...

— Неправда! — перебила она. — Ты просто трусил и уговаривал меня ждать, когда кончится война. Для тебя победа означала больше, чем бог для верующих. А потом ты, чуть не плача, просил у меня, торжествующей, проще-

ния. И не мог видеть в темноте, как я, счастливая, улыбалась тебе.

Он молчал, опустив глаза.

...И перед взором его медленно вставали горы в рыжих ярусах виноградников. И черная дорога, которая корчилась по склонам. И там, где они находились, лежал голубоватый снег, осыпанный хвоей, как желтыми долгими песчинками, и небо с одного бока нежно, зеленовато, пространно светлело, и пахло чисто и свежо не то от неба, не то от снега, мягко лежащего на склонах.

И она стояла рядом с ним, твердо прижимаясь пистолетом, висящим на ее поясе, и заглядывала в его лицо своим радостным лицом.

А потом он в этот же день лежал за валунами на черной дороге и стрелял из «мапыхера» трудолюбиво и тщательно, пока не кончились патроны. И потом, когда он пополз, чтобы взять патроны у убитого им фашиста, что-то мягкое со звериной силой толкнуло его, и он ощущал только бесконечное падение, от которого очнулся лишь в тюремной камере.

Он лежал на бетонном полу, наверное, очень долго. Она сидела рядом с ним и грызла кофейные зерна, чтобы не заснуть, не упустить того мгновения, когда он очнется. И она тогда больше всего боялась, что ее уведут на казнь раньше его и она никогда не узнает, живой он был или мертвый. Хотя какое это имело тогда значение!..

Женщина посмотрела на часы, сказала озабоченно:

— Мне пора, Григорий!

— Уже? — спросил он испуганно.

Она сказала:

— Не только у вас, русских коммунистов, есть обязанности, которыми нельзя пренебречь. — Встала, протянула руку: — Прощайте, Григорий. — Потребовала решительно: — Не провожайте. Вам это приказывает Тереза, та, которая вас очень любила.

Смахнула улыбку и пошла к выходу, бережно запрокинув голову, как это делают иногда женщины, чтобы печальная слеза не сползла на окрашенные ресницы.

ДВА СОЛДАТА

Зал ожидания столичного аэропорта. Стеклопанный короб его пассивно просвечен зимним белесым солнцем. Прозрачные стены — цвета воздуха, и нет ощущения замкнутости.

За стеклом едкая, сухая, шершавая стужа.

Самолеты, стоящие на резервной полосе, выглядят сизыми рыбами, вмерзшими в гигантскую глубину стекло-видного пространства.

В зале ожидания тепло, как в оранжерее, и немногочисленно: погода летная.

Благоговейно держа перед собой пластмассовый подносик со стопкой коньяка и бледным глянцевиным яблоком, человек осведомился:

— Разрешите?

Сел, снял роскошную нежно-рыжую новенькую пыжиковую шапку, бережно положил на свободный стул, растегнул залоснившуюся выворотную шубу на цигейке, прицельно прищурился на стонку, лицо его приняло сосредоточенное, глубокомысленное выражение, вздохнул, радостно объявил:

— За ваше здоровье!

Одинокое сидящий за этим же столиком другой пассажир, одетый модно и элегантно, но слишком не по сезону, будто сейчас в Москве не зима, а лето, не отрываясь от газеты, поблагодарил небрежным кивком. Затем, очевидно почувствовав неловкость, опустил газету на колени, сказал:

— А вы соблазнитель. Пожалуй, я тоже последую... — Он хотел встать, но человек в шубе, вдруг резко подавшись вперед, жадно и пристально глядя, воскликнул с восторгом:

— Фоми! Живой! Вот это номер!

— Если не ошибаюсь, старшина Капырин?! — Лицо Фомина на какое-то мгновение приобрело выражение почтительного замешательства.

— Да ладно, ладно, чего там — сиди, — поняв по-своему недавнее намерение Фомина встать, снисходительно разрешил Капырин, объяснил: — Мы же теперь равноправные — штатские. — Спыхватился: — Один момент!

Вскочил, мягко топая валенками, устремился к буфету, вернулся с бутылкой копыяка.

— Ну знаете, это, пожалуй, слишком, — поежился Фомин.

— Я-то свою норму никогда не перешагиваю, — строго предупредил Капырин, — сто граммов, и точка. Забыл?

— Нет, почему же.

— То-то же. Я и твою склонность помню: предпочитал донпак сахаром либо чем другим сладким.

— Совершенно верно, — улыбнулся Фомин.

— Ну, давай информируй, — потребовал Капырин. — Как, где, что ты... Значит, дипломатом заделался. Чрезвычайный полномочный и т. д. Советник?! Тоже ничего, если правильно советуешь. — Откинулся на спинку стула и впервые внимательно, как следует оглядел Фомина с ног до головы, заметил скептически: — Только как из тебя дипломат мог толковый получиться, не понимаю.

— Почему же?

— Да откуда у тебя такие способности обнаружились? Ничего подобного у тебя даже в помине не было.

— Как это не было?

— А так, не было, и все.

— Почему же столь категорически?

— А потому, что человек себя в бою полностью обнаруживает, а ты передо мной тогда себя полностью обнаружил.

— Когда это тогда?

— Мост через Лугу помнишь?

— Ну еще бы.

— Ты под моей командой на разведпоиск ходил. Взяли мы тогда «языка»? Взяли! Но ты все за меня тревожился, чтобы я по своей злости на них фашиста не повредил слишком до смерти. Сам напросился взять деликатно, а что получилось? Он тебя из пистолета свалил. Ну я, конечно, доверять тебе полностью не мог: солдат молодой, контролировал, полз следом. И, конечно, ниспроверг того фашиста прикладом автомата так, что даже ладошки себе отшиб.

— Вы мне жизнь спасли, — произнес Фомин и стал поспешно закуривать.

— Это возможно, — согласился Капырин, — но вовсе не потому, что ты сам по себе какой-то особенный. На мне

ответственность за личный состав, за каждую потерю. Значит, в итоге, что мы на тот данный момент имели? Ты раненый, у фашиста сознание отшиблено. Надо к своим в темпе подаваться. А как? Вы двое лежите, а я один. А ты чего меня просил? «Оставьте лежать, огнем прикрою. А «языка» на себе отнесите. «Язык» важнее!» А я тебе что сказал? «Ты что, доктор? Может, «язык» уже концы отдал? А я не из похоронной команды, чтобы их трупы, да еще на свою сторону, оттаскивать».

Ты свое гнешь. Говоришь: фашист дышит — значит, вовсе не мертвый. И что я тогда сделал, чтобы прекратить недопустимую между рядовым и старшиной в боевой обстановке дискуссию? Вынул пистолет, наставил на фашиста и хлоп — готово... Взвалил тебя на себя и понес. И как ты меня только не обзывал, вспоминать обидно. Конечно, я тогда тебя до санбата лично доставить не смог, сдал боевому охранению, а сам обратно за «языком» побег. А он уже, сукин сын, то самое место, где мы его оставили, покинул и к своим самоходом на брюхе полз.

— Но ведь вы же в голову в упор выстрелили!

— Вот именно, раненого фашиста советский солдат добил! А я-то полагал, что ты этой моей выходке сразу же не поверишь. А ты, выходит, поверил. Да это ж с моей стороны была одна хитрость — одна дипломатия, словом. Мимо возле уха его выпалил. А ты совсем зашелся, обзывал не знаю как.

— Почему же вы хотя бы потом не объяснили?

— Это когда же потом? Сдал «языка», кинулся в санбат, а тебя уже нет, уволокли во фронтовую госпиталь, поскольку фашист сильно пулей организм задел.

— Ну, могли хотя бы написать письмо.

Капырин вздохнул.

— А чего я тебе писать буду? Орден, который за это дело тебе причитался, тебя отыскал. Я осведомлялся. А обида моя на тебя при мне оставалась. Да и еще я про тебя думал, больно ты всегда наперед лезущим был, а с такой манерой чаще всего родственников похоронками огорчают. А ты, выходит, ничего — живой.

— Вообще-то я еще несколько ранений получил, когда в других частях служил.

— Ну и правильно: закон природы. С таким, как у тебя, характером без излишних повреждений на фронте не обойтись.

— Но ведь вы тоже... — Фомин соболезнующе указал глазами на короткопалую руку Капырина, лишенную не-

скольких суставов, потом перевел взгляд на его лицо, с темным, морщинистым, глубоко вдавленным шрамом.

— А это так, отметки про то, какой я все же грамотный в бою был. От другого на моем месте, может, и мало что бы осталось, а я всегда в основном свою ценность сохранял.

И каску никогда не скидывал — хоть и жара, и волос от нее лезет, и шанцевой лопаткой прикрывал те части тела, которые главнее в человеке. Чему солдат учил, тому всегда сам следовал, не нарушал инструкции. Вот потому у меня все на месте и все при себе осталось.

И сейчас я бригадир монтажников. Немыслимые тяжести ворочаем. Чуть зазевался или нарушил правила охраны безопасности, может случиться потеря — убытие из строя. Но я со своих ребят, как по боевому уставу, все досконально требую. Поэтому даже за «чепе» считаю, если кто палец прищемит. И сухой закон для бригады даже в быту установил, как все равно у нас в части, когда уже на мирном положении в Германии стояли и надо было немцам уже с другой стороны себя показывать. Самодеятельность из нашей роты выставил — можно было даже за деньги билетами торговать. А мы за так на городской площади для всех желающих. Ну еще им кое-чего в хозяйстве восстанавливали — водопровод, канализацию. И понимаешь, какой коффуз со мной в самом ихнем Берлине получился.

Налаживаю я со своими солдатами сантехнику в каком-то уже гражданском учреждении. Все как следует делаем. Входит солидный такой немец. Наблюдает. Советует. Слушаю. Знающий человек. Почему не учесть? Но только гляжу на него. И что-то такое в его личности припоминаю. И подумать только, вспомнил! Это же тот наш фашист. Забеспокоился, сбегал, навел справки. Говорят, служащий мэрии. Фашистом официально не был, хотя и в войсках служил. Думаю, надо все-таки еще раз встретиться. Разъяснить тот факт, чтобы у него превратного мнения об нас через меня не оставалось. Ну, встретились. Представился честь по чести. Мол, я тот самый гвардии старшина Капырин, который вас ушиб и потом в плен подобрал. Но он ничего отнесся. Даже сказал: «Очень приятно». Я его спрашиваю:

«Может, неправда, что вам приятно меня видеть?»

«Нет, почему же, говорит, именно приятно. Вы как солдат храбро действовали и даже в свой госпиталь на себе отнесли. А не сразу на допрос».

«Ну, а помните, как кто-то возле самой вашей головы из пистолета выстрелил?»

«Нет, говорит, не помню. В сознание пришел только у вас в госпитале».

Смотрю я ему пристально в глаза. Не заметно, чтобы врал. Ну, на этом точку поставил. Не помнит, и ладно. Значит, факт исчерпан. И нечего его касаться. Немцев мы тогда уже за себя агитировали только тем, что помогали им. Так сказать, наглядной агитацией действовали. Питанием. Коммунальным делом. Турбинку я им на электростанции наладил. Занятий хватало.

Ну, и по дипломатической линии тоже приходилось себя соблюдать строго, без нервов. Прибежит какой-нибудь Фриц и начинает на другого капать: мол, вот вы такому-то Гансу на работе доверяете, даже старшим поставили, а он скрытый фашист. Чую неладное, потому что этот самый Ганс очень активно работает и в своем деле знающий, а кто на него капает, на здоровье ссылается, поэтому не при деле. Но виду не подаем. Скажем: спасибо за информацию. И потом самим же немцам доложишь, но с примечанием, что надо кадры специалистов сберечь, а выбивать их может только враг. Но вы сами во всем разберитесь. Командовать мы имеем право только своими армейскими. А на ваши внутренние дела есть ваша народная власть.

Капырин вдруг озабоченно спохватился:

— Ты яблочком закуси. Под коньяк самое наилучшее.— Положил на яблоко указательный куций палец, стукнул по нему кулаком, рассек яблоко на две половинки и, протягивая Фомину его долю, сказал задушевно: — Вот так вот, значит, встретились два фронтовика, оба живы, оба при деле. При своем счастье.— Нахмурился, помолчал, потом, подняв глаза, произнес глухо: — Ну, давай за тех, кого нет. И которые были получше, чем мы с тобой. Потому что они жизнь свою безвозвратно отдали, чтобы мы с тобой людьми стали, какие есть. И с нас еще за многое причита-
ется.

Выпили.

Но Фомин не стал закусывать яблоком. Взяв бумажную салфетку, он завернул в нее половину яблока и положил в карман.

— Это зачем же? — спросил Капырин. Встревожил-ся: — Может, думаешь, кислое?

— Да я лучше закурю,— сказал Фомин.

— Ну что ж, у каждого свой вкус,— согласился Капырин.

Радиодиктор вкрадчивым голосом объявил о посадке на самолет.

Фомин встал:

— Мой рейс!

— Ну, валяй,— разрешил Капырин.— А мой всё не называют.— Поднялся, протянул руку: — Прощай, солдат!

— Спасибо, товарищ старшина! — сказал Фомин.

— За что? — изумился Капырин.— Принял всего полста — птичья доза.

— За все спасибо,— сказал Фомин.

— Ну, иди, иди,— приказал Капырин.

Фомин шел к выходу, и рука его бережно прижималась к карману, где лежала половинка яблока.

Капырин вдруг крикнул вслед:

— Не хромаешь?

— Нет,— остановившись, сказал Фомин.

— Ну, значит, порядок,— одобрил Капырин.

И долго еще глядел сквозь стеклянную стену, как Фомин шагал к самолету по летному полю, заштрихованному пургой.

На Фомине был легкий макинтош, шляпа, но шагал он неторопливо, не отворачиваясь, не склоняясь под порывами жесткого, жгучего ветра.

НА ПЕРЕКРЕСТКЕ

Здание аэропорта подобно гигантскому брусу искусственного льда, поставленному на серые бетонные подпорки. Прямоугольный стеклянный ящик в оправе из алюминиевых полос — зал для транзитных пассажиров.

Бар с коллекцией спиртных напитков, агрегат кофеварки, блестящий хромом, высокие табуреты с круглыми сиденьями, обтянутыми красной химической кожей, витрины с ювелирными изделиями, парфюмерией, транзисторами и миниатюрными магнитофонами.

Глянцевые, яркие, как обложки бестселлеров, рекламные плакаты авиакомпаний, состоящих в обещаниях скорости, комфорта и самых красивых стюардесс.

Кажется, все тут проникнуто только одной заботой — избавиться от примет, которые могли бы указать, в какой части света находится этот воздушный перекресток.

Как и все аэродромы, и этот аэропорт далеко вынесен за пределы города, и на бетонную серую пустыню летного поля самоуверенно садятся машины с опознавательными знаками почти всех держав.

Однотипны стеклянные мундиры крупнейших аэропортов мира, так же как и пассажиры в этом транзитном зале своим общим выражением высокомерия, возможно порожденного гордым ощущением огромного пространства, которое они только что перемахнули в мягких объятиях кресел.

Они были безлюбопытны и равнодушны друг к другу, эти пассажиры, так же как они были равнодушны и безлюбопытны и к городам, которые мелькали под скошенными плоскостями лайнера.

Столицы государств выглядели с высоты полета, как их собственные макеты, выставленные в пластмассовом прозрачном футляре. Стремительные скорости летательных машин, этих продолговатых воздушных отелей, накладыва-

ют отпечаток на нашего современника, лишая его бывшего почтительного ощущения земного пространства. И среди этих пассажиров, лениво и терпеливо предававшихся покорному и снисходительному ожиданию времени вылета, только один пассажир отличался деятельной озабоченностью.

Он держал большую клеенчатую синюю сумку с такой бережностью, будто в ней лежало нечто очень хрупкое. Он бесцеремонно осведомился, где находится туалет, выговаривая на английском языке фразу так напряженно, словно только что вычитал ее из разговорника.

Вернувшись из туалета, пассажир осторожно поставил клеенчатую сумку на кресло, раскрыл и заглянул в нее — при этом лицо его обрело умильное выражение, — сунул руку внутрь сумки, что-то там ласково погладил, и когда извлек руку обратно, она оказалась мокрой. Вытерев руку платком, он победоносно огляделся, подозвал кельнера и самоуверенно сначала на немецком языке, потом со скеерным ученическим произношением по-английски произнес:

— Будьте любезны, принесите мне, пожалуйста, маленький кусочек сырого мяса, рыбы или креветки!

Кельнер недоуменно поднял брови. Пассажир раскрыл сумку и указал глазами. Кельнер склонился над ней, и лицо его, как недавно у пассажира, тоже приняло умильное выражение. Выпрямившись, кельнер заявил с воодушевлением:

— Я вас понимаю, сэр! У меня самого дома, сэр, есть маленький аквариум!

— Так схлопочите, дружище! — сказал пассажир по-русски и, тут же спохватившись, старательно произнес по-английски: — Я буду вам бесконечно благодарен, сэр!

Кельнер кивнул и исчез.

Пассажир опустился в кресло, рядом с тем, на котором стояла его клеенчатая сумка.

Долгополый пыльник туго обтягивал его широкую, выпуклую спину. Лицо его с крупными, добродушными чертами было воспаленно-красного цвета — такими бывают лица европейцев после длительного пребывания под тропическим солнцем, лишенным ультрафиолетовых лучей и способным только обжигать кожу, но не делать ее смуглой.

Откинувшись в кресле, пассажир закурил, не забывая при этом размахивать над сумкой свободной рукой, дабы развеять табачный дым.

Кельнер вернулся, торжественно неся на подносе тонкие ломтики бледного рыбьего мяса и несколько креветок, очищенных от скорлупы. Пассажир благодарно улыбнулся, и, когда кельнер нагнулся, ставя поднос на столик, пассажир одобрительно похлопал его по плечу и сунул довольно крупную купюру.

— Но это слишком много, сэр!

— На остальное купите что-нибудь вкусное вашим рыбкам!

Кельнер, разглядывая старомодный, выжженный тропическим солнцем пыльник пассажира, произнес нерешительно:

— Но мне неловко, сэр! Это слишком большая награда за пустяки, сэр!

Пассажир, лицо которого снова приняло умильное выражение, брал с подноса кусочки рыбьего мяса и опускал их в сумку, прищипывая при этом губами так, словно пытался внушить кому-то, какое оно вкусное.

Кельнер пожал плечами и отошел...

Повернувшись к стойке бара спиной и опираясь на нее далеко отведенными назад локтями, давно уже пребывав в этой небрежной позе завсегдатаев баров человек в сером новом костюме из тонкой, блестящей дешевой синтетической ткани, особо почитаемой в США среди провинциальных негров, молодых пуэрториканцев и тех, у кого не хватает средств для приобретения костюма из натуральной шерсти.

Темные очки-«консервы», прицепленные дужками к тонкой цепочке яркого желтого металла, свисают на шею. Из нагрудного кармана длиннополого, в талию, с двумя разрезами пиджака торчит обшитая искусственной кожей курительная трубка, грубая подделка под донхилловскую. Но человек держал в губах еще не зажженную сигарету с таким видом, будто кто-то обязан немедленно поднести ему горящую спичку. На морщинистый лоб начесана ребячья челка седых сухих волос. Остроносое лицо, растопыренное костистыми скулами, с глубоко вдавленными серыми щеками, выглядит испитым, изможденным. Но светлые жесткие усы так называемого армейского образца придают его физиономии дерзкое выражение.

Его выпуклые глаза с желтоватыми белками давно уже пристально следили за пассажиром с клеенчатой сумкой.

Но вот этот человек в сверкающем костюме, как бы перебарывая себя, наконец оттолкнулся от стойки и медленно, шаркая ногами, направился к пассажиру с таким

тревожным выражением, будто решился на нечто отчаянное.

— Здорово, Колокольников! — сказал он и спросил вызывающе: — Узнаешь?

— Ныркв?! — воскликнул пассажир, хотел встать, но почему-то не встал, произнес с замешательством: — А я думал, ты убитый. А ты, выходит, живой.

— Живой, — согласился Ныркв и добавил задорно: — Выжил, как во фронтовой говорилось, всем смертям назло. — Сел, признался: — А я, понимаешь, стою у бара, и все гляжу на тебя, и все сомневаюсь, ты это или не ты.

— А ты бы не сомневался. Спросил и сразу бы выяснил, — посоветовал Колокольников и вежливо осведомился: — Ну как она, жизнь? Женат? Холост?

— Имею персональную блондинку!

— И детишками обзавелся?

— Дочка у меня. — Лицо Ныркова болезненно сморщилось. — Но, понимаешь, парализованная. Хворала полиомиелитом. Если б в больницу, может, ходила бы.

— Как же это так ребенка в больницу сразу не взяли? — возмутился Колокольников. — Да за такое дело судят!

— Судят, если не заплатишь, — сухо сказал Ныркв; спохватившись, торопливо объяснил: — Я ведь на заграничной работаю.

— И по какой линии?

Озираясь, будто не желая, чтобы кто-нибудь посторонний его услышал, Ныркв молчал. Потом блуждающим взглядом осмотрел стены зала и остановился на ярких плакатах авиакомпаний. Живо кивнув на один из них, Ныркв сказал бодро:

— Вон моя вывеска — представительствую! — И скромно пояснил: — Не главным, конечно, но тоже работа ответственная... Ну, а ты как?

— Нормально! Довоевал до Берлина, демобилизовался, одолел строительный. Был прорабом. Вот в Африку кидали. Сдали объект, теперь до дому, до хаты.

— Значит, преуспел!

— Это в каком смысле?

— В люди выскочил.

— А я всегда человеком был.

— Так ведь маленьким.

— А я с тех пор не вырос: как было во мне метр семьдесят два, такая мерка при мне и осталась...

Помолчали отчужденно. Потом Ныркв спросил:

— Ну, а здоровье как?

— Нормальное. А у тебя? — Колокольников криво усмехнулся. — Помню, очень ты всегда свой организм оберегал.

— Это ты на что намекаешь?

— Забыл, что ли?!

— Что именно?..

— При каком деле я с тобой последний раз виделся.

— Так годы!

— А я их и не скидываю, все при мне. Желаете, напомним, что во мне про тебя не зажило... Под Дорогобужем я у пулемета присох с перебитыми ногами, второй номер убитый, фашисты жмут, лента у меня кончается. А ты, подносчик, улегся на пузе метрах в двадцати от меня, коробки с боепитанием впереди своей башки выставил, как бруствер, и ни с места. Я зову, а ты ни в какую. Соображал — место открытое, сплошь огонь.

— А если меня контузило?

— Контузило! А как танки пошли, так ты в сторону рванул даже очень резко.

— Неправда. Где свалился, там и лежал.

— Врешь! Я за боепитанием к тебе приполз. А тебя нет. Забрал коробки, все ленты расстрелял.

— Значит, отбился!

— Что значит «отбился»? За это время, пока я за боеприпасами к тебе ползал, сколько немец наших положил без моей огневой поддержки! Это на чью совесть списать надо?

— Злая у тебя память, Колокольников, — сухо сказал Нырков, — очень злая.

— Если б только злая, я бы с тобой не разговаривал, — возразил Колокольников. — Я ведь по-человечески понимаю, что ты с себя за это все спросил полностью. Потому на меня сейчас и обижаешься.

Произнес задумчиво:

— А меня ведь тогда танкист с подбитого танка спас. Перевалил мою тушку на станок моего пулемета и вместе с ним поволок. А танкист тоже раненый, и очень даже страшно раненный. Нижняя челюсть начисто сорвана. Так он обвязался отрезанным рукавом гимнастерки. Так люди обвязываются, когда у них зубы болят. И лицо у него от этого ужасного ранения совсем короткое стало. Одни глаза человеческие, а больше в нем ничего человеческого нет. Ползет, волокет меня и все оглядывается, не потерял ли. Иногда останавливался, отдыхал. Я прошу: брось ты

меня, оставь. А он головой осторожно так поводит. Ответить ему нечем. Так и волок. А кто я ему? Он танкист, я пехота. У меня только конечности в пробоинах, а у него, сам понимаешь... Потом «мессер» над нами пролетел бреющим, дал очередь, добавил мне в корпус. Ну и все... Очнулся через несколько недель в тыловом госпитале, как в сказке, — живой, все удобства. Залатали, даже в весе прибавил, когда выписывали. После всё справки наводил о том танкисте. Не нашел. Напросился в танковый корпус десанником, чтобы хоть не тому танкисту, а его роду войск послужить. Поскольку считаю, что обязан я жизнью тому танкисту.

Взглянув в упор в лицо Ныrkова, Колокольников спросил с грубоватой откровенностью:

— Теперь понял, отчего я тебя хладнокровно встретил, хоть и служили мы вместе в одной роте?

— Простить не можешь, что я тогда сробел?

— Я что, ты своей души хозяин, она тобой командует.

— Мне тогда девятнадцать было, — напомнил Ныrkов.

— Выходит, на год меня старше, — констатировал Колокольников.

— Не желаешь считаться с тем, что не все люди на одну колодку?

— Почему же? Я считаюсь, — сказал Колокольников. — Ты живой, при ответственном деле. Значит, порядок. И по-человечески понимаю. Люди все разные и по-разному на фронте реагировали. Один сразу человеком становился, а другой не сразу. Хоть ты тогда слабаком оказался. Я тебя только из памяти своей списал начисто, и все. А злости у меня на тебя нет. Была, конечно, но после выветрилась. Скажем, я против того танкиста кто? Пупсик. Если бы меня, как его, ранило, может, я только ошалел бы от такого ранения и ни о чем другом, как про свою участь, не думал. А он о человеке подумал — обо мне то есть. Вот, значит, какие все люди разные — тут я с тобой согласен. — И, словно в подтверждение своих мирных слов, предложил радушно: — Вот хочешь поглядеть в моей сумке крокодильчонка? Купил на базаре совсем еще молодым ящерком. А потом привык. И теперь домой везу. — Сказал озабоченно: — Только, надо полагать, жинка моего крокодильчика в ванну не пустит. Придется для него террариум, что ли, сколотить. Животное нежное. Ему специальный тепловой режим нужен. Но ничего, сообразим!

Ныrkов покосился на раскрытую Колокольниковым сумку, брезгливо бросил:

— И охота тебе возиться с таким гадом? Чудишь ты, Колокольников!

— Если хочешь знать, — обиженно сказал Колокольников, — то крокодил — животное очень совестливое. Лежат они на отмели с открытой пастью, а у них между зубов птички такие, невелички, червяков вредных выклевывают. И ни один из них, как бы жрать ни хотел, птичек не трогает. Вот тебе и пресмыкающееся, а перед чужой добротой свой характер сдерживает.

Колокольников смолк. Прислушался к благозвучному зову аэродромного диктора, на английском, французском, немецком языках возвещавшего о посадке пассажиров на самолет, следующий на Москву, торопливо поднялся, взял бережно сумку, помедлил, переложил ее из правой руки в левую, протянул руку Ныркову, попросил:

— Но ты на меня все-таки сильно не обижайся, что я так про тебя все начистоту. Сам понимаешь, без правды человек человеку кто? Так, прохожий. А я все же болел за тебя мыслью, стал ты человеком или нет, живой ты или мертвый... Расстались-то мы в самую карусель: не поймешь, где фронт, где тыл. Взял нас немец тогда в клещи, не все высочили. Ну, живи и будь здоров! — Пожал влажную руку Ныркова, кивнул и пошел к выходу, бережно держа на отлете большую клеенчатую сумку.

Нырков стоял недвижимо, вытянув тощую шею, и долгим взглядом провожал удаляющуюся плотную фигуру бывшего однополчанина.

В своем новеньком модном костюме из синтетической ткани Нырков походил сейчас на модельера из магазина дешевого готового платья, нанятого с улицы только на дни распродажи.

Его испитое лицо с тщательно прилизанными редкими волосами, с несколько отвисшей нижней челюстью обрело выражение растерянности, безнадежной тоски. Из этого состояния Ныркова вывел голос властного человека с военной выправкой. Он сказал по-английски, пренебрегая полутонами, как обычно говорят американцы в Европе:

— Хэлло, Джек, какого черта вы здесь делаете? Искали даровую выпивку?

— Виноват, сэр!

Джек-Нырков вытянулся, пристукнул каблуками и предупредительно щелкнул зажигалкой, хотя его босс еще только доставал из кармана белую пачку американских сигарет «Кент».

ПОД СИНИМ НЕБОМ

Я сижу на водолазном баркасе, свесив за борт босые ноги, и стойко держу в руках хилое удилище, хотя клева нет и мне хорошо известно: водолазы не терпят таких вот... досужих любителей с удочками.

Водолазы благосклонны к рыбам, как лесники к птицам. И когда работают под водой, они не ощущают томительного одиночества, окруженные висящими в глубине рыбьими стаями. И поэтому никто из них не промышляет ловлей и, мало того, испытывает предубеждение к рыбным блюдам, более обоснованное, чем у мусульманина к свинине.

И все-таки я пришел на баркас с удочкой, коварно рассчитывая, что иным способом мне не вызвать на разговор старшину Бабурина, который, движимый, в свою очередь, лукавством, наверняка попытается вежливо, но решительно пресечь это мое занятие.

Чем пресечь?

А разговором.

Бабурин черняв, низкоросл, весь облеплен выпуклой мускулатурой. Глаза узкие, блестят черно, как антрацит на изломе. Бабурин сидит на чугунном кнехте и сердито шаркает рашпилем по резиновой водолазной рубахе, чтобы наклеить на ней заплату, как на шине.

Я смотрю на воду. В толще ее, как в прозрачном синем студне, застыли бычки с астматически вытаращенными глазами. Пожалуй, им в теплой воде так же жарко, как и мне на металлической палубе.

Море в зыбких световых блестках нестерпимо сверкает своей натянутой штилевой гладью.

В воде висят на толстых слизистых парашютных куполах медузы.

И я начинаю думать, что, пожалуй, Бабурин задет сейчас не столько тем, что я явился на баркас с удочкой, сколько тем, что его подводники заняты «черной работой»:

спиливают на тинистом мелководье сваи от старого причала.

Всю зиму его отряд работал на больших глубинах, завершая подъем судов, затонувших во время войны.

Вчера я пытался расспросить Бабурина об этих работах, но он сказал мне сухо и неприязненно:

— Пишете в газетах, сколько тысяч тонн металла мы на поверхность в переплав извлекли, а вот о том не пишете, как матери и вдовы моряцкие здесь на молу днюют и ночуют, ждут, пока из-под воды корпус корабля не покажется. Послушали бы в телефонные наушники, как водолазы под водой сопят, плачут, когда на боевых постах корабля останки моряков-товарищей находят. Сразу бы поняли, какой тяжестью работу нашу мерить надо!

— Немецкие корабли вы тоже подымали?

— А там что, не люди?

В годы войны я написал корреспонденцию о матросе первой статьи Алексее Бабурине, который на немецком трофейном грузовике ворвался на вражеский аэродром, обстрелял из ручного пулемета транспортные самолеты, цистерны с горючим и благополучно вернулся в свое подразделение. И когда я потом расспрашивал его, «как было дело», он, озорно усмехаясь, сказал:

— А никак. Взял их на чистом моем нахальстве, с ходу. — И, блестя смоляными глазами, иронически осведомился: — Может, не по уставу действовал? Так я извиняюсь.

Был он тогда вертляв, тощ, гордо носил узкие пижонские усы, ботинки блестели, как черные солища. В курчавых волосах пробор. Орденские ленты бережно обернуты в целлофан. Нашел я его тогда в расположении банно-прачечного отряда, личный состав которого был сплошь женский. Свое пребывание здесь он объяснил следующими словами:

— Человек я холостой, беззащитный, худое подумать про меня легко. — И добавил строго: — Водолазом быть вызвался. Пресный водоем под огнем противника. После ихнего аэродрома я стал спецом на грузовике маневрировать. — Расхохотался: — Иногда поддадут, качу назад, а из цистерны, из пробоины, как из поливательной машины, хлещет. — Заметил хозяйственно: — После меня на дороге культурненько, никакой пыли. Только ездить по ней охотников нет...

Я оглядываюсь на Бабурина. Он по-прежнему сидит, ссутулясь, на кнехте, озабоченно прижимает тыльной сто-

роной ладони резиновую заплатку к водолазной рубаше, подобной серому обезглавленному туловищу человекоподобного существа. Почувствовав мой взгляд, Бабурин поднял голову и вдруг спросил запальчиво:

— Слыхали, Лапшин женился?

— Ну и что? С многими такое случается, и ничего, существуют, — говорю я нарочито пренебрежительно, чтобы разжечь Бабурина. Лапшин — мой давний знакомый, и мне интересно о нем послушать.

— Так ведь он недавно развелся и сразу на другой женился, — сказал Бабурин.

— Значит, не любит одиночества.

Бабурин с ненавистью глядит на мою удочку и с возмущением восклицает:

— Эх вы! Посторонний товарищ! Вам, конечно, можно шутки шутить, а вот когда его новая жена не дает ему шагу ступить под водой, без того чтобы он ей в телефон обстановку не доложил или не положенные на службе слова не высказал, тут, знаете, нервная система не у всякого может выдержать.

— А зачем вы ее в рабочее время на баркас пускаете?

— Он ее сюда определил.

— А вы бы ей на суше должность подыскали.

— Так ведь она же наша, флотская! — с внезапной гордостью заявил Бабурин. — В морской пехоте всю войну санинструктором отслужила. Сколько наших ребят у смерти выхватила. Лапшин тоже ее крестник. После войны Лапшин ей вежливые открытки посылал с Новым годом, с Восьмым их марта, с Октябрьской годовщиной, ну и с нашим главным Днем Победы. А потом Васька Лапшин с ней секретную переписку в конвертах наладил. И вот бац, знакомьтесь, моя супруга. А чего с ней знакомиться, с Таней Коваленко? Сколько мешков индивидуальных пакетов она на нас смотала. Грузовик! Разве такое забудешь? И отчаянная была до невозможности. Пока раненых ей не накидают, в самую свалку лезет. Работала, как говорится, по совместительству то пистолетом, то пинцетом.

— Выходит, хорошая женщина?

— Я говорю, подходящий товарищ! Только не надо было ее обманывать!

— Кто же ее обманул?

— Он же, Лапшин, и обманул!

— Что же такое он натворил?

— На другой сначала женился. Вот что отчудил. И ради чего? Ради справки!

— Какой справки?

— Самой обыкновенной, в домоуправление.

— Ну, это вы зря так на Лапшина...

— А вы перестаньте червяка за бортом купать, тогда поймете, зря или не зря, — брезгливо бросил Бабурин.

Я покорно поднял удилице и положил его на палубу. Бабурин твердо наступил на удилице, осведомился:

— Вы нашу штурмовую группу помните? Лейтенант Никишин ей командовал, Владимир Захарович. Ну, такой лобастенький, в тактике сильно грамотный. У всех потери, а у нас чуть. Каждую операцию на подходящей местности предварительно репетировал, до полного нашего обалдения. К пехотной гимнастике мы же непривычные. На разборах гонял как пуциков. Требовал в бою логически мыслить. И кто каской пренебрегал, штрафовал, отбирал бескозырку. Вы Лапшина знаете! Метр девяносто. Мишень. Любой близорукий фашист его сразу визуальнo засечь может. Во-вторых, у Лапшина воображение отсутствовало. Не мог, как все люди, представить, что его тоже убить могут. Держался в бою нагло. От этого его и задсвало часто. И Таня Коваленко считала Лапшина своим основным клиентом. Ориентировалась всегда к нему поближе. Лапшин никогда самообслуживанием не занимался. Если брал индивидуальный пакет, так только на обтирку оружия. И Таня к рукам его прибирала. Обвязывает бинтом, упрекает. А он молчит, боль терпит и на нее с удовольствием смотрит. Девушка она невеличка. Только глаза не по ее габаритам, великоватые, цвета морской воды, вот как сейчас, в штиль. Взглянешь, замрешь, как при команде «смирно». Но она только к раненым ласковая. А когда мы целые, держит себя как контр-адмирал, не подступишься. И ничего не поделаешь — санинструктор. Для нее капитан первого ранга кто? «Товарищ раненый, будьте любезны подчиняться». И все! Такая у них власть, у медицины.

В десант ходили, Лапшин всегда нарочно первым за борт прыгнет и тянет ручищи к Тане, чтобы ее на берег сухой вынести. Пользовался человек случаем и тем, что долговязый. Обнимает и несет у всех на виду. И рожа у него такая самодовольная. А что возразишь? Ребята, такие, как я, нормального роста, вплавь, а ему по грудки. Ну ладно, вынес на берег, поставь ее на ноги и отойди в сторонку. Так нет, он ее и тут возле себя придерживает, своей тушей заслоняет, как бруствером.

— Таня, выходит, вам самому нравилась?

— А что я, контуженый? Соображал. Конечно, нрави-

лась. Но я уже бесправный был. — Бабурин вздохнул. — Охмутала меня одна в банно-прачечном отряде. Вызвал политрук, велел жениться. Я и сейчас при ней — директоре банного комбината.

— А Тане Лапшин нравился?

— Как терпеливого на боль всегда очень хвалила. Но он парень безынициативный, разве только в бою. Мускульное вооружение как у борца тяжелого веса, а вот чтобы высказаться — слаб. Не язык во рту — тряпка. Так он больше мимикой действовал. Увидит ее и расплывется. Покраснеет так, будто ящик со столятидесятидвухмиллиметровыми снарядами поднял и на весу держит. Аж шея от натуги пухнет. Ну, Таня пожалеет его и отойдет. И сразу у него лицо такое печальное, будто отчислили человека в тыл.

Я его, как женатый человек, наставлял и к Нюре своей водил, чтоб она подтвердила, что я ему правильные указания даю. «Нет, говорит, не подходит. Таня — девушка необыкновенная». Нюра, конечно, на него кидается. «А я, спрашивает, кто, по-вашему?» Пришлось мне на него замахнуться, чтобы Нюру успокоить. Ничего, стерпел. И даже толково перед нами обоими извинился.

— Но почему же он все-таки на другой женился?

— А вам что, некогда? Клева все равно нет.

Бабурин закурил, помолчал, успокоился и, пооберв, произнес мечтательно:

— Фашисты нас красиво прозвали «черной смертью». Как списали нас с погибшего корабля в морскую пехоту, так мы действительно на суше в бою вели себя очень отчаянно. Бегали в атаки, как нынче молодежь в массовом кроссе. Отсюда потери. И вот когда лейтенант Никишин стал нами научно командовать, потери сразу сократились. Лапшина он отдельно воспитывал. «Вы, говорит, товарищ Лапшин, по своим габаритам занимаете в пространстве большую площадь, чем обычный морской пехотинец. Если, допустим, в среднем при большой плотности огня на метр приходится от пяти до двадцати пулевых и осколочных попаданий, то объективно, в силу этого обстоятельства, на пространство, занимаемое вами, падет большее количество возможных травматических повреждений. Значит, на вас ложится задача преодолеть это невыгодное для вас обстоятельство путем более тщательного использования местности для прикрытия». Лапшин спрашивает: «Выходит, по-вашему, лучший боец — лилипут?» А лейтенант ему: «Для меня лучший боец тот, у которого мыслительный аппарат

во время атаки не отказывает, управляет бойцом, для этого человек вырабатывает у себя разумное бесстрашие, и тогда он страшен врагу».

У лейтенанта существовало правило обсуждать с вернувшимися в строй после ранения моряками, был ли шанс избежать ранения или не было такого шанса. Если обстановка позволяла, водил нас на бывшее поле боя, как на экскурсию, и заново умственно бой проигрывал, где немец чего-то в свою пользу не предусмотрел, где мы.

И получалось так, что в нашем отряде меньше потерь было, чем в других. И каждый из нас стал думать, что мы своими жизнями, в сущности, лейтенанту обязаны.

После войны Лапшин, уже демобилизованный, школу водолазную окончил и стал сильно зарабатывать на всяких подводных гражданских работах, да еще техникум окончил. Его начальство жилплощадью ободрило — дали однокомнатную квартиру с персональным галльюном, камбузом и с капитанским мостиком в виде балкона.

И тут он, достигнув полного благополучия, как-то жену покойного нашего лейтенанта Никишина встретил в «Гастрономе». Проводил ее до дома. Зашел. Жила она за занавеской вместе с сыном, в комнате шестнадцать метров, где ее утеснил племянник лейтенанта, которого она впопыхах, по-родственному, к себе после эвакуации пустила. И тот ее, как оккупант, выжил.

Понятно, Лапшин сильно расстроился. Но поскольку он после войны не поумнел, как другие, — решил действовать по-фронтовому. Приехал к вдове лейтенанта в воскресенье на грузовом такси и дает ей указание:

«Вместе с сыном и имуществом. — на грузовик».

Привозит к себе в квартиру и заявляет:

«Вот вам жилплощадь, устраивайтесь».

А сам перебрался на баркас.

Вдова подумала, что он ей эту квартиру законным путем добыл, ну и спокойно поселилась.

Потом началась канитель. Сначала с домоуправлением, потом с милицией по линии прописки.

Лапшин даже отощал лицом, стал нервным. Но ему секретарша домоуправления посоветовала:

«Если уж вы такой принципиальный — распишитесь с гражданкой, и тогда по закону ваша жилплощадь станет ее, неприкосновенной».

Лапшин сразу к вдове кинулся с предложением. Она поколебалась, но согласилась. Так стал он женатым. О чем в паспорте штемпелем заклеили. Жил он по-прежнему

на баркасе. Потом, когда водолазную школу у нас открыли, поступил инструктором, в дежурке ночевал.

— А как же с Таней Коваленко?

— А никак. Когда она узнала, что Лапшин женился, даже поздравление прислала.

— Значит, не любила?

— Правильно! Выходит, не было у нее к нему существенного чувства. Но после оно обозначилось. Просочилась к ней информация через наших ребят, по каким мотивам Лапшин женился. Таня лейтенанта Никишина тоже раньше обожала. И тут началась у ней секретная переписка с Лапшиным в конвертах. И от этой переписки Лапшин еще больше отощал, чем от неприятностей в домоуправлении и милиции.

Но если у него характера на отчаянные броски хватало — сразу к себе здому с имуществом перевезти на грузовом такси, — здесь он от слабодушия мучился. Никак не мог попросить у вдовы развод. И если бы Таня сама в город не приехала и сама обо всем с вдовой не договорилась, так бы Лапшин всю жизнь маялся — ни холостым, ни женатым.

А теперь, пожалуйста, женился на Тане Коваленко. И она на него восхищенно глядит, как на фронте никогда не глядела. «Вася, — говорит она нам, — необыкновенной души человек. Никто бы из вас на такой подвиг не решился, а он решился. Вот, мол, как люди красиво раскрыться вдруг могут. А я с ним столько на фронте рядом бывала и ничего такого особенного не замечала».

Не замечала! Вот какие они, женщины, все однобокие.

А когда Лапшина в разведке, раненного, под Сапуном немцы живьем взять хотели, и он от них прикладом отбивался, и потом поднял противотанковую мину над головой, и заорал: «Хенде хох!», нацеливая ее хватить об камень, — вот где Лапшин всю свою красоту показал!

Мы к нему на выручку подбежали, даже обмерли. До чего красиво! Стоит моряк. Ноги растопырил. Над башкой черный диск мины! Ну прямо бог карающий! И весь кровью течет. Разве такое забудешь? А им, женщинам, что? Им подавай какую-то особую душевность. Без этого ты им не человек. Там он жизнь свою не щадил. А тут всего жилплощадь свою не пожалел. И на этом Таня Коваленко теперь к нему на всю жизнь присохла. Вот такая диалектика бывает, — сказал хмуро Бабури и стал озабоченно протирать тряпочкой, смоченной спиртом, стекла в иллюминаторах медного водолазного шлема.

От моря крепко и терпко пахло. Оно сливалось своей синью с синью неба. И все это пространство, безмерно обширное, дышало покоем, манящими неведомыми далями.

Бабурин гулко постучал согнутым пальцем по котелку водолазного шлема, объяснил:

— Старинная вещь. Скоро в музей. Теперь новые глубинные скафандры пошли. На огромное давление рассчитаны. Но нам в них не ходить. Молодым достанется все днище моря облазить. Каждый курсант в подводные Гагарины метит. Желает тысячи тонн над башкой давление иметь. А что! И удержит. Мы ведь в их годы тоже кое-что удержали, и потяжелее.

Бабурин встал, подошел к воздушному компрессору и включил мотор. Оглянувшись, похвастал:

— Раньше, бывало, вручную крутили, а теперь вот движок приспособили.

Взяв в руки шланг, он стал подметать палубу тугой воздушной струей. Я придержал ладонью удилище, опасаясь, чтобы Бабурин не сдул его за борт, памятуя о том, что он, как все матерые водолазы, испытывает отвращение ко всякой рыболовной снасти.

ВИДИМОЕ И НЕВИДИМОЕ

Алексей Данилович Мохов работает бригадиром в сборочном цехе. Ростом он высок, сутуловат, сухощав. Лицо скуластое, костистое, с постоянным выражением строгой озабоченности. Молодые инженеры из конструкторского бюро утверждают: Мохов обладает почти волшебным даром технического воображения. Глядя на чертеж, он как бы ощущает проектируемую машину уже в металлическом воплощении и рассуждает о ней так, будто она уже на стенде подвергается испытательному прогону.

Мне сказали, Мохов настолько сосредоточенно и отрешенно отдает себя работе, что, помимо нее, других особых интересов у него нет. Предупредили: общительностью Мохов не отличается, и не потому, что высокого о себе мнения, а потому, что, будучи тяжело раненным на фронте, потерял способность к речи, потом стал говорить трудно, заикаясь, но упорной волей преодолел этот недостаток и теперь, если только очень волнуется, говорит затрудненно.

Сборщики отзывались о своем бригадире с гордостью, как о человеке душевном, деликатном. Объяснили: авторитет у Мохова не только потому высокий, что он превосходит всех нас в тонком знании техники, но и потому, что он человек совестливый, чистый. С каждой получки вот уже двадцать лет Мохов посылает четверть своего заработка семье Акулова, бывшего однополчанина, который однажды спас ему жизнь. Женился Мохов на той женщине, которая прятала его, раненного, в погребе после отступления наших войск. Когда на нее донесли, не выдала, и полицаи ее сильно искалечили. Мохова на заводе почтительно величают «старым ветераном», хоть ему всего сорок четыре года. На Доске почета — портрет Мохова, без усов, но с густой темной шевелюрой. Сейчас у Мохова усы и залысины на висках. Время изменяет облик человека, но постоянно и прочно место портрета на заводской Доске почета. Живет Мохов в новом доме, в двухкомнатной квартире с балконом.

Я не очень был уверен в том, как Мохов отнесется к моему журналистскому визиту. Молча выслушав, Мохов сказал, простирая руку:

— Вот садитесь. — Добавил без улыбки: — Значит, будем обедать.

Супруги Моховы вместе накрывали на стол, за блюдами ходили на кухню поочередно. На стене висело много фотографических портретов жены Мохова. Но когда она заметила мой взгляд, произнесла досадливо:

— Это Алексей Данилович все старается меня приукрасить. А я вот какая в действительности, — и легонько коснулась кончиками пальцев своего малоподвижного лица в белых жестких шрамах.

Мохов кашлянул и сказал:

— При чем тут я? Оптика все фактически запечатлевает. — Предложил: — Может, на балконе посидим, пока Ольга Дмитриевна нам кофе сварит?

Выйдя на балкон, он произнес задумчиво:

— Вот вы отметили, что наш завод семьдесят лет своего существования насчитывает. Но ведь это натяжка. Был завод, верно. До тысяча девятьсот сорок второго года. Но его перед приходом немцев рабочие со слезой в горле собственноручно частично подорвали. Потом фашисты, что осталось, полностью зверски разрушили. Был завод — нету завода. Так и надо отмечать в истории.

— Но вот же он стоит! — Я показал на виднеющиеся отсюда корпуса.

— Это не он, — сухо сказал Мохов. — Это — совсем другое предприятие. И оно такой же родственник старому заводу, как Юрий Гагарин тому русскому мужику, который на кожаных крыльях с колокольни прыгнул. Прибыл я после демобилизации и пошел на завод наниматься. А его нет. Одна каменная свалка. Начали мы его, как вы пишете, «восстанавливать». А на самом деле что? Занимались раскопками, подобно археологам, которые ищут в земле вещественные доказательства бывшей древней человеческой культуры. Собирали всякий хлам, чинили, прилаживали, из канализационных труб несущие колонны соорудили. Если со стороны постороннему посмотреть — удивительно. Одержали люди всемирно-историческую победу, спасли мир от фашистского рабства, а они ковыряются в пыли и обломках, как мусорщики. Чудаки народ! Верно? Ему бы после своей великой победы только бы гордиться и форсить, а он забвенно сам на себя батрачит, словно изголодался только по любой работе, а не по чему другому.

Ну, пустили производство на уровне до первой пятилетки. А какое ликование! Словно новую победу над фашистами одержали! Нервный народ после войны стал. Как первые изделия выдали, даже у самых отчаянных фронтовиков, какие в разведбате служили, слезы. Но и это не дата новорождения нашего завода. Только мы приладились к трудностям — бац! Все, что мы нагородили, восстановили, — на слом. Началось серьезное строительство уже теперешнего, нынешнего, вот этого, на который вы мне рукой показывали, утверждая, что он есть, в то время как я доказывал, что его начисто не было. — И Мохов, облегченно вздохнув, объявил: — Вот вам биография нашего завода в самом кратком и поспешном изложении.

Пригласив нас в комнату пить кофе, Ольга Дмитриевна доверительно сказала мне:

— Алеша не только фотолюбитель, он еще рисованьем занимается.

Мохов сконфуженно перебил:

— Какое там рисование, товарищ еще подумает, я художеством интересуюсь. А на самом деле что? Так, для маляров колеры подбирал, ну и по линии производства наброски. — Взяв из рук Ольги Дмитриевны большую папку, которую она принесла, Мохов положил ее на стул и прочно уселся на папку, таким категорическим жестом как бы давая мне понять, что на эту тему он разговаривать сейчас не хочет.

На следующий день, как было условлено с Моховым, я пришел в цех, где он работал. Был обеденный перерыв. Мохов сказал мне:

— Я хочу вам сейчас насчет моего рисования пояснение дать, почему меня на него потянуло. Вот глядите! Станочный парк. Весь в светло-салатных мундирах. Нежный цвет, мягкий. Кое-кто возражал: маркий. Таким людям желательно темный, маскирующий неряшливость. Соображают! Против подобной психологии можно было бы обличительной белой эмалью покрыть. Но ни к чему. Есть другие средства воспитания. Кроме того, белый цвет — медицинский. Для больниц он подходящий. Несущие колонны алюминиевой окрасили, торжественно и блеск. Мостовые краны, они словно планеры, им по высоте положен голубой, небесный оттенок. На крановщиков положительно воздействует: мол, помни, где ты находишься, пилотируй грузы аккуратно, как летчик машину. Светильники дневного света — фасон взяли из конференц-зала обкома партии. На полы обратите внимание! Узорная

плитка. Ногам и глазам радостно. Мусор или пятно сразу на нем кричит. Раньше торцовые чурки или асфальт, как на дороге, а теперь войдешь в цех, сразу понимаешь: помещение, станочный зал.

Вы потом еще на ноги станочников поглядите. В сапогах — никого. Все в обыкновенной обуви, как у служащих. Факт глубокомысленный. Умывальники — облицовка, кра- ны хромированные, баллончики с жидким мылом — не во всякой парикмахерской такое. Вместо полотенца нажал педальку — горячий воздух руки осушает. Зачем такая роскошь? Затем, что, если ветошью будем машинное масло, как прежде, вытирать, все равно его как следует не сотрешь, рука сальной останется. А при нынешней, микрон- ной точности рука требуется сухая, чувствительная. Вот вам и роскошь! Зеркала для удобства тоже повесили. Здесь же, в цеху, руки вымыл и свою физиономию проконтроли- ровал. Мелочь, а существенная.

Кроме того, о женской части цеха тоже соображать надо. Раньше в цеху женщин минимально было, а теперь у полуавтоматов почти одни девчата. И вообще о спецовках надо задуматься. Почему молодежь их не носит? Думаю, потому, что фасон и цвет казенный, бездушный. Мы, пожи- лые, носим. Нам, как говорится, терять нечего и красовать- ся не перед кем. Покрой бесформенный, будто чехлы, а не производственная одежда для человека. А я категорически заявляю: производственная одежда должна быть вдумчи- вая, ловкая. В Москве конкурс международных мод прохо- дил. Пожалуйста, не возражаю. Кто желает фасонить, фасонь, с учетом, конечно, личных средств и мнения окру- жающих. Но отчего мы производственную одежду такими масштабами не продумываем?

Ткани на наших спецовках надежные, выносливые, а цвет? Вспаханной земли. А главное — фасон. Надо увле- кательно, целесообразно рабочую одежду шить, с выдум- кой. Элегантно, что ли. Мужская должна быть муже- ственной, а женская женственной. А то что получается? Идет впереди производственник в спецовке. Муж- чина или женщина, не отгадаешь. Такое «стирание граней» нам вовсе не требуется. Хорошо также каждой профес- сии свои фасоны одежды. Разнообразие и порядок, сразу увидишь, какая личность в рабочее время не на своем месте...

— Все это, конечно, очень интересно, но мне бы хотелось, Алексей Данилович, чтобы вы несколько слов о себе сказали, о своей работе.

Мохов удивленно поднял брови, костистое лицо его приняло выражение недоумения и даже обиды.

— А я вам о чем толкую? — спросил Мохов строптиво. — О посторонних делах? Вот мы, коммунисты цеха, и провели все эти мероприятия по красоте. Поскольку это дело партийное — красота. Чем больше в нашей жизни всевозможной красоты, тем жить и работать увлекательней. Вот как я со своей колокольни понимаю эту самую техническую эстетику. А попросту говоря, заботу о красоте. Может, я что-нибудь не так, так вы скажите...

Проходя мимо стеллажа, Мохов приостановился, взял какую-то замысловатую деталь, оглядел ее, сощурился. Объявил:

— Кузовкин! Его почерк. А ну, проверим — точно, его клеймо! — Подал мне торопливо руку: — Ну, вы меня извините, дела!

Уходя, я оглянулся. Мохов по-прежнему стоял у стеллажа, продолжая разглядывать сверкающую деталь. Лицо его при этом было доброе, нежное, мечтательное, таким я его ни разу не видел за все время этих наших с ним встреч.

ОДНОПОЛЧАНЕ

Сухой ливень зноя жег нещадно. Мы вышли из машины, нагретой как печь. Горячая, каменистая, беспредельно плоская пустыня обдала меня своим чадным жаром.

— Ну, где тут твоё хозяйство?

— Давай-давай, жми,— сказал Клепиков.— Тут совсем рядом.

Белобрысый, курносый, одетый в линиялую распашонку с короткими рукавами, в мятых хлопчатобумажных брюках, заправленных в брезентовые сапоги, в тюбетейке на затылке, Клепиков выглядел не очень солидно для директора рудника, как он с торжеством отрекомендовался мне при нашей неожиданной встрече в аэропорту.

Да и где тут быть руднику? Ни копра, ни террикона — сизая ровная пустыня, смыкающаяся с блеклым небосклоном. И зачем я только уступил Клепикову? Отметили бы встречу в ресторане аэропорта! Нет, надо было тащиться в зной, в пустыню, чтобы взглянуть, где он тут работает.

Зажженное солнцем небо пылало спиртовым пламенем. Казалось, что от меня уже пахнет горелым.

— Ну, долго еще идти?

— Местный климат очень полезен для почечников,— уклончиво сообщил Клепиков.

— С почками у меня благополучно. Это у тебя, кажется, полостное ранение было.

— Точно,— согласился Клепиков. И радостно отметил: — Ну и память у тебя!

— И сильно тебя задело?

— Нормально. В уличном бою. Он в меня из автомата брызнул, но я его тоже не обидел, шарихнул из ППШ. Врачи потом мой организм хвалили за исключительную живучесть.

— И давно ты здесь?

— Порядочно.

— То есть?

— Что значит то есть? — почему-то обиделся Клепиков. — Жена, дети — всё как у людей.

— Значит, остепенился. А ведь ходок был.

— Не больше, чем ты.

— Уж извини, как ты, за монашками не бегал.

— Зря ты это, — хмуро упрекнул Клепиков.

— Почему зря? Забыл под Краковом монастырь, послушницу, которая нам показывала, где гитлеровцы минные погреба заложили. Кстати, как ее имя, помнишь?

— Ну, Гелена.

— Что, старик, въелась она тебе в память? А как ты тогда сапоги по четыре раза в день чистил, подворотнички менял... И, выходит, все зря.

— Почему же зря? — сухо сказал Клепиков. — Вовсе не зря.

— Неужели?! Ну и ловкач!

— Ты полегче, — рассердился Клепиков. — Все-таки супруга.

— Чья?

— Моя, чья же еще...

— Прости, пожалуйста, не знал!

— Ладно, чего уж тут.

Я чувствовал себя очень неловко и даже перестал ощущать жару от этого стеснительного промаха.

Не то снисходя, не то жалея меня, Клепиков бодро объявил:

— А ты что, думал, я не стратег? Фашист меня из автомата свалил в городе, но я не растерялся, сразу сообразил, еще до беспамятства приказал бойцам оттащить меня в монастырь. Ведь если человек полумертвый, не откажут же его в помещение впустить. И когда я в монастыре очнулся, поскольку был умирающим, попросил настоятельницу прислать ко мне Гелену. Намерение мое было тогда только еще раз ее увидеть, и все... А оказался на редкость живучим. Собственно, она меня и выходила. А дальше, дальше — что ж, совсем по Шекспиру: «Она меня за муки полюбила, а я ее за состраданье к ним». Огорчил, конечно, командование тем, что на иностранке решил жениться, да еще на бывшей монашке, но, принимая во внимание мои прошлые боевые заслуги, обошлось без существенных внушений.

— Ну, а как же ты ее все-таки переубедил?

— В чем?

— Она же человек религиозный.

— Да не в чем было переубеждать. Дальние родственники ее просто на сохранение от гестапо в монастырь спровадили, а родителей гитлеровцы расстреляли. Я, конечно, сам тогда не знал, что в монастыре она только прячется. Поэтому всё идейные разговоры с ней вел. Нажимал на то, что смерти не боюсь, поскольку ни ада, ни рая нет, а значит, и бога, а только одно воздушное пространство, используемое авиацией для боя. Ну, еще о жизни рассуждал. Лежишь в бинтах связанный, делать нечего, ну и мечтаешь вслух, каким человек на земле должен быть...

— Значит, повезло!

— Кому?

— Тебе, не Гелене же!

— А что, я плохой? — с простодушной наивностью осведомился Клепиков. — Орденов больше, чем у вас всех, было.

— Воевал ты действительно геройски.

— Чего же еще надо?

— Мирная жизнь, она штука тоже не простая.

— Это правильно, — согласился Клепиков. — Я вот думал, Гелена от монастырской жизни всегда бледная, малокровная, а оказалось — больна туберкулезом. Из-за нее в Среднюю Азию и уехал. Решил, пусть на солнышке загорит, фруктами попитается, бараниной. Сам знаешь, я вологодский, леса люблю, тепло в норме, речки светлые в тальниках. Если уж начистоту, Средняя Азия для меня все равно как карасю сковородка.

— Почему же потом не уехал?

— Вначале хорошо устроился, снял погоны, поступил прорабом на жилстроительство. Квартира в городе, лучше не бывает. Отношение с начальством благоприятное, заработок высокий, ранения не болят, климат для них симпатичный. А жизнь с Геленой чем дальше, тем больше разлаживается. Не получается контакта. «В чем дело?» — спрашиваю. «Неинтересно живем, скучно». — «Тебе что, говорю, кафе нужно? Так к Октябрьской сдаю для кафе помещение. Ходи сколько угодно, пожалуйста. Мне лично в чайхане больше нравится». А тут еще меня мнительность стала беспокоить. Женщина она, сам знаешь, красивая, и с возрастом ее красота почему-то не портилась, а я для волейбольной команды ни ростом, ни фигурой не вышел, чтобы хоть спортом себя поддерживать. Стала она с археологами в экспедиции ездить, древностями интересоваться. А археологи кто? Молодежь. Один энтузиаст прошлого

любовные стихи ей писал, а врал, что не его, мол, списывал у древнего автора с камня. Ну, думаю, все ясно! Решил — по-фронтовому, смело, начистоту. Нашли наши геологи в пустыне медную руду. В юности я когда-то начальником карьера был при кирпичном заводе, подал заявление, зачислили в рудник прорабом участка. Пришел, говорю Гелене: «Временно уезжаю, а ты в мое отсутствие меня всего продумай. На всякий случай заявление о разводе я к тебе в ящик тумбочки положил», — и улыбнулся так, когда чувствуешь, у тебя от этой улыбки кожа на скулах аж скрипит, улыбнулся, чтобы ей проще со мной было расстаться. А она стоит холодная, как осень, молчит, руку подала тоже холодную. Ну, думаю, все. Пропал Васька. Понял, что нет у меня без нее жизни. И знаешь, какая штука получилась? Старые раны заговорили. Свалился я, и снова она меня выхаживала.

— Ну, а потом как же?

— Что потом? Сначала бюллетенил, потом отпуск на выздоровление в санатории. А затем, что ж, раз числился в штате рудника, пришлось ехать. Ну, прибыл. И одиннадцатый год здесь работаю. Стал директором рудника, диссертацию кандидатскую защитил.

— А Гелена как?

— Напрактиковалась на мне скорую помощь оказывать, захотела на медфак, окончила. Врачом тут в больнице.

— И не скучает?

— Почему же ей скучать? Больница почти областного уровня. И муж у ней теперь человек в республике известный. Герой соцтруда, депутат и прочее.

— Выходит, она тебя все-таки бросила?

— Это почему у тебя такое мнение о ней?

— Ну, не бросила, вышла замуж за другого, по ее мнению, более достойного.

Клепиков лукаво усмехнулся и заявил, торжествуя:

— Чудак! Я же и есть ее муж бессменный, это я так про себя уважительно только выразился для ясности...

— Ну ладно! — нетерпеливо сказал я, изнемогая от жары. — Где тут все-таки твое хозяйство?

— А вот, — сказал Клепиков. — Еще самую малость, и вся панорама перед тобой полностью предстанет, как на ладошке.

И вдруг через несколько шагов пустыня круто, внезапно оборвалась, и взору открылся огромный ступенчатый кратер, подобный гигантскому Колизею в циркуль-

ных амфитеатрах, только глубоко вдавленному в недра земли.

С высоты казалось, что спирали уступов карьера ввинчиваются, как могучий океанский водоворот, в бездну.

Я отступил от края ее, испытывая сосущее головокружение.

— Ничего себе ямку выкопали? — ехидно осведомился Клепиков и, с силой притопнув, объявил заносчиво: — Тут еще под ногами десять миллионов тонн металла лежит. — Пообещал самоуверенно: — И все дочи́ста выгребем. А ямку, которая после нас останется, водой заполним. Водохранилище образуется. Величайшее. Яхты, байдарки пустим, рыб разведем. А раз воды вдоволь, из пустыни сад получится. Микроклимат тут будет выдающийся — курорт. — Спросил, щурясь: — Ну как рудничок, подходящий? Между прочим, по открытой добыче равного ему нет в мире. — Простирая руку и как бы очерчивая ею воздушное пространство над котловиной, сообщил небрежно: — Раньше тут что? Пустыня сверху беспризорная лежала, полынь, щепень, скорпионы ползали. Сколько пар сапог я об эту бывшую поверхность истрепал! А теперь разве только на вертолете можно. Ну вот тебе и весь мой самодельный пейзаж. Как, ничего картинка, впечатляет?

Выждав и не получив ответа, Клепиков, первно потирая руки, сказал почему-то жалостливо:

— Самому иногда не верится, что я тут поверху ногами ходил. — Задумался, произнес задумчиво: — Как на фронте в атаки бегал, мне уже теперь по почам не снится. Только первые годы после войны всегда снилось. А вот в том месте, где вон, видишь, коршун кружит, завалило меня в шурфе. Лежал погребенный, пока ребята не откопали. Вот это мне теперь часто снится, как я лежал погребенный, особо если на левом боку засну. На правом все нормально, а на левом — снится.

Я смотрел на Клепикова, и теперь его белобрысое курносое лицо с несколько обвисшими щеками, тубетейка на затылке, распашонка с короткими рукавами на располневшем торсе, хлопчатобумажные штаны, заправленные в брезентовые сапоги, — все выглядело иначе, чем при внезапной встрече в аэропорту.

И чем больше я вглядывался в Клепикова, тем острее и отчетливее возникал передо мной облик гвардии капитана Василия Клепикова, поджарого, подтянутого, яростно устремленного в дым и огне боя, когда его подразделение, свершив дерзкий десантный рейд, сражалось с эсэсовской

частью, чтобы не дать ей захватить старинное здание женского монастыря, за крепостными стенами которого противник мог потом долго отсиживаться в обороне.

И так же отчетливо возникла в моей памяти Гелена, когда она потом шла впереди наших саперов легкой, беззвучной поступью, в черной монашеской одежде, с широкими рукавами, с белым покрывалом на голове, и бледное бескровное лицо ее, туго стянутое по щекам белым платком, было холодным и замкнутым. И только серо-зеленые глаза, удлиненные к вискам, светились живой, неумерщвленной женственностью, когда, шагая с ней рядом, гвардии капитан Василий Клепиков бережно подставлял свою ладонь под ее острый локоть и говорил воодушевленно:

— Вы, гражданка монахиня, просто настоящая патриотка. Если б не вы, не ваша сознательность, могло бы рвануть, будь здоров!

Потом Клепиков вдруг остановился и, восторженно глядя на Гелену, заявил:

— А ведь я вас где-то видел. Ну ясно где — на иконах. Ну, полное сходство. Вылитая вы!

— Не можно так шутковать, пан офицер, — сердито сказала монахиня, — не можно. — Но глаза ее при этом лучились...

— А теперь я тебя повезу на рудный транспортер и доложу тебе — восемь километров, самый длинный по всей Европе. Работает на полной автоматике, — пылко сказал Клепиков. И пообещал: — Получишь полное удовольствие.

— Через час двадцать мой самолет!

— Ну и что! Опоздаешь. Подумаешь, делов!

— Нет, не могу.

— Решительно?

— Да!

— Раз так, тогда все, — рассердился Клепиков. — Вон машина! Скажешь шоферу. А провожать я тебя не стану, не хотел видеть транспортер, ну и катись.

Зная характер Клепикова, я не стал с ним спорить и уехал на его машине.

И все-таки Васька Клепиков прикатил на аэродром прямо к взлетной полосе, прикатил на огромном самосвале, преследуемый орудовской машиной. Выскочив из кабины, он махал мне рукой и что-то кричал, но я уже поднимался по трапу, теснимый пассажирами.

А потом, когда самолет, взлетев, разворачивался, ложась на курс, я не отрывал щеки от нагретого иллюминато-

ра и скошенными глазами смотрел на землю, желтую, сухую землю пустыни, смотрел, пока не увидел в ней ступенчатый кратер медного рудника, с высоты выглядевший так, будто это — титаническое создание неведомого величавого зодчества, призванного прославить и утвердить на века властительную династию неукротимых творцов.

И в памяти сердца осталась крохотная, рядом с огромным и могучим, как тапк, самосвалом, фигурка Клепикова в линялой распашонке с короткими рукавами, в брезентовых сапогах с низко спущенными голенищами, что-то кричащая мне, размахивающая снятой тюбетейкой, его улыбающееся лицо, бурое от налипшей песчаной пыли пустыни.

1968

СОДЕРЖАНИЕ

РАССКАЗЫ

1943—1968

Казаки	7
Десант	13
Любимый товарищ	17
Рассказ о любви	19
Ссора	22
Живая и мертвая вода	25
Москвичка	28
Труженики войны	33
Мать	38
Простая история	43
Катя Петлюк	49
На берегу Черного моря	61
Мастера расчета	67
Кавалер ордена Славы	71
Высшее стрелковое образование	77
В городе, где счастье и горе	81
Дарья Гурко	85
Парашютист	90
Старший сержант	95
Встреча	100
Горные вершины	103
Это сильнее всего	109
Кирилл Орловский	115
У нас на Севере	119
Сын народа	123
Дженни	126
Первые десантники	131
Бойцы	135
Новогодний рассказ	142
Подвиг	147

В доме отдыха	150
Каменный Брод	155
Леночка	165
На дальнем Севере	174
Товарищ Елкин	187
Водолазы	215
Семьдесят четвертая параллель	242
Трасса	257
Под небом Африки	265
Монтажники	272
Сильные люди	278
Всю неделю дождь	291
Песня над Нилом	326
Нина	331
Обыкновенный рейс	342
Бухта Полярная	365
Дерево жизни	378
Душа солдата	385
Две жизни	392
О хлебе	402
Жаркий июньский день	408
На огонек	416
Свидание	422
Два солдата	429
На перекрестке	435
Под синим небом	442
Видимое и невидимое	450
Однополчане	455

Кожевников В. М.
К58 Собрание сочинений. В 9-ти т. Т. 2. Рассказы,
1943—1968.— М.: Худож. лит., 1986.— 463 с.

В том вошли рассказы 1943—1968 годов: «Десант», «Рассказ о любви», «Труженики войны», «Мастера расчета», «Парашютист», «Товарищ Елкин», «Песня над Нилом», «Свидание под синим небом» и др.

К 4702010200-016
028(01)-86 подписное

ББК 84Р7
Р2

Вадим Михайлович
КОЖЕВНИКОВ

Собрание сочинений
Том 2

Редактор Т. Х а л и л о в а
Художественный редактор Е. Е н е н к о
Технический редактор В. К у л а г и н а
Корректоры Н. З а м я т и н а, Т. С и д о р о в а

ИБ № 3865.

Сдано в набор 26.02.85. Подписано к печати 12.07.85. А-10 399.
Формат 84×108 ¹/₃₂. Бумага тип. № 1. Гарнитура «Обыкновенная
повая». Печать высокая. Усл. печ. л. 24,36. Усл. кр.-отт. 24,36.
Уч.-изд. л. 25,23. Тираж 100 000 экз. Изд. № III—1849.
Заказ № 1833. Цена 1 р. 90 к.

Ордена Трудового Красного Знамени издательство «Художественная литература». 107882, ГСП, Москва, Б-78, Ново-Басманная, 19.

Ордена Октябрьской Революции, ордена Трудового Красного Знамени Ленинградское производственно-техническое объединение «Печатный Двор» имени А. М. Горького Союзполиграфпрома при Государственном комитете СССР по делам издательств, полиграфии и книжной торговли. 197136, Ленинград, П-136, Чкаловский пр., 15.

159011